

КОНТИНЕНТ 54

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Иосиф Бродский в ссылке. 1964 год



Нобелевская премия по литературе. 1987 год

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
 Avraham Ben-Yakov
 6, Hagana str.
 Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сергей Рапетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
 Edward D. Lozansky
 508 23rd Street N. W.
 Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
 Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

54

**Издательство «Континент»
1987**

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский – Стихи	7
Евгений Звягин – Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки, или напиться на халяву. Рассказ	16
Михаил Ерёмин – Стихи	58
Анатолий Шварц – Жизнь и смерть Михаила Булгакова. Документальное повествование. Окончание	60
Марианна Озерная – Стихи	143
Владимир Максимов – И Аз воздам. Глава из романа	148
Игорь Чиннов – Стихи	166
Сергей Петрунис – Стихи	171
Светлана Шенбрунн – Справка. Рассказ	175
Белла Дижури – Стихи разных лет	197
РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ	
Игорь Бирман – Пер-р-рестройка	205
ЗАПАД – ВОСТОК	
Идеология и реальность. (Вокруг Безансона) Круглый стол	253
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Томаш Мянгович – Внуки Мицкевича и дети системы. (Отношение поляков к коммунизму)	285
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Яков Айзенштат – Два сапога пара	305
ИСТОКИ	
<i>К тысячелетию Крещения Руси</i>	
Константин Криптон – Церковная «ежовщина» и поражение исходных планов советского правительства	315
ИСКУССТВО	
Рудольф Баршай – Памяти друга	327

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Борис П а р а м о н о в – Чевенгур и окрестности	333
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Неизвестный вариант стихотворения Георгия И в а н о в а . Публикация <i>Э. Штейна</i>	373
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	375
НАША ПОЧТА	379
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Мария Т и м – «Рекомендуется прочесть все»	387
Семен Ч е р т о к – Границы гласности	393
Кира С а п г и р – «Никто как свой...»	401
Лев Л о с е в – Маятник американской культуры качнулся	405
К. С. – «Боярские дети» и советская патология	409
Раиса Ш и ш к о в а – Заговор или заговор против действительности	414
Майя М у р а в н и к – Облик «грустного беби»	417
Юрий М а м л е е в – Любовь и творчество	421
КОРОТКО О КНИГАХ	425
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	431
НАША АНКЕТА	
Интервью с Уильямом С т а й р о н о м . Ведет <i>А. Мирчев</i>	433

* * *

Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел утки, рябчика, вальдшнепа. «Ах, как ты постарел» скажет тебе одна, и ты задерешь двустволку, но чтоб глубже вздохнуть, а не спугнуть перепелку. И легкое чутко дёрнется: с лотков продают урюк. Но и помимо этого мир вокруг меняется так стремительно, точно он стал колотиться дурью, приобретенной у смуглого инородца.

Дело, конечно, не в осени. И не в чертах лица, меняющихся, как у зверя, бегущего на ловца, но в ощущении кисточки, оставшейся от картины, лишенной конца, начала, рамы и середины. Не говоря – музея, не говоря – гвоздя. И поезд вдаль по равнине бежит, свистя, хотя, вглядевшись как следует, ты не заметишь дыма. Но с точки зренья ландшафта, движение необходимо.

Это относится к осени, к времени вообще, когда кончаешь курить и когда еще деревья кажутся рельсами, сбросившими колеса, и опушки ржавеют, как узловые леса. И в горле уже не комок, но стопроцентный ёж – ибо в открытом море больше не узнаёшь силуэт парохода, и профиль аэроплана, растерявший все нимбы, выглядит в вышних странно.

Так прибавляют в скорости. Подруга была права. Что бы узнал древний римлянин, проснись он сейчас?
Дрова,
очертания облака, голубя в верхотуре,
плоскую воду, что-то в архитектуре,

но – никого в лицо. Так некоторые порой
ездят еще за границу, но, лишены второй
жизни, спешат воротиться, пряча глаза от страха,
и, не успев улечься от прощального взмаха,

платочек трепещет в воздухе. Другие, кому уже
выпало что-то любить больше, чем жизнь, в душе
зная, что старость – это и есть вторая
жизнь, белеют на солнце, как мрамор, не загорая,
установившись в некую точку и не чужды утех
истории. Потому что чем больше тех
точек, тем больше крапинок на проигравших в прятки
яйцах рябчика, вальдшнепа, вспугнутой куропатки.

* *
*

Аллея со статуями из затвердевшей грязи,
похожими на срубленные деревья.
Многих я знал в лицо. Других
вижу впервые. Видимо, это – боги
местных рек и лесов, хранители тишины,
либо – сгустки чужих, мне не внятных воспоминаний.
Что до женских фигур – нимф и т. п. – они
выглядят незаконченными, точно мысли;
каждая пытается сохранить
даже здесь, в наступившем будущем, статус гостыи.

Суслик не выскочит и не перебежит тропы.
Не слышно ни птицы, ни тем более автомобиля:
будущее суть панацея от
того, чему свойственно повторяться.
И по небу разбросаны, как вещи холостяка,
тучи, вывернутые наизнанку
и разглаженные. Пахнет хвоей,
этой колкой субстанцией малознакомых мест.

Изваяния высятся в темноте, чернея
от соседства друг с дружкой, от безразличья
к ним окружающего ландшафта.

Заговори любое из них, и ты
скорей вздохнул бы, чем содрогнулся,
услышав знакомые голоса, услышав
что-нибудь вроде «Ребенок не от тебя»
или «Я показал на него, но от страха,
а не из ревности» – мелкие, двадцатилетней
давности тайны слепых сердец,
одержимых нелепым стремленьем к власти
над себе подобными и не замечавших
тавтологии. Лучшие среди них
были и жертвами и палачами.

Хорошо, что чужие воспоминанья
вмешиваются в твои. Хорошо, что
некоторые из этих фигур тебе
кажутся посторонними. Их присутствие намекает
на другие события, на другой вариант судьбы –
возможно, не лучший, но безусловно
тобою упущенный. Это освобождает –
не столько воображение, сколько память
– и надолго, если не навсегда. Узнать,
что тебя обманули, что совершенно
о тебе позабыли или – наоборот –
что тебя до сих пор ненавидят – крайне
неприятно. Но воображать себя
центром даже невзрачного мирозданья
непристойно и невыносимо.

Редкий,
возможно единственный посетитель
этих мест, я думаю, я имею
право описывать без прикрас
увиденное. Вот она, наша маленькая Валгалла,
наше сильно запущенное именье

во времени, с горсткой ревизских душ,
с угодьями, где отточенному серпу,
пожалуй, особенно не разгуляться,
и где снежинки медленно кружатся, как пример
поведения в вакууме.

* *
*

В этой маленькой комнате все по-старому:
аквариум с рыбкою – все убранство.
И рыбка плавает, глядя в сторону,
чтоб увеличить себе пространство.

С тех пор, как ты навсегда уехала,
похолодало, и чай не сладок.
Сделавшись мраморным, место около
в сумерках сходит с ума от складок.

Колесо и каблук оставляют в покое улицу,
горделивый платан не меняет позы.
Две половинки карманной луковицы
после восьми могут вызвать слезы.

Часто чудится Греция: некая роща, некая
охотница в тунике. Впрочем, чаще
нагая преследует четвероногое
красное дерево в спальней чаще.

Между квадратом окна и портретом прадеда
даже нежный сквозняк выберет занавеску.
И если случается вспомнить правило,
то с опозданием и не к месту.

В качку, увы, не устоять на палубе.
Бурю, увы, не срисовать с натуры.

В городах только дрозды и голуби
верят в идею архитектуры.

Несомненно, все это скоро кончится –
быстро и, видимо, некрасиво.
Мозг – точно айсберг с потекшим контуром,
сильно увлекшийся Куросиво.

НАЗИДАНИЕ

I

Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах,
в избах, банях, лабазах – в бревенчатых теремах,
чьи копченые стекла держат простор в узде,
укрывайся тулупом и норови везде
лечь головою в угол, ибо в углу трудней
взмахнуть – притом в темноте – топором над ней,
отяжелевшей от давеча выпитого, и аккурат
зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат.

II

Бойся широкой скулы, включая луну, рябой
кожи щеки; предпочитай карему голубой
глаз – особенно если дорога заводит в лес,
в чащу. Вообще в глазах главное – их разрез,
так как в последний миг лучше увидеть то,
что – хотя холодней – прозрачнее, чем пальто,
ибо лед может треснуть, и в полынье
лучше барахтаться, чем в вязком, как мед, вранье.

III

Всегда выбирай избу, где во дворе висят
пеленки. Якшайся лишь с теми, которым под пятьдесят.

Мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе, чтоб приписать за твой счет что-то еще себе; то же самое – баба. Прячь деньги в воротнике шубы; а если ты странствуешь налегке – в брючине ниже колена, но не в сапог: найдут. В Азии сапоги – первое, что крадут.

IV

В горах продвигайся медленно; нужно ползти – ползи. Величественные издалека, бессмысленные вблизи, горы есть форма поверхности, поставленной на попа, и кажущаяся горизонтальной выющаяся тропа в сущность вертикальна. Лежа в горах – стоишь, стоя – лежишь, доказывая, что лишь падая ты независим. Так побеждают страх, головокружение над пропастью либо восторг в горах.

V

Не откликайся на «Эй, паря!» Будь глух и нем. Даже зная язык, не говори на нем. Старайся не выделяться – в профиль, в анфас; порой просто не мой лица. И когда пилой режут горло собаке, не морщся. Курия, гаси папиросу в плевке. Что до вещей, носи серое, цвета земли; в особенности – белье, чтоб уменьшить соблазн тебя закопать в нее.

VI

Остановившись в пустыне, складывай из камней стрелу, чтоб, внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней, в каком направлении двигаться. Демоны по ночам в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам

может легко заблудиться: шаг в сторону – и кранты. Призраки, духи, демоны – дома в пустыне. Ты сам убедишься в этом, песком шурша, когда от тебя останется тоже одна душа.

VII

Никто никогда ничего не знает наверняка. Глядя в широкоую, плотную спину проводника, думай, что смотришь в будущее, и держись от него по возможности на расстоянии. Жизнь в сущности есть расстояние – между сегодня и завтра, иначе – будущим. И убыстрять свои шаги стоит только ежели кто гонится по тропе сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.

VIII

В кислом духе тряпья, в запахе кизяка цени равнодушие вещи к взгляду издалека и сам теряй очертанья, недостижим для бинокля, воспоминаний, жандарма или рубля. Кашляя в пыльном облаке, чавкая по грязи, какая разница, чем окажешься ты вблизи? Даже еще и лучше, что человек с ножом о тебе не успеет подумать как о чужом.

IX

Реки в Азии выглядят длинней, чем в других частях света, богаче аллювием, то есть – мутней; в горстях, когда из них зачерпнешь, остается ил, и пьющий из них сокрушается после о том, что пил. Не доверяй отраженью. Переплывай на ту сторону только на сбитом тобою самим плоту.

Знай, что отблеск костра ночью на берегу,
вниз по реке скользя, выдаст тебя врагу.

X

В письмах из этих мест не сообщай о том,
с чем столкнулся в пути. Но, шелестя листом,
повествуй о себе, о чувствах и проч. – письмо
могут перехватить. И вообще само
перемещение пера вдоль по бумаге есть
увеличение разрыва с теми, с кем больше сесть
или лечь не удастся, с кем – вопреки письму –
ты уже не увидишься. Все равно, почему.

XI

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал
помни: пространство, которому кажется ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.

* *
*

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,

И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Падаль!» выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

Г е о р г и й И в а н о в

Несобранное

*Под редакцией и с комментариями
Вадима Крейда*

Antiquary, 1987

Первое комментированное издание неизвестных
стихотворений Георгия Иванова

Заказы посылать по адресу:
Emanuel Sztejn
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, CT 06477 USA

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ РЕКИ МОЙКИ, ИЛИ НАПИТЬСЯ НА ХАЛЯВУ

Посвящается моему брату

На халяву и уксус сладок.
(народная поговорка)

-- and -- Lowrence Stern

Разбуженный утренним гимном из репродуктора, я вышел на улицу с тяжелого и дурного похмелья, с твердым намерением утопиться. Дело было в начале мая, когда кроны деревьев окружал еще легкий зеленый дым просыпающейся листвы, когда из подворотен подувало нелетным, знобящим отчасти ветерком, сулящим лихорадку и непокой, но грохот киянок по жестяным починяющим крышам оттуда же, из подворотен, свидетельствовал все же о непреложно случившемся, то есть – о лете. Вышел я из громоздкого псевдомавританского здания на углу Литейного проспекта. Божьи часы на башне Спасо-Преображенья показывали половину седьмого, над ними синело чистое окаянное небо.

Но весь этот утренний полупраздничный антураж не тронул мою закоснелую душу. Хотелось ей одного – забыть Палермо, эту страну поруганных надежд и несбывшихся упований. Впрочем, как вы понимаете, Палермо тут ни при чем, равно как и Рим или Вена. Виноваты, возможно, черные гибеллины. Впрочем, чёрт разберется в гибельном ихнем свойстве. В том, что они заполнили обозримое пространство моей души, повинен только я сам. Только я, а никак не Зина, всего лишь несовершенное существо, однополое, даже не

андрогин. О том же гласит и учение о свободе воли интеллигентного человека. Так что если она и высказала вчерашним вечером свое, надо сказать, сугубо отрицательное мнение о моем образе жизни, а также моральном облике, то тут еще не причина. Помнится, сквозь легкий туман сигаретного дыма я любовался на ее воодушевление, ее блестящими глазками, раскрасневшимися ее щечками.

– Зина! – сказал я, – верь мне, все образуется! Дорогая! – продолжил я, – я хочу умереть у тебя на руках, в тот же день, что и ты!

Тут захохотали пьяные бородачи, а Зина заплакала. Она швырнула в меня надкушенным бутербродом и убежала. Видит Бог, у меня не было никакой физической возможности следовать за нею. Меня положили в темном углу и долго еще о чем-то бубнили и звенели стаканами...

Проснувшись, я тайно покинул очередное обиталище подвыпивших муз. И ныне стою на мосту через Фонтанку, и напряженно вглядываюсь в прогорклые ее волны. Масляные пятна плывут по реке. Полузатопленный ящик и намокший детский берет. Небрежные блики плывут по ее поверхности. В их вялой игре – вся усталость забубенной моей души... Ничто не сбылось из моих прекрасных мечтаний. Вот застегну плащ потуже, чтоб труднее было барахтаться, и – пиши, наконец, пропало!

Да и впрямь – за что осуждать бедного самоубийцу? Вот он, выброшенный на берег какого-нибудь промышленного затона в устье Невы, лежит, задрав к небу слегка приплюснутый нос. Волосы его слиплись от мазута, очки, прижатые распухнувшими ушами, совсем не прозрачны. Да и нечем глядеть сквозь них, ибо глаза заплакли. На груди – привешенный к шее плакат с полусмытой, расплывшейся, но различимой надписью: «Я жил – и страдал. Я умер – и облегчился». Рядом – остов какого-то поржавевшего, полуразобранного транспортера.

Какая жалость, что Зина не видит меня в этот час торжественного прощанья с действительностью! Сколь горестно-горделивая гримаса украшает мое, доселе будничное лицо. Сколько смиренного достоинства выражает, может быть, несколько грузная фигура, сохранившая, впрочем, остатки былой стати! Нет, Зинаида, юница, не вам судить!

Итак, над героем сомкнулись мятежные волны. Здешние, правда, хлипковаты, кажется, для мятежных. Но внутренний взор, взор матерого суицидчика, и в них углядит достойный почтения реквизит. В путь, бедный Йорик!

Я приподнял было левую ногу, чтобы поставить ее на литой выступ перил, а потом перекинуть правую, но тут же отпрянул, закашлялся и расчихался. Пока я раздумывал, наступило уже бодрое промышленное утро, и деловая активность, в виде огромной ревущей «Татры», выплонула прямо в лицо мне огромный клуб зловонного, густого и ядовитого дыма. Из глаз моих потекли слезы. В их серебристом мерцании обозначился среди тающего дыма, кажется, знакомый мне абрис. Передо мной стоял друг моей юности, художник, которого звали, ну, скажем, Дмитрий.

– Здорово, Никеша! – приветствовал он меня, как бы совсем и не удивившись нашей ранней утренней встрече. – Какими судьбами в этих краях? Головка, небось, побаливает?

– Салют – неприветливо буркнул я. – Все-то ты знаешь, с тобой играть неинтересно...

– А это ты видел? – и он торжествующе высунул из плаща белую полиэтиленовую головку. – Хирса! – гордо сказал он. – Самое то, что надо! Вмиг поправимся!

– Да я, как-то, знаешь, не в настроении... – пробовал я отвертеться от неминуемого.

– Брось ты комплексовать, пошли к Гераклу! – быстро решил Дмитрий. В нашей юношеской компании решения принимал он, так что мне ничего дру-

гого не оставалось, нежели покорно за ним последовать.

Давным-давно, лет пятнадцать тому назад, мы облюбовали этот обширный, прохладный и уютный портик Михайловского замка. Ментура сюда забредала редко, и нам никто не мешал всласть напиваться. Отсюда, сквозь спаренные колонны, открывался чудеснейший вид на Мойку, в том месте, где соединялась она с Фонтанкой, на светлые зеленые купы Летнего сада. Портик обрамляли две массивные скульптуры стареющего известняка; одна из них была фигура Геракла, опирающегося на палицу. Потому посещать это место и называлось – «пить у Геракла».

Дмитрий ловко, двумя сильными костлявыми пальцами, выдернул пробку. Образовалась легкая, характерно-радостная заминка алкогольного предвкушения. – Ну, Никеша, над чем изволите вы работать? – улыбаясь с невыразимой доброю, спросил старый друг. Сам характер вопроса, уж давно мне не задаваемого, и какие-то необычные его интонации вдруг меня удивили. Только тут я заметил некую важную несообразность в его облике. Дмитрий сегодня выглядел поразительно молодым, именно таким, каков он был полутора десятилетиями лет ранее. Когда я видел его в последний раз, где-то с полгода назад, это был старый, с трясущимися руками, со вмятиной на черепе, абсолютно спившийся человек! А теперь предо мною стоял молодой, милый Дима! Я пристально поглядел на него сквозь очки, но говорить на эту тему было мне неудобно. Он, кажется, заметил мой удивленный взгляд, но не сказал ни слова.

Когда-то Дима учился в Высшем Художественном училище, стеклянный купол которого виднелся отсюда, из полутьмы портика. Он был нашей гордостью, самый талантливый студент курса. Потом неожиданно бросил учебу, мотивируя свое решение тем, что ему здесь все ясно, а вокзал, построенный ректором заведения, – бездарная ерунда. Стал сотрудничать иллюстратором в

литературных журналах нашего города. Дебют его был интересен, Диму заметили. Не счесть тракторов на полях, башенных кранов и чаек над ними, исполненных твердым Диминым карандашом и напечатанных в соответствующих номерах разных журналов. Но что-то не в радость пришелся Диме его успех. С годами все с большей скукой глядел он на Божий мир. Остальное – к чему досказывать?

– Понимаешь, Никеша, – говорил удивительно молодой Дима, – я твердо верю в твою звезду. Хотя человек ты нетвердый и закомплексованный, нитка Судьбы вьется в твоих непонятных глазах. Запомни мои слова, я ведь не люблю ложного пафоса. Будь требовательней к себе, не поддавайся на провокацию... Как твоя мама? Все пилит тебя?

– Да нет, нынче она в отъезде. У брата живет, в Барнауле. Есть только Зина, Зизи, так сказать. Души заманчивый фиал...

– Фиал? Это плохо. Тоже, стало быть, ты неудача? Ну ничего, пробьешься. Выпей, старик, и пошли все на...

Вино несколько прочистило мои мозги. С необычною силой реальности я вдруг увидел пыльные гранитные ступени, косо разрезанные темною тенью от гераклового постамента, ровные швы между зеленых от старости, исходящих прохладой мраморных плит в глубине портика, мусорный каменный пол, по дальним углам усыпанный прелым прошлогодним листом. Когда я отвлекся от своего глубокого созерцания, друга рядом со мною уже не было...

Я потолкался глазами между колонн, оглядел лежащую панораму. Дима исчез. – Ах, Дима, что ж это он слинял, не прощаясь? – с горечью думал я. А ведь он, наверное, никогда, за всю историю нашей дружбы, не был так сердечен и мил, как сегодня. И где он достал бутылку в такую рань?

Меж тем вдоль чугунной ограды Мойки со стороны замка уже располагались любители-рыбаки. Они доставали длинные коленчатые удилища, блестящие и желтые, словно сработанные из полированной кости. Что-то свинчивали и цепляли, забрасывали в темную воду за парашетом. Я помню их еще с давних пор, когда Питер был вымощен квадратными известняковыми плитами с круглыми водосливами у водосточных труб, когда по булыжным мостовым бегали «эмки», «победы» и полуторатонки, а также пахучий гужевой транспорт, когда заводы, распугивая рыбу, призывали трудяг грустно-высокими, почти мистическими гудками. Помню, как их прорезиненные мешки для рыбы сменились полиэтиленовыми, а потом почему-то холщевыми, новую бедность которых только подчеркивал наведенный портрет какого-нибудь сопотского певца. Помню их неторопливые движения, лица, застывшие в некоей, исполненной важной думы, прострации. За день, потраченный на дурацкое торчание у парашета, они могли наработать на уйму рыбы, но они почему-то отсюда не уходили. На что же они надеялись? Поймать лосося в глубине мутной Мойки? Или избыть среди ловли пропажу прошлых надежд?

А, все едино. Надо искать местечко потише. Исполнение моего замысла требует большего уединения. Я же не какой-нибудь пошлый истерик, бравирующий собственной решимостью в тайной надежде на спасение! Дорогу осилит идущий, как говорили в начале шестидесятых годов. Не трусь, мужичина! С этими словами я вышел на набережную Мойки и тронулся вдоль нее, что-то мурлыча себе под нос, ибо Димино вино все-таки действовало.

Я шел, а надо мной голубело немыслимое пространство. С трудом сдерживал я желание поднять голову и плюнуть в самые яркие и подлые участки неба. Ибо радостью исходило оно, все же совсем неуместною. Особенно это желание усилилось, когда я, подняв во-

ротник, боком проскальзывал мимо огромных кристаллов воздуха на Дворцовой. Ангел с колонны погрозил мне ясным крестом. – Тубо тебе! – хотелось мне крикнуть ему в ответ. Но я испугался такой невыгодной для меня конфронтации и поспешил шмыгнуть дальше, туда, где было грязней и немного тише. Только что петая песенка замерла у меня на губах. Как же дошли мы до жизни такой? – горестно думал я. Кто виноват? – Ты! – ответило мне воспоминание. Ты, и больше никто. Почему отказался ты оформлять планетарий в День астронома? Работа интересная и небезвыгодная. И матушку бы утешил...

– Нет никакого Дня астронома! – горестно молвил я. – Что ты мне лапшу на уши вешаешь! Да и не люблю я звезд... День гастронома – вот это – другое дело.

– То-то вот и оно-то, – ехидно отвечал я сам себе. – Что до гастронома, так здесь ты первый!

– И потом, – отвечал я, не слушая, – наш семейный конфликт носил чисто духовный характер. Не надо мешать сюда грубую прозу.

– Ну-ну, – примирительно отвечал мне внутренний голос. – Ежели ты такой недотепа, думай, как хочешь. Зачем же тогда задаешь риторические вопросы?

Полный внутренних прений, я брел, не замечая окружающего. Незаметно дошел я до Невского и пересек его, чуть не попав под блестящую импортную машину, что, впрочем, не нарушило моих тягостных размышлений. Долго тянулся этот ненужный и бессмысленный диалог, пока я не обнаружил себя в закускойной, там же, на углу Невского, стоящим в очереди за котлетами без гарнира, которыми здесь торговали. Когда-то, работая неподалеку, я частенько сюда заглядывал, так что и сейчас, по-видимому, забрел чисто автоматически. Я порылся в кармане и нащупал там горстку мелочи. Ну, что ж, совершить задуманное можно, в конце концов, и на сытый желудок!

Примостив тарелку с котлетами на мраморный столик у окна, я машинально ковырял их плоской алюминиевой вилкой, у которой недоставало одного из средних зубцов. Вспоминал последний – ненужный и горький – разговор с матушкой, уехавшею надолго и далеко. Вспомнил и Зину – глупую девочку, сарафанная мудрость которой спасовала перед моим сомнительным статусом непризнанного деятеля искусств. Постепенно я ощутил на своем лице чей-то твердый и неодобрительный взгляд. Поднял глаза и уставился прямо в лицо ханыге с подбитым глазом, который, напрягши крутые небритые скулы, глядел на меня неотрывно и мужественно.

– Ну что, пить будем или вола вертеть? – спросил он меня вызывающе.

– Простите? – не понял я.

– Пьем или весла сушим?

– Ну, вы как знаете, а я-то тут при чем?

– Слушай, кент! – сказал мне ханыга. – Ты из себя интелю не строй. Погляди в зеркало – у тебя же бодун третьей степени! Жалко смотреть на тебя. Да ты не мудри, я не собираюсь тебя колоть. Видишь, пузырь? У Машки взял, в Генерале! Давай по стакану? А ты со мной котлетой поделишься...

– Хорошо... – сказал я с сомнением. – Только учти – я на мели!

– Знаю, кент, не утомляй. Замётано.

Он разлил по стаканам какую-то гуталинного цвета жидкость, и я, чокнувшись с неожиданным собутыльником и преодолев отвращение, выпил. На вкус оказалось – молдавский «розовый». Не сразу улегся он на дне моего желудка. Поерзал, поездил, как хоккейный вратарь пред матчем, и замер в исходной позиции. Вскоре легкий приятный хмель окутал мою забубенную голову.

– Ну, спасибо, опохмелил! – ласково сказал я своему неожиданному знакомцу. – Как тебя звать?

– Кеша! – он протянул твердую мозолистую ладонь.
– И меня почти так же. Только Никеша. Честно, не вру.

– Да я вижу, ты не из таких. Художник?

– Да около того. А как ты догадался? Вроде на мне ни бороды, ни берета...

– По взгляду. Взгляд у тебя острый, схватывающий. Я в вашем брате кое-что понимаю...

– Разбираешься? – спросил я с иронией, разглядывая разноцветный фонарь под его глазом и какую-то засаленную рабочую куртку. Он как бы и не заметил иронии. – С Алепьевым водку пил, пока тот не усвистел, – сказал он. – С Рукиным, пока тот не накрылся...

Я опешил. Имена, им называемые, были широко известны в художественных кругах.

– Как же это тебя угораздило? – спросил я.

– Приговорим бутылку, и отчитаюсь! – решил Кеша.

Мы допили портвейн. Странно – бутылка, которую мы распили с моим другом Димой, совсем не опьянила меня, а только взбодрила. Эта – подействовала. И, как всегда от портвейна, одновременно живительно и туманяще...

– Кто пьет портвейн розовый, тот ляжет в гроб березовый! – сказал Кеша. – Тайная мудрость элевсинских жрецов! Пойдем покурим?

Я глядел на него со все возрастающим удивлением. Да, не простой это был ханыга, не ординарный.

Мы вышли на набережную Мойки. Шумели юными кронами древние узловатые тополя, припекало солнышко, стройные студентки текстильного института спешили мимо нас, забросив за спину сумки на ремешках, упоенно вдыхая запахи свежей листвы, нагретой воды и тины. Издалека, с Петроградской, донесся пушечный выстрел – значит, уже полдень.

Мы прошлепали дальше вниз по течению. Некий укрытый оштукатуренным желтым забором с полу-

круглыми нишами, угревшийся в тишине набережной садик, усаженный чахлыми кустами акации, привлек наше внимание. Здесь стояло штук пять скамеек, и мы, выбрав ту, что была на солнечной стороне, присели и закурили.

– Значит так, – сказал Кеша. – Сам я родом из Киева, с улицы, извините, Урицкого. Бывать не приходилось?

– Да вроде бы нет.

– Ну так вот. Места там тихие, слободские. То есть сама-то улица шумная, но чуть свернешь – деревянные домики с галерейками, сады, тишина. Сейчас, говорят, это все разломали... Проторчал я в том вишневом раю до самой срочной службы. Бацал на гитаре помаленьку, винтил какие-то гайки на «Арсенале»... Призвали меня в летные войска, а как срок обучения вышел, послали в Египет, на оказание дружеской помощи. Часть наша стояла в пустыне. Первое, что я увидел, когда спрыгнул с грузовика, – лежит египтянин в солдатской форме, прямо среди белой пыли, и тяжело дышит. В него какой-то дурак-новобранец, феллах необстрелянный, случайно из винтовки пальнул. Снял я скатку, подложил ему под голову, водой из фляги лицо омочил... Тот, чья винтовка выстрелила, молокосос, сидит на корточках, качается из стороны в сторону, что-то поет заунывное. Наши из кузова высыпали, окружили, смотрят со страхом и интересом. Война, мать ее...

Тут подскочил щеголеватый такой арабский офицер, стрелявшего по затылку, пилотку сбил, что-то старшему нашему буркнул и на меня набросился. Где, говорит, воинский дисциплину, аллах акбар, не суйся, мол, не в свое дело! А я над убитым присел, значит, братскую помощь оказываю. Тут старшой, Красногуб, командует: «Стройсь!», ну и мы в казарму почапали. Скатку я забирать из-под застреленного не стал. Мне из-за нее старшой всю душу вымотал, где, говорит, твоя полная солдатская выкладка?

Ну вот. Отсидел я свое на губе за скатку, и, думаю, тем дело кончилось. Видел еще того офицера, он при ихнем штабе переводчиком работал. Поглядывал он на меня как-то пристально, непонятно, я думал – злится. И пошло как положено: у лейтенантов – вылеты, у нас, на земле, хлопоты и ремонты. Жара, пыль, вода, как моча ослиная, солонина...

Однажды объявили у нас смычку и дружеское братание. Ну, то есть, совместный концерт художественной самодеятельности и дружеский чай с египтянами. В тот день была у них какая-то годовщина. На концерт я опоздал, завозился в каптерке, а когда пришел, темноло уже. Присел где-то в сторонке, смотрю, как ихний повар, толстяк, танец живота изображает, а солдаты, что наши, что ихние, ржут, как жеребцы. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь – блестит глазами из полутьмы тот самый штабной-египтянин.

– Друг, – говорит, – идем в пески, два слова сказать. – Ну, малость я засомневался, все же страна чужая – что у него на уме? Да и комсостав если хватится – по головке меня не погладят. Дружья-дружьями, а без присмотра контачить не очень-то поощрялось, тем более с офицером. Огляделся: все, как и раньше, – на повара глаза лупят. Ладно, думаю, ничего страшного. И потопал в пустыню за египтянином.

Отошли мы на приличное расстояние, присели на корточки, по ихнему обычаю; от ветра и лишних взглядов скрыл нас невысокий бархан, да и тьма стояла – крошечная.

– Меня имя – Али, – говорит египтянин.

– А меня Кешей кличут! – я ему отвечаю.

– Кеша! – говорит мне египетский офицер, – ты хороший – жалель человека. Я тебе хочу угостить. – И достает из кармана флягу. – Выпей, друг, твой здоровье!

Ну, я отказываться не стал. Глотнул пару раз, оказалось – ром. Отпил я немного – для приличия. Протянул фляжку Али.

– Дерни и ты, за знакомство! – говорю.

Тот фляжки не принимает. – Нет, говорит, – не обидься, но я не пью. А сам – продолжай, не стесняйся!

Я, конечно, продолжил. Разговорились. И здорово мне этот парень понравился. Хотя и в чинах офицерских, и образованный, но держится, как равный с равным. И не подстраивается, никакой, знаешь, в нем задней мысли. Поделился я с ним, какие мои планы на дальнейшее гражданское будущее. Про детство рассказал на улице, сам понимаешь, Урицкого. А он мне – кое-что о себе. А потом замолчали.

Молчим, а над нами тихое небо, полное звезд. Тишина оглашенная, только верблюдья колючка тихо шуршит от ветра. Тут-то и поведал он мне полупешотом, что здесь, в этих краях, есть один таинственный город. Основал его египтянин по имени Зу-н-нун аль Мисри. Ничего себе имячко? Ну так вот. Мало кто этого города достигает. Но живут там люди счастливые...

– Сам-то ты бывал там, Али? – спрашиваю.

– Бывать не бывал, – отвечает, – а видел... верхушки его минаретов. Туда попасть не так-то легко. Но ты имеешь шанс, я это понял, когда увидел тебя. Правда... захочешь ли ты туда?

– А что? – спрашиваю.

– Да ничего, – говорит. – «Если случайно кому-то удастся попасть в город тайн, за ним захлопываются двери, и он уже не вернется туда, откуда пришел...» Это сказал Саади. Слышал о нем?

– Слыхал! – говорю. – Ну, да я паренек неробкий. Только туда, наверное, немусульман не пускают?

Али засмеялся. – Плохо знаешь! – говорит. – Все веры – лучи одного солнца, имя которому аль Хакк, – Истинный...

– Ишь, завернул, – сказал я лениво, бросая докуренную папиросу. Кеша внимательно посмотрел на

меня, выдержал паузу и, ничего не ответив, продолжил.

– Ну, я, конечно, понял, куда он гнет, что город тот на карте не обозначен. Однако чем-то меня этот разговор зацепил. Долго я раздумывал о нашей беседе тем вечером, распивая с арабами дружеский чай под ночным звездным небом...

Виделись мы еще несколько раз, беседовали. Часто – оперативная обстановка не позволяла. Потом его перевели куда-то, кажется, в Асуан. На прощанье он мне говорит: вернешься на родину – поезжай в Ленинград. Там я учился в академии тыла и транспорта. Остались в том городе у меня, говорит, кореша, они тебе дальнейшее растолкуют. Вот телефон, будешь в Питере – звони...

Вот так я и оказался в этих местах. После армии приехал, поступил на философский, вне конкурса, как демобилизованный. Только через полгода меня вычистили за субъективный идеализм. Но это меня уже не затронуло. Многое я к тому времени понял, кое-чему научился. Зажил правильной жизнью. Тогда и с Алепьевым подружился...

– Где ж ты прописан? – спросил я у Кеши.

– А нигде. Ночую теперь по ученикам, а есть захочется или выпить, иду в продуктовый, таскаю ящики. Ну, мне там кинут за работу бутылку красного да полкило ливерной, и порядок. В общем, живу – не скучаю. Есть с кем словцом переброситься. Много на свете душ, стосковавшихся по любви. Главное, сам понимаешь, в этом. Вся суть учения...

Тут меня осенило. – Так ты, стало быть, и есть – «Одетый в грубую власяницу»? Я ж о тебе краем уха чего-то слышал!

Он усмехнулся. – Так меня попсари называют, желторотая молодежь. Любят сказать поторжественней. А я в пророки не лезу. Просто однажды увидел, как огонь любви сжигает налетевшего мотылька...

– Потому меня и опохмелил?
– День для тебя сегодня небезопасный. Ну, мне пора. Будь на стреме.

Мы ласково попрощались, и он ушел.

Я остался сидеть на скамейке, не без приятности ощущая, как теплый хмель гуляет в моих жилах. Я думал: в чем секрет этих встреч, случайных, но истинно ценных? Почему мое одинокое путешествие прерывается? То друга юности встретил я, бедный Йорик, то хорошего человека с подбитым глазом... Я ведь не искал утешения, но лишь забвения своей никудышной жизни. Но случай не хочет оставлять меня одного. Есть в этом некое, не понятое мной, назидание, некий скрытый пока что, внутренний смысл... Впрочем, зачем это мне, человеку решившемуся?

Солнце, меж тем, призадержала легкая белесая дымка наступившего дня. Мягкие лучи его, пробиваясь сквозь нечастую листву одинокого тополя, с такой ласкою омывали мое раскрасневшееся от хмеля лицо, что я и не заметил, как задремал. Голова моя запрокинулась, ноги вытянулись. Наткнись на меня участковый или просто не в меру ретивый общественник, русло нашего повествования дало бы резкий изгиб в сторону вытрезвителя. Но этого несчастья со мной не произошло, ибо, как я подозреваю, вещий сон, который меня посетил, сделал меня как бы невидимым для недоброго глаза. Сон был такой: сначала пошли как бы титры, но странные, в виде то меандра, то каких-то еще знаменитых древних узоров, вроде стилизованных морских волн с закрученными гребнями. Потом выплыли яркие и крупные буквы названия:

П У Р П У Р Н Ы Е К А М Н И

... ТРИ ЖЕНЩИНЫ В ХОЛЩОВЫХ ХИТОНАХ. ВСЯК, ЖИВУЩИЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ПРИПОМНИТ ТЯЖЕЛЫЕ СКЛАДКИ ИХ ОДЕЯНИЙ. ИБО СРОДНИ ОНИ ИЗВИЛИНАМ НАШЕГО МОЗГА, ПРАОТЧЕСКИ ИХ ВОСПРОИЗВОДЯТ. В БЕЗДОН-

НОМ НЕБЕ – НИ ОБЛАЧКА, НИ ВЕТЕРКА – ВЕКАМИ. ЛИШЬ КЛУБИТСЯ У НОГ МАТОВАЯ КУДЕЛЬ, БЕСЦВЕТНЫЙ БЕЗВИДНЫЙ ХАОС – ИЛИ ТО ОБЛАКА ГОРНОГО УЩЕЛЬЯ ПРИДВИНУЛИСЬ К ИХ СТОПАМ? ИЗРЕДКА НАКЛОНИТСЯ ПРЯХА, ПРИКОСНЕТСЯ К ПРОЗРАЧНОЙ НИТОЧКЕ БЛЕДНЫМ РТОМ – И ВОТ, ЗАЗМЕИЛАСЬ ПЕРЕКУШЕННАЯ НИТОЧКА ВНИЗ, В КЛУБЯЩИЙСЯ МАТОВЫЙ ПРОИЗВОЛ. И ШЕРШАВЫЕ, НАГРЕТЫЕ СОЛНЦЕМ КАМНИ, ЗА КОТОРЫЕ НОРОВИТ ОНА ЗАЦЕПИТЬСЯ, НЕ УДЕРЖАТ ЕЕ НИКОГДА. МОНОТОННУЮ ПЕСНЮ СПОЮТ ЕЙ ВОСЛЕД ГЛИНЯНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕРЕТЕНА.

НО И ПРЕКРАСНА ЭТА КАРТИНА. ВЗГЛЯНИ: ЯСНОЕ НЕБО, БЕЛОЕ СОЛНЦЕ, ПУРПУРНЫЕ КАМНИ ОБРЫВА. ТРИ ВЕЧНЫХ ЖЕНЩИНЫ, ОБЛЕЧЕННЫЕ В СКЛАДЧАТУЮ ОДЕЖДУ, И КАЖДЫЙ ИХ ЖЕСТ – СОВЕРШЕНЕН.

– Хм-хм, – размышлял я, тут же проснувшись. Стало быть, я не властен в своей судьбе, а решают ее некие высшие, так сказать, силы? А как же с учением о свободе воли интеллигентного человека? Нет, шалишь! Меня на красивом сне не объедешь! Столько мук, унижений и бедности принесла мне моя высокохудожественная честность, столько злого, безнадежного и порочного угнездилося в бытии, не видящем реального, самого, пусть, затрапезного выхода, что меня и вещи сны уже не зацепят! Да и кому я нужен теперь, лишенец и утомленец? Разве что Зине? Зина! Зачем же ты обличила меня при помощи надкушенного бутерброда? Твой нетерпеливый и глупенький жест, может быть, и переполнил чашу страданий. Горюю потом, вспоминай отчаявшегося Никешу! А он будет себе лежать на заляпанном мазутом песке, одинокий и отрешенный, и ничто уже не шевельнется ни в его холодной груди, ни в ширинке!

С трудом оторвался я от своих грустных мыслей. Оглядевшись, увидел, что остальные скамейки тоже теперь не пустуют – по-двое, по-трое занимает их какая-то пестро одетая молодежь. Все явно были друг с другом знакомы, переходили от скамейки к скамейке, перебрасывались двумя-тремя ленивыми фразами. Держали в руках недлинные круглые палочки или трубочки, я толком не разглядел. Изредка они подносили эти штучки к глазам и подолгу всматривались в бледное небо. Бережно протягивали их друг другу и снова смотрели. На меня не обращали они ровно никакого внимания.

Легкая послесонная слабость еще не отпустила меня; я не спешил уходить отсюда. Сидел развалившись, по-прежнему вытянув ноги, в расстегнутом плаще, лениво созерцая происходящее. – О, пополнение! – подумал я, глядя, как в садик проходят двое миловидных юнцов. Обняв друг друга за талию, старательно повиливая бедрами, они прошлепали к моей скамейке и плюхнулись рядом.

– Мульти! – сказал один другому, тому, что был потемней волосом, – ты что это там сосеешь, сосуночек? Никак леденец? Дай и мне, солнышко!

– Ишь какой! – ответил Мульти капризно. – Самому сладко! Не дам!

Беловолосый надул полные губы: – Ну и не надо! Противный!

– Шучу, шучу, глупенький! – промурлыкал Мульти. И тут они проделали штуку, от которой меня изрядно-таки покорибило. Мульти поднес свои губы к полным губам другого и языком перетолкнул ему в рот что-то твердое, видимо, упомянутый леденец. Оба покосились на меня с важностью во взоре.

– Дела! – подумал я, собравшись уйти, но тут ко мне подседа девица в холстинковых брючках, не слишком причесанная, с жестяными очками на горбатом носу. Она решительно протянула мне руку.

– Бастинда! – представилась девушка. – Ты что, тоже из этих... из голубых?

– Каких еще голубых? – пробурчал я довольно-таки неприветливо.

– Нет, значит? Что ж ты тут с ними рассиживаешься? Гони! – И после значительно выдержанной паузы она повернула голову к соседствующей парочке.

– А ну, Пульта с Мультией, педа...гоги несчастные, семените отсюда! Вон скамейка в тени! Живо!

– Ты вредная! – сказал Мультия.

– Ты у нас слишком ласковый! Ну, кому сказано!

К моему удивлению, юнцы безмолвно ей покорились. С видом обиженным и несчастным, но без тени возмущения, они удалились в другой угол сквера. Бастинда присела рядом.

– Ты мне так и не сказал, кликуха какая у тебя?

– Кликухи нет, а зовут – Никеша.

– Никеша? Попсовое имячко. На чем торчишь?

– Торчу? Кайф ловлю, значит?

– Кайфуют одни алкаши. Торч твой в чем заключается?

– Торч? Наверное, в искусстве... Художник я бывший.

– А я думала, тебя привел кто-нибудь из наших...

– Кто ж это – ваши?

– Мы? Мы хорошие. Ты на голубеньких не смотри, это приبلудные, жалко их, вот и терпим. А мы дети чистые – от мнения торчим!

– От мнения? Это как же?

– Проще простого. У меня флэт рядом с Московским вокзалом, окнами на дрожку. Собираемся, садимся вокруг окна, и секем. Если долго глядеть, приход огромный. Как от самой крутой масти!

– Что ж это за дрожка такая?

– Дрожка? Ну, табло у Московского вокзала! Знаешь? «Смотрите на экранах»... Но это для тех, кто не

врубаются. Мы там разных надписей не читаем... Мы на дрожжи торчим...

– А здесь зачем собираетесь?

– Понимаешь, дрожка-то перекрыта. Сейчас белые ночи. Усек? Вот мы и сходимся в этом садике. А чтоб не скучали, раздала я детям волшебные палочки... Чтоб о дрожке не забывали, на глупости не отвлекались. Некоторые так еще круче торчат!

– Послушай! А ты им книжку давать не пробовала? Ну, для начала, майора Пронина...

Она глянула на меня сквозь очки глубоко, неожиданно пронизательно. Потом глаза ее потускнели, стали пустыми и равнодушными. – Пап-пап-пап, пар-пап, – сказала она. И прибавила, лениво растягивая слова: – Листалово? Нет, нам по кайфу дрожалово...

– Ну-ну, так держать! – хмыкнул я иронически.

– От самого, небось, за версту винищем шибает, а туда же, советы подавать! – парировала она неожиданно резко.

– Покажи палочку-то волшебную, – примирительно молвил я.

– Тоже поторчать захотелось?

– Да нет, интересно просто.

Это был обыкновенный детский калейдоскоп. Я повертел его перед глазом, с удовольствием глядя на разноцветные праздничные перемены, там совершавшиеся.

– Ну как? Нравится? – спросила Бастинда. – Ишь присосался, не оторвать!

Я отдал игрушку. – Да, пацанва, красиво живете...

Бастинда внезапно и резко толкнула меня в бок. – Ты послушай! – сказала она доверительно. – Знаешь, что было? Тут вся эта хунта шабила, кололась, на колесах сидела! Такие были прихваты, что ой-ей-ей! А сейчас? Покупай глазелку за семьдесят пять копеек и наслаждайся! Дошло?

– А ты штука совсем не простая! – подумал я. Везет мне сегодня на миссионеров... – Значит, клин клином? – спросил я, усмехаясь.

– Значит, что так! – сурово ответила она. – Хочешь, я тебя с кадриком познакомлю? Самый настоящий втянувшийся плановой. Он тебе порасскажет, что у него к чему. Тогда и рассудишь, как лучше, так или эдак. И, не дожидаясь, крикнула сидевшему в отдалении, испитому на вид мужчине:

– Эй, Стеба! Иди сюда!

Тот молча поднялся и понуро приплелся к нам. Выглядел он нездорово, одет бедно. Сел рядом не поздоровавшись, глядя в землю.

– Как жизнь? – спросила Бастинда.

– Нормально! – равнодушно ответил он.

– Ножик еще не вышел?

– Нет, слава Богу. – Он усмехнулся чему-то горько и вызывающе.

– Расскажи, что у вас такое с ним получилось. Может, я помогу, помирю вас, мы ведь с ним в норме...

– И мы не ссорились.

– Не ссорились, а сам невеселый ходишь. Ладно, давай рассказывай.

– Как хочешь, скрывать тут особо нечего. – Он поднял голову, и я увидел, что у него ослепительно голубые глаза. Подержав меня с полминуты в их интенсивном и чистом сиянии, поерзав, усаживаясь поудобнее, он рассказал:

– Они тут прозвали меня – Стебок. Стебок, чекануха, и пыльным мешком ударенный. Есть с чего стебаться...

Значит так: Верка влюбилась в Ножика. И до того она, дура, в него влюбилась, просто по-черному!

Ножик живет один – у него комната в доме на Владимирской, вход со двора. А что значит – вход со двора? Это значит, пока мимо мусорных баков, да по дощечке через канаву, да мимо топольков с обломанными ветка-

ми, да по вонючей крутой лесенке доберешься, весь торч поломаешь. Однако к нему ходили, – все же своя комната, опять же парень он добрый и компанейский, если, конечно, ему не перечить. Да попробуй, попри на него – Боже избави! Ну, все его этот недостаток знали и обходились с ним вежливо. А так – он кентуха что надо, последним поделится.

Вот за это Верка, видать, в него и влюбилась. Нагляделась, как он над Гендриком хлопотал, из припадка его вытягивал, холодное полотенце ко лбу прикладывал, и кранты. – Добрее Ножика, – говорит, – никого и на свете нет. – Это про Ножика-то! Ну, бабы!

Я-то до них давно равнодушный, мне б подкурить или, на худой конец, чайку крепенького – полежать, в потолок поглядеть, как бегут по нему облачка розовые, величальные облака...

Он немного помолчал, откашлялся и продолжил задумчиво: – А колоться я не люблю. Приход с того сильней, не возражаю, но как-то больницей отдает это дело, шприц дрожит отвратительно...

Ну вот. С того самого случая с Гендриком стала она ходить на Владимирскую. – У тебя, говорит, не прибрано, Ножичек, – давай хоть пол подмету... – Да брось ты, одна только пыль от этого! – А я, отвечает, водичкой побрызгаю, и ништяк. – Так и кружила она по комнате несколько дней, пока он терпенья не потерял. – Знаешь, – говорит ей, – кончай ты это кружение и мельтешню – наркота ведь народ ехидный, в кулачок прыскают. А если уж так тебе хочется, приходи ты ко мне пораньше, чтоб людей не смешить, – и занимайся.

Я примечаю: она к нему ходит. В комнате стало чисто, на столе – салфеточка с вазочкой. Гендрик однажды, под планом, хотел в эту салфеточку высморкаться, да Ножик не дал. – Не тронь, – говорит, – не тобой поставлено! – И так поглядел на Гендрика, что тот, хоть и обкуренный, растерялся.

А в остальном все по-старому. Придет она позже к вечеру, подшабит и на Ножика пялится. Умора, ей-Богу. Ну, мне-то что, я человек безобидный...

Прошло пару месяцев. Однажды, когда народу собралась полная комната, Ножик встает из-за стола и говорит: – Вот что, гаврики. Верка у нас курить завязала. Она обращается к новой жизни, идет работать на фабрику Ногина упаковщицей. Сами засеките и другим передайте: если узнаю, что кто-то из вас поделился с ней дурью, – я из того черепаху сделаю. Усекли?

– Усекли, говорят, Ножичек, не заводись. Нам-то курнуть можно? Или сбегать на угол за мороженым?

– Цыц! – говорит Ножик. – Курите себе на здоровье, да со мной поделитесь, я на нуле.

– Это всегда пожалуйста, нам не жалко... – Так и пошло.

И все б ничего было, кури не кури, кому какое дело, если б не этот дурацкий случай.

Значит так: идем мы с Ножиком и Веркой по Владимирскому проспекту, солнце не светит – пасмурно. Время еще не позднее, однако какой-то шкет лежит, загорает рядышком с урной – до бровей налился.

– Постой, да ведь это Серега! – говорит Ножик. – Я ж его мать хорошо знал, она к моей забегала, когда еще та живая была! Знаю, где он живет – на Стремянной. Давай-ка его оттащим до хаты.

Ну, давай. Только мы за шкета этого взялись – откуда ни возмись товарищ майор Половинкин на горизонте. – Вы куда? – спрашивает.

– Да мы вот знакомого до дому доставляем! – отвечает ему Ножик.

– До дому? Это вы-то до дому, проходимцы? Небось, разденете в ближней парадной? Знаю я вас.

– Зря обижаете, товарищ майор! – отвечает ему Ножик. – Что было, то уж прошло. Я его матку хорошо знаю. А он – пацан смирный, только зеленый еще.

И все б ничего, уговорили бы майора, да вдруг ПМГ подваливает. Оперативные, сволочи, когда не надо. Выскакивают оттуда двое сержантов штампованных и к майору, мол, в чем дело, да что прикажете.

– А вот тут пьяный в общественном месте, ответите его куда следует! – говорит товарищ майор (своих застеснялся, должно быть, принципиальность показывает). – А то, говорит, непорядочек у нас получается!

Тут, как на грех, Верка высунулась. – Отпустите его с нами, пожалуйста, он в двух шагах проживает!

– Ну, ты-то молчи, такая и растакая и подзаборная! – грубо отвечает ей Половинкин. Видно, здорово им начальственный дух овладел.

Я гляжу – Ножик завелся. Только хотел шепнуть, мол, хладнокровнее, Ножик, сдержись! – а он возьми да и врежь начальнику между глаз!

Тут его штампованные крутить стали крестьянскими своими ручищами да в машину заталкивать. А в машине – третий на стреме, Ножика принимает. Затолкали, и слышны оттуда глухие удары.

– Ну ты, доходяга, – говорит мне товарищ майор, потирая ушибленный лоб, – помоги алкаша погрузить!

Что делать, пришлось, плача от внутренней боли. И ведь не погнушался, скотина, майорские руки свои марать, лично пьяного в машину забрасывать. Да уж он такой, давно известная птичка. Поглядел на бледную Верку, и говорит: – А ну, и ты полезай, шалава! В отделении разберемся!

– С удовольствием! – отвечает она вызывающе, и бледная, нехорошая улыбка у ней на губах.

Меня они не забрали – места свободного, что ли, не оказалось. Стою я на Владимирском, чую: ноет мое сердце, томится, плачет по травке. А травки – ни косяка! Нечем избыть мне свою тоску!

Весь вечер слонялся я по знакомым, просил у них дури. Ну, да плановые народ такой: есть у тебя – угощать лезут, а нет, так не выпросишь – все ж, отвечают,

товар дорогой, дефицитный. Ну, взял я большую серебряную ложку, которую я берег – мне ее подарили на счастье, когда я родился, и снес на Кузнечный рынок, загнал какому-то азиату за три рубля. Хана мне без ложки заветной, думаю, ну, да уж все одно. Бегал-бегал, все же добыл косячок. Несу домой, к сердцу его прижимаю, вот, думаю, и лафа. И вдруг – Верку встречаю на перекрестке, только что отпустили.

– Ну, как Ножичек? – спрашиваю.

– Дали, – отвечает, – пятнадцать суток. Падлы! – кричит, плачет, прямо у меня на плече. Ну что с бабьем сделаешь?

Поутихла, и мне говорит, а сама дрожит вся: миленький, говорит, голубчик и зайныка, – курнуть у тебя не найдется?

– Да что ты, – отвечаю, – окстись, Ножик давать не велел!

– Прошу тебя, – говорит, – заклинаю во имя Бога живого – дай покурить! И где она таких слов наслушалась...

Ну, и отдал я последний свой, с трудом добытый и радостный – косячок. Сам же и зарядил беломорину. Посадил в скверике на скамейке и сунул ей – на, кури. И таким вкусным и страшным дымом от нее веет, что стало мне, братцы, невмоготу. Да ничего, перемогся – пошел домой и лег спать.

А они говорят – «Стебок», «чекануха». Тебя теперь Ножик со света сживет, дай ему из отсидки вернуться! Ты его слово знаешь!

Вот я и хожу невеселый, сутки считаю. Восемь суток он уже отсидел.

.....

Мы долго молчали. Потом Бастинда протянула ему картонную трубочку и сказала с выражением простой бабьей жалости: – На, поверти, авось, приторчишься... И полегчает...

Тут рассказчика взорвало. — Да на кой он мне нужен, твой перископ! — злобно выкрикнул он. — Что я, вообще контуженный?

Она потерянно замолчала. Мы снова посидели, друг друга как бы не замечая, думая каждый о своем. Наконец, к ней вернулась обычная самоуверенность. — Ну, сделал выводы? — спросила меня Бастинда. — Врубашься что к чему?

— Мне трудно судить, у меня ведь свои разборки, не хуже ваших. Одно скажу тебе твердо — пить я сегодня бросаю, и навсегда. Так что лихом не поминайте.

Уходя, я оглянулся. На скамейках, пятнистых от солнечного света, сидели развеселые юнцы и юницы. Они задирали головы к небу, глядя на него сквозь свои волшебные трубочки, и на их свежих лицах трепетали проникшие сквозь листву живые небесные блики. Только Бастинда сидела нахохлившись, невеселая, напряженно о чем-то думая...

Я вышел на Мойку. Темная вода ее была кое-где покрыта матовыми участками дневной пыли, между которыми стройно возносились изумительные фасады питерских зданий. Некое специфическое блистание, свойственное пространствам города — днем и среди белой ночи, — пронизывало окружающий оком. Гранитный парапет на той стороне реки был затенен и оттого чуть таинствен. Немного подальше переходил он в глубокий тоннель Синего моста. Под мостом молотил мотор низкой барки, оттуда доносились какие-то невнятные крики. Мною овладело легкое беспокойство, и я испуганно понял, что свидетельствует оно о приближающемся похмельи. Но мне не суждено было сосредоточиться на этой трагической мысли. От высокого крыльца с чугунными стоечками порскнул мне прямо под ноги и, рассыпавшись, превратился в миниатюрную девушку, потирающую ушибленную коленку, пестрый комок. Я замер, до крайности удивленный. Довольно-таки странное зрелище представляло собой это юное

существо. Голову его венчала допотопная шляпка из велюра с подколотой вуалеткой, которую украшали несколько выцветших иммортелей. Руки до локтей были затянуты желтоватыми лайковыми перчатками. На груди красовалась огромная бриллиантовая брошь в виде подковы. Довершали одеяние высокие остроносые ботинки.

– Чем стоять-то, как увалень, могли бы и помочь даме подняться! – бросила незнакомка, стирая грязный след на щеке вместе с густым слоем румян. Другая щека так и оставалась наруганной.

– Истинно так. Извините, я несколько растерялся... Позвольте вас отряхнуть...

– Позволяю. Только осторожней, здесь кружева... А я, между прочим, по вашу душу...

..... ?

Удивлению моему не было предела. Я мог бы поклясться, что вижу ее первый раз в жизни.

– Чем могу служить? – спросил я как можно мягче.

– Поднимемся к нам, если не трудно. Я живу в четвертом этаже... Там я вам все объясню.

– С удовольствием!

Резная тяжелая дверь захлопнулась за нами, погрузив в прохладное, полутемное после яркого дня чрево парадной. Тянуло сыростью откуда-то из подвала. Тяжелые лепные карнизы, голландская печь с оторванной дверцей, медные шишечки перил свидетельствовали о том, что некогда в этом доме селились люди богатые. Традиция эта, по-видимому, соблюдалась и поныне – прихожая в квартире у незнакомки была убрана весьма презентабельно.

– Можете снять свой плащ! – небрежно бросила она. Тут я несколько приуныл и замешкался, ибо проведенная на замусоренном полу ночь, конечно, не украсила моей и без того нешикарной одежды. Плащ я все-таки снял – иного выхода не было.

– Привела? – раздался из комнат надтреснутый старческий голос.

– Да, дед, мы сейчас! – ласково отвечала юница.

Мы вошли в комнату, где царствовала тяжелая ампирная мебель карельской березы. Светлые ее панели ощеривались вдруг грифоньими клювами; львиные разверстые пасти зияли из-под мраморных прессов консолей, орлиные лапы столов и кресел впивались в паркет цепко и угрожающе. На одной из консолей, рядом со мной, стояли бронзовые часы, где Смерть в складчатом тяжелом плаще, покрытом блестящей темной патиной, острила косу о мраморное точило. Я машинально крутнул его ручку. Тут же раздался прозрачный бой, и часы заиграли – тилинь-тилинь – какой-то волшебный и опасный мотив. Я смешался.

– Извините, – сказал я в пространство и увидел в углу за письменным столом огромного седовласого старика, глядевшего на меня из-за кустистых бровей строго и вопрошающе.

– Молодой человек, не отвлекайтесь! – с достоинством вымолвил старец. – Я имею задать вам один вопрос: – почему все мы хорошо знаем, что Мольера зовут Жан-Батист, а имени Вольтера не помним? Или вы-то как раз помните?

– Ну, – мямлил я, напрягая последние ресурсы своей, весьма неглубокой, учености, – ну, помнится, дю Белле звали Иоахим, стало быть...

Старик тем временем что-то крестиком пометил в своих бумагах, лежащих кипюю на столе, и, не дав мне закончить вконец измучившей меня фразы, бросил величественно: – Благодарю вас. Не смею задерживать. Остальное вам объяснит Мария Николаевна...

Несмотря на отчетливое пожелание старца, я остался стоять, как прищипленный. Дело в том, что мое внимание привлек, и неотрывно удерживал, старинный дагерротип в лакированной рамке, висевший над столом. В юной женщине, на нем запечатленной, я узнал...

Зину! Она стояла на фоне садового боскета, в белом кружевном платье, отставив ногу в остроносом блестящем ботинке, опираясь на длинный белый же зонт с костяной ручкой. У ее ног примостилась пушистая маленькая болонка. Глаза Зины были очень печальные; никогда я не видел у нее вживе столь примиренного и вместе с тем безнадежного выражения...

Старик заметил, что портрет меня заинтересовал. Важно кивнув в его сторону, он промолвил неторопливо: – Моя первая жена Зинаида. Умерла в одна тысяча восемьсот четырнадцатом, по двадцатому году... Вам она кого-то напоминает?

– Н-нет, – ответил я неуверенно, а потом уже тверже, – нет-нет!

– Ну-с, тогда следуйте за Марией Николаевной. Да, вот что, Маша, позаботься, чтоб молодого человека ублаготворить... Ну, ты меня понимаешь.

Последнюю фразу я счел довольно-таки бестактной, но препираться с главою семьи в его доме счел бестактностью еще большей и, не промолвив ни слова, вышел вслед за Марией Николаевной.

– Мой дед – доктор психологии! – прошептала она с горячностью. – Он выдающийся человек и к тому же рыцарь, да, рыцарь! Понимаете, что это значит?

– Несомненно! – сухо отрезал я.

– Сомневаюсь! – не менее сухо отвечала она. Я уже готов был совсем разобидеться и покинуть сие странное обиталище, но мы уже оказались в темном коридоре, где, перегораживая его наполовину, стоял огромный платяной шкаф.

– Милый сэр! – сказала девушка грудным голосом, – помогите леди задвинуть сей шкаф в приличествующую ему нишу! Он не тяжелый, поверьте, там уже все разобрано!

Делать нечего. Я стал двигать в сторону ниши это увесистое сооружение. Девушка мне помогала или думала, что помогает, но больше льнула к моей спине

острыми маленькими грудями, обдавая возбуждающим запахом молодого чистого тела вперемешку с какой-то изысканной парфюмерией. Легкие касания ее рук казались хоть вроде бы и случайными, но целенаправленно-возбуждающими, так что, несмотря на их настораживавшую судорожность, привели меня в довольно-таки злчное состояние духа. Когда с задвиганием шкафа было покончено, мы стояли друг против друга уже весьма разволнованные.

– Да, еще полки надо расставить! – неуверенно прошептала она. – Ползайте вовнутрь... – И как только я оказался в просторной глубине шкафа, дверца его вдруг затворилась изнутри, и меня облепили жадные и горячие члены молодого и страстного существа.

– Ланцелот, приди ко мне, Ланцелот... – шептала она со все возрастающим возбуждением. Не стану описывать подробностей моего пребывания в шкафу, скажу только, что все в этой птахе показалось мне настолько родным и знакомым, что, когда дело подходило уже к моменту безоговорочного слияния, я невольно прошептал: – Милая... Зинаида...

Я даже и помыслить не мог, что моя, в общем, конечно, непростительная оговорка вызовет столь бурную реакцию. Я вдруг оказался решительным образом отринутым, маленькие острые кулачки били меня по плечам, и голос, полный горечи и отчаяния, восклицал:

– Зинаида! Всегда Зинаида! Злой рок преследует меня!

– Помилуйте, Мария Николаевна! – воскликнул я в неумелой попытке хоть как-нибудь оправдаться, – вы меня неправильно поняли!

Но, увы, все было кончено. Она вытащила меня за руку на свет Божий, и уж не знаю, какая из ее щек была ярче: нарумяненная или та, с которой румяна были недавно стерты, но которая горела от возмущения. Уж и не помню, как я вырвался из этой болезненной, я бы сказал, ситуации. Обрел я себя боязливо шагающим

мимо величественного здания горсовета. Рука моя машинально, но цепко сжимала горлышко портвейной бутылки. Я поглядел на этикетку. Так... Опять «розовый». Стало быть, в город завезли крупную партию... До чего же я докатился – со мною уже расплачиваются натурой! Что ж, по Сеньке и шапка!

– Что за странный день сегодня! – размышлял я в раздражении. То какие-то вещие сны, то мистические ханыги, или вот, нате вам, сумасшедшие какие-то аристократы с довольно-таки сомнительными наклонностями... Ну зачем, почему случилась вся эта неожиданная нелепость? При чем здесь шкаф? И при чем здесь Зина? Или то, что я широко грешен и отчаянно сластолюбив, и без того мне не известно? Что за шутки? Поймать на улице... Заморочить вопросами... Соблазнить, и отринуть! Морок, морок все это, морок! И я вдруг затосковал по своей оставленной, в лучшие годы добытой мастерской. Даже проплешины отлепившейся штукатурки на наклонном потолке моей милой мансарды, забранные крест-накрест, по-старинному, тонкою, побуревшей от времени дранкой; печные трубы за окном, пусть уж и не курящиеся давно оставленным дымом; трехногий топчан, поддержанный с одного угла в стопку сложенными кирпичами, показались мне милыми и влекущими. Подойдешь к мольберту, прицелишься, кинешь мазок на грунтованную холстину, и стоишь, долго всматриваясь, машинально прислушиваясь к гуденью водопроводных труб в коридоре. И такая на душе приподнятая тишина, не знаю, поймут ли меня, именно приподнятая, именно тишина, беспорочная, творчая! И не нужно ни бормотухи, ни баб, ни заказов, чреватых крупной капустой, ни каких-нибудь там даров и отличий – ни черта! Только Оно окружает тебя, Оно, лишенное свойств, но бездонно глубокое и единственно сущее... Может, вернуться к себе, в милую свою мастерскую, и начать новую жизнь? Впрочем, куда девать портвейн «розовый»? Не выбрасывать же его, право

слово, в то время, как сохнут губы и начинает побаливать голова. Впереди как будто пивной ларек... Там и вдену.

Я подошел к ларьку, примостившемуся прямо у парапета. Пьющие пиво расступились передо мною, пропуская в конец очереди, с уважением поглядывая на бутылку, отодвигавшую плащ на груди и казавшую белое горлышко из-за пазухи. Тем временем солнце, еще видимое из-за крыш и густых старинных тополей, которые вместе с рекой поворачивали куда-то, сбавило силу. В его свечении появилось что-то темное и тревожное. Было еще около четырех часов дня, но неуловимый перекося в сторону вечера уже состоялся. В торжественном и неизбывном каком-то оцепенелом молчании ожидали пьющие своей очереди. Красные воспаленные лица, трясущиеся руки, глаза, застывшие в созерцании внутреннего опустошения, которое приносит человеку похмелье. Здесь были люди разных возрастов, по-разному одетые: служащие в костюмах и с портфелями, рабочие в робах, ханыги в разнокалиберном поужлом тряпье. Обычных в подобном месте споров, смешков и словечек было не слышно. Лишь некто, совсем уже сломленный опьянением, сидевший прямо на земле, прислонившись к боковине киоска, бормотал нечто нечленораздельное, монотонное, иногда вскрикивая, что придавало всей обстановке оттенок некоей забубенной, немыслимой литургии.

У продавщицы пива я разодолжился мутным, захватанным граненым стаканом, вскрыл бутылку ключом, налил до полна и, преодолевая отвращение, выпил. Примостился я между ларьком и перилами набережной, среди набросанных пробок, окурков и оторванных рыбьих голов, глядевших на меня своими подвяленными глазами слепо, но осуждающе. Пятна сдутой и высохшей пены шелушились вокруг. Выбрав местечко почище, я поставил бутылку на гранитную плиту набережной. К воде слетела белая чайка, что-то подхватила с поверх-

ности и, оставив за собой слабые расходящиеся круги, улетела.

– Говорят, птицы – это воплощения чьих-то умерших душ, – думалось мне. Может быть, эта чайка есть Александр Блок, реющий над своим оставленным домом? Ведь он жил тут где-то неподалеку... Странная мысль. Кабы знать, что я сделаюсь хоть бы чайкой, буду сновать, галдя, в кильватере какого-нибудь туристского теплохода, и однажды увижу на палубе счастливую, кем-нибудь крупным за плечо обнимаемую Зинаиду, и на звонком своем языке крикну им: «Так держать!»

Если б знать достоверно, что будет так! Как облегчило бы мне это знание предполагаемую процедуру! Ведь меня, по сути, ничто уже не удерживает, кроме распитой на треть бутылки. Умереть, не допив, это пошло. Алкогольная общественность, болтливая и въедливо-любопытная, как и всякая, впрочем, иная, узнав об этом, меня, безусловно, осудит. Так и чудится мне телефонный звонок от «А» к «Б»:

– Слыхали новость, глубокоуважаемый? Никеша себя утопил.

– Да ну, что вы говорите? Каковы же подробности?

– Да вот оставил на парапете недопитую бутылку, а сам...

– Недопитую? Что ж это мог он не допить? Не представляю. Ах, портвейн «розовый»? Молдавского производства? Ну, это, конечно, не ереванский коньяк, но чтоб не допить... Нет, извините, сознавая всю горечь утраты, должен я вам сказать... Да-да, он всегда был немножко со странностями... Что вы говорите? Прекрасная мысль! Надо помянуть бедолагу. Что? Да немного. Увы, с копейками рубль... Да-да, на углу... Нет, ей-Богу, он меня удивил!..

Вот такой приблизительно разговор припомнился мне, когда я глядел на оставленные чайкой расходящиеся круги. С трудом оторвав взгляд от воды, я поднял бутылку и налил себе еще.

Второй стакан, будучи выпит, возымел эффект неожиданный. Когда я докурил сигарету, взятую у кого-то из пьющих пиво соседей, и поднял голову, небо будто ножом полоснули: алые и бурые внутренности стали медленно вываливаться из его голубого брюха и оседать на печные трубы далеких крыш. Меж ними, прямые, словно прожекторные стволы, падали в разных направлениях зловещие солнечные лучи кровавой масти. Дым от автомашин, курившийся над Поцелуевым мостом, приобрел некий угрюмо-багровый оттенок. Я опустил голову. — Улба-лба! — сказал я себе. — Каж-ца, каж-ца. Мостовая стала вдруг непослушной, изрытой, неровной. Я поднял бутылку и, затыкая ее пробкой, огляделся воинственно — не хочет ли кто отнять. Никто, кроме вот этого... он ушел. Я посмотрел на реку. Вода уже достаточно остудилась и стала студнем. — Невкусно! — подумал я, и меня слегка затошнило. Я ушел от реки. Люди на улицах были угрюмые, полусонные. Иностранец снимал кино через щелку. Девушка, глядя в карманное зеркальце, мазала губы. Она шлюха. Они шлюхи все до одной. В тени забора было холодно и полутемно, и чёртовы неотвязные тополя булькали мелкой листвой. Тополя, тополя... песня. Кто-то хотел меня утопить. Ты, что ли, мастер? Да пуст мой карман, зря трудишься. Что, съел? Ну, то-то, знай наших! Надо еще вы...выпить. А? Бутылку уперли, падлы. Ну и город, одни ворюги...

Теперь поворот направо... Куда это я? Что-то холодно. Эк меня. Бррр. Значит так, где я и сколько времени. Долго я путешествую. Я же шел вдоль по Мойке. Вон же она виднеется. Кажется, я был в отрубе. Надо же — автопилот сработал. Ушел же отсюда и снова здесь. Значит, так надо.

Меня знобило. Сильно тянуло по малой нужде. Я прошелся по набережной, ища подворотню потемнее. Забрел в какой-то узкий угрюмый двор. Примостился между кирпичной стеной и высоким бетонным основа-

нием стальной трубы, косые распорки которой делали ее похожей на баллистическую ракету. Когда я вышел оттуда, мне в глаза бросились высокие, сумеречно освещенные окна какого-то длинного одноэтажного строения. На дверях висела табличка с крупной, плакатным пером выведенной надписью. Я подошел поближе. Сознание вернулось ко мне почти полностью, так что надпись, которую я прочитал на дверях в полутьме раннего вечера, удивила меня:

У Ч А С Т О К «ПАЛЕРМО»

и чуть ниже буквы помельче: (открыто по техническим причинам).

Недоуменно рассматривал я обыкновенную казенную дверь с натеками серой масляной краски. – Открыто... – подумал я. Значит, можно войти? Тут же за дверью раздались голоса, она приотворилась, и ко мне на булыжный двор вышли какие-то двое, оживленно переговариваясь.

– Надо увеличить давление эзотеры, – сказал тот, что повыше, снимая с локтей нарукавники.

– Подкрутить шестигранник?

– Ну, ясно, что не пентакль! – ответил тот, что с нарукавниками, засовывая их в портфель, и расхохотался. Не переставая смеяться, он внимательно и отчужденно глядел на меня, и, рассмотрев его лицо, я заметил, что нос его, необыкновенно бугристый и толстый, переходящий в густые брови, сделан из папье-маше.

– А ты что стоишь, голубчик? – вдруг подлетел он ко мне. – Видишь – открыто? Ну и ступай! – И он с неожиданной силой взял меня за руку повыше локтя и втолкнул в помещение. Дверь за мной затворилась; я услышал, как щелкнул сработавший замок.

– О, да в нашем полку прибыло! – услышал я веселые голоса из глубины помещения. – Давай-давай, не стесняйся! Вольф, наливай! Штрафняка ему!

Я растерянно огляделся. Помещение на первый взгляд представляло собой нутро обыкновенной газо-

вой кочегарки. Правда, котлы, стоявшие вдоль стены, не работали, но запальники – стальные длинные трубки, в которые по гибким резиновым шлангам поступал газ, были укреплены наподобие факелов отверстиями вверх, и каждый из них венчал синий язык пламени. Таких языков было много, штук десять, их неровный прыгающий свет с трудом разгонял темноту. Пахло горящим газом, пролитым вином, человеческим потом. Синий табачный дым плавал под потолком.

– Да ты ползи сюда, не менжуйся! – кричали мне из глубины помещения. – Здесь все свои, любя! В нашем учреждении сегодня сабантуй!

Я решил откликнуться на их зов. Преодолев небольшой лабиринт из чертежных досок, поставленных кое-как, вразнобой, я оказался у продолговатого бильярдного стола, на зеленом сукне которого в беспорядке валялись обломанные куски хлеба, колбасы, сыра, табачный пепел. Удивило меня то, что сыр был обгрызан как-то мелко: ровные полукружья откусов зияли небольшие, не человечески.

– А, это ты, Никеша! – обратился ко мне восседавший как бы во главе стола, заросший до глаз густою черною бородой, совершенно незнакомый мне человек. – Наслышан, наслышан... А что, иди ко мне оформителем! Не обижу... А?

Я не нашелся, что ему отвечать. – Да что это я, – сказал бородатый, – так сразу и подступаю. Вольф, сукин ты сын. Налей гостю!

Мне поднесли граненый стакан с темной жидкостью. Где-то совсем недавно я видел такие же зазубрины на венчике стакана. Я зажмурился и, сколько мог, выпил. Излишне, может быть, говорить о том, что питье было все то же – портвейн «розовый». Да, очень крупную партию этого товара прислали в наш город из молдавских степей.

– Ну, как пошло? – спросил меня тип со старушечьим острым лицом, тот, что мне наливал.

– Спасибо, нормально, – ответил я, преодолев легкую тошноту, и поинтересовался, по какому случаю праздник.

– О, да ничего особенного... Сороковины отмечаем... по нашему... гм... знакомцу! – осклабился остролицый. – Кстати, ты его тоже, кажется, когда-то знал... Его зовут Дима. Ну, художник-иллюстратор, Димитрий... Уж сорок дней, как преставился...

– Что вы говорите? – весь так и вскинулся я. – Не может этого быть! Я ж его видел сегодня утром!

– Пить надо меньше! – раздался из-за спин чей-то тонкий и злобный фальцет. Я попытался взглядом разыскать наглеца, но за кругом голов и плечей ничего, кроме пляшущих неровных теней, не увидел.

Я обратился к чернородому. – Скажите мне, это правда? – спросил я полным отчаянья голосом.

– Увы, мой друг, мужайся, но это факт! – ответил начальник, мясистое лицо которого выразило в эту минуту чувство скорбного достоинства.

– На поминки попал! – с издевкой проверещал все тот же тонкий и ненавидящий голос. Я не нашелся, что отвечать. Нежданное горе по другу юности охватило меня с такой силой, что я уронил лицо на руки и разрыдался.

– Ну-ну, успокойся, не горюй, бедный Йорик! – опустил бородатый мне на спину свою тяжелую длань, и я, содрогаясь, ощутил позвоночником его твердые и длинные ногти, – ничего, дело житейское... Покойному попросту незачем было жить... Ну, а мы, как видишь, его с удовольствием поминаем. Чем бы тебя отвлечь? Хочешь посмотреть машинное помещение? Это, так сказать, средоточие нашей деятельности. Вольф, проводи!

Вольф как-то нехорошо усмехнулся, отчего его острое лицо стало на миг еще старообразнее, и поманил меня за собой. Вытерев мокрые щеки, я отправился следом. Он провел меня в темный угол котельной, к двери,

над которой горела красная лампочка. Набрав нужный номер на замке с шифром и толкнув дверь, ввел меня в машинное помещение. Сквозь мутное запыленное окошко я, первым делом, глянул на улицу, где синели негустые майские сумерки, и узнал бетонное основание той самой трубы со следами своего недавнего пребывания.

– Смотри! – сказал Вольф каким-то торжественно-страшным голосом. Я посмотрел прямо перед собой. Сквозь узкое жерло печи я увидел слепящее пламя вольтовой дуги, а когда пригляделся, заметил – там, между двух угольных электродов вьется, шипит, пузырится и истончается в дым чахлый крысиный трупик. Дым втягивался в отверстие за электродами, которое, как я понял, ведет к трубе, только что мною виденной.

Полуослепший на мгновение, я отвернул голову от печи и спросил в ужасе и отвращении – зачем это?

– Фирма «Миазм», – ответил Вольф лаконично, но глаза его горели каким-то непонятным мне торжеством. – Участок «Палермо». Снабжаем весь город!

– Уйдем обратно, – попросил я, отворачиваясь.

– Как хочешь, – ответил Вольф лаконично. – Это нетрудно.

Когда мы вернулись к пирующим, я каким-то шестым, так сказать, чувством, отметил, что настроение за столом изменилось. Царило тягостное молчание. Бородатый глянул на меня строго и сумрачно. Он собственноручно налил стакан до краев и, поставив передо мною, коротко бросил: – пей!

– Спасибо, мне, кажется, хватит...

– Пей, тебе говорят! Ишь, невежа...

– Ну, если вы настаиваете, – ответил я, машинально озираясь по сторонам, и отпил немного.

– Он слишком много знал! – раздался все тот же издевательский голос, и я, вскинув глаза в ту сторону, откуда он прозвучал, увидел пухлое безволосое личико,

лишенное подбородка, глаза которого, встретившись с моими, изобразили комический ужас.

– Послушайте, что за наглость! – закричал я прямо в это мерзкое личико. – Кажется, всему есть предел! Я вас не знаю, и знать не хочу!

– А ты кто такой, собственно, чтобы кричать на Валюничика? – угрюмо спросил чернобородый.

– Как кто такой? – опешил я. – Вы ж меня знаете! Сами в оформители звали, оклад предлагали...

– Ну, оклада я тебе, предположим, не обещал, – насупился чернобородый. – А интересуется меня, что ты за тип, что за птица, чтоб каркать на моего штатного сотрудника?

– Что за птица? – ответил я усмехаясь. – В чайки собрался... Да вы меня, боюсь, не поймете...

– Ты, кажется, Йорик, того, в Гамлеты метишь... – угрюмо сказал бородатый.

– А хоть бы и так! – воскликнул я, возбуждаясь. На меня напало какое-то необъяснимое вдохновение. Весь этот чадный день, сгущаясь, клубясь, наподобие пьяной тучи, разразился во мне ливнем жарких речений.

– Мэчу! – воскликнул я. – Всю жизнь метил! Вы, люди служащие (кто-то бросил вослед – вот именно!), и не поймете меня совсем. А живет, бродит среди вас популяция неприкаянных душ. Странные видом, сильны они духом и провидящим зреньем! Пусть они кажутся вам, в лучшем случае, чудаками, в худшем случае – подозрительными отщепенцами. Это потому, что видят они вещи в их истинном свете, а не в искусственном и наведенном! Да, нелегко нам живется. Душе хочется распрямиться и взлететь, а ее нагружают свинцовыми чурками разных запретов, угроз, обязательств! Сколько сил уходит на то, чтобы вытеснить из души этот сор, и хоть ненадолго сосредоточиться! Как надрывается в этом ежеминутном борении весь душевный состав! Вот и бежишь в гастроном, покупаешь какой-нибудь гнусный «розовый», пьешь, чтоб забыться хоть на минуту!

– Или напросишься на чужие поминки! – задорно заметил тот, кого звали Валюнчиком, и его глаза, встретившись с моими, вновь изобразили комический ужас.

– Пусть так! Напросишься. Сущая правда – пьем на халяву! Да что – пьем. Все мы – разного рода поэты, романтики и пропойцы, не то что киряем – живем, и то на халяву, за чей-то ненужный и тяжелый счет.

– Примите, – канючим, – любезные, в вашу честную компанию. Так уж нам трезво, гнусно и одиноко. И вы принимаете... чтоб надсмеяться или убить!

– Ну, это он, кажется, перегнул, – пробубнил Вольф себе под нос. – Тут вам поминки, а не судебное заседание...

– Фи, гадость какая! – воскликнул Валюнчик, деловито распаковывая пакетик бритвенных лезвий. Он стал раздавать лезвия, прямо в бумажках, обходя всех присутствующих, приговаривая: – Это – тебе... Это – тебе...

– Вот что, други! – сказал чернобородый, вставая и засучивая рукава. – Мы, кажется, ошиблись в этом субъекте. Думали, что он наш, а он... Одним словом, пора мочить, а?

И вдруг с треском стул отлетел у меня из-за спины, по потолку рванулись в мою сторону черные тени, я был схвачен десятком рук и опрокинут, так что лопатки мои воткнулись в твердый бетонный пол. Я тяжело дышал, силясь вырваться. Тут, не выпуская меня, клубок разомкнулся, и я увидел, как торжественным аллюром, с бритвой в руке ко мне вышагивает гладколицый. Он подмигнул мне заговорщицки и кивнул чернобородому. Тот своею сильною дланью схватил меня за подбородок, еще сильнее задрал его, и мое сердце затрепетало вместе с огнями газовых факелов, вставших перед меркнущими глазами.

Чудовищным усилием вырвал я ноги из чьих-то лап и пнул прямо в живот Валюнчику. Тот отлетел с тонким писком. Вдруг входная дверь затрещала, по потолку

побежали сполохи от внезапного сквозняка, и я почувствовал, что свободен.

– Атас, братва! Шухер! – крикнул чей-то высокий и сиплый голос, точно петел пропел. Я вскочил на ноги. В помещение парами, ровно и монолитно, раздвигая путаницу чертежных досок, вливались черные гибеллины. Порскнули по углам темные тени недавних моих собутельников.

– Ваши документы! – сказал, подойдя, главный их предводитель.

– Нет у меня никаких документов! – ответил я с сердцем, отряхиваясь и потирая ушибленные места.

– Что ж. Тогда пройдемте.

Предводитель накинуд на свою литую бронзовую голову пепельного цвета капюшон, козырнул мне и показал в сторону выхода. Я шел впереди, они вслед за мною. Выйдя из двери первым, я вдруг быстро захлопнул ее (щелкнул сработавший замок) и бросился наутек...

Преследуемый страхом, бежал я вдоль набережной Мойки, огибая провалы перед подвальными окнами, но меня, как ни странно, никто не преследовал, как будто наваждение осталось там, за дверью котельной... Я пересек Поцелуев мост и пустился вдоль темных густых тополей дальше, мимо Новой Голландии. Наконец, я остановился и перевел дыхание. На фоне бледного неба тускло горели фонари. Я обернул лицо к старым пеньковым складам, и острое восхищение проникло в мою душу. Поднося к моему разгоряченному лицу ледяной ломтик тающего пространства, поражая редким совершенством пропорций, с которым были укомплектованы сочетания темных тяжелых масс, ее составлявших, к моим глазам подступила вечная и прекрасная арка. Я долго глядел на нее в знак прощания, стараясь навсегда отпечатать в душе образ предельной и пламенной земной красоты. – Здесь! – думалось мне. Тут-то я с вами и попрощаюсь. Я напоследок взглянул вдоль набережной.

Навсегда запомнились мне ломтики сухого собачьего помета под фонарем, блестящие, как темный металл, толстые корявые кряжи тополиных стволов. Я стал быстро срывать с себя ненужную больше одежду. — Кончено! — думалось мне. Пусть это будет страшный, но и последний грех мой. И вдруг...

Из темной подворотни выбежала девочка лет тринадцати. Ее преследовали толстые мужчина и женщина, с трудом переваливавшиеся на своих толстых лапах. — Ненавижу! — крикнула девочка и, птицей взлетев на гранитную тумбу перил, бросилась в воду. — Помогите! — крикнул мужчина неожиданно мелодическим тенором, подбегая к перилам и свешиваясь в сторону воды, но прыгнуть за ней не решаясь. Девочка, видимо, обо что-то там трахнулась под водой, потому что она долго не всплывала, а когда всплыла, то двигалась вяло и бессознательно, снова медленно погружаясь. Я бросился вслед за ней, но с таким расчетом, чтоб упасть в воду как можно дальше от берега, туда, где было поглубже. Вынырнул я благополучно, ощущая на своем лице и губах липкую аммиачную вонь. Кусок девочкиного платья еще колыхался над водою. Я подплыл к ней и обхватил рукою ее бесчувственное тонкое тело. Плыть обратно, загребая одной рукой, было очень трудно. Я держал к далекому спуску. Наконец, мы приблизились. Здесь, на спуске, собралась уже маленькая толпа. Впереди всех была толстая пара, мужчина и женщина что-то кричали, размахивая руками. Как только мы подплыли, девочку вырвали из моих рук, а меня, уже вторично за вечер, схватили многочисленные цепкие пальцы. — Ах ты дурочка! — слышал я чей-то толстый плачущий голос. — Меня-то пустите! — закричал я. — Я не хочу к вам обратно, будьте вы прокляты! — Да помогите же, видите, человек не в себе! — вибрировал над моим ухом чей-то мощный убедительный бас. — Да пошли вы все на...! — крикнул я, отбиваясь. Но тут силы оставили меня, и я стал тихо терять сознание. Последнее, что я

увидел, были стройные, гармоничные массивы старинной арки, восходящие надо мною в светлеющем небе майской прекрасной ночи...

Впрочем, сознание иногда ко мне возвращалось. Меня куда-то несли, где-то клали. Кто-то подходил ко мне и брал за руку. В голове работал какой-то зуммер, так что речей я не различал. Единственная фраза, которую я слышал перед тем, как погрузиться в окончательное небытие, была произнесена деловым, будничным тоном. – Делириум тременс! – сказал мужчина, одетый в белое. – Запишите, Марья Васильевна...

.....

Вот уже месяц, как я нахожусь в больнице. Я все-таки достиг устья Мойки – психушка, куда меня поместили, находится на пересечении ее с рекой Пряжкой, при самом впадении в расширяющуюся горловину Невы, которая здесь не Нева уже, собственно, а Финский залив, море... Нет, не подумайте, с головой у меня все в порядке – отделение наркологическое. Лечат меня принудительно от любви к алкогольным напиткам.

Чувствую я себя хорошо, спокойно так. Ну, да оно и понятно – ведь и лекарства там всякие, само собой, как сказать, ну, то есть да, – успокаивающие душу...

Один только раз и поволновался – когда Зина перестала ко мне сюда приходить. Появилась она надо мной, как только я оклемался, что было совсем не сразу. Я ей обрадовался – она хорошая девушка, добрая, милая... Да... А тут вдруг пропала и перестала совсем приходить. Я как-то все томился, места себе не находил, что называется, даже, верите ли, плакал в подушку... А потом, по прошествии двух недель приблизительно, снова она пришла. Оказалось, был у нее приступ женской какой-то болезни; врачи ей сказали, что она не сможет родить. Я ее как мог успокаивал; ели мы вишни, принесенные ею с базара, сидя рядком на казенном моем шерстяном одеяле...

К Диминой матери я звонил из больницы: он умер несколькими неделями ранее – попал, что ли, под машину по пьянке. Больше ничего ни о ком не слышал, да и немудрено – город большой, и очень – всякое может в нем затеряться...

Самое мое любимое сейчас занятие – глядеть из окна. Под окном растут больничные тополя; листья деревьев уже стали летними – налились, потемнели, покрылись глянцем. Но и сквозь них видны какие-то пакгаузы, трубы, сарай, краны... И между ними – маленький кусочек восходящего, горé отлетающего пространства – то белого, то голубого, поблескивающего, несмотря на свою малость, тысячью искр при дневном сильном солнце. Это – море. Глядеть на него для меня радость и мука, ибо чудится там, за далью, какая-то светлая неземная отчизна... Как бы попасть туда, в этот счастливый край?

Май-июль 1980 г.

ЗВЯГИН Евгений – родился в 1944 году в Кировской обл., в эвакуации. Образование – среднетехническое, а потом – русское отделение ЛГУ. Работал слесарем на заводе, рабочим Эрмитажа, корреспондентом заводской газеты, научным сотрудником музея Пушкина. Долгие годы занимался археологией. Ездил в Сибирь между Минусинском и Абаканом, в Туркмению и Таджикистан, в Крым, на Псковщину. Живет в Ленинграде.

127

Не глаголица и не кириллица,
А нелепица – генеалогия
Изготовлена под палимпсест.
И не рцы и не шцы,
А билеты на жительство,
Тиражированные Гознаком.
И не враг и не рок.
Русь.

1985

128

У ней особенная статья.
Ф. И. Тютчев

Лихву в процентах – выгодность
Коллатеральных связей между
Мотонейронами – прикинув или вычислив,
Что знания ничтожней знания,
Освоить
Бег – цвета гладких мышц – на месте и –
Поличное смирение – профессией считать
И палача и жертву.

1985

129

Где милостивый государь письмо?
Где мой любезный друг записка?
Где нежное послание?
Как, (обращение), не проиграться –

То чет манит, то нечет вабит – в честь-и-нечисть?
Кто гражданина показания помянет эпитафией,
Подобной оттиску на клякспапире,
В отечестве товарища доноса?

1985

133

И-е

За тонким, толщиной в одно прикосновение губами
К открытой коже цвета лета,
И хрупким утром –
Неповторимое прозрачно –
Итеративы, терния, транспекты
И впадин битое стекло,
Так называемое отражение в зеркальных водоемах
Мерцающих над нами звезд.

1986

134

Налиествовать как орфографическое «твердо»
В несчастный час,
Когда под городом ворочается пустота
И рвутся цепи звонких окон,
Освобождая грани
От крепости углов,
А путник, соболезная владельцам штучной рухляди,
Имуществует без потерь.

1987

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Документальное повествование

4 января 1936 года. Звонил Мелик-Пашаев и сказал, что дирекция Большого театра просит М. А. прочесть им «Пушкина» и на чтение они хотели бы привести Шостаковича.

Год тридцать шестой начался очередным скандалом. В январе газета «Правда» громила оперу «Леди Макбет». Сумбур, левацкое уродство – долбила композитора газета. «Бедный Шостакович, – сокрушалась Елена Сергеевна, – каково ему теперь...» Неделю спустя «Правда» почтила композитора статьей «Балетная фальшь», на этот раз о музыке к «Светлому ручью». И снова вздохнула Елена Сергеевна: «Жаль Шостаковича».

28 января. Во МХАТ назначен «красным директором» некто Аркадьев.

Тем временем в Камергерском переулке продолжались репетиции «Мольера», и Булгаков, сорежиссер спектакля, регулярно приходил в Театр. Пьеса эта с самого начала принесла ему много огорчений. Сперва случилась неувязка с названием: Булгаков озаглавил пьесу «Кабала святош», по имени могущественной ложи ханжей и интриганов, погубивших драматурга, но, говорят, цензоры в Главреперткоме, узнав об этом, всполошились – уж не о нас ли речь?

Станиславский посоветовал назвать просто «Мольер». Но и это не помогло, запреты и разрешения приходили в Театр несколько раз. Потом начались актерские сюрпризы.

Москвин вдруг отказался от заглавной роли, заявил, что в пьесе слишком много общего с положением в его семье. По ходу действия пожилой Мольер уходит от жены к молоденькой актрисе, а Иван Михайлович как раз в ту пору разводился со своей супругой, у него был роман с артисткой МХАТа Аллой

Окончание. Начало см. в № 53.

Тарасовой. «Положения театральные часто напоминают жизненные», – отметила Елена Сергеевна. Пришлось искать Москвину замену и заново оформлять спектакль: для имени-того актера был заготовлен ворох специальных костюмов и множество эффектных декораций.

Почти шесть лет лежала пьеса в Театре. Состав спектакля дважды изменялся, и репетиции так затянулись, что Виктор Станицын, получивший роль Мольера, почувствовал себя вдруг стариком. «Я не могу играть, толстею, задыхаюсь... Мне тридцать восемь лет, а начинал я, когда мне было тридцать четыре...» Но главную сумятицу вносил в работу Станиславский, так до конца и не понявший, что в пьесе этой Булгаков занят был совсем не биографией Мольера.

Судьба художника в деспотическом государстве – вот о чем писал Булгаков и чего никак не хотел уразуметь великий режиссер. «Хочу увидеть дуновение гения», – твердил Константин Сергеевич и просил автора добавить сцену: Мольер за письменным столом, в руке гусиное перо, он сочиняет пьесу. Булгаков в изумлении молчал; как автор, он резонно полагал, что гениальность Мольера должен сыграть актер, исполнявший эту роль. Такую возможность пьеса актеру вполне предоставляла, и Станицын это превосходно уловил. Но Станиславский твердил свое:

– Человеческая жизнь есть, а взмаха гения нет... Дайте почувствовать его гениальность!

И бедный автор слушал, слушал... Все это началось год назад. Дела его в ту пору были настолько плохи, что он опять просился в актерский цех.

– Булгаков – актер! Я в отчаянии, – взмолилась Елена Сергеевна.

И в те же дни он вел неравный бой с директорами ленинградских госнардомов, утаивших его долю с кассового сбора «Дней Турбиных», и непрестанно диктовал и правил, правил и снова диктовал пьесу «Пушкин», готовясь к читке на труппе вахтанговского театра.

МХАТ вдруг прислал ему солидный счет. Вместо того, чтобы платить за просроченного «Мольера», насчитали на автора – 11.800 рублей долгу.

Но спор продолжался, и он не уступал.

5 марта. Репетиция у Станиславского. М. А. пришел разбитый и взбешенный. К. С. вместо того, чтобы разби-

рать игру актеров, стал при актерах разбирать пьесу. Говорит наивно, представляет себе Мольера по-гимназически. Требуется вписываний в пьесу.

10 марта. Опять у Станиславского. Маленький оперный зал в Леонтьевском переулке. Станиславский начал с того, что погладил М. А. по рукаву, сказал: «Вас надо оглаживать».

И снова за свое: «Не вижу гения, есть только жизнь простого человека...»

— А я, собственно, и стремился дать жизнь простого человека, — парировал Булгаков.

В конце-концов он не выдержал, слег.

Оля говорила: услышав, что Булгаков не пришел на репетицию из-за невралгии головы, К. С. спросил:

— Это у него невралгия оттого, что пьесу надо переделывать?

Нет, уж лучше он пойдет! С тяжелым сердцем заходил Булгаков в старый особняк в Леонтьевском переулке и, поднимаясь по широким половицам к стеклянной двери, гадал тревожно: какой сюрприз преподнесет ему сегодня неумный старец?

20 марта. Все это время прошло у Станиславского с разборкой «Мольера», он хочет исключить лучшие места: сцену дуэли, стихотворение... У актеров не удастся, а он говорит — давайте, исключим.

Старик упорствовал, ломал сюжет, требовал поднять Мольера, а Булгаков яростно сопротивлялся. Временами его оцепеняло желание бросить тетрадь, сказать: «Пишите вы сами про гениев, про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею». Но нельзя, нельзя было так сказать, он подавлял в себе протест и, сидя дома у дубового стола с бронзовым шандалом посередине, решал неразрешимую задачу: «Не вписывать, идти на войну, значит сорвать всю работу, а вписывать зеленые заплатки в черные фрачные штаны!.. Что же это такое? Чёрт знает, что делать!» Казнь египетской стал для него этот спектакль, и, возвращаясь из старого особняка под липой, где на столе всегда кипел самовар и угощали вишневым вареньем, он говорил жене:

– Представь себе, что на твоих глазах Сергею начинают щипцами уши завивать и уверяют, что так и надо, что чеховской дочке тоже завивали и что ты это полюбить должна...

Никак не мог он это полюбить. Обескураженный, он снова шел в Леонтьевский переулок, спорил, убеждал: «М. А. измучен, три часа торговались...»

А Станиславский тем временем уже отдал распоряжение: все костюмы к «Мольеру» делать из бархата и парчи. Трагедию королевского комедианта он явно вытягивал на пышный гала-спектакль: «Чтобы все сияло, как солнце!»

1 апреля. Вчера М. А. пригласили в Партком на обсуждение «Мольера». Малютин, секретарь, говорил, что надо разобраться, что это за пьеса и почему она так долго не выходит... так же о том, что «мы должны помочь талантливому драматургу Михаилу Афанасьевичу Булгакову делать шаги»... Заседание было длительное, сперва с исполнителями, потом их удалили.

Когда репетиции дошли до финала пьесы, до гибели Мольера, замечательный разговор состоялся у Станиславского с Николаем Горчаковым, постановщиком спектакля.

– Так, – молвил Ка эс, – разберемся, что у архиепископа есть в последнем акте?

– Там только одна фраза: «Смерть застала...»

– И на этом заканчивается пьеса?

– Нет, там еще есть несколько слов у Лагранжа.

Задумался Константин Сергеевич.

– Закрывается... занавес... король ушел... Ложи опустели... Появился Лагранж...

И вдруг поворот к Горчакову: «А как это будет идеологически?!» Тонет финал, тонет... И Горчаков бросает спасательный круг: «Возможен и такой конец: темнеет, все расходятся. Сцена поворачивается, сидит Бутон, приходит Лагранж и записывает. Это будет эпический конец».

– Нет, это будет слишком пессимистический конец.

– Да... скажут, академический конец, – согласился Горчаков.

И тут Станиславского осенило:

– А что, если после слов архиепископа Лагранж скажет: «Он умер, но дело его...»

– Великолепная идея! Не мрут дела, не мрут, – подхватывает Горчаков. – Есть лозунг... – жарко продолжает он, но, взглянув на учителя, быстро угасает и как-то вяло говорит:

– А то можно закончить, как Кин: «Закатилось солнце...» Помолчали. И Станиславский вернулся к своей теме.

– Он умер, – задумчиво сказал Ка эС, – но слава и творения его живут... По-моему, это неплохо. Если выдержать эту линию, то получится хорошая пьеса. Булгаков много себя моментами обкрадывает...

По случаю или по счастью, Михаил Афанасьевич в тот день отлеживался дома и сцены этой не видал, она дошла до него в виде короткой выписки из протокола репетиций, которую кто-то вежливо и незаметно вручил Елене Сергеевне в антракте «Мертвых душ».

Булгаков прочитал, и кровь, не театральная, настоящая кровь, текшая в его жилах, хлынула в сердце. Нет, больше так не будет – всему есть предел! Ведь так всё просто, всего-то несколько слов надо написать – и конец мученьям. К столу, мой Мастер, и кончим это дело навсегда!

Многоуважаемый Константин Сергеевич!

Сегодня я получил выписку из протокола репетиций... Ознакомившись с ней, я вынужден категорически отказаться от переделок моей пьесы...

Если Художественному Театру «Мольер» не подходит в том виде, как он есть, хотя Театр принимал его именно в этом виде и репетировал в течение нескольких лет, я прошу Вас «Мольера» снять и вернуть мне.

Увидав это письмо, Елена Сергеевна пришла в ужас: «Они сбросят спектакль, сбросят!» – «Всему есть предел», – повторил Булгаков. Действительно, он сильно рисковал, но, видно, знал, что делал.

Станиславский сдался. «Играйте так, как есть», – сказал он растерявшимся актерам и, затаив обиду, стал отходить от пьесы. Больше Булгаков его не навещал, и «Мольер» навек ушел из старого особняка в Леонтьевском переулке.

Все дело перешло на сцену МХАТа, и актеры, надеясь, что в последний раз, стали выверять на слух заученные роли. «Репетиции идут по основному тексту М. А.», – с облегчением

отметила Елена Сергеевна. И немного погода добавила: «Оля сказала – у К. С. пьесу отбирают, но я не думаю – наверное, старик обозлился и сам отказался».

Нет, на этот раз она была неправа, не было злобы на душе у старого актера, досада, горечь неудачи – другое дело, но злости Станиславский не питал и, как ни спорил, на одной из последних репетиций все-таки признал: «Это пьеса хорошая, превосходная пьеса». И этим всё сказал. А через месяц тучи над «Мольером» просветлились и, наконец, наступил совершенно ослепительный день.

28 мая 1935 года. По займу выиграли 600 рублей.

Звонил Танин – у прокурора Республики дело с ленинградскими нардомами мы выиграли. Теперь, если они не подадут выше, должны вернуть нам деньги.

Третье – звонок Оли:

– Театр хочет ставить «Мольера». Не может быть речи о том, чтобы отдать пьесу. Владимир Иванович просит, чтобы я согласилась на срок (премьеры) 15 января 1936 года. Раньше невозможно приготовить. Будет ставить режиссура, не К. С.

Победа!

Что ж, Булгаков впрямь мог праздновать победу. Ставку он делал на «Мольера» весьма большую, десять лет спустя после премьеры «Турбиных», после всех запретов и ударов, хотел доказать, что он драматург, который не только пишет, но и видит свои пьесы на планшете сцены. Только один театр, после срыва в Ленинграде, ставил «Мольера», но в случае успеха в МХАТе он мог пойти по всей стране. Булгаков таил надежду взять реванш, пробиться на другие сцены, и, нечего скрывать, процент со сборов тоже волновал его воображение. Все эти годы он работал даром: «Бег» запрещен, книга о Мольере погибла в ЖЗЛ, роман о дьяволе не кончен, да и кто ж рискнет его печатать... Как ни крути, спектакль давал ему последний шанс выбраться наверх. На этот раз он так был убежден, настолько верил в свой успех, что, весь в долгах, занял у Ермолинского деньги на меховую шубу для жены.

Но деньги уже сулил и Театр. Чувя, что автор вот-вот готов забрать свое творенье, стараясь укрепиться во владении пьесой, МХАТ предложил Булгакову контракт. «Звонил Егоров: МХАТ согласился на договор на наших условиях – 6 тысяч,

срок аванса 1 июня 1936 года». На этом месте Михаил Афанасьевич всегда передавал свои дела жене.

– Как июня? – услышал Егоров ее низкий голос. – Мы говорили о декабре 1935 года! Театр должен в двухдневный срок дать мне ответ – соглашается он на мои условия или нет.

Боже, что с ним было! «Он вопил, что никто никогда не позволял себе так разговаривать с Театром, что Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу нельзя ставить ультиматумы». От телефона Николай Васильевич Егоров, финансовый властитель МХАТа, побежал к директорам... И что же? Театр принял ультиматум, и главный казначей с огорчением выписал аванс. Еще одну победу отмечал Булгаков. Похоже, его дело шло на лад.

Меж тем, репетиции набирали скорость, и Горчаков с Булгаковым почти всю зиму ежедневно встречались на сцене мхатовского Филиала. Под Новый год в спектакль включился сам Немирович, прошла с успехом генеральная прокатка, и наконец наступил долгожданный день. Пятнадцатого февраля 1936 года произошла премьера.

Сколько лет мы ее ждали! Зал был, как говорит Мольер, напихован знатными людьми. Тут и Акулов, и Межлаук, Рыков, Гай, Боярский. Не могу всех вспомнить. Масса профессоров, докторов, актеров, писателей. Афиногенов слушал очень внимательно, и в конце много аплодировал, подняв руки и оглядываясь на нашу ложу.

Успех громадный. Занавес давали больше двадцати раз. Очень вызывали автора.

17 февраля. 2-й спектакль «Мольера» – 18 занавесов.

В «Советском искусстве» статья Литовского о «Мольере». Злобой дышит...

На спектакле побывал Поскребышев, секретарь вождя, и, уходя из ложи, восхищенно говорил: «Прекрасная вещь, надо непременно, чтобы Иосиф Виссарионович посмотрел!» Но Сталин, так любивший посещать Театр, на этот раз почему-то не спешил.

*21 февраля. Общественный просмотр «Мольера». Успех. Буллит необычайно хвалил пьесу, называл М. А. мастером. Занавесов около 20. После спектакля Мелик**

* А. Ш. Мелик-Пашаев – дирижер Большого театра.

пригласил нас в шашлычную. Хохотали, пили чачу, веселились от души.

Да, это был успех! На сцене действовали два больших актера – король французов и его комедиант. Исход их схватки был предрешен – в таком единоборстве поэты никогда не побеждают. И Булгаков неуклонно вел прославленного драматурга к смерти, еще не понимая, что деспот собственной его страны уже узнал себя в Людовике, всесильном короле, и в сходстве том заложен приговор спектаклю.

24 февраля. Спектакль имеет оглушительный успех. Сегодня бесчисленное количество занавесов...

В мхатовской газете «Горьковец» отрицательные отзывы о «Мольере», Афиногенова, Всеволода Иванова, Олеши...

Болдуман сказал, что его снимают с роли Людовика. Лучший исполнитель в спектакле!

27 февраля. Много звонков – просят билеты на «Мольера». Актер Волошин попросил две тысячи взаймы. А у нас долгу 17 тысяч и ни копейки на текущем счету. Живем на авансы.

2 марта. К М. А. пришел Лев Славин и выразил свое восхищение «Мольером». Редкий случай с писателями... В «Правде» одна статья за другой, один за другим летят вверх тормашками.

Сегодня оттепель, весенний день.

Третьего марта, среди премьерной суеты, тревог и поздравлений, Елена Сергеевна застала своего мужа за непонятным делом: с карандашом в руке он что-то внимательно изучал на газетной полосе «Известий». Заглянув через плечо, она прочитала заголовок: «Об открытом конкурсе на учебник по истории СССР для начальной и средней школы». Вот те раз! Булгаков историограф. «Зачем тебе это?» – «Так, может, пригодится...» Неясное предчувствие томило его душу.

4 марта. К концу спектакля попали на «Мольера». Театр полон. В правительственной ложе, в полутьме, видели Литовского, который что-то писал.

6 марта. Сегодня должно было быть свидание М. А. с Аркадьевым, но почему-то было отменено...

Три недели шел спектакль, Станицын-Мольер говорил мне: «С бешеным успехом!!» Семь представлений успели дать актеры. Булгакова вытаскивали на сцену после каждого спектакля.

Утром 9 марта 1936 года он прочел в газете «Правда», что пьеса его – фальшь и клевета на великого драматурга. Отложив газету, он сказал:

– Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу».

Днем он узнал: «Мольер» снят, спектакль, назначенный на завтра, не пойдет. А вечером начались звонки из Театра: «Надо Мише оправдаться письмом в газету».

– В чем?

– Не будет М. А. такого письма писать.

– И то же по телефону – Горчаков, Марков. Все дружно одно и то же – оправдаться!

Не будет М. А. оправдываться.

Не в чем ему оправдываться.

10 марта. В «Литгазете» статья Алперса. Ляганье... Явно снимают «Ивана Васильевича».

11 марта. В «Советском искусстве» сегодня «Мольер» назван убогой лживой пьесой.

«О фальши» («Советское искусство», 11 марта 1936 г.)

«Бульварная пьеса Булгакова в угоду дешевым эффектам и „выигрышным“ ситуациям мещанской драмы исказила историческую правду... Борец против поповщины низведен до уровня мелкого актера, жалкого влюбчивого старикашки. Автор пытается увлечь зрителя пошловато-пикантной версией о женитьбе Мольера на собственной дочери... Советское искусство не терпит фальши и лжи. Мы не можем допустить игнорирование классовой борьбы... Образ Мольера искажен, снижен, опошлен...»

Как жить?

Как дальше работать М. А.?

12 марта. Письмо от Вересаева, очень доброе.

14 марта. Были опять званы к Булиту. Решили не идти, не хочется выслушивать сочувствие, расспросы.

«Бывает хуже», – утешали Булгакова друзья. Он соглашался, да, бывает, приятель его Николай Эрдман, драматург

первоклассный, поплатился ссылкой в Енисейск за пустяковинную шутку. Да один ли Эрдман! Вот только что арестован Коля Лямин, самый близкий друг. И МХАТ замучил требованием вернуть аванс, выданный когда-то в счет несостоявшейся постановки «Бега». Пришлось ему подписать новый договор, взяться за перевод «Виндзорских кумушек» Шекспира. Опять чужая вещь, да что поделаться. «Нам нужны деньги, – терзается Елена Сергеевна, – иначе без отдыха М. А. пропадет».

15 марта. Звонок. М. А. вызывает Керженцев.*

– Может ли М. А. сейчас приехать?

– Сейчас? Я хотел сейчас пообедать.

Перенесли на завтра 10.30 утра. Зачем?

16 марта. В новом здании в Охотном ряду по пропускам поднялись наверх. После некоторого ожидания М. А. пригласили в кабинет. Говорили они там часа полтора.

Керженцев критиковал «Мольера» и «Пушкина». М. А. не спорил, ни на что не жаловался, ни о чем не просил.

5 апреля. В доме нет ни копейки. А МХАТ замучил требованиями возврата денег за «Бег».

М. А. диктует исправления к «Ивану Васильевичу».

Несколько дней назад театр Сатиры пригласил для переговоров. Просили о поправках. Горчаков придумал Бог знает что: ввести в комедию пионерку положительную. М. А. наотрез отказался идти по этой дешевой линии.

12 апреля. Были на концерте у американского посла. Как всегда, американцы удивительно милы к нам. Мы уехали в третьем часу на машине, которую нам предоставил Кеннон.

18 апреля. М. А. в МХАТе. Говорил с Рафаловичем, новым завлитом, и Горчаковым о «Мольере». Хотят возобновить спектакль. Просят небольших поправок... Говорят, поспешили со снятием. Лица неузнаваемы.

Булгаков был как на качелях. Слухи, вызовы в Театр, телефонные звонки то поднимали, то вновь швыряли его вниз. Вот пробежал слухок о снятии «Турбинных», но, к счастью,

* П. М. Керженцев – председатель Комитета по делам искусств при Совнаркомех СССР.

оказался ложным. Несколько дней он чувствовал себя прескверно. В «Советском искусстве» появилась желчная статья о «Пушкине» – похоже, и эту пьесу кто-то хочет загубить. Горчаков, режиссер спектакля, зовет Булгакова на репетицию «Ивана Васильевича» в театр Сатиры. Но Елена Сергеевна останавливает его в дверях: «Зачем мучить себя? Театр мечется, боится ставить. Спектакль уже объявлен на афишах, даже билеты продавали»... Но он не выдержал, пошел...

11 мая. Репетиция «Ивана Васильевича» в гримах и костюмах. По безвкусице и безобразию это редкостная постановка. Горчаков почему-то испугался, что роль Милославского (блестящий вор – как его задумал М. А.) слишком обаятельна и велел сделать Полю грим какого-то поросенка рыжего с дефективными ушами. Да, слабый, слабый режиссер Горчаков. И к тому же, трус.

13 мая. Генеральная «Ивана Васильевича» без публики. (И это бывает, конечно, не у всех драматургов!) Смотрели спектакль, кроме нашей семьи, Боярский, председатель ЦК работников искусств, Анчаров из ЦК партии, и к концу пьесы, не снимая пальто и держа в руках фуражку и портфель, вошел в зал Фурер – кажется, из МК партии.

Немедленно после спектакля пьеса была запрещена.

И вот уже начались «пушкинские дни». Вахтанговцы, еще недавно с азартом отбивавшие эту пьесу у МХАТа, вдруг испугались. «Приехал Русланов с просьбой, нельзя ли сделать изменения в „Пушкине“? М. А. категорически отказался».

Все требуют от него поправок, переделок, театры ищут выход, не хотят терять Булгакова... А Булгаков? Что ж, Булгаков уже не верит ни театрам, ни самому себе. «М. А. не верит ни во что!» В гостях у Ермолинского он долго слушал разговоры, потом отозвал хозяина: «Я погорел, Сережа... Да, погорел... Так ты возьми, пожалуйста, эту шубу в уплату долга». Ермолинский его пристыдил. Дома он долго не мог вернуться к своему столу, ходил с Еленой Сергеевной по зеленеющим дорожкам Ново-Девичьего поля и все думал, думал: куда же ему теперь?

С «Мольером» Театр не спешил, спектакль снял сам Станиславский, и Булгаков понимал, что запрет останется надолго. Горчаков уговаривал его написать две-три новых сцены. «Запятой не переставлю», – отвечал Булгаков. В Ху-

дожественный театр ходить ему было все труднее и труднее.

– Кладбище моих пьес, – сказал он жене.
Спустя полгода он принял важное решение.

М. П. Аркадьеву, директору МХАТ

Дорогой Михаил Павлович,
обдумав окончательно вопрос, по которому мы с Вами беседовали, я пришел к твердому заключению, что при том тягостном состоянии, которое вызвано разгромом моих пьес, я не в силах больше работать в МХАТ, мне просто в нем тяжело бывать.

Вчера я проверил и свои размышления по поводу «Виндзорских» и вижу, что пересилить себя не могу. Я перевод этот делать не буду. Поэтому прошу Вас сделать распоряжение о расторжении со мною договора, а также принять прилагаемое при этом мое заявление об освобождении меня от службы в МХАТ.

Примите мой привет

М. Булгаков

Москва, 1936, 15 сентября.

Как ни любил он сцену с чайкой, а пришлось уйти. «Довольно! Все должно иметь свой предел». Но что же дальше? Семнадцать лет назад он бросил медицину, гнет спину день и ночь, а итог? Где его книги, пьесы? На всех языках идет Булгаков, кроме русского, родного... В конце концов его устроили на должность оперного либреттиста при Большом театре. Что ж, и на том спасибо.

С той поры Булгаков появлялся каждый вечер в ложе: черный костюм, бантик, белый накрахмаленный платок в кармашке, нога на ногу – он стал зритель. «Пьес больше не пишу, – отвечал он на запросы театров. – Имею горький опыт». Откинувшись, он слушал «Фауста» или увертюру к «Руслану и Людмиле», музыка всегда облегчала его душу.

5 октября 1936 года. Мучительные мысли у М. А. – ему нельзя работать.

В тот день была десятая годовщина премьеры «Турбиных». Театр этой даты не заметил, и автор, сидя дома, предавался юбилейным размышлениям.

Сегодня у меня праздник. Сиж у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом и ценным подношением. В адресе будут указаны все мои искалеченные или погубленные пьесы и приведен список всех радостей, которые они, Станиславский и Немирович, мне доставили за десять лет в Проезде Художественного театра. Ценное же подношение будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной той самой кровью, которую они выпили из меня за десять лет.

По совести сказать, кастрюлю ту следует поставить в Музее МХАТа, в разделе «Драматург и Театр».

Впрочем, я несправедлив. Напрасно Михаил Афанасьевич так обижался на Станиславского, на Немировича. Театр любил Булгакова, своего лучшего драматурга, но жертвовал им, чтобы уцелеть. Ведь всякому было понятно: лучше сохранить Художественный театр без Булгакова, чем Театру погибнуть вместе с ним.

Весною 1936 года, после статьи в «Правде», шесть театров вернули Булгакову принятые пьесы. Харьковский театр драмы подал на него в суд, требуя вернуть аванс за пьесу «Пушкин», запрещенную властями. Наступили тяжелые дни. Булгаков просил у Литфонда ссуду, однако драматург Киршон, ведавший этим делом, сказал Елене Сергеевне: «Не нахожу возможным». Домой она вернулась в слезах.

— Что с тобой? – встревожился Булгаков.

— Мы совсем без денег.

— И это всё?

— Тебе этого мало?

— Пойди умойся.

«Я пошла, – рассказывала Елена Сергеевна. – Возвращаюсь...»

— Плюнь на это место.

Я плюнула». И они перешли к другим заботам. Она и думать уж забыла об этом разговоре, когда Булгаков вдруг сказал: «Собирайся, едем на Кузнецкий...»

Весь день они ходили по книжным лавкам, букинистам, Булгаков выбирал исторические книги, старые карты России и, придя домой, разложил свои находки на полу. «Что ж, с

пьясами все кончено, буду писать учебник для четвертого класса средней школы». И он засел за описание битв на Калке, Куликовом поле, двести страниц написал Булгаков за полгода, и, если б не мигрень, кто знает, был бы на Руси еще один историограф.

РАЗГОВОРЫ 1936 ГОДА

2 марта. Сенсация театральной Москвы – гибель театра Ивана Берсенева. Правительственное постановление о ликвидации его театра написано в очень суровых тонах. Театр назван «посредственным». Сказано, что он неправильно носил название «Второго МХАТа».

Очевидно, Берсенов сделал какую-то крупную ошибку. Кто-то рассказывал М. А., что на последнем их спектакле публика бросала цветы на сцену, некоторые плакали, плакал и сам Берсенов.

Вскоре после снятия «Мольера» Сталин сказал:

– Что это опять у Булгакова пьесу сняли? Жаль, талантливый автор.

«Похоже на правду, – заметила Елена Сергеевна. – Иначе трудно объяснить разговоры о возобновлении спектакля».

* *
*

Беседуя с Самосудом, руководителем Большого театра, Булгаков сказал, что он, быть может, расстанется с МХАТом. Самосуд:

– Мы вас возьмем на любую должность. Хотите тенором?

* *
*

День его начинался с прессы. Ну, кто еще нанес удар? Открывая по утрам газету, Булгаков всякий раз загадывал, чье имя он увидит под разносной статьей. Всеволод Иванов?

Ладно, этот всегда был со временем в ладу. Но вот Олеша, Яншин, предательство друзей всегда больнее.

Вдруг Мейерхольд, тот самый, что еще недавно на корню выпрашивал у Булгакова каждую новую пьесу, атаковал его на всесоюзном активе работников искусств. Видно, надеялся спасти себя. «Пышность – это яд, который иногда позволяет скрыть тухлятину», – аттестовал он мхатовский спектакль о Мольере. Прочитав, Булгаков аккуратно вырезал эти слова из газетного отчета и вместе с портретом Мейерхольда вклеил в свой альбом. Вишневский не уставал срывать его переговоры в Ленинграде. И все удары в спину, в спину...

Когда сто лет назад командора нашего ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую пушечную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в долгий путь, найдут несколько шрамов от финских ножей... Меняется оружие!

И нравы тоже изменились. Критик Алперс, Вишневского приятель, язвил его в газете, Яншин, актер любимый, дал злое интервью о пьесе, в которой сам блистательно сыграл слугу Мольера. Булгаков вырезал и клеил, клеил и снова вырезал. Ножницы его в те дни без дела не лежали. Но что же ножницы в сравнении с финскими ножами! А вот, поди же, оказались сильней.

В конце концов враги Булгакова достигли цели, на афише у него осталась одна-единственная пьеса – «Дни Турбиных», разрешенная лишь МХАТу, да инсценировка «Мертвых душ». Во всех других театрах Булгаков был под запретом. Жить приходилось на зарплату оперного либреттиста. Случалось, в доме не было ни гроша. Булгаков относился к денежным делам спокойно, чего не скажешь о хозяйке дома. Иногда она подавала ему счет:

Треска 2 р. 60 коп.

Ростбиф 9 р. 75 коп.

Огурцы 8 р. 50 коп.

Помидоры соленные 1 р. 51 коп.

Итого 22 р. 36 коп.

Уплатить Мих. Аф.

Ел. Булгакова

В такие дни Булгаков старался рассмешить жену рассказами о том, как он распорядился бы миллионом, если бы этот миллион ему кто-то подарил. «Сводилось всё к тому, что все деньги были бы розданы, – вспоминала Елена Сергеевна, – а у него была бы рыжая борода, маленькая теплая комнатка с русской печью и лоскутным одеялом, и он после сна кричал бы мне: „Алена, квасу!“».

Так он жил, сочинял либретто, занимался переделкой классиков для сцены. Толстой, Сервантес, Мопассан...

– Я с ужасом смотрю на книжные полки. Кого, кого еще придется мне инсценировать – Тургенева, Лескова, Брокгауза-Эфрона?

Сталин его не забывал. Выходя из ложи Большого театра, вроде ненароком спросил: «У вас, кажется, работает Булгаков?» – Да, работает... – «Кажется, это способный человек?» – О да! – «Хорошо бы заказать ему что-либо историческое», – Сталин имел в виду оперное либретто. А Булгаков сидел в это время у себя на четвертом этаже и писал о Коте, Маргарите и городе Ерушалаиме. «Дописать раньше, чем умереть», – вырвалось у него на страницу, когда сидел он над восьмой главой романа.

Но в Большом запомнили разговор со Сталиным. В июне тридцать шестого года, спустя всего три месяца после статьи в «Правде» и запрета почти всех его пьес, домой к Булгакову пришел композитор Асафьев и сходу предложил писать либретто оперы «Минин и Пожарский».

Булгаков отказался. Но Асафьев не уступал, на следующий день он пришел в сопровождении Самосуда. И начался бурный разговор. «Самосуд, картавый, остроумный, напористый, как-то сумел расположить к себе М. А. и тут же, не давая опомниться, увез нас на своей машине в дирекцию Большого театра. Сразу подписали договор». А затем последовал аванс. Булгаковы воспряли духом.

В конце июля либретто было готово. «М. А. написал его ровно в месяц, в дикую жару». Асафьев был в восторге и обещал немедленно сесть за работу. Еще один аванс получил Булгаков.

Вдохнула Елена Сергеевна посвободней: «Завтра мы уезжаем из Москвы в Синоп под Сухуми».

5 октября. Звонил Уманский из Литагентства: «Мертвые души» куплены на все англо-говорящие страны. «Турбины» проданы в Норвегию. Кроме того, «Турбины» пойдут в этом сезоне в Лондоне.

9 октября. Поехали с М. А. на Поварскую в Союз писателей платить членские взносы. Неожиданно М. А. решил зайти к Ставскому, секретарю Союза. Разговор о положении М. А. Ставский тут же записывал в блокноте: «Турбины»... «Мольер»... «Пушкин»...

Ни черта из этого не выйдет. Ставский – чиновник, неискренний до мозга костей. Да и не возьмет он ничего на себя.

17 октября. Телеграмма Асафьева – он кончил «Минина». Радость М. А.

22 ноября. Массируемся ежедневно – это помогает нашим нервам. Разговариваем о своей страшной жизни, читаем газеты.

Вечером М. А. в Большом.

23 ноября. Открытие съезда Советов. Около половины шестого – гул по радио из нижней квартиры: имя Сталина принималось овацией. Начало его выступления – тоже овация.

26 ноября. Вечером у нас Ильф с женой, Петров с женой. Доброжелательны, умны, честны.

28 ноября. Дирекция Большого театра командировует в Ленинград для слушания «Минина» М. А. и Мелик-Пашаева. М. А. – по желанию Асафьева.

Сегодня «Красной стрелой» они уехали. Первая разлука с М. А. с 1932 г.

29 ноября. Послала М. А. телеграмму. Ночью в 2 часа он позвонил по телефону, сказал, что музыка хороша, есть места очень сильные.

30 ноября. Послала М. А. две шуточные телеграммы. Без него дома пусто.

Утром поеду на вокзал встречать М. А.

1 декабря. Приехал. Исклчительно не понравились в этот приезд Радловы. Хозяин пришел домой вдребезги пьяный, вел какие-то провокационные разговоры.

Единственный светлый момент – слушание «Минина». Асафьев прекрасный пианист, играет очень сильно, выразительно. И хотя он был простужен и отчаянно хрипел – всё же он пел.

13 декабря. Заболел Сережа. Доктор Шапиро говорит – ангина.

15 декабря. Ночью М. А. определил, что не ангина, а scarлатина. Шапиро, приехавший в 7 часов утра, подтвердил диагноз М. А.

21 декабря. М. А. пошел к Мелику выправлять экземпляр «Минина».

22 декабря. Звонили из «Лит. газеты», просят, чтобы М. А. написал несколько слов по поводу потопления «Комсомола».

Вот в эти дни, последние дни тридцать шестого года, сидя над асафьевским клавиром, отвечая на телефонные звонки и правя бесконечные либретто, Булгаков вдруг вспомнил о давно заброшенной тетради, стал день за днем листать страницы тайных писем к другу. Каким-то странным ходом мысли он вплел их в вязь назревавшего романа. В памяти всплыли дом в Камергерском переулке, решетчатые двери бельэтажа, паутина лестниц, столярный запах сцены, пламя свечей на рампе и седой старик в чеховском пенсне. Старик этот смотрел на сцену, смеялся, плакал, сбросив пенсне, смахивал слезу платком и непрерывно грыз запястье. Шла репетиция с Ка-эС... Булгаков всматривался в лица, тени оставленного Театра снова будоражили его воображение. Вечерами он доставал заветную тетрадь в клеенчатой обложке и, обостряя память, возвращался к прошлым дням. Но и текущие дела не забывал.

«Литературная газета», 26 декабря 1936 года

М. Булгаков

Я был поражен известием о потоплении советского торгового парохода «Комсомол». Но, по моему убеждению, слова возмущения здесь ничего не помогут. И я присоединяю свой голос к тем, которые находят, что необходимо направить в испанские воды эскадру.

Советские военные корабли сумеют и отконвоировать торговые суда и внушить уважение к флагу Союза,

а в случае крайности – напомнить, насколько глубоки и опасны воды, в которых плавают поджигатели войны.

ИЗ РАЗГОВОРОВ 1936-ГО ГОДА

– Говорят, Литовского выгоняют из Главреперткома...

– Не радуйся, следующий будет еще хуже. Дело не в Литовском, а в Реперткоме.

В последних числах декабря пианист Большого театра Васильев играл «Минина». В концертном зале сидели театральные верховоды: Керженцев, председатель Комитета по делам искусств, Анчаров и Городинский из ЦК ВКП(б), Боярский, глава союза работников искусств, и представители Большого театра – дирижер Самосуд и директор Мутных. Был тут, конечно, и либреттист Булгаков.

Когда Васильев кончил, воеводы приступили к обсуждению.

– А оперы нет... – сказал Анчаров.

Тут же вмешался Городинский:

– Музыка никуда не годится!

Керженцев атаковал либреттиста:

– Почему герой участвует только в начале и в конце оперы? Почему его нет в середине?

Каждый давал совет, как исправить дело, и все советы противоречили друг другу. Булгаков пришел домой в три часа ночи и был в самом благодушном настроении, все время повторяя: «Нет, ты знаешь, они мне все очень понравились...»

– Что же теперь будет? – поинтересовалась Елена Сергеевна.

– По чести скажу, не знаю. По-видимому, не пойдет.

С тем и ушел декабрь.

Кончался бедственный и шалый 1936-й. «Дай Бог, чтобы 37-й был счастливей!» – взмолилась Елена Сергеевна.

Дай им Бог!

Весь до конца тысяча девятьсот памятный всей стране тридцать седьмой год Булгаков прожил цел и невредим. Среди арестов, митингов и криков «К высшей мере!» он сидел в своей

серой писательской ермолке, в старом добром кресле, на своем обжитом четвертом этаже, и писал самую смешную свою книгу – «Театральный роман». Судьба поднесла ему неожиданный подарок – три года жизни и смерть на собственной тахте. Одна беда его давила – временами он не знал, что ему делать, куда девать себя? Пьес он больше не писал, из Театра ушел, а сочинение оперных либретто его не очень увлекало. Дома он старался сохранить привычный распорядок жизни, шутил, играл с Сережей в шахматы, с гостями в винт, затевал переодевания, маски, но веселье это чем-то походило на пир в чумные дни. Гости уходили, и они оставались вдвоем.

– Мы совершенно одиноки, – сказал он поздней ночью Елене Сергеевне. – Положение наше странно.

В тот вечер Булгаков читал Евгению Петрову «Записки покойника», так он назвал роман о Театре. Название это возникло в его голове неспроста: в своей уютной, в синий цвет оклеенной квартире он был как бы заживо похоронен. Услышав его имя на репетиции в Большом театре, к нему подошел молодой поэт:

– Скажите, вот был когда-то писатель Михаил Булгаков, так вы его...

– Вы о каком Булгакове говорите?

– Которого пресса ругала...

– А пьес у него не было?

– Была – «Дни Турбиных».

– Это я.

Пауза. Поэт ошеломленно:

– Но вы даже попутчиком не были... Вы были хуже!

Булгаков:

– Ну, что может быть хуже попутчика...

3 мая 1937 года. М. А. весь день в постели, ночь не спал... Один пристает, почему М. А. не ходит на собрания писателей, другой – почему М. А. пишет не то, что нужно, третий – откуда у М. А. экземпляры «Белой гвардии», вышедший в Париже...

Приходили в нему люди, странные люди, задавали странные вопросы:

– А вы не жалеете, что в разговоре со Сталиным не попросились за границу?

– Это я вас должен спросить, жалеть мне или нет. Если вы говорите, что русские писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым – на родине или за рубежом?

Просили его о самом малом, написать что-нибудь «наше», утешающее слух, и тут же доверительно сообщали: есть мнение, не напишете – снимут «Турбиных».

– Ну что же, я люстру продам, – отвечал Булгаков.

После таких разговоров он уезжал в Серебряный бор или в Фили выкупаться, погresti на байдарке, потом садился за либретто «Петр Великий», иногда урывками писал роман.

Нельзя сказать, что Булгакова совсем забыли. Вот забежал к нему Адам Пиотровский, человек из кино, предложил написать сценарий. Булгаков отказался, но из любопытства спросил: «На какую тему?» – «Антирелигиозную»...

Нет, решительно, они хотят его добить! Но погодите, погодите, сам Керженцев, председатель Комитета, снова пригласил его в свой кабинет, стал задушевым голосом расспрашивать: как живете? как здоровье? над чем работаете? – «М. А. ответил, что после всех разрушений, произведенных над его пьсами, вообще работать не может, чувствует себя подавленно... На это Керженцев еще более ласково уверял, что всё это ничего, вот те пьсы не подошли, а теперь надо написать новую. И всё будет хорошо».

Но хорошо почему-то не становилось. Харьковский театр по-прежнему тянул его в суд, требовал аванс обратно, в доме было безденежье и множество долгов. «Дальше так жить нельзя, – отметила Елена Сергеевна. – Он занимается пожиранием самого себя». После долгих колебаний Булгаков во второй раз в жизни сел за письмо к вождю.

Тяжелый год. Не стану рассказывать вам, как он прошел в доме Булгакова, пусть лучше говорит его жена.

3 февраля. Наступили дни пушкинского юбилея. Как я ждала их когда-то, а теперь «Пушкин» зарезан, и мы у разбитого корыта.

9 февраля. Получили письмо от Коли из Парижа. В театре Vieux Colomhier ставят «Зойкину квартиру»... М. А.:

– Дома не играют, а за границей грабят!

18 марта. После бешеной работы М. А. закончил либретто оперы «Черное море».

22 марта. Сегодня пришел ценный пакет – извещение о вызове в суд. Будет слушаться заявление Харьковского театра русской драмы о взыскании с М. А. денег по «Пушкину» на том основании, что пьеса не значится в списке разрешенных пьес.

Когда пришел пакет, М. А. повертел его в руках и сказал:

– Не открывай его, не стоит. Кроме неприятностей, ничего в нем нет. Отложи его на неделю.

Все-таки добились своего харьковские гарпагоны. «Я теперь без содрогания слышать не могу слово Пушкин», – признавался Михаил Булгаков. Ни книг своих, ни новых пьес давно уж он не видел, от друзей лишь слышал: «Ничего, после вашей смерти всё пройдет!»

26 марта. Работать нет никакой возможности из-за этого суда.

Ездили во Всероскомдрам советоваться с юристом Городецким. Он не столько хочет найти поводы для защиты, сколько приводит резоны для того, чтобы сказать: «Трудное, трудное дело».

28 марта. М. А. был у Захавы в театре Вахтангова. Выяснились замечательные вещи: разрешение официальное «Пушкина» было, и давал его Литовский. А в список разрешенных пьес «Пушкина» не поместили.

Вот так сюрприз. Если «Пушкин» был допущен к постановке, харьковскому иску грош цена! И Булгаков тут же, не уходя из Вахтанговского театра, пытается увидеть экземпляр своей пьесы с визой Главреперткома. Нет, нельзя – заведующая архивом сегодня выходная. Что ж, подождем до завтра.

Наутро был звонок из театра. «Захава сконфуженно бормотал мне по телефону, что экземпляра с разрешением не нашли!!» Но Булгаков уже спешил в Большой на генеральную «Руслана и Людмилы». В дверях он улыбнулся Лене: «Бывают вещи и похуже».

30 марта. Рассказывали, что Мейерхольд каялся в своих грехах на собрании актива работников искусств.

Причем это было так неожиданно, так позорно и в такой форме, что сначала подумали, что он издевается.

Падает снег и тут же тает. Грязь.

Если в театре пьесы нет, то у Литовского в Главреперт-коме она наверняка найдется.

— Занят Литовский!

Но председатель пригласил их в кабинет и быстро согласился: да, было разрешение, он сам его давал. И тут же распорядился отыскать пьесу. Вот так, наконец, они увидят эту визу. Булгаковы повеселели, уселись поудобней в креслах, даже Литовский уже не кажется им так противен. «Пока сидели у него, светский разговор об опере и прочем».

А пьесы все нет и нет. «Сотрудник всё ходил куда-то, возвращался и спрашивал: „Вы наверно знаете, что пьеса называется „Александр Пушкин“?“»

Назавтра они снова в Главреперткоме. Нашлась пьеса, нашлась! Стали искать справку. «Я стала рядом с секретаршей и вдруг увидела, что она перелистывает страницу со справкой...» Э-э, позвольте, как же так? «Дело в том, что там было сказано, вернее, написано рукой Литовского разрешение Вахтанговскому театру приступить к работе над „Пушкиным“ и включить пьесу в репертуар». Так дайте же нам эту проклятую справку, дайте! Но секретарша свое дело знает: Литовского нет, и справки тоже не будет. Председатель был в это время в Комитете, видно, выяснял, как быть.

2 апреля. Утром справка была готова...

Потом — суд. Первым говорил М. А. Показал справку, вырезки газетные, из которых видно, что пьесу собирались ставить, сказал:

— Нам с Викентием Викентиевичем Вересаевым не по возрасту вводить в заблуждение театры.

Вторым говорил Городецкий. Дело выиграло.

Большое моральное удовлетворение, что эти негодяи из Харькова хоть тут не смогли сыграть на положении М. А.

А днем, до всех этих дел, пришло приглашение на бал-маскарад в американское посольство. «До чего это не вяжется с нашим настроением!» Но жена посла очень просила: «Какой-нибудь оригинальный костюм...»

– Мужчины будут во фраках? – осведомилась Елена Сергеевна.

– Нет, я думаю, смокинг тоже можно.

Задумалась Елена Сергеевна: «Где, какой смокинг? Где взять туфли лакированные? Рубахи, воротнички?..»

3 апреля. На Художественный театр пришло М. А. анонимное письмо с вырезкой из «Humanité». Там – рецензия на постановку «Зойкиной квартиры» в Париже. Подчеркивается, что пьеса написана давно и что теперь таких людей и таких событий в СССР нет.

4 апреля. В газетах сообщение Прокуратуры СССР о предании Ягоды* следствию за преступления уголовного характера.

Киришона забаллотировали на общемосковском собрании писателей. Ясно, что это в связи с падением Ягоды.

7 апреля. Звонок из ЦК. Анчаров просил М. А. приехать. Поехал.

Разговор, по словам М. А., был тяжкий. М. А. рассказывал, что проделали с «Пушкиным», а Анчаров отвечал, что он хочет указать М. А. правильную стезю. Говорил о «Минине», сказал: «Почему вы не любите русский народ?» – и добавил, что поляки очень красивые в либретто.

Самого главного не было сказано в разговоре – что М. А. смотрит на свое положение безнадежно, что его задавили, хотят заставить писать, как он не будет писать.

Обо всем этом, вероятно, придется писать в ЦК. Что-то надо предпринять, выхода нет.

12 апреля. Письмо из Комитета (по делам искусств). Пишут в Харьков по поводу безобразного иска. Начало хорошее, а конец удивительный: предлагают Харьковскому театру изменить характер иска.

14 апреля. Тяжелое известие – умер Ильф. У него был сильнейший туберкулез. Позвонили из Союза писателей, позвали М. А. в караул почетный ко гробу.

15 апреля... Пошли в Камерный на генеральную «Дети солнца». Просидели один акт и ушли – немисливо!

* Ягода Г. Г. – нарком внутренних дел.

Ужасны горьковские пьесы.

Хотя романы еще хуже.

19 апреля. Заходила к М. А. жена поэта Мандельштама. Он выслан, она в очень тяжелом положении, без работы.

Тревожная весна пришла в Москву, и дурные вести, друг друга обгоняя, стали проникать за порог булгаковской квартиры. «Вот так штука, – поражалась Елена Сергеевна, – арестован директор Мутных. В Большом театре волнение». Эту новость принес со службы сам Булгаков. Недели не прошло: «Слухи о том, что с Киришоном и Афиногеновым что-то неладно. Говорят, арестован Авербах». И так день за днем – слухи, толки, шепоток... Друзья Булгакова, кто в ссылке, кто в хлопотах о близких, попавших в сети, – он им сочувствует, чем может, рад помочь. Но у него свои заботы.

Художественный театр готовился в те дни на выставку в Париж, и он с волнением листал газеты: что повезет с собою Театр? В проезде МХАТа он давно уж не бывал, но слухи доходили. Павел Марков вдруг пришел встревожен, рассказал, что в правительственной ложе шел разговор о пьесах для Парижа: Сталин был за «Турбиных», а Молотов возражал.

Пожалуй, это не так уж плохо, – рассудил Булгаков. В душе он затаил надежду, Театр всегда возил его с собою. И он нетерпеливо ждал решения. Наконец, дождался и увидел: везут «Любовь Яровую»... О «Турбиных» ни слова.

Что ж, не видать ему Эйфелевой башни, не судьба. И вдруг звонок из Союзфото: «Не может ли Михаил Афанасьевич зайти, нам надо сделать снимок...» – «Для чего?» – «Для выставки в Париже!» Нет, это уже слишком. Вернемся лучше к рабочему столу, к роману о любимом Театре.

22 апреля. Вечером у нас – Качалов, Литовцева, Марков, Виленкин, Сахновский, Ермолинский, Вильямсы, Шебалин, Мелик – слушали отрывки из «Театрального романа» («Записки покойника») и смеялись. Но Качалов загрустил. И вообще, все они, мхатчики, были как-то ошарашены, что вывели Театр.

Вещь была злая, и, слушая, как Булгаков изобразил Станиславского, Немировича, весь Театр, Качалов сперва весе-

лился, а потом вдруг потемнел: «Смеемся, смеемся, а ведь это действительно наш театр, и всё это правда, правда...»

23 апреля. Да, пришло возмездие. В газетах очень дурно о Киришоне и об Афиногенове.

27 апреля. Шли по Газетному переулку, догоняет Олеша. Уговаривает М. А. пойти на собрание драматургов, на котором будут расправляться с Киришоном. Уговаривал выступить и сказать, что Киришон был главным организатором травли М. А.

Это-то правда. Но М. А. и не подумает выступить с таким заявлением и вообще не пойдет. Ведь раздирать на части Киришона будут, главным образом, те, кто еще несколько дней назад подхалимствовали перед ним.

Вечером на «Онегине». Хорошо поет Татьяну Кругликова.

28 апреля. У М. А. тяжелое настроение. Впрочем, что же, будущее наше, действительно, беспросветно.

29 апреля. Хмелева, Добронравова и Тарасову наградили званием народных артистов СССР, а Театр – орденом Ленина.

Проводила М. А. на «Фауста» в Большой. Оттуда он зашел за мной в контору МХАТа. Потом укорял меня, зачем я не вышла к нему навстречу, ему неприятно бывать в МХАТе.

1 мая. Ермолинский рассказывал, что на собрании драматургов вытащили цензора Млечина. Тот начал свою речь так: «Вы здесь говорили, что я травил Булгакова, хотите я вам расскажу содержание его пьесы?...» Но ему не дали продолжать. Экий подлец.

Потом вытащили к ответу Литовского – зачем протаскивал пьесы Киришона и Афиногенова?! Он кричал:

– Не я один!!

4 мая. В газетах опубликованы награждения артистов МХАТа: пять орденов Ленина, масса Трудового знамени, Знаков почета.

5 мая. Вечером у Вильямсов. Был и Шебалин. Очень приятно просидели при свечах до трех часов, а потом пошли пешком домой по пустынному ночному городу. Уже светало. Весенний рассвет и пустые улицы – хорошо!

6 мая. Эти дни М. А. работает над письмом правительству... М. А. мучительно думает о своем будущем. Хочет высказать свое положение.

7 мая. Сегодня в «Правде» статья Павла Маркова о МХАТ. О «Турбиных» ни слова. В списке драматургов МХАТа есть Олеша, Катаев, Леонов, авторы давно сошедших со сцены пьес. Но Булгакова нет.

9 мая. Вечером у нас Вильямсы и Шебалин. М. А. читал первые главы своего романа о Христе и дьяволе. Понравилось им бесконечно, они просят, чтобы 11-го прийти к нам и слушать дальше.

Читал он, сидя на тахте, отрывисто и сухо, не выделяя фраз и поражая натисками ритма.

10 мая. Федя Михальский подтвердил: Сталин горячо говорил в пользу того, что «Турбиных» надо везти в Париж, а Молотов возражал. Немирович тоже против «Турбиных», он хочет везти только свои постановки и поэтому настаивает на «Врагах».

12 мая. Неожиданно выясняли отношения с Оленькой. Я сказала ей, что она для Немировича готова продать кого угодно. Оленька плакала, мне было ужасно больно, но лучше сказать, что на душе, чем таить.

Вечером одни. М. А. сидит над письмом Сталину.

13 мая. Вечером одни. М. А. правит роман с самого начала («О Христе и дьяволе»).

16 мая. Сегодня удружил Самосуд, прислал композитора Соловьева-Седого с началом оперы. Талантлив он бесспорно, но либретто никакого нету.

17 мая. Вечером М. А. работал над романом о Воланде.

18 мая. Вечером М. А. опять над романом.

22 мая. Обедал Дмитриев. Хороши они вместе с М. А. Оба острые, ядовитые, остроумные.

24 мая. Днем М. А. поехал с Сергеем на реку и в Парк. Говорит, что на воде ему легче.

26 мая. В газете об исключении из партии Афиногенова.

27 мая. Телефон молчит, молчит.

1 июня. В газетах сообщение о самоубийстве Гамарника. Куприн вчера вернулся на родину, старенький, дряхлый, с женой.

5 июня. В «Советском искусстве» сообщение, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. Гнусная гадина. Сколько зла натворил он на этом месте.

9 июня. Днем Соловьев-Седой. М. А. составил ему драматургический костяк его либретто... Оля рассказывала, что Немировичу дали 2.000 долларов – без уплаты за них советскими деньгами (10 тысяч), он уже уехал за границу.

10 июня. Был Добраницкий, журналист, принес М. А. книги о Гражданской войне. Расспрашивает М. А. о его убеждениях, явно агитирует. Для нас загадка – кто он?

11 июня. Утром сообщение в «Правде» о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Якира по делу об измене Родине.

М. А. в Большом театре на репетиции «Поднятой целины». Митинг после репетиции, в резолюции требовали высшей меры наказания для изменников.

12 июня. Сегодня в «Правде» сообщение, что Тухачевский и все остальные приговорены к расстрелу.

М. А. предложил взять машину и поехать к Сергею на дачу.

2 июля. М. А. работает над «Петром» (либретто). Вечером в «Эрмитаже», на эстраде элегантный номер «Риголетто». Двое мужчин и две женщины работают, улыбаясь ангельской улыбкой. Собственно, работает только один человек, остальные отвлекают внимание публики. Один этот засунул в рот красную нитку и пачку иголок, а потом вытащил изо рта красную нитку, продетую во все иголки... Мы ужинали в «Метрополе», и эти Риголетто сидели за соседним столиком – абсолютно выдохшиеся.

5 июля. Письмо от Асафьева. Благодарит за предложение писать совместно оперу «Петр», тронут тем, что М. А., несмотря на неудачу с «Мининым», обратился опять к нему.

10 июля. Решили ехать в Богунью под Житомир на отдых. Денег не хватает, хочу просить в долг.

Вечером пришел Добраницкий, просил М. А. прочитать «Бег». Впечатление громадное. Да и правда – не только эта вещь замечательная, еще надо послушать, как М. А. ее читает.

Всплывает «Бег», всплывает, – надеется Булгаков. Что-то происходит вокруг этой пьесы. Следом за Добраницким пришел к нему представительный мужчина по имени Смирнов, влиятельная личность в театральном мире. Не снял пальто, боясь расспросов, и, войдя, сразу попросил два отзыва на пьесу – Горького («предрекаю „Бегу“ анафемский успех») и восьмилетней давности рецензию какого-то Пикеля, громившего «Бег» в «Правде». Елена Сергеевна стала листать толстую тетрадь газетных вырезок. Мужчина чуть успокоился, присел, разговорился.

«Я работаю на холостом ходу, – сказал Булгаков. – Я стал похож на завод, где делают зажигалки...» Но мужчина уже углубился в отзывы на пьесу. Кончив читать, заметно оживился, просил Елену Сергеевну отзывы перепечатать и унес их вместе с экземпляром «Бега». Что же будет? – думает Булгаков. В городе слухи о писательских арестах, исчезли Бруно Ясенский, Иван Катаев, вот уже взят Клычков, сосед по дому, во МХАТе арестован сам Аркадьев, директор Театра, следом за ним – Анчаров, партработник, загубивший «Минина» в Большом. А у Булгаковых звонок из Комитета по делам искусств: «Михаил Афанасьевич, пришлите нам, пожалуйста, „Бег“... – «Для чего?» – «Не можем сказать по телефону...» Кто же стоит за всеми этими людьми, звонками?

«Дело не в Комитете, – гадают Елена Сергеевна. – Это ясно. Но в ком?» Загадка. «Добраницкий упорно доказывает М. А., что теперь судьба его изменится, а М. А. так же упорно в это не верит». Но пьесу перепечатать надо. «М. А. диктует „Бег“, сильно сокращает... Целый день „Бег“, ни звонков, ни писем...»

Кончили «Бег», отправили срочно в Комитет и, волнуясь, ждут: что будет? День ждут, другой... Булгаков что-то загадал, подошел к полке, снял первую книгу... «Вышло – пессимум». Да стоило ль гадать? Вечером позвонила из Театра Ольга, говорила с полчаса, не проронив о пьесе ни полслова. Выслушав Елену Сергеевну, Булгаков заключил:

– Это значит, что «Бег» умер.

С тех пор об этой пьесе уже никто не вспоминал.

11 июля. М. А. работает над «Петром». Дмитриев пришел обедать. После обеда пошли на балкон и стали втроем забавляться игрой – пускали по ветру бумажки

папиросные и загадывали судьбу – высоко ли и далеко ли полетит...

12 июля. Сегодня видела многих из МХАТа и Большого театра и почувствовала, что, в сущности, есть масса людей, удивительно хорошо относящихся к М. А. Или день был такой?

То с Вильямсом за полночь в «Метрополе», то с Меликом за разговором до утра, то вдруг с женою охлестнет на пароходике уснувшую Москву, то в Киев убежит от всех звонков и странных визитеров – Булгаков мечется в пространстве, ищет выход. Нет ему места на родной земле, куда ни кинь – всюду выходит пессимум и клин.

14 августа. Сегодня вернулись из Житомира. Какой чудесный город Киев – яркий, радостный. По дороге в Богунью мы были там несколько часов, поднимались на Владимирскую горку, мою любимую. А на обратном пути прожили больше недели.

12 августа. Дома одни. М. А. сидит над «Петром».

2 сентября. Чудесный летний день... В газетах сообщение о самоубийстве председателя Совнаркома Украины Любченко.

5 сентября. Говорил кто-то М. А., что арестован Литовский. Ну, уж это было бы слишком хорошо... С кем ни встретишься, все об одном: теперь, в связи со всеми событиями в литературной среде, положение М. А. должно измениться к лучшему.

Верить или не верить? Ведь вот же передали ему, что Вишневский заявил на большом собрании: «Мы зря потеряли такого драматурга, как Булгаков». И следом он узнал, что Киршон не отстает: «Время показало, что „Дни Турбиных“ – хорошая пьеса». Киршон? Тот самый, что еще недавно говорил о диверсантах на советской сцене?! Выслушивая эти сообщения, Булгаков молча улыбался, пожимал плечами. Елене Сергеевне он сказал: «Свежо предание...» Но временами его одолевали тяжелые сомнения: что бы могло всё это значить? Киршон в Москве, Вишневский в Ленинграде, два злейших его врага, – и вдруг такой внезапный поворот... Неужто впрямь изменится его судьба?

Телефон в его доме звонил все чаще, чаще, снова стали заходить к нему старые друзья. И все говорили об одном: пора напомнить о себе. Ночью вдруг кто-то постучался в его дверь... Открыли: снова Добраницкий.

— У меня поручение от одного очень ответственного товарища поговорить с Михаилом Афанасьевичем... Мы очень виноваты перед ним...

Булгаков был нездоров, лежал в постели, но «очень ответственным» в Москве считался лишь один товарищ, и Елена Сергеевна впустила позднего гостя.

— Да, мы очень виноваты перед вами, — начал он. — Теперь точно выяснилось, что вся эта сволочь, Киршон, Афиногенов, Литовский и другие, специально дискредитировали вас, иначе не могли бы существовать они. Но теперь надо исправить дело, вернуть вас в театр.

Булгаков слушал его с любопытством: неглуп, сметлив, но куда он клонит? Гость уже и сам подошел к заветной цели:

— Ведь у нас с вами оказались общие враги, — сказал он, понижая голос. — И, кроме того, есть общая тема — родина...

Когда он ушел, Булгаков сказал: «Еще одна попытка добиться от меня агитационной пьесы». Нет, не будет он писать такую пьесу! И ничего не изменится в его судьбе.

23 сентября. Мучительные поиски выхода. Письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?

Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение. Поехали днем на речном трамвае — успокаивает нервы. Вечером М. А. на репетиции «Поднятой целины». До часу ночи помогал выправлять текст.

25 сентября. Слух, что арестован Киршон. М. А. этому не верит.

28 сентября. Звонил Олеша, спрашивал у М. А. совета по поводу своих болезненных ощущений. Он расстроен нервно, к тому же у него несчастье, знаю из газеты: его пасынок выбросился из окна, разбился насмерть.

5 октября. Письмо от Вересаева, просит вернуть тысячу рублей... Денег у нас до ужаса нет.

7 октября. М. А. начал работать над «1812 годом».

23 октября. У М. А. из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль уйти из Большого

театра, выправить роман «Мастер и Маргарита» и представить наверх.

27 октября. Уборка книг. М. А. правит роман.

5 ноября. Арестован Пильняк.

12 ноября. Пошли к доктору Цетлину за книгой по психиатрии, которую он обещал М. А. У них состоялся интересный разговор. А когда М. А. вышел из комнаты, доктор сказал мне:

– Я поражаюсь интуиции Михаила Афанасьевича. Он так изумительно разбирается в психологии больных, как ни один психиатр не мог бы разобраться.

Вечером М. А. работал над романом о Мастере и Маргарите.

13 ноября. Ездили опять в Лаврушинский. Вечные заботы мучительные – квартира, деньги*...

24 ноября. На «Поднятой целине» был Генеральный секретарь и, разговаривая с Керженцевым о репертуаре Большого театра, сказал:

– А вот же Булгаков написал «Минина и Пожарского».

7 декабря. Утром М. А. проснулся в холодном поту. Обнаружил ночью ошибку существенную в либретто «Сусанина», в картине в лесу, зимой. Стал звонить Самосуду...

Днем пошли за деньгами в Вахтанговский театр. Вздохнули легче. А то просто не знала, как жить дальше. Долги.

14 декабря. Керженцев пригласил М. А. Сообщил, что докладывал высокоответственному лицу о «Минине». Просил сделать поправки. Сказал, что поляки правильные (а в прошлый раз говорил, что неправильные).

М. А. приехал домой в его машине – усталый, измученный. Днем до этого был вызван Самосудом в Большой, где сначала был на прослушивании оперы Соловьева-Седого, а потом переговоры по этому поводу с Самосудом. Потом работал над «Сусаниным», выправляя каждое слово.

* В Лаврушинском переулке помещался Литфонд, организация материальной помощи писателям.

17 декабря. Вчера М. А. был на репетиции оперы «Потемкин», а потом с композитором Чижко выправлял либретто.

25 декабря. Дмитриев просил разрешения позвонить от нас в Ленинград. Вызвал какого-то Василия Ивановича. М. А. говорит ему:

– Бог с вами, Владимир Владимирович, разве мыслимо!.. Василий Иванович... Да ведь за версту ясно, что конспирация. Бросьте! Я не разрешаю по моему телефону...

Не следует скрывать, боялся и Михаил Булгаков. «Надо писать письмо наверх, но это страшно», – отметила Елена Сергеевна в конце 37-го года. Письмо он так и не отправил. Но бывали случаи, когда он шел на риск.

Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Разрешите мне обратиться к Вам с просьбою, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в Калинин.

...Зная, что литератор Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволяю себя просить Вас обратить внимание на его судьбу.

...Я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения.

М. Булгаков

Москва, 4 февраля 1938 г.

Поставив дату, он задержал письмо в руке. Отправить или убрать подальше?.. В сущности, ведь это он писал о самом себе, а страшно, страшно напоминать о себе в такую пору. Вот только что закрыли театр Мейерхольда, сам он опозорен, ждет ареста, снят Керженцев, председатель Комитета, помощник его тут же застрелился, кругом аресты, казни, так куда ж он лезет, открытый враг, «белогвардеец»... Автор

запрещенных пьес. Держа за плечами десять лет угроз и травли, должен он, наконец, опомниться, поумнеть?

5 февраля 1938 г. Сегодня отвезла и сдала в ЦК партии письмо М. А. на имя Сталина.

6 февраля. Утром звонок Дмитриева, просится прийти немедленно. Жену его, Елисавету Исаевну, арестовали.

9 февраля. М. А. урывками между «Мининым» и надвигающимся Седым правит роман о Воланде.

15 февраля. Вечером пришел Николай Эрдман с женой. М. А. прочитал им «Ивана Васильевича». Николай сказал:

– Мне страшно нравится, когда автор смеется. Почему автор не имеет права на улыбку?

25 февраля. М. А. радуется, что не пойдет на балет «Ромео и Джульетта», – не придется ему править либретто.

28 февраля. В газетах сообщение о том, что 2-го марта в открытом суде (в Военной коллегии Верховного Суда) будет слушаться дело Бухарина, Рыкова, Ягоды и других... Плетнев, Левин, Казаков, Виноградов (доктора) обвиняются в злодейском убийстве Горького, Менжинского, Куйбышева...

Вечером у нас Вильямсы. М. А. читал первый акт своей пьесы «Адам и Ева», написанной в 1931 году. В ней наш треугольник – М. А., Е. А. (Шиловский) и я.

1 марта. У М. А. установилось название романа – «Мастер и Маргарита».

Надежд на напечатание его нет. И всё же М. А. правит его, гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по ночам.

Никто не видел, как работает Булгаков, никто, кроме самых близких ему лиц. Я слышал разговоры о легкости и быстроте его пера, о днях подъема, всепоглощающем запале и длительном бездельи потом. Очень было заманчиво представить его талантливым ленивцем, забулдыгой, этаким Моцартом на час. Легенду эту обычно создают друзья. Вот и Ермолинский отдал ей дань. Но мне не до легенд, действительно ли был он так неуимчив, взрывчат?

Передо мною документы, письма Булгакова, дневник его жены. Читаю пристально и вижу: всё это пустые враки. Каждый день, здоров ли, болен, он работал, сидел часами над строкой и, случалось, к вечеру бросал всё в огонь. «Печка давно уже сделалась моей излюбленной редакцией». Что было у него на душе, когда вышли они с Еленой Сергеевной из Театра с белыми бумажками вместо виз в Париж... Всем разрешили, а Булгакову – отказ. Отлежался и через месяц уже диктовал ей второй вариант сценария «Мертвых душ». Месяца не прошло: «М. А. очень мучился, сдавая „Мертвые души“ – уже третий вариант».

Так он работал. Страх смерти, одиночества, пространства, одолевавший Булгакова все эти годы, не погасил его редкостного дара. Кончил сценарий, сел за «Блаженство», а там уж «Пушкин» надвигался, «Иван Васильевич»... Днем он в Театре. «Вечером М. А. диктовал мне черновые наброски „Ревизора“ для кино». И всё это почти за год.

Театр тревожил его душу, сколько горя причинил ему «Мольер», но он превозмог себя и вскоре сделал «Дон Кихота». Провалы, срывы и скандалы не остановили его руки, он снова сел за «Мастера и Маргариту» и начисто перебелил роман.

Каким же мужеством, верой в силу слов и в вечность букв надо было обладать, чтобы после всех ударов, разгрома его пьес и гибели всех надежд, на пороге смерти сесть за роман о дьяволе в Москве. Нет, скажу иначе: в романе этом, в закатной своей книге он искал прибежище от всех постигших его бед и прощался с этим миром.

8 марта. 1938 г. Роман.

9 марта. Роман. М. А. читал мне сцену – буфетчик у Воланда.

11 марта. Роман... У нас Федоровы – принесли шампанское, винтят.

Роман и карты, карты и роман. Усевшись за ломберный столик, он до утра играл с соседом в винт. Передохнув, поспав немного, он снова шел к рабочему столу. Вечером, на огонек, случалось, забегали старые знакомцы. Дома, на четвертом этаже, Булгаков читал «Мастера и Маргариту» часто и охотно, друзьям-актерам, писателям и воротилам издательского

мира, но, кончив, никогда не вступал в обсуждение романа. Не искал советов, замечаний – лишь чутко слушал, стараясь уловить эффект от чтения, улыбался и молчал.

Год почти прошел после летней суеты вокруг «Бега», и вдруг разъяснилась та загадка. Весной позвонил Булгакову опять человек по имени Смирнов и говорит печально: никак не мог найти в Москве номер «Правды», где напечатана заметка Пикеля о пьесе, так чего проще, он зайдет к Михаилу Афанасьевичу, возьмет альбом вырезок, всего на один денек возьмет и покажет, кому надо. Булгаков отвечает: альбом дать не могу, дайте подшивку «Правды», и я покажу вам эту заметку. Чрезвычайно был огорчен гражданин Смирнов этим ответом, но, делать нечего, повесил трубку. «Теперь ясно, – заключила Елена Сергеевна, – что нужен был именно альбом вырезок Смирнову, а вовсе не экземпляр „Бега“, или, вернее, всё было нужно, но не для того, чтобы устроить постановку пьесы».

А все-таки понять человека надо. Альбом газетных вырезок, собранных Булгаковым, похож на гербарий ядовитейших растений, и, конечно же, Смирнову велено было эту опасную коллекцию изъять любой ценой. И вот такая неудача.

12 марта. Вечером Дмитриев советовался о письме, которое он хочет послать Сталину о жене Вете. Я переписала его письмо на машинке, так как М. А. сказал, что в ГПУ никто не поверит, что это писал художник Дмитриев – почерк, как у домработницы. «А впрочем, может быть, это как раз и понравится», – добавил М. А. задумчиво.

13 марта. Приговор: все присуждены к расстрелу, кроме Раковского, Бессонова, Плетнева.

17 марта. М. А. прочитал главы «Слава петуху» и «Буфетчик у Воланда» – в новой редакции.

24 марта. Вчера Эрдман и Вильямсы. М. А. читал куски из романа. А сегодня у М. А. опять работа в Большом. Пришел в час ночи, измученный, с мигренью.

25 марта. Вечером доктор Канторович делал М. А. вливание ментола. Но за это М. А. должен был выслушать два рассказа, написанные доктором.

Так шли дни... «М. А. больной, сидит в халате, в серой своей шапочке над романом»... «Грипп. Роман. Вечером Дмитриев...» «Грипп... Роман...»

Вокруг него всё стихло. Его даже не ругали, просто перестали замечать. «Стало так тихо, – сказал Ермолинский, – что хотелось кричать». Три раза в месяц по Москве расклеивали на стенах афиши МХАТа, и на них иногда появлялось его имя. Если шли «Дни Турбиных», имя набирали покрупнее над названием пьесы, в дни «Мертвых душ» оно терялось среди множества других фамилий.

Это было всё. Дом его стал непривычно пуст, телефон умолк, ни Пырьев, ни киевские режиссеры больше не звонили. «М. А. сказал мне, что чувствует себя, как утонувший человек».

4 апреля. Роман.

5 апреля. Роман.

6 апреля. Роман.

14 апреля. Самосуд остроумен, циничен, говорит, что М. А. чересчур чист для нашей жизни.

23 апреля. Дома одни.

Роман.

Слава Богу!

Булгаков пребывал в состоянии спокойной безнадежности. Волны жизни как бы перекатывались через него, донося лишь гул эпохи. Впрочем, иногда эпоха стучала в его дом.

РАЗГОВОРЫ 1937 ГОДА

Днем забежал художник Дмитриев, старый приятель. И сразу начал убеждать: «Пишите агитационную пьесу».

– Скажите, кто вас подослал?

Дмитриев растерялся, потом заговорил со страстью:

– Довольно! Вы ведь государство в государстве. Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один вы остались. Это глупо!

Вечером писатели-соседи зашли сыграть с ним в винт. Оглядевшись по сторонам, вдруг стали ежиться, смущаться:

– Михаил Афанасьевич, зачем вы повесили на стены все эти статьи... «Ударим по булгаковщине»... «Положить конец „Дням Турбиных“»?..

«Ушли они в половине пятого, а мы опять просидели вдвоем до половины шестого».

* *
*

Иногда о нем вдруг вспоминали в Театре. Близились сорокалетие МХАТа, и в начале мая по поручению Немировича звонила Ольга:

– Владимир Иванович ломает голову над юбилейной постановкой... Ведь Мака делал инсценировку «Войны и мира»? Владимир Иванович хочет ее прочесть. Я сказала ему: как же быть, ведь Булгаков не придет в МХАТ, а вы не пойдете к нему. А он ответил: нет, отчего же, я пойду... Так вот, официально от имени Владимира Ивановича, – согласен Мака работать?

Узнав об этом, Булгаков во всех деталях рассказал Елене Сергеевне, как бы это было, если бы он согласился делать эту работу: как заключался бы договор, как разговаривал бы Немирович, прочтя инсценировку... После обеда она позвонила в Театр:

– Миша просил передать, что после разгрома «Бега», «Мольера», «Пушкина» он больше для драматического театра писать не будет.

Ольга просила экземпляра инсценировки, но Елена Сергеевна не дала: «Главное, хотелось скорей закончить этот разговор, так как он волновал М. А.»

Но что же делать? Тишина царит в его квартире, и Булгаков возвращается к роману. Вдруг звонит телефон, вкрадчивый голос предлагает договор на инсценировку «Дон Кихота» для вахтанговского театра. Опять инсценировка! «Братся? Не братья? – гадает озабоченно жена. – Денег нет – видно, братья».

Заказ был сделан с ведома высокого начальства, которое не упустило тут же дать совет: «Дон Кихот» должен звучать со сцены так, чтобы слышна была современная Испания, борьба республиканцев с генералом Франко...

– О, чёрт!!

Из Дневника Елены Сергеевны (1938 год)

17 января. Были в литературном агентстве у Уманского – из Польши запрашивают «Мольера» для постановки.

Ясно, что разрешения не дадут; как сказал М. А.:

– Даже по спине Уманского видно, что не дадут.

19 января. Вчера гробовая новость о Керженцеве. В речи на сессии Жданов назвал его коммивояжером. Конец карьеры.

...Звонок Уманского – речи не может быть об отправке «Мольера» в Польшу.

Стало быть, ни дома, ни за границей!

А как ответить польскому театру?!

15 февраля. На днях из Лондона получили письмо, из отеля «Mount Royal Marble Arch». Начинается словами: «Dear Sir, should you be visiting London this year...» – указывают тариф, включая breakfast.

7 марта. Был Гриша Конский, рассказывал, что в МХАТе арестован Рафалович.

10 марта. Ну что за чудовище – Ягода! Одно трудно понять – как мог Горький, такой психолог, не чувствовать, кем он окружен. Ягода, Крючков. Я помню, как М. А. приехал раз из горьковского дома (кажется, в 1933 году, Горький жил тогда в Горках) и на мои вопросы: Ну, как там? Что там? – отвечал:

– Там за каждой дверью вот такое ухо! – показывал ухо с пол-аршина.

21 марта. М. А. вызвали в Большой... А я, воспользовавшись свободным временем (М. А. ненавидит всякую суету в квартире), позвала полотера и уборщицу – навела блеск в квартире.

22 марта. Приглашение от американского посла на бал 26-го. Было бы интересно пойти. Но не в чем, у М. А. брюки лоснятся в черном костюме. У меня нет вечернего платья. Повеселили себя разговором, и всё.

31 марта... Сегодня обедали в «Национале».

3 апреля. Обедали в «Метрополе».

8 апреля. Неожиданно вчера вечером позвонил Николай Эрдман, сказал, что приехал и очень хочет повидаться... Коля остался ночевать. Замечательные раз-

говоры о литературе ведут они с М. А. ...Легли уже под утро.

9 апреля. Николай провел у нас целый день. Только что проводила его на вокзал.

12 апреля. Была с Женей на «Аиде». Вспомнила, что первый раз после знакомства мы были с М. А. на «Аиде», и М. А. говорил мне: «Вы – Амнерис».

22 апреля. Сегодня у нас был Николай Радлов и угощал М. А. таким разговором:

– Ты, конечно, писатель... бывший писатель. Всё у тебя в прошлом...

Это лейтмотив, потом было предложение:

– Почему бы тебе не написать рассказики для «Крокодила»? Там обновленная редакция. Хочешь, я поговорю с Кольцовым?

Это что-то новое, какая-то новая манера воздействия.

Ангарский пришел вчера и с места заявил:

– Не согласитесь ли написать авантурный советский роман? Массовый тираж. Перевод на все языки. Денег – тьма. Валюта. Хотите, сейчас чек дам – аванс?

М. А. отказался, сказал – не могу.

После уговоров Ангарский просил М. А. читать роман («Мастера и Маргариту»).

М. А. прочел три первых главы. Ангарский сразу:

– А это напечатать нельзя.

– Почему?

– Нельзя.

27 апреля. Роман – днем.

28 апреля. Днем – роман.

Дни шли быстро, и Булгаков чувствовал, всем телом ощущал, как уходит его время, отпущенный ему на этой земле срок. Всё душное лето тридцать восьмого года он провел над романом. Елену Сергеевну с Сережей отправил на дачу в Лебедянь, а сам с сестрой ее Ольгой сел за переписку «Мастера и Маргариты».

30 мая. Дорогая Люся!

Ольга работает хорошо. Иду к концу второй главы.

31 мая. Пишу 6-ю главу. Ольга работает быстро. Возможно, что 4-го июня я дня на 4 уеду с Дмитриевым и Вильямсом до Ялты и обратно. Бешено устал.

1 июня. ...Отменяется! Взвесив всё, бросил эту мыслишку... Не хочется бросать ни на один день роман.

Темп нарастал, но в ночь на 2-е июня произошла заминка: «Даже Ольга при ее невиданной машинистской выносливости сегодня слетела с катушек». Однако треть романа уже легла на белые листы. «Ну, вот и ночь. Устал. В ванне шумит вода. Пора спать. Целую тебя, мой друг. Умоляю, отдыхай». А Ольга в это время писала мужу:

«Самым главным во вчерашнем дне было сидение у Маки – это и по впечатлению было сильнее всего, и по времени. Я действительно немного перегнула, именно я, а не он, отправлявший меня домой несколько раз – мне было интересно писать... Диктует он медленно, с остановками и раздумьями... Я была у Маки с семи до часу».

Наутро Ольгу разбудил звонок, Булгаков звал ее опять, он был в запале. Работали они до полуночи, потом кто-то звонил, звал его в «Континенталь», и он ушел. Что делал он там ночью, играл ли в винт, сидел ли с Петей Вильямсом в ресторане, я не знаю, но только на заре Ольгу снова поднял телефон, запал продолжался.

К пятому июня готовы были шестнадцать глав, но тут настал черед для автора романа. «В одиннадцать часов Мака сказал, что выдохся, нет сил... Диктуя, он правит, и это требует от него сильного напряжения». И Ольга, выкурив с ним папироску, довольная пошла домой. «А то, бывает, я ухожу от него совсем как полоумная». Дверь тихо стукнула, и он остался один. «Ночью – Пилат... Ах, какой трудный, путанный материал... Есть один провал... Надеюсь, успею заполнить его между перепиской».

Но утром к Булгакову явились либреттист с режиссером из Большого театра, два часа он убивает в утомительной беседе. Что делать, он штатный консультант. Потом пошел телефон.

Вечером он снова над Пилатом.

Ты спрашиваешь печально: «Неужели действительно столько ненужных и отвлекающих звонков?» Как же, Дундик, не действительно? Раз я пишу, значит, дей-

ствительно... Могу к этому добавить в другой день еще Мокроусова (Композитор. Ты не знаешь?) о каком-то либретто со Станиславским, и разное другое.

Шла двадцать первая глава. Всё и всюду было завалено романом – диван, бюро, письменный стол, груды бумаг валялись на полу, черкнуть открытку в Лебединь, приткнуться было негде. Он спешил – этот июньский бег должен был рывком приблизить его к цели и, подгоняя Ольгу, он едва поспевал за нею сам.

«Вчера, – сообщала Ольга, – мы работали до полпервого, так и тянет писать скорей, чтобы дальше развивались события».

Роман продвигался, но Булгаков работал уже из последних сил. «Я погребен под этим романом. Всё уже передумал, всё мне ясно. Замкнулся совсем». Но время, время утекало безвозвратно.

Он гнал. Ни телефон, ни бессонница, ни разговорчивые гости – ничто его уже не отвлекало. «...Моя душа нужна мне только для моего романа». Болезнь временами замедляла этот гон и напоминала о неумолимом сроке. «Роман нужно кончить!! Теперь! Теперь!» Он знал: теперь или никогда.

И лишь временами у него срывалось: «Эх, Кука, тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний закатный роман».

На рассвете пятнадцатого июня, выправив главу «При свечах», Булгаков перешел к балу у сатаны. Так втянул его водоворот событий, что он перестал замечать смену дня и ночи. «Завтра, то есть, тьфу, сегодня возобновляю работу». И работа шла. «Я думаю, – писала Ольга, – у нас осталось дела на 4-5 сеансов, не больше». В тот день он диктовал ей о золотых статуях, о Низе и о возмездии, настигшем Иуду в Гефсиманском саду... Как властно, рукою Мастера, атлета, он уводит нас в тот далекий мир.

«Дорогая Лю, сообщи, в полном ли порядке твое уважаемое здоровье? Думаю о тебе нежно... Перестань ты бегать по базару за огурцами и яйцами!! Сиди в тени!»

Не обошлось и без семейных трений, *sister-in-law* вдруг вступила с ним в обсуждение романа.

Моя уважаемая переписчица очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улыбнулась один раз на странице 245-й... Полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено. Что и получило выражение в загадочной фразе: «Этот роман – твоё частное дело».

Осторожность Ольги вполне понятна. Она была многолетним секретарем Немировича-Данченко и всего Художественного театра. Но сомневался и сам Булгаков. Шутка ли, дьявол разгуливает по Москве на правах интуриста и рядом, поверни страницу, Иешуа, молодой человек, не Бог еще, а просто человек, растерянный, открытый, готовый умереть, так и не поняв, что с ним происходит.

Как все это совместить – и совместимо ли все это? О цензорах он уже давно не думал, пройдет – не пройдет, его не волновало, но прав ли он, нет ли здесь противоречия, разнобоя, не слишком ли далеко занес его ретивый конь воображения?

Как он метался, искал опору своей выдумке, своему поразительному дару, какой лабиринт прошел, пока выбрался к последней, тридцать второй главе. И как радовался, находя поддержку на утопанных дорожках литературы. «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана, – писал он Елене Сергеевне. – Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в „Мастере и Маргарите“! Ты понимаешь, что стоит это сознание – я прав!»

Ольга в минуту размышления вдруг посоветовала показать рукопись Немировичу.

– Как же, как же! – окоротил ее Булгаков. – Я прямо горю нетерпением роман филистеру показать.

«Да, роман... Руки у меня невыносимо чешутся описать атмосферу, в которой он переходит на машинные листы».

В ночь на 22 июня 1938 года. Сегодня получил соблазняющую меня телеграмму о лодке и подсолнухах. Целую тебя крепко.

Чувствую себя неважно, но работаю.

Диктуется 28 глава. Твой М.

28 июня. Утром. Дорогая Люси, она же очаровательная, прекрасная Елена, твои письма и открытки получены. Конечно, если мне удастся навестить тебя, я привезу

деньги. Сегодня пойду в Большой узнавать, когда дают жалованье.

Одно плохо – это, что мне нездоровится. Но ничего! Сегодня надеюсь подвинуться к самому концу.

Наконец, роман был перепечатан. Десять лет просидел над ним Булгаков, рвал, жег рукопись, оживляя пепел в новых вариантах. «Помоги, Господи, кончить роман», – молил он в начале этого пути. И вот рукопись, последняя, шестая версия романа, лежала перед ним.

Кончились его блуждания. Один в пустой квартире, Мастер сидел в своем старом кресле, поджав по привычке ногу и накинув лиловый выцветший халат. Что же будет дальше? Еще недавно он подгонял себя надеждой, что роман – это спасенье, выход, прорыв из тупика, что, кончив, он тут же подаст его наверх. Но вот он кончил, и нёкуда ему идти. В июне тридцать восьмого года мысль о верхах его уже не привлекала, не та погода стояла на дворе. «Так что же будет?» – не унималась Елена Сергеевна в Лебедяни. «Что будет?» – спокойно отвечал Булгаков, иллюзиями он себя не тешил и будущее своего романа представлял вполне реально: – Вероятно, ты уложишь его в бюро или шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем...»

Ушел июнь, а с ним и мысли о романе. В конце месяца он все-таки сдержал слово и поехал к Елене Сергеевне в Лебедянь.

Как прозрачна вода у берегов верхнего Дона, и как чист песок на дне! Елена Сергеевна повыгоняла всех мух из его каморки, поставила ящик с бутылками нарзана, батарею пива, лодка ждала его у берега реки... На третий день он зажег свечи и сел за «Дон Кихота» – истекал договорный срок. Инсценировку он вчерне закончил ровно в месяц, и в тот же день пришла ему пора возвращаться в Москву.

21 июля. 8½ вечера. Ну, Куква, и поезд же! Половина девятого, а мы только что дотащились до станции «Лев Толстой»!

Люблю! Целую.

21 июля. 9¼ вечера. Сменили паровоз, полетели как ветер. Целую ручки за ужин! Наслаждались цыплятами. Ах, какие цыплята! Целую! Бешено трясет.

Опустил в Троекурово.

22 июля. 4¼ утра. Невиданный поезд!

Дорогая Лю! Треплемся где-то под Каширой. Проводник говорит, что в Москве будем в 8, не раньше. Легендарный поезд! Причем, большинство пассажиров радуется, что опоздаем в Москву... «Пирвалнуисси, покуда доедешь», – говорит бабка, едущая во Владивосток.

Вернувшись, он тут же начал править, чистить первый вариант инсценировки и, подучив язык Сервантеса, погрузился в его роман: «Жадно гляжу на испанский экземпляр „Дон Кихота“».

А в городе была жара, август проникал во все щели его квартиры. «Ах, как душно, Ку, в Москве!» Нарзану бы со льдом, да где уж... Зато дом в Фурмановском переулке затих, даже двор перестал звучать. «Работаю легко. Правлю Санчо, чтобы блестел. Потом пойду по самому Дон Кихоту, а затем по всем, чтобы играли, как те стрекозы на берегу – помнишь?»

Город был пуст, телефон молчал. Булгаков пил березовую воду и не спеша листал испанские страницы. О своем романе он вспоминал с тихой грустью. «Суд над этой вещью я уже совершил и, если мне удастся еще немного поднять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика». Тут он не ошибся: четверть века пролежала рукопись «Мастера и Маргариты» на дне сундука в булгаковской квартире.

...В августе тридцать восьмого года умер Станиславский, и под впечатлением этой смерти Булгаков снова думал о своей судьбе: «Что сделал со мною МХАТ!»

В это время замерла его рука над «Записками покойника», веселой и злой сатирой на любимый Театр. Не мог он писать, думать о мертвом Станиславском так озорно и остро, как судил о нем живом. Даже в письмах к Елене Сергеевне, горяча и вспоминая прошлые обиды, обрывал себя: «...Вычеркиваю слова о Станиславском. Сейчас о нем не время говорить – он умер». К «Театральному роману» Булгаков больше не вер-

нулся, времени ему не было дано. Но юмор, вечный, спасительный юмор в нем не угасал.

РАЗГОВОРЫ 1938 ГОДА

Днем 7-го августа кто-то случайно позвонил в Театр по своему делу. Мхатовская дама, заикаясь от испуга, отвечала так:

- Да... вот... у нас тут... происшествие...
- Какое происшествие?
- Происшествие... Константин Сергеевич... того... умер... Только умоляю... Никому, никому ни слова!

Разговор с домработницей

Булгаков: Настя, вы знаете, кто такой Станиславский?

Настасья: Станиславский? Нет, нет! И не знаю я! Никакого такого не знаю!

Булгаков: А... ну, ладно.

Через несколько часов.

Настасья (сконфуженно): Вы спрашивали, знаю ли я Станиславского? Я-то своими мыслями была занята... Ну, как же мне его не знать! Мне Поля позвонила сейчас... Ведь я так люблю сцену! И мамочка его так любила... Мы, бывало, сидим с мамочкой и каждый вечер о нем разговариваем... Мамочка говорит: Ах, Настя, Настя! Вот бы от кого букеты да духи получать! И я говорю: Хорошо бы было, мамочка!

* *
*

Случалось, его видели в Литфонде или в саду «Эрмитаж». Летом 1938-го года Булгаков внезапно появился в бухгалтерии писательского жилищного кооператива. Нужда заставила его просить обратно деньги, переплаченные за квартиру в Фурмановском переулке. Обливаясь потом, он ходил от стола к столу и показывал при этом ворох всяческих квитанций, счетов и актов. Маленький человек, заглянув в его бумажки, вдруг испуганно спросил:

- Позвольте!... Это не вы написали «Дни Турбиных»?
- Я...

«Он вытаращил глаза, уронил бумажки и воскликнул:

– Нет?! Ей-Богу?!

Я так растерялся, что ответил:

– Честное слово!

Тут он бросил бумажки и говорит:

– Я «Зойкину квартиру» видел и «Багровый остров». Ах, как мне понравился «Багровый остров»!

Я говорю:

– Да они в Камерном чёрт знает что поставили вместо пьесы.

– Нет, нет, нет! Очень хорошо!

И финал:

– А... скажите... Сколько вы получаете со спектакля „Турбиных“?»

Из Записок Елены Сергеевны

Звонил Федя Михальский:

– Дирекция МХАТа спрашивает, на какие юбилейные спектакли Михаил Афанасьевич хотел бы пойти?

– Спрошу Михаила Афанасьевича.

М. А. тут же впал в ярь:

– Никогда ноги моей там не будет!

Стал вспоминать все надругательства. Еле успокоила.

* *
*

Старый приятель Яков Леонтьев, перейдя в Большой, просил Булгакова написать поздравление к сорокалетию МХАТа.

– Яков Леонтьевич! Хотите, я напишу адрес вашей несгораемой кассе? Но МХАТу, зарежьте меня, не могу, не найду слов.

* *
*

5 ноября 1938 г. М. А. говорит:

– Система Станиславского – это шаманство. Вот Ершов, например, милейший человек, но актер хуже не

выдумашь. А всё – по системе. Или Коренева. Записывает большими буквами за Станиславским всё, а начнет на сцене кричать своим гусиным голосом – с ума сойти можно! А Тарханов без всякой системы Станиславского самый блестящий актер! Когда стали репетировать на квартире у Константина Сергеевича «Мертвые души», и он начал свои этюды, Тарханов сразу все сообразил и схватился за бок, скорчив страшную гримасу. КаэС спрашивает: «Михаил Михайлович, что с вами?» – Печень... Ушел и не приходил во время всех бесчисленных репетиций, и сыграл Собакевича первым номером. Вот тебе и система!

* *
 *

Оленька рассказывала, как Коренева один раз сказала восторженно:

– Константин Сергеевич! У меня несколько тетрадей записей всего, всего, что вы говорили на репетициях. Что мне сделать с этими записями?

– Их надо немедленно сжечь!

На этом тема о Станиславском оборвалась навсегда.

* *
 *

Дмитриев, по случаю того, что ему, наконец, вернули паспорт, пригласил нас пообедать в Союзе Советских Писателей. Ну, и типы там в столовой попадаются! Это не 19-й век, не честные бородатые лица с ясными глазами.

И откуда они только берутся? Действительно, может быть, верно говорит Ермолинский, что начинают заниматься литературой потому, что нет уже частной биржи. Считают литературное дело самым выгодным.

– Замечательный дом, клянусь! – восторгался он своим нащокинским жильем. – Писатели живут и сверху, и снизу, и

сзади, и спереди, и сбоку... Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы.

И, пожив немного:

– Если мы отсюда не уберемся, я ничего не буду больше делать! Это издевательство – писательский дом, называется... Войлок! Перекрытия!

С писателями связь была такая. «У нас все слышно – сверху, снизу, сбоку. А когда наверху танцуют – это бедствие. Работать М. А. очень трудно».

Как жилось ему в том доме?

Мандельштам, сосед, его не привечал, да и то сказать, исчез в неведомой Чердыни. Зато в подъезде он встречался со Шкловским («У ковра Булгаков»), а за стеной, в квартире, оклеенной в сиреневый тон, жил веселый человек Евгений Габрилович, печатавший свои произведения в «Правде». Балкон у них был общий, и, встречаясь, они беседовали о погоде, именинах, свадьбах и разводах в том большом и шумном доме.

Однажды Габрилович спросил: «Что вы пишете сейчас?»

– Пишу кое-что, – сказал Булгаков. – Так, вещичку.

В то время он заканчивал роман о Мастере и Маргарите.

Роман не давал ему покоя: подать, не подать? Порой ему казалось, что надо сделать первый шаг к издателям. Чем чёрт не шутит, вдруг возьмут? Ах, как ему хотелось видеть их всех – Кота, Коровьева и Азazelло, и Иешуа с Пилатом хоть в самой простенькой обложке. Но, умудренный опытом, он проверял себя на людях. «За три вечера он прочел нам весь роман, – говорил драматург Файко. – Кончив читать, завернул рукопись и сказал: „Завтра понесу в Госиздат“».

– Ты с ума сошел!

– Почему? Вы же сидели, слушали...

Молчание. Потом кто-то посоветовал: «Разве отрывок в „Огонек“, там Женя Петров, он поймет».

– В «Огонек»... отрывок... да, заманчиво...

С Ильфом и Петровым ему уже пришлось как-то поговорить на эту тему. В годы успеха они не забывали старого товарища по «Гудку», и, случилось, он прочел им несколько глав из своего романа. «Опубликуем! – сказали авторы «Теленка». – Только уберите всю линию Христа». Булгаков промолчал, рукопись сложил и больше их к себе не приглашал.

Потом, когда иные гости напоминали ему о романе, он говорил: «Давайте лучше выпьем».

Из Дневника Елены Сергеевны

17 августа 1938 г. Марков вцепился в М. А. – надо поговорить! Непременно! Надо дать что-нибудь для МХАТа. М. А. говорил только о зле, которое ему причинил МХАТ.

23 августа... Встретили в Лаврушинском Валентина Катаева. Пошли пешком, и немедленно Катаев начал разговор: М. А. должен написать небольшой рассказ, представить... «Ссора затянулась», и так далее. Всё уже давно слышанное. Всё известное. Всё чрезвычайно понятное. Всё скучное... Сказал, что Куприн очень дряхл. Не узнает окружающих.

26 августа. Умер Куприн. Грустно.

4 сентября. В Лондоне в театре «Феникс» готовят «Дни Турбиных», просят прислать фотографии мхатовской постановки. Всегда такие письма волнуют М. А., создают неразрешимые вопросы.

5 сентября. Сегодня 800-й спектакль «Турбиных».

10 сентября. В 11-м часу вечера пришли Виленкин и Марков и просидели до пяти утра. Пришли просить у М. А. пьесу для МХАТа.

– Я никогда не пойду на это... Это опасно для меня. Я знаю всё вперед, что произойдет, меня травят.

Никогда не видели они его таким злым, мстительным... Булгаков выложил им всё, что перегорело у него в душе.

– Но теперь все это прошлое. Я забыл и простил. (Как М. А. умеет, из серьеза в шутку перейти.) Простил, но писать не буду.

Все это продолжалось не менее двух часов, и когда мы около часу ночи сели ужинать, Марков был черен и мрачен... За ужином настроение поднялось.

Потом они снова вернулись к неизбывной теме, и Марков, волнуясь, искренне сказал:

– Театр гибнет. Пьес нет. МХАТ живет страшным репертуаром, он умирает. Единственное, что может его спасти, – это современная хорошая пьеса.

Помолчали, и Марков с надеждой в голосе закончил свою мысль:

– В театре, – сказал он, – все убеждены, что такую пьесу может написать только Булгаков.

Уже светало, когда он вдруг спросил:

– Ты ведь хотел писать о Сталине?

Булгаков ответил по-деловому: «Не могу достать нужных материалов». Это был другой разговор, и Марков с Виленкиным тут же подхватили – Немирович-Данченко напишет Сталину письмо... Нет, этого делать не надо.

– Пока нет пьесы на столе, просить не о чем... Хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы.

Гости словно приросли, никак не хотели уходить без результата. Но и Булгакову было о чем поразмыслить.

12 сентября. Подумать только, у М. А. написано 12 пьес – и ни копейки на текущем счету. Идут только две пьесы в одном театре. Откуда отложить?

М. А. слышал, что вернули в Большой театр арестованных несколько месяцев назад Смольнова и Кудрявцеву.

А в МХАТе арестован Степун.

Ночью они поехали на Воробьевы горы посмотреть на спящую Москву. Их охватила мгла, пропитанная заводским угаром. «Красноватые тусклые огоньки внизу в Москве. Страшно! Впечатление такое, что сейчас задохнешься». Нет, не спала Москва в те ночи. Страхом пронизаны страницы Дневника. На случай обыска Елена Сергеевна вела его особым кодом, сокращая до неузнаваемости все слова.

14 сентября. После долгого перерыва звонила Лида Р., сказала, что и брат и дочь у нее арестованы, что на руках у нее остался маленький внук. Просила меня зайти.

18 сентября. М. А. вернулся поздно от Лепешинской, где балетная труппа вместе с М. А. ломала голову над «Светланой» (музыка Кабалевского, либретто Жиго). Усталость М. А., безнадежность собственной работы.

Большой театр не давал Булгакову покоя. Вдруг Самосуд предложил ему писать либретто «Мадемуазель Фифи».

– Какой сюжет, – кричал он, бегая по кабинету. – А фабула... Дунаевский уже согласился!

Не мог отказаться и штатный либреттист. Из театра Булгаков вышел несколько озадачен: после Минина и Петра Великого вдруг Мопассан! Возвращаясь переулками домой, он, по привычке, думал, как все это сделать, заходил в букинистические лавки, тут же стал подбирать материал. Вечером они сидели с Еленой Сергеевной, обсуждали план. «А сейчас ночью М. А. рассказал мне содержание всех пяти картин».

Спустя три дня, Булгаков уже читал ей первую картину, а через две недели отнес наброски в театр. «Дунаевский прислал мне громадную корзину цветов», – радовалась Елена Сергеевна.

Дорогой Михаил Афанасьевич!

Считаю первый акт нашей оперы с текстуальной и драматургической стороны шедевром. Надо и мне теперь подтягиваться к Вам... Пусть отсутствие музыки не мешает Вашему прекрасному вдохновению. Я всегда долго собираюсь...

Друг мой, дорогой и талантливый! Ни секунды не думайте обо мне иначе, как о человеке, беспрестанно любящем свое будущее детище.

Ваш

И. Дунаевский

Получил Ваше милое письмо, дорогой Исаак Осипович! Оно дает бодрость и надежду. В этом письме 2-я картина. От всей души желаю Вам вдохновенья. К этому пожеланию полностью присоединяется Елена Сергеевна. Мы толкуем о Вас часто, дружелюбно и очень, очень веруем. Извините, что пишу коротко и как-то хрипло-отрывисто – нездоровится. Колючий озноб, и мысли разбегаются.

И третья картина была уже готова, а музыки все нет и нет. «Пишите, пишите, – торопит композитора Булгаков. – Ковать железо, пока горячо!» Молчит Дунаевский, видно, еще не совсем собрался. «Почему-то в Вас я поверила. Я ошиблась? –

пишет ему Елена Сергеевна. – Неужели и „Рашель“ будет лишней рукописью, погребенной в красной шифоньерке! Неужели и Вы будете очередной фигурой, исчезнувшей, как тень, из нашей жизни?»

Опять интриги, – думает она. – Кто мог погубить либретто?

Оказалось все гораздо проще. Самосуд, прочтя либретто, заявил:

– Булгаков поднял «Мадемуазель Фифи» до уровня трагедии, ему нужен другой композитор.

И он отдал либретто Дмитрию Кабалевскому.

«Ну, и предатель этот Самосуд!» Булгаков встретил его в подвезде оперного театра:

– Как же вы теперь будете смотреть в глаза Дунаевскому?

«Самосуд взглянул на М. А., как на наивного ребенка».

Ни Дунаевский, ни Кабалевский оперы такой не написали. Еще одно либретто Булгакова отправилось в архив Большого театра.

Зато Марков с Виленкиным его не забывали, Немирович непрестанно спрашивал о пьесе, и в конце сентября они снова пришли убеждать, доказывали, что теперь все будет по-иному.

– Пишите, пишите для нас пьесу, вся надежда на вас...

«М. А. отвечал, что раз Литовский опять выплыл, опять получил место и чин – все будет по-старому. Литовский – это символ!»

И снова они ушли ни с чем.

13 ноября 1938 года. Николай Эрдман прочитал первый акт своей будущей пьесы. М. А. сказал: «Сухово-Кобылинская школа».

1 декабря. Вчера вечером Николай и М. А. ломали головы, как лучше составить заявление в Союз Писателей и подать (через Толстого) – об изменении участи Николая Робертовича, о снятии судимости и принятии в Союз.

«Дон Кихот» расшевелил театры, Булгакову снова начали звонить. Елена Сергеевна снимала трубку. Вот директор Свердловского театра хочет поговорить с Михаилом Афанасьевичем относительно пьесы...

– Которой? – интересуется она.

– «Дон Кихот», конечно, – после паузы удивленно отвечает директор.

О чем же еще можно говорить?

А вечером Николай Павлович Акимов, руководитель театра Комедии приехал из Ленинграда, разговаривал осторожно: «Да, надо обдумать... да... Всё же вы, Михаил Афанасьевич, ни с кем в Ленинграде договор не заключайте, только с нами». Гнат Юра звонил из Киева, тоже хочет ставить «Дон Кихота».

«Как все повторяется, – философствует она. – Напишет М. А. пьесу – начинаются звонки, разговоры, письма. Потом пьеса снимается – иногда с грохотом, как „Мольер“, иногда тихо, как „Иван Васильевич“ – и наступает полная тишина».

Неспокойно в мире. Гитлер угрожает Чехословакии. «Неужели возможна война?» – ужасается Елена. Но дома у нее свои заботы. «М. А. вернулся из Большого в час ночи, с мигренью...» А тут его уже ждало либретто Городецкого «Дума об Опанасе» – «Тоже удовольствие!» Наутро он диктует ей отзыв – «по поводу этого проклятого Опанаса!» Потом спешит в Филиал Большого. Потом – в Дирекцию. «Но между всеми этими делами постоянный возврат к одной и той же теме – к загубленной жизни М. А.»

Булгаков обвинял во всем себя, а Елена Сергеевна спорила, не соглашалась. «Мне тяжело слушать это. Ведь я знаю, что его погубили. Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти. Кроме того, потому что он держится далеко от них, не любит богемы... Ему это не прощают. Это как-то высказал всё спяну Юрий Олеша».

В то время Булгаков усиленно думал о пьесе, которая спасет его, разрубит узел. «Нельзя жить, не видя результатов своей работы». Но роман по-прежнему доминировал над всем.

19 сентября 1938 г. Сегодня вечером М. А. сел за правку июльского экземпляра «Мастера и Маргариты».

28 сентября. Включила радио: войска идут через Берлин в полной готовности, Гитлер объявил Чехии ультиматум. Значит, действительно, война! Боже.

3 октября. Кроме германских, вступили в Чехию и польские войска. Чехия кончила свое существование – без боя.

Решили прогуляться по Арбату... В диетическом толчея безумная, купили икры – 69 рублей кило.

Поражает погода, стоят совершенно ясные дни, очень тепло.

МХАТ готовился к сорокалетью, и Федя Михальский настойчиво звонил, просил Булгакова прийти в Театр. Елена Сергеевна брала трубку:

– Поблагодарите, пожалуйста, от Мишиного имени дирекцию, но он пойти не может... Он никогда не пойдет во МХАТ.

8 октября. Вчера М. А., чтобы показать мне игру знаменитого маркера Березина (Бейлиса), играл с ним в клубе писателей американку. Тому, видимо, нравится М. А., и потому он затягивал игру, хотя мог бы ее закончить в две минуты. Что он и сделал после просьбы М. А. – он просто не дал ему положить ни одного шара.

Тихий, вежливый человек, с очень грустными глазами.

20 октября. Федя Михальский сказал, что М. А. внесли в список приглашаемых на юбилей МХАТа, очень просил непременно прийти.

М. А. сказал – нет.

26 октября. Подумать только, в число юбилейных спектаклей не внесли «Турбиных», идущих 13-й год, уже больше 800 раз.

27 октября. В газетах опубликованы награждения МХАТу. Их очень много, есть новые народные... Награды орденами, награждения денежные. Немирович получил 25 тысяч, другие старики по 20 тысяч... Голенищевский переулочек переименован в улицу Немировича-Данченко и дали ему дачу...

1 ноября. В магазине Литфонда отказали дать писчую бумагу Булгакову. «Он и так получил больше нормы». А норма, оказывается, 4 килограмма в год. На чем же писать?

5 ноября. «Дон Кихот» разрешен Главреперткомом и Комитетом по делам искусств.

7 ноября. Днем звонил Ангарский, сообщил, что в Лондоне идут «Дни Турбиных» под названием «Бе-

логвардейцы». Говорит, что М. А. должен протестовать.

– Против чего? Ведь я же не видел этого спектакля...

И все же Художественный театр не мог забыть Булгакова, так же, как Булгаков не мог забыть Театр. Кто-то должен был сделать первый шаг. Булгаков справедливо полагал, что не ему идти с повинной. И Театр с этим согласился. Вслед за Марковым пришел к нему Сахновский, ведущий режиссер:

– Я прислан к вам Немировичем, – начал он, – сказать вам от имени Художественного театра: придите опять к нам... Мне приказано стелиться, как дым, перед вами. Мы протягиваем к вам руки, вы можете ударить по ним...

Не выдержал Михаил Булгаков: в черном костюме, лакированных туфлях и с белой хризантемой в опущенной руке он вышел в юбилейный вечер на сцену Художественного театра. За его спиной, на сцене сидели в несколько рядов артисты МХАТа, и он вполоборота к ним произнес шутливый спич. Смех пробежал по залу, и сцена ответила громким аплодисментом. «Весь юмор был понят и принят». Примирение состоялось.

Домой, доволен, возбужден, он вернулся глубокой ночью, и тут же начались телефонные звонки. «После всех поздравлений видно, что М. А. была устроена оvation – именно это выражение употребляли все. Все говорят, что в этой встрече обнаружилось настоящее отношение к М. А.».

Итак, Булгаков вновь пришел в Театр. Отношения восстановились, но холодок оставался. МХАТу до зарезу нужна была пьеса о вожде, однако в Театре по-прежнему никто не знал, согласится ли Булгаков такую вещь написать. В конце ноября Боярский, новый директор МХАТа, пригласил его в свой кабинет.

– Ну, что же, – начал он, – будем говорить относительно того, как бы вы дали нам пьесу.

И тут Булгакова прорвало, он выложил директору все, что накопилось за эти годы на его душе: о разгроме его пьес в тридцать шестом году, о том, что за все его труды с «Мольером» Театр предъявил ему денежный иск, а Литфонд исключил из списка на квартиру. Булгаков говорил о травле...

Все это директор выслушал с невозмутимым видом и, дав Булгакову немного отдышаться, привел совершенно неотразимый довод:

– Вам практически выгодно написать для нас пьесу... – сказал он, напирая на второе слово. – У нас правительство бывает... Наши старики могут обратиться...

– Нет, – отвечал Булгаков. – У меня сейчас нет сил писать.

И ушел. А дома говорит Елене Сергеевне:

– Я рад, что все сказал этим подлецам. Ей-Богу, легче стало.

Так резко он ни о ком не говорил.

18 ноября. Был Дмитриев – опять о МХАТе, о том, что им до зарезу нужно, чтобы М. А. написал пьесу, что они готовы на всё!

– Что значит – на всё? Мне, например, квартира нужна, как им пьеса. Не могу я здесь больше жить! Пусть дадут квартиру!!

29 ноября. Над нами очередной бал, люстра качается. Лампочки тухнут, работать невозможно. М. А. приходит в ярость.

– Я не то что МХАТу, я дьяволу готов продаться за квартиру.

Два раза звонил Марков: «Миша, нам надо непременно повидаться».

7 декабря. Сегодня достала случайно для М. А. три рубашки.

Все же был он человек, как все мы, нуждался в носках, в теплом белье, квартире тихой. А Марков с Виленкиным не отступались, звонили каждый день. И Елена Сергеевна: «Миша, если эту вещь поставят, ты понимаешь, что будет?» Булгаков колебался, думал. «Это для меня может плохо кончиться», – повторял он дома.

– Завтра все враги будут у твоих ног...

Он все еще не мог принять решения. Прошло несколько месяцев, и он сказал:

– Согласен. Пьеса будет называться «Пастырь» и начнется в духовной семинарии.

Так он пал.

Я часто спрашивал друзей Булгакова: как же всё это случилось, кто толкнул его на этот путь? Театр? Жена? Стремление вырваться из тупика? Говорят, Булгаков не должен был, не смел писать этой пьесы. Но всё же написал – вот в чем беда. И я старался докопаться, понять – почему, по чьей указке, недоброй воле сделал он этот шаг.

Что говорить, пьесу «Батум», славящую молодого Джугашвили, он сочинил не от хорошей жизни. Безденежье, писание оперных либретто, да неужели он закончит жизнь инсценировщиком чужих романов?! И вот представился счастливый случай.

В тридцать девятом году Сталину исполнялось шестьдесят лет, и Немирович-Данченко очень хотел получить пьесу о вожде, достойную подмостков МХАТа. Лучше Булгакова эту задачу никто бы не решил, и чем ближе было к юбилею, тем чаще на булгаковской квартире появлялся Виленкин, гонец из Театра, просил, советовал, искусно убеждал, Елена Сергеевна ему усердно помогала. И, наконец, я твердо заключил: «Батум» написан был к юбилею и под большим давлением. Логика моя была проста и держалась на неоспоримых фактах. Булгаков был оправдан.

И вдруг все рухнуло... В Дневнике Елены Сергеевны я прочитал короткую фразу: «М. А. окончательно решил писать пьесу о Сталине». Запись эта сделана 6 февраля 1936 года.

Вот те раз! Не было еще ни юбилея, ни давления, Виленкин всего один лишь раз был упомянут в числе гостей булгаковского дома, а идея пьесы уже созрела, устоялась в голове у драматурга и надолго завладела его умом.

Так значит, я ошибся! Неужели Булгаков, умница, мудрец Булгаков сам рыл себе могилу? О боги, как слеп бывает человек! Впрочем, что ж, был он смертен и, как все смертные, блуждал в темноте.

Но словно предчувствуя мое смятение, Елена Сергеевна снова записывает в свой Дневник: «18 февраля 1936 года. М. А. поехал в МХАТ по вызову Аркадьева... Вернулся часов в 10 и рассказывал: разговор, над чем будет М. А. теперь работать? М. А. отвечал, что единственная тема, которая его сейчас интересует, – это Сталин».

Месяц спустя после падения «Мольера» Керженцев спросил его о планах. «М. А. назвал пьесу о Сталине».

Доказательств я больше не искал, но в объяснении нуждался. Аркадьева понять нетрудно, февраль тридцать шестого года был месяцем «Мольера», за три дня до разговора прошел первый спектакль, занавес давали по точному подсчету двадцать два раза, автора вызывали без конца, и «красный директор» театра задал ему вопрос вполне естественный в устах директора любого цвета. Но Булгаков – тут логика моя бессильно угадает, могу лишь думать о подсознательном движении души. Что-то влекло его к человеку в серой шинели: признательность за спасение «Турбиных», желание отплатить добром... Не знаю! Помню лишь женский голос: «Сталин добавил ему десять лет жизни...»

Итак, Булгаков принял важное решение. Но в Театре об этом ничего не знали. И, продержав своих обидчиков несколько месяцев в нетерпеливом ожидании, Булгаков решил, наконец, что наступил его час. В июне 1939 года он зашел в кабинет директора Художественного театра и, сохраняя непроницаемое выражение лица, подписал договор на пьесу о вожде. Что делать, приходится писать... Директор и актеры ликовали. Булгаков был вполне спокоен и, отложив перо, уточнял детали договора. Потом откланялся и ушел. Самое интересное заключалось в том, что пьеса та, первый, черновой вариант «Батума» был давно написан и лежал в его столе с сентября 1938 года.

В тот сентябрьский вечер, когда Виленкин с Марковым пришли к Булгакову просить о пьесе, а он так бурно их корил, отказывался даже говорить о новом договоре с МХАТом, именно в тот самый вечер, за несколько часов до их прихода, он кончил черновик «Батума».

Бывают же такие совпадения! Только сверхъестественная сила могла привести посланцев МХАТа в этот день и в этот час на давно забытую квартиру. Или, может, все было иначе, может, вполне земное существо, проживавшее в той квартире, навело их на эту мысль? Не знаю, все может быть, все может быть...

Так или иначе, договор был подписан, и Булгаков снова сел за стол. Работал он всегда запойно, но тут превзошел себя. Письма Ольги Бокшанской мужу, актеру Калужскому, позволили мне заглянуть в окно булгаковской квартиры.

Вот что происходило в доме Михаила Афанасьевича летом 1939 года.

«5 июня. За это время я еще три раза была у Булгаковых, встречена была чрезвычайно мило, и вообще с ними начинаются интереснейшие дела. Калишьян* заинтересован в привлечении его снова к работе. Мака на это идет, чувствуя, что надо – а вообще ты ни слова, слышишь, ни слова об этом не говори никому решительно. Затевается интересное дело...»

Всего неделя прошла после этого письма: «Мака в запале работы...»

Еще три дня: «Договор подписан. Мака с невероятным увлечением и страстностью работает над шлифовкой пьесы и над писанием еще не написанных, но уже в голове легших сцен».

Вот теперь, когда пьеса на столе, Булгакову понадобились факты, документы о вожде. Мгновенно Театр их добывает. «В остальном картины в его фантазии встают стройно». Все идет, как хотели Виленкин и Марков.

«Вечером пошла к ним и попросила Маку почитать что-нибудь из пьесы, что он захочет. Он прочитал две картины (всего написано 10). Первую – 1898 год, Тифлис, семинария, изгнание из нее Джугашвили... Сталину там 19 лет... Если можно так выразиться, это сделано с предельным изяществом: и устремленность в своей идее жизненной, и юмор, и обаяние...»

Неделей позже она отмечает:

«22 июня. Мака в пьесе с головой, со всеми мыслями, и решил никуда не ехать, пока ее не закончит. Работать в отъезде он не может, потому что материалов гибель, а везти с собой все книги невозможно. Мака взмолился: «Не вынимай меня из моего угла, прошу!» И Люся, которая страшно было загорелась поездкой в Киев, должна была согласиться на Москву, потому что сама в восторге следит за тем, с каким увлечением и подъемом работает Мака. «Таким он давно не был в работе, с „Пушкина“», – говорит Люся».

* Калишьян – и. о. директора МХАТа.

Так это было... Но позвольте вас спросить: а как иначе быть могло? Мог ли Булгаков, мастер, взявшись за пьесу для своего Театра, делать ее как-нибудь? После драм о зрелом Пушкине, Мольере, пьеса о молодом семинаристе была для него не очень сложной, но рискованной задачей. Справлюсь или нет? Он словно ждал лишь случая, чтоб снова показать, на что способен.

И Ольга, выслушав другую сцену, без Сталина, справедливо замечает: «Опять – сжатость формы, глубина содержания и поразительная, блестящая легкость...» Я с ней согласен, пьеса «Батум», не будем говорить о ее герое, отличная работа, и к славе идола она могла прибавить человечность, теплоту. К счастью, он этого не понял или не хотел понять – до него мне дела нет.

...Читаю «Батум», и вдруг в третьей картине приковала мое внимание фраза. Пастырь встречает Новый год среди подпольщиков, пьющих за его здоровье, и Порфирий, сын рабочего, поднимает тост: «Я хочу тебе сказать, что я никогда не забуду твой первый разговор со мной...» Где-то я уже читал эти слова... Не в том ли неотправленном письме вождю? Да, вот оно: «...Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти... Я не избалован разговорами». О, недобрый был тот день и час, когда Булгаков задумал повторить эти слова со сцены. Но сегодня, в июне тридцать девятого года, он еще ничего не знает, и душа его полна надежд.

Дни стояли солнечные, ослепительные дни, и телефон в его квартире снова зазвучал с призывной силой. Звонили директора театров, администраторы, завлиты, режиссеры, из Киева, Тбилиси, Воронежа, Казани, шли ласковые письма, волнующие телеграммы – периферия не хотела отставать от МХАТа. И Булгаков принимал это как верный знак удачи.

Наконец-то после стольких срывов и разгромов он возьмет реванш. И какой реванш! Уверенность в успехе нарастала с каждым днем, уже приносили ему эскизы костюмов и декораций, уже Хмелев разучивал роль молодого пастыря, вождя. Булгаков был настолько убежден, так втянут в карусель удачи, что стал подумывать уж о деталях своего триумфа, просил Елену Сергеевну заняться распределением мест среди знакомых на просмотром спектакле: кому где сидеть. В конце

июля она просила Федора Михальского, сидельца в мхатовской конторке:

Милый Фединька!

Посылаю Вам первый список (художники, драматурги, композиторы). Будьте добры, сделайте так:

Эрдман Б. Р. – ложа дирекции

Вильямс П. В. – 1-й ряд (лево)

Шебалин В. Я. – 3-й ряд

Эрдман Н. Р. – 7-й ряд

Дмитриев – бель-этаж, постоять.

Фединька! Если придет Олеша, будет проситься, сделайте мне удовольствие: скажите милиционеру, что он барышник. Я хочу насладиться. Федя, милый!

Целую

Ваша Люся

Булгаков спешил. 12 июля он читал пять первых сцен «Батума» в Театре и обещал не спать ночей, но пьесу сдать в тот же месяц.

Солнце палило город, раскаляя крыши, в комнатах не продохнуть, Булгаков пил нарзан и продолжал работу. Двадцать четвертого июля он поставил точку. «Пьеса закончена! – ликовала Елена Сергеевна. – Это была проделана Мишей совершенно невероятная работа. За 10 дней он написал 9-ю картину и вычистил, отредактировал всю пьесу. Прямо непонятно, как сил хватило у него».

Вечером к нему приехал Калишьян, и Булгаков передал три готовых экземпляра пьесы. Через два дня ему сообщили: решено поставить пьесу к 21 декабря, дню рождения вождя.

На следующий день Булгаков торопился в Театр читать «Батум» актерам. По дороге солнце вдруг потемнело, скрылось за тяжелой тучей, откуда-то дунул ветерок, сверкнуло – и на Москву обрушилась обломная гроза. К добру или к беде? К счастью! – решила Елена Сергеевна. Весь мир казался ей в те дни ликующим и беспечальным. В Театре слушали его с восторгом. «После чтения очень долго, стоя, аплодировали... Все хорошо».

Прошло всего две недели, и Театр – в неслыханный с Булгаковым пример – приступил к работе над спектаклем.

Московский Орден Ленин и Трудового
Красного знамени Художественный
Академический театр СССР им. Горького

*Секретарю ЦК КП(б) Грузии
тов. Чарквиани*

№ 1027

В связи с предполагаемой в сезоне 1939 года постановкой пьесы «Батум» (драматург М. А. Булгаков) МХАТ СССР им. Горького направляет в Тбилиси и Батум бригаду, на которую возложены предварительные работы, связанные с постановкой пьесы.

Дирекция МХАТ, придавая большое значение предполагаемой работе, обращается к Вам с просьбой помочь бригаде советом, указаниями в ее значительной работе.

В состав бригады входят:

Булгаков М. А. — член Союза писателей, драматург — автор пьесы (руководитель),

Гремиславский И. Я. — заслуженный деятель искусств, орденосец,

Дмитриев В. В. — художник, орденосец,

Виленкин В. Л. — работник литературной части МХАТ.

Заранее благодарим и извиняемся за причиненные хлопоты.

По поручению Дирекции МХАТ

И. О. Директора Калишьян Г. М.

Все шло как по маслу. Театр торопил Булгакова со сроком сдачи отработанного варианта. Немирович-Данченко, путешествуя за границей, отбил телеграмму: «Прислать мне пьесу немедленно. Вернусь с готовым планом постановки». Пьесу утвердил Главрепертком! Наконец, ее прочел главный герой и, говорят, одобрил. Почет и слава гнались наперегонки к дверям булгаковской квартиры, и, казалось, никто не мог их остановить.

Все же сомнение временами омрачало его душу. Пройдет — не пройдет? «Устав, отодвигаю тетрадь, думаю — какова будет участь пьесы?.. На нее положено много труда».

И впрямь, уж больно гладко, не по-булгаковски все получалось. Не привык он к такому обращению. Да вот еще в

«бригадиры» вдруг попал... Странно все это, очень странно. Но слово надо держать, и один в пустой квартире он эпизод за эпизодом оттачивал «Батум». Потом приходила Елена Сергеевна и, сев за машинку, перебелила готовые страницы. Нет, пока все идет неплохо, даже совсем прекрасно, нельзя упускать такой удачи!

8 августа 1939 г. Утром, проснувшись, Миша сказал, что, пораздумав во время бессонной ночи, пришел к выводу – ехать сейчас в Батум не надо.

И все-таки они решили: ехать! Бригада ждала. Художник Дмитриев отдыхал в Тбилиси, и Театр телеграфно предложил ему выехать в Батум.

Неужели едем завтра!! Не верю счастью.

14 августа Булгаков с женой и Виленкин направлялись в спальном вагоне поезда «Москва – Батуми» на место действия пьесы. Была жара, и все облачились в летние пижамы. Елена Сергеевна накрыла столик, коньяк, закуски: «Выпьем за успех!» Булгаков сидел в углу у окна, о чем-то думал. В Серпухове поезд сделал первую остановку и стоял уже несколько минут, когда в купе донесся из коридора простуженный женский голос: «Булгахтеру телеграмма!» Булгаков быстро повернулся, и Виленкин вдруг увидел, как дрогнуло и посерело его лицо. Но голос был спокоен: «Это не бухгалтеру, а Булгакову, – сказал он тихо. – И это – конец». В телеграмме было всего пять слов: «Надобность поездке отпала тчк возвращайтесь Москву». Сталин передумал. Кто-то подсказал ему, что в пьесе он, вождь, говорит слова, написанные – кем? – Булгаковым! Допустимо ли такое?!

Поезд уже тронулся, когда Виленкин, выбросив свой чемодан в окно, прыгнул на перрон. Булгаков и Елена Сергеевна остались в купе. «Не забыть мне их лица в окне!..»

После минутной паузы Елена Сергеевна твердо сказала: «Мы едем дальше. Поедем просто отдыхать». Но на следующей остановке, в Туле, они сошли и, разыскав такси, вернулись в Москву.

15 августа. В машине думали: на что мы едем? На полную неизвестность. Через три часа бешеной езды, то есть в 8 часов вечера, были на квартире.

Еще по дороге Михаил Афанасьевич почувствовал неиспытанную прежде резь в глазах и почувствовал приближение старого недуга.

– Не нужно света, – сказал он, входя в квартиру.

Елена Сергеевна зажгла свечи. И сразу пошли звонки из Театра. Булгакова звали объясняться. «Состояние Миши ужасно. Утром рано он мне сказал, что никуда идти не может. День он провел в затемненной квартире».

Ермолинский запомнил, как Булгаков пришел к нему в первый раз после возвращения из Тулы, прилег на диван, помолчал, глядя в потолок, потом сказал:

– Ты помнишь, Сергей, как запрещали «Дни Турбиных», как сняли «Кабалу святош», вернули рукопись о Мольере?.. Я продолжал работать. А вот теперь, смотри – я лежу перед тобой протырявленный.

Так и сказал «протырявленный». В утешенье МХАТ предложил ему переделать для сцены повесть Тургенева «Вешние воды».

...в Театре все глядят на меня с сочувствием, как на вдову... Он говорит – выбит из строя окончательно. Никогда так не было.

И вот совершенно загадочный поступок: на исходе жизни, точно зная, что остаются считанные дни, Булгаков вдруг заводит тетрадь «Занятия иностранными языками». К чему бы это? Пятнадцатого августа, едва оправившись от страшного удара, он садится за учебник. Свет мучает его, глаза почти не видят, но две недели, вплоть до двадцать восьмого числа, он усилено освежает в памяти галльские обороты, учит итальянские слова. Вздор какой-то, чушь, нелепость! О, нет, друзья мои, Булгаков знал, что делал, болезнь всколыхнула в нем последнюю надежду: а вдруг теперь отпустят?.. «Я – пленник, я ослеплен...» Давняя мысль овладела им с новой силой, на пороге смерти он мечтал о воле. Но в конце августа стало ему так плохо, что пришлось эту тетрадь отложить.

Десятого сентября Булгаков взял отпуск в Большом театре и стал собираться в Ленинград на репетиции «Дон Кихота». Алексей Файко, сосед по дому, видел его у подъезда, когда он ждал такси. В легком коверкотовом пальто и мягкой фетровой шляпе, он курил, смотрел рассеянно вдаль улицы.

Подошла машина, в которой уже сидела Елена Сергеевна, он бросил окурок, хлопнула дверца, они уехали.

«Какая трудная и несправедливая вещь – театр!» – воскликнул как-то Павел Марков. Полагаю, ему можно верить.

В Ленинграде на Невском проспекте Булгакову вдруг стало плохо, на миг он потерял зрение. То был грозный признак. Пришлось им срочно возвращаться домой.

В Москве он начал посещать врачей. Диагноз был установлен быстро: склероз обеих почек. Именно от этой болезни на сорок восьмом году жизни скончался его отец. Теперь доктор Булгаков не сомневался: дни его сочтены. «Во мне происходит ясно мной ощущаемая борьба признаков жизни и смерти», – письмо написано рукой Елены Сергеевны, сам он был уже полуслеп.

Но был спокоен. Ермолинский навестил его в первый же день после возвращения из Ленинграда, и Булгаков рассказал ему все, что произойдет в ближайшие полгода. «Он называл недели и месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни». Ермолинский верил и не верил, но дальше все шло, как он предсказал. Врачи, их было несколько, выходили от него растерянные. Он сам говорил им, что с ним происходит, и скрыть от него правду было невозможно.

Болезнь завладела его умом, он стал замкнут, молчалив, надел темные очки и редко выходил из дома. Однажды он пошел в фотографию на Арбате и там снялся на память Люсе – в очках и шубе из медведя гризли. О своей болезни он почти не говорил, немногие в ту пору знали, что было у него на душе. Яншин окликнул его на Кузнецком мосту, когда он пытался перейти Петровку – и не мог... «Я перевел его через дорогу. Он поблагодарил меня и ушел...»

В декабре тридцать девятого года, вернувшись из Барвихи, он сообщил приятелю, что приехал умирать. И все-таки в те дни Булгаков был сильнее своего недуга. Есть сведения, что после неудачи с «Батумом», он замыслил пьесу о Ричарде Первом, хотел рассказать о гибели всесильного тирана. Верю: пьесу эту он задумал, как очищение от скверны.

15 января 1940 г. Миша, сколько хватает сил, правит роман.

16 января. Работа над романом.

Ермолинский не выходил из их квартиры, жил в комнате Сережи, временами заменяя Елену Сергеевну. «Она была такой же, как всегда. Входила к нему, улыбаясь. Собранная, причёсанная, не раз озабоченно взглянув на себя в зеркало, она бесшумно управляла жизнью в доме». И не было в их доме суматохи, бестолковой суетни. «Лишь последние дни она тихонько плакала, присев к кухонному столу, и я не мешал ей...» А рецепты становились все длиннее и длиннее, наркотики в обычной дозе уже не клонили его в сон, Булгаков бодрствовал днем и ночью. «Глаза его стали совсем светло-голубые, чистые». И уже не видели этот мир. «Он лежал голый, лишь с набедренной повязкой. Тело его было сухо... С утра приходил Жень, старший сын Лены. Булгаков трогал его лицо и улыбался... Лену он узнавал по шагам, едва появлялась она в комнате».

Но и от Лены уже немного оставалось, 22 февраля она слегла. «Сердце, – отметил Виленкин. – Мне сказала в слезах, что боится сойти с ума... Пастернак был у них, сидел с М. А. довольно долго, наедине».

Одну только радостную весть услышал Булгаков в эти дни: пьеса его о Пушкине медленно продвигалась к подмосткам МХАТа, и в конце февраля Виктор Станицын, постановщик, пришел к нему показать распределение ролей. «Слепой, он выслушал меня внимательно, потом сказал: „Благословляю“, но понимал, конечно, что спектакля уже не увидит...»

А в это время мальчишки в соседнем доме скандировали наизусть: «В белом плаще с кровавым подбоем...». Булгаков готовился к смерти и не знал, что почти все соседи его, жильцы писательского дома, напишут о нем мемуары. И самое удивительное: воспоминания об этом «белогвардейце» напечатают многие советские журналы. Даже Катаев не выдержал: «Нужно поставить точки над і. Михаил Булгаков был замечательный русский писатель».

Из Записок Елены Сергеевны, 1940 год

29 февраля. Утром:

– Ты для меня всё, ты заменила весь земной шар. Видел во сне, что мы с тобой были на земном шаре.

Все время, весь день необычайно ласков, нежен, все время любовные слова – любовь моя... люблю тебя. Ты никогда не поймешь это.

1 марта. Утром – встреча, обнял крепко, говорил так нежно, счастливо, как прежде до болезни, когда расставались хоть ненадолго.

Потом (после припадка): – Умереть, умереть... (пауза)... но смерть все-таки страшна... впрочем, я надеюсь, что... (пауза) сегодня последний, нет, предпоследний день...

Мастер умирал. Ослепший, отравленный ядами собственного тела и неспособный принять и грамма пищи, он жил на морфии. Но Маргарита, Кот и город Ерушалаим по-прежнему занимали его мысли. Роман был перепечатан, и Елена Сергеевна, сидя у машинки, читала ему негромко:

– С ближайшего столба доносилась хрипая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград...

Булгаков лежал неподвижно, думал, потом просил перевернуть несколько страниц назад. Как там? Солнце склоняется...

– Я нашла: «Солнце склоняется, а смерти нет».

– А дальше?

– «Бог! За что ты гневаешься на него? Пошли ему смерть».

– Да, так, – сказал он. – Я посплю, Лена. Который час?

«Это были дни молчаливого страдания, – заметил Ермолинский, наблюдавший эту сцену. – Слова медленно умирали в нем».

Перед смертью он сказал доктору Захарову: «Они все у меня в голове, мои герои. О, если бы они вышли оттуда на бумагу, мне было бы гораздо легче». Доктор уходил, и появлялась сестра со шприцем... А когда уходила и она...

– Подойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай... Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной... Когда я слышал стук твоих каблучков... Ты была самой лучшей женщиной в мире... Божество мое, мое счастье, моя радость, я люблю тебя! И если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь...

Я прочел эту запись на четвертушке желтого от времени, шероховатого тетрадного листка. На обороте рукой Елены Сергеевны карандашом было приписано: «Он сказал мне это утром 4-го; сестра милосердия разбудила меня рано, — он хочет с вами проститься. Я вскочила, подошла к нему, и он мне это сказал. А потом, когда я его успокоила, и он постепенно заснул, я записала, как запомнила, слова врезались в память, он никогда раньше так не говорил, всегда был как-то целомудренно сдержан в словах любви».

Все шло к концу. Ермолинский подходил к тахте. «Он кричал, не в силах сдерживать крик... Мы осторожно переворачивали его. И как ни было ему больно, он крепился и даже тихонько, не застав, говорил одними губами: «Вы хорошо это делаете... Хорошо...» Никого, кроме нас, он уже к себе не допускал».

Булгаков уже еле шевелил посеревшими губами, когда Елена Сергеевна, склонившись над постелью, вдруг догадалась: «Мастер? Да?» Он только улыбнулся, и она поняла, что угадала. «Клянись тебе, — сказала она и перекрестилась, — я его напечатаю».

Говорят, в те дни он вспоминал Татьяну, хотел с ней повидаться, но она жила тогда в Сибири и не знала, что Булгаков умирает.

8-го.

*О, мое золото! (В минуту страшных болей — с силой.)
Потом раздельно и с трудом разжимая рот: го-луб-ка...
ми-ла-я.*

С утра 10 марта Булгаков был тих, спокоен. Он впал в забытие и глубоко заснул. И Елену Сергеевну друзья уговорили принять снотворное. В доме наступила необычная тишина. Проснулась она в два часа пополудни. «И слышу из соседней комнаты ровное дыхание Миши. И мне вдруг показалось, что все хорошо, не было этой страшной болезни, просто мы живем с Мишей, как жили, и вот он спит в соседней комнате, и я слышу его ровное дыхание...»

Булгаков спал. Через два часа она вошла в его комнату, сон его был так ровен и спокоен, дыхание так глубоко, что показалось ей — это перелом, чудо совершилось. «Подумала я, он поборол болезнь!» Булгаков продолжал спать. Около половины пятого по лицу его пробежала судорога,

он скрипнул зубами, а потом опять ровное, все слабеющее дыхание...

Я жила для Миши, его жизнью, его творчеством. И вдруг лишилась всего.

В тот же вечер два его друга – Дмитриев и Вильямс – рисовали Мастера, еще лежавшего на диване. Было ему сорок восемь лет.

Такая короткая жизнь... Какая страшная жизнь!

На другой день после смерти Булгакова в квартире его затрещал телефон. Ермолинский взял трубку. Говорили из секретариата Сталина. Кто-то спросил:

– Это правда, что товарищ Булгаков умер?

– Да, умер.

Трубку молча положили.

После того звонка Елена Сергеевна не удивилась, когда ей сообщили, что Союз писателей решил устроить панихиду по забытому драматурге. Открыл панихиду почему-то академик Луппол, никакого отношения к покойному не имевший. Следом за ним выступил Всеволод Иванов – этот отношение имел: совсем недавно он громко отпел в газете пьесу Булгакова о Мольере. У гроба толпились писатели и драматурги, и среди них я различаю лица с искренней печалью. Пришли Леонов, Пастернак, Олеша. Ночью у гроба с Еленой Сергеевной остался Сергей Ермолинский, который не подозревал еще, во что ему обойдется эта дружба.

Подмяв моих комедий глыбы,
Сидит Главрепертком Гандурин.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
На этой треснувшей бандуре?

Так, переделав Маяковского, Булгаков откликнулся на запрет «Бега». Да в Гандурине ли было дело? Вспоминаю Елену Сергеевну: «Сталин дал ему десять лет жизни»... Может, и дал, а на сколько лет укоротил он жизнь Булгакова – это кто подсчитает?

Последнюю свою пьесу «Дон Кихот» Булгакову так и не пришлось увидеть на сцене. Спектакль был показан в Ленинграде и Москве ровно через год после его смерти.

Не везло Михаилу Афанасьевичу, так не везло, как только на Руси может не везти талантливому человеку. Впрочем, нет, не зря он так любил того француза, обласканного и убитого всемогущим королем. Судьба двух этих драматургов поражает одинаковым концом.

Но не во всем их судьбы сходны. В Париже, на перекрестке улиц Мольера и Ришелье, есть памятник «Фонтан Мольера». В Москве нет даже маленькой таблички на доме, где жил и умер автор «Мастера и Маргариты».

...Везли его, мертвого, к Театру, который он так любил и так ненавидел. На пороге стояла Книппер-Чехова, и, когда шествие поравнялось с подъездом МХАТа, она широко перекрыла открытый гроб.

Три месяца спустя урну с прахом Булгакова несли на кладбище у Ново-Девичьего монастыря... Я вспомнил вдруг похороны опального Мольера, которые Булгаков описал всего за несколько лет до собственной кончины... «Впереди шли два безмолвных священника. Рядом с гробом шли мальчики в стихарях и несли громадные восковые свечи. А за гробом потек целый лес огней...» Шли Лафонтен и Буало с факелами в руках, за ними целиком вся труппа Пале-Рояля, всего человек двести...

Нет, не вижу я у свежевырытой могилы Михаила Булгакова артистов Художественного театра, не было там ни актеров, ни писателей вообще, пришли лишь «две дамы Леонтьевы и с небольшим опозданием явился сам Яков Леонтьев (его ждали, но ждать больше не могли, и он подъехал, когда замуровали урну в землю). Были еще Шапошниковы, художник Борис Эрдман, жена Сережи Теплянинова, муж Ванды Федоровой, жена Дмитриева, конечно, сестра Елена Афанасьевна, ребята наши...» Вот, кажется, и всё. По собственному почину пришел на кладбище драматург Алексей Файко, сосед Булгакова по лестничной площадке. Больше никто. Урну закопали напротив вишневой изгороди вокруг могилы Станиславского.

Как-то Михаил Пришвин проницательно заметил: «Может быть, и правда секрет творческого таланта в личном поведении автора?» Правда, Михаил Михайлович, абсолютнейшая правда! «Об этом стоит написать книгу». Не знаю, удалось ли, но именно это я и хотел здесь рассказать.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как страшно видеть смерть близкого человека и самому остаться в живых. Глубину этого горя может понять лишь тот, кто сам измерил ее. Первые месяцы Елену Сергеевну не оставляла мысль о самоубийстве. «Только в нем она видит для себя выход, – писала мужу Ольга. – Останавливает мысль о ребятах». В конце лета Файко с женой увезли ее в Мисхор.

Вместе они прожили всего семь с половиной лет. «Но зато каких лет!» – сказала мне Елена Сергеевна.

Как-то она обронила: «Михаил Афанасьевич еще в начале нашего знакомства знал, что умрет, как отец, молодым и умирать будет долго и тяжело. Перед нашей женитьбой он взял с меня клятву, что я не оставлю его».

Когда я смотрю на посмертную маску Булгакова, снятую скульптором Меркуловым, почему-то всегда я думаю о «Вольтере» Гудона. В сущности, Булгаков и был нашим российским Вольтером.

Вот говорим, есть Бог, нету Бога, а выньте главы о Христе из «Мастера и Маргариты» – что останется? Ах, как нужен России Бог – Искушитель и Каратель.

Ермолинского вскоре арестовали, и следователь предъявил ему обвинение в знакомстве с контрреволюционным писателем Булгаковым. Но во время обыска кто-то из «гостей» бережно спрятал в книгу фотографию Булгакова с дарственной надписью: «Вспоминай, вспоминай меня, Сережа».

Однако, если разобраться, как проводили они об этой дружбе? Похоже, за булгаковской квартирой была установлена слежка – и не только со двора. Среди гостей бывали «информанты» – журналист Добраницкий, переводчик Жуховицкий, – об этом говорила мне Елена Сергеевна. А Ермолинский уверял, что только смерть избавила Михаила Афанасьевича от лагерь.

Возражать мне было нечем. Контрреволюционером Булгаков, конечно, не был, но революцию и все ее бесчинства отвергал и взглядов своих до конца дней не изменил, так что вполне мог оказаться в одном из эшелонов, уходивших с Ярославского вокзала. Тут Ермолинский был абсолютно прав.

Но, странное дело, непонятное дело, хулители Булгакова, все те, кто мучил и терзал его годами, друг за другом исчезали, а он, «белогвардеец», «внутренний эмигрант», продолжал здравствовать в Москве. Кто объяснит мне этот парадокс, чем Булгаков был угоднее Радека или Киршона?

Более того, близкие друзья Булгакова – драматург Николай Эрдман, художник Дмитриев, Коля Лямин, наконец, Сергей Ермолинский – все побывали в нетях, а его участь эта миновала. Как ни раскладывай и ни гадай, один только человек мог отвести от него беду. И Булгаков это знал. Какая-то таинственная нить, необъяснимые мотивы связали эти две полярные натуры, преступника и жертву.

После лагерей Ермолинский перебивался в Грузии, писал сценарии, потом вернулся в Москву, сочинил пьесу о Грибоедове и был одним из первых, кто сумел рассказать в советской прессе несколько историй о своем знаменитом друге.

На стене в столовой у него висела фотография Елены Сергеевны. Необыкновенно хороша была она тогда. Я спросил: сколько же ей тут лет? «За пятьдесят», – ответил хозяин. В год смерти Булгакова было ей сорок семь, и жила она еще ровно тридцать лет.

Дальнейшая судьба ее сложилась под знаком Мастера. Через год после его смерти началась война. По вечерам над Москвой серебрились аэростаты заграждения, и памятник Гоголю стоял укрытый мешками с песком. Тревожные дни застали Елену Сергеевну за разбором писательского архива Булгакова и перепечаткой последнего варианта «Мастера и Маргариты». Архив она вскоре отвезла на временное хранение в отдел рукописей Ленинской библиотеки, а с романом предстояла еще долгая работа.

Временами она включала радио и слушала сводки Совинформбюро. В октябре немцы вышли к Волоколамскому шоссе и стали угрожать Москве. Дорога на Рязань заполнилась беженцами из столицы. Елена Сергеевна оставалась с сыном дома. Шел тринадцатый день октября, когда адъютант генерала Шиловского доставил ей записку с фронта: «Не позже 15-го октября вас не должно быть в Москве». К записке был приложен воинский литер на получение билета. Шиловский

был в те дни начальником одного из отделов Генштаба, и Елена Сергеевна придала его совету большой смысл.

Времени оставалось у нее немного, но все-таки она не спешила на вокзал. Вечером по ее звонку приехали Александр Фадеев и поэт Владимир Луговской. После ночи размышлений решено было ехать. Но не с военными поехала она, как предполагал ей Шиловский и где было бы ей спокойней и сытнее, а с эшелоном писательских семей. Там, надеялась она, не будет ни адъютантов, ни генеральских жен.

В Ташкенте было тихо и тепло. Ей дали должность коменданта писательского общежития и поселили в шестиметровой балахне-мансарде. Угрюмый дворник Илларион сопровождал ее обходы и, случалось, привозил в мешке загадочные кочерыжки, которыми она пыталась разогреть их печь.

Зима в тот год была не по-ташкентскому сурова, но ни угля, ни дров коменданту не давали. Сергей стопил все близстоявшие заборы, таскал охапки щепок и, когда все мостики с арыков были сняты, начал тянуть пустые ящики с минометного завода по соседству. Елена Сергеевна стояла «на карауле».

В ту зиму она убедилась, что генералы существуют не только в воинских частях. Неподалеку от ее мансарды в крепком каменном доме жили драматурги Николай Вирта и Николай Погодин, автор пьесы «Аристократы», прославлявшей ГПУ. В доме том всегда было тепло, гремели сковородки, и получил он прозвище «лауреатник». А рядом, перейти дорогу, в пустой, нетопленной лачужке сидела женщина, никто о ней не думал. Она сидела в белом пуховом платке и целый день курила самокрутки. Табак-самосад она добывала у соседей в коридоре, и порой он заменял ей и обед, и ужин. Одиночество и запустенье царили в ее уютной комнатенке. Впрочем, не думаю, что в тот тяжелый год Елену Сергеевну могла поразить эта горестная картина, если бы в женщине той она не узнала Анну Андреевну Ахматову. «С той поры мы делились с ней, чем могли, и когда Сергеем удавалось сломать какой-нибудь приличный забор, я отсылала его с охапкой трофеев к Анне Андреевне».

В то время Елена Сергеевна сама перебивалась из кулька в рогожку, но Шиловскому не писала, даже не знала, где отец ее детей. Года через полтора он сам разыскал свою бывшую жену и сына, и жизнь их сразу облегчилась.

В июне сорок третьего года Елена Сергеевна вернулась в Москву. Александр Фадеев помог ей сохранить квартиру в Фурмановском переулке, и после трудных переговоров с библиотекой Ленина она привезла архив Булгакова домой. Я никогда не спрашивал Елену Сергеевну об ее отношениях с Шиловским после смерти Михаила Афанасьевича, знал лишь, что встречались они редко, почти всегда в гостях. Круг Шиловского не был ее кругом. Да и он не искал с ней встреч. Марианна Алексеевна Толстая была на двадцать один год моложе генерала, и, разумеется, факт этот был ему хорошо известен. У них была уже маленькая дочь, Марианна растила Женю, старшего сына Елены Сергеевны, и не трудно было догадаться, что генерал был рад забыть все свои злоключения с первой женой.

«Она причинила ему много горя», – говорила Марианна. Как же был я удивлен, когда узнал от той же Марианны тайну генерала. «Он получал двенадцать тысяч, а мне давал лишь только шесть. Я никогда не напоминала ему об этих деньгах, но знала, что по секрету от меня он отдавал их Елене Сергеевне». Таков был князь Евгений Александрович Шиловский, бывшей лейб-гвардии бывший штабс-капитан.

Генерал умер в 1952 году в своем служебном кабинете в Академии Генштаба. С той поры жизнь Елены Сергеевны заметно изменилась, и в дом ее зачастили оценщики из комиссионных магазинов. «Вставая утром, прежде всего смотрю кругом, что еще можно продать».

С вещами она расставалась легко и беззаботно, и если нужно было устроить ужин для друзей, а в доме не было ни копейки, она снимала со стены венецианское зеркало и, повесив вместо него портрет Пушкина, чтобы Ольга не заметила пропажи, принимала гостей на славу. Дом ее излучал какое-то неизъяснимое тепло, и лампа под зеленым абажуром никогда не угасала.

Кто-то вспоминал, что в ночь после смерти мужа Елена Сергеевна сорвала со стен иконы и в исступлении топтала их ногами... Возможно, хотя верится с трудом. Икон в ее маленькой квартире на Суворовском бульваре я не видел, над постелью висел большой портрет Булгакова, и только. Но в Бога она верила, в этом я не сомневаюсь. А кто ж еще у нее

остался? Вернувшись с фронта, умер ее старший сын Евгений, артиллерийский офицер, следом за ним инфаркт унес генерала Шиловского. Младший сын Сергей, непутевый малый, женился, ушел, развелся, опять женился и много пил; совсем молодыми скончались ее лучшие друзья – актер Николай Хмелев и художник Петр Вильямс.

Сколько лет одна, без друга, без семьи. Затворницей, монашкой она не стала, но вдовья жизнь наложила на нее свою печать. Пусть это кажется мистикой, суеверьем, Елена Сергеевна постоянно думала, мысленно обращалась к мужу, советовалась с ним; случалось, я слышал сам, говорила с ним вслух. Анна Семеновна Вильямс, близкая ее подруга, рассказала: когда издания книг Булгакова стали приходить со всего света, мы как-то разложили их на столе, и я сказала: «Лена, если б Миша это видел...»

– Он видит, – ответила она.

Мир воспринял ее как Маргариту, подругу Мастера, и, зная это, она любила удивлять людей, то в шутку, то всерьез напомнить им, что с дьяволом она запанибрата. Игра ей нравилась, но что-то таинственное, колдовское в ней на самом деле было. Владимир Лакшин, новомирский критик, хотел познакомиться с Твардовским, главным редактором журнала. Позвонил, говорит: «Приезжайте, Александр Трифонович готов вас принять...» – «Когда?» – «Да сейчас». – «Так ждите меня», – отозвалась она и положила трубку.

От Суворовского бульвара, от маленькой квартиры, где в узкое кухонное окно, выходящее во двор, видна была церквушка Федора Студита, чудом уцелевшая под покровом большого дома, до редакции в Малом Путинковском три длинных троллейбусных пролета, но надо ведь еще привести себя в порядок, одеться, причесаться, дойти до остановки или поймать такси – словом, Лакшин ожидал ее через час и углубился в дело. «Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я поднял глаза над версткой...» На пороге, улыбаясь, стояла Елена Сергеевна. «Как?! – изумился Лакшин. – На чем же вы?...» – «На метле», – весело ответила она.

Ведьма, вещунья, чаровница, – звали ее друзья, и Анна Ахматова, переехав, наконец, из своей утлой комнатухи в балахну-мансарду, где до того ютилась с сыном Елена Сергеевна, написала:

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья...

Да, да, косая ведьма с чертовским даром с порога очаровывать людей. Все, знавшие ее, с восторгом отмечают ее открытый дом, веселый нрав, молодость ее вида, вспоминают крем Азazelло и с придыханием говорят: «Женщина без возраста». И правда, ей было далеко за шестьдесят, когда я в первый раз пожал ее сухую, узкую ладонь и вдруг подумал: э, видно, Михаил Афанасьевич женился на студентке. А была она всего на два года его моложе. Но потом, засиживаясь допоздна и слыша, как вдалеке куранты отбивают полночь, я видел женщину со следами всей ее долгой жизни на лице. Прием был кончен, гости разошлись, и не было в ее глазах веселья; смех, такой искренний и звонкий, утихал, нахохлившись, она сидела в углу кресла и вспоминала Мишу. Вот тут кончалась ведьма, чаровница и начиналась настоящая Елена, вдова Булгакова.

Поверьте мне, здесь не было игры, актерства, такой она была на самом деле, с гостями приветлива и хлебосольна и искрення наедине.

Правду сказать, Елена Сергеевна поражала меня удивительным сплетением гостеприимства, безмерной щедрости и голого расчета. Профессии у нее не было никакой, а гонорары с булгаковских спектаклей приходили очень редко. По всей стране один только Художественный театр ставил «Мертвые души». Приходилось брать работу на машинке, печатать чужие манускрипты, делать цветы для дамских шляпок – словом, жить, чем Бог послал. Однажды ей удалось получить большой заказ, и она перевела с французского книгу Моруа о писательнице Жорж Занд. Русского писателя Булгакова в те годы почти не вспоминали, и вдова его, не привлекая особого внимания, день за днем продумывала во всех деталях тактику длительной борьбы за возрождение булгаковских романов. Много позже она мне так и сказала: «Я публикую книги Михаила Афанасьевича по давно намеченному плану».

Незадолго перед смертью Булгаков сказал сестре Надежде: «Если бы ты знала, как я боюсь воспоминателей!» И был

он прав. Друзья, враги, писатели, актеры – каждый по-своему старался показать, как он был близок с этим человеком, как понимал его и как любил. Любовь Белозерская оставила о нем медово-горькие страницы. Сестра Надежда охотно выступала на вечерах. Единственный близкий человек, не проронивший о Булгакове ни слова, была Елена Сергеевна. Если не считать двух коротких предисловий к переписке с Вересаевым и к сценкам из «Дон Кихота», она хранила абсолютное молчание до конца дней. И это было очень странно, пока она не раскрыла свой секрет.

На одном из вечеров, где чествовали ее мужа, молодежь устроила ей шумную овацию. Ее просили сказать хотя бы несколько слов. Она отказалась наотрез. И Владимир Лакшин, сидевший с ним рядом, вдруг услышал от нее неожиданную резкость: «Глупец, – сказала она об организаторе вечера, – зачем он сказал, что я здесь. Я не могу говорить о Мише».

А дома за ужином, успокоясь и развеселясь, Елена Сергеевна рассказала Лакшину, почему она молчит.

В один из последних своих дней, видя, как она измучена, и стараясь отвлечь ее, Булгаков попросил ее присесть на край постели: «Люся, хочешь, я расскажу тебе, что будет?.. Когда я умру...» Она хотела возразить, но он сделал отстраняющий жест. «Так вот, когда я умру, меня скоро начнут печатать. Журналы будут ссориться из-за меня, театры будут выхватывать друг у друга мои пьесы. И тебя всюду станут приглашать выступить... Ты выйдешь на сцену в черном бархатном платье с красивым вырезом на груди, заломимь руки и скажешь низким трагическим голосом: „Отлетел мой ангел...“»

– И мы оба, – говорила Елена Сергеевна, – стали неудержимо смеяться. До того это казалось неправдоподобным... Но вот сбылось. И теперь, когда меня просят выступить, я вспоминаю слова Михаила Афанасьевича и не могу говорить.

По завещанию Булгакова единственной его наследницей оставалась Елена Сергеевна. Я хорошо помню, как она сказала: «Мы все-таки добьемся, чтобы Михаил Афанасьевич был напечатан». И добилась.

Но сколько же ушло на это лет, сколько редакций обошла она, комиссий по наследству. «Не пройдет!» Даже Твардовский отказался печатать в «Новом мире» роман о Мастере и Маргарите. «Не хотим брать патент на Булгакова», – ска-

зал он Елене Сергеевне после публикации «Театрального романа».

Чудо, только чудо могло вырвать Мастера из тьмы. И оно свершилось. Ноябрьским вечером шестьдесят шестого года Елена Сергеевна показывала гостям только что вышедший номер «Москвы», в котором была напечатана первая часть романа, и, положив руки на сиреневую обложку, говорила: «Не верю, просто не верю – это такое счастье».

Ушел, вырвался из красной шифоньерки Мастер. Четверть века ждала она этот день, но клятву свою сдержала. Я молча смотрел на Елену Сергеевну и вдруг вспомнил, как Пушкин увещевал нетерпеливую писательницу Надежду Дурову: «Издать книгу нельзя в одну неделю; на то требуется по крайней мере месяца два». Я напомнил эти слова Елене Сергеевне.

– Да, и так бывало, – коротко отозвалась она.

Роман вышел с большими потерями: борясь с цензурой, редакция уступила тридцать пять вполне законченных страниц. Вскоре после публикации Елена Сергеевна сказала: «Я передала эти страницы в Самиздат».

Был я намного ее моложе, но, будь я даже сверстником, близким ее другом, я и тогда не стал бы говорить с ней на политические темы. Разговоры эти не вызывали у нее интереса. Да и не за тем я к ней ходил.

Но однажды, не помню уж по какому поводу, я произнес длинную тираду – и замолк, ожидая, что же она скажет. Несколько секунд Елена Сергеевна молчала, словно не могла решиться, потом внятно произнесла:

– Конечно, наш народ обманут.

Больше мы не возвращались к этой теме.

Наконец и Елену Сергеевну выпустили за границу. Побывала она в Париже, видела фонтан Мольера, навестила невестку, вдову Николая Булгакова, и многих старых эмигрантов. Когда она вернулась в Москву, я задал классический вопрос: «Ну, как там?»

– Меня все спрашивали, удивлялись: как вы сумели всё это выдержать?

– А вы?

– А я сказала: зато дома!

Дома у Елены Сергеевны, перелистывая старое парижское издание «Белой гвардии», я увидел вырезку из стихотворения Дениса Давыдова, наклеенную Булгаковым на форзац книги:

Где друзья минувших лет?
Где гусары коренные,
Председатели бесед
Собутыльники седые?
За тебя на чёрта рад,
Наша матушка Россия!

Когда Булгакова спрашивали, что ему больше по душе, драма о Турбиных или роман «Белая гвардия», он отвечал: «Тут нет разницы, обе формы связаны, как левая и правая рука пианиста».

«Я помню первое чтение „Турбиных“ перед трупой нашего театра, – говорил актер Марк Прудкин. – Это было в нижнем фойе, на чтении были Москвин, Леонидов, Лужский, Тарханов... Михаил Афанасьевич был взволнован, шутка ли, первая пьеса, Художественный театр... Он был бледен, непрерывно курил, пил воду, но читал превосходно. По окончании ему дружно аплодировали, и он, радостный, смущенно улыбался...»

Прошло пятнадцать лет, в сорок первом году Художественный театр был на гастролях в Минске. «Турбиных» должны были давать двадцать четвертого июня. Ведущие актеры Хмелев, Тарасова и Прудкин собирались вечером двадцать второго выехать в Минск, но утром началась война. Город бомбили. Вагон с декорациями сгорел дотла на второй день войны. На этом кончилась история первой постановки булгаковской пьесы.

А цензор Блюм дожил до глубокой старости, и как-то Прудкин встретил его в санатории актеров. «Мы мыли руки рядом, разговорились, и Блюм, уже пенсионер, ухмыляясь, спросил меня: „А помните, как я ругал «Дни Турбиных»? Сняли все-таки...“ Потом задумался и вдруг с восхищением: „Какой был спектакль!“»

В конце шестидесятых годов, когда Художественный театр возобновил постановку «Дней Турбиных», Елена Серге-

евна сказала: «Этот спектакль можно рассматривать только как оскорбление памяти Михаила Афанасьевича».

Театра больше нет. Есть сцена, есть занавес с чайкой, есть музей с портретами великих актеров, а Театр умер, как умирают деревья в засушливом году. Порой мне кажется, что Театр сам стал музеем, любимый мой Художественный театр. Когда же это началось?

В том далеком двадцать восьмом году, когда Булгаков читал художникам пьесу «Бег», один из руководителей МХАТа Немирович-Данченко заявил на открытом партийном собрании: «Театр готов работать на культурном фронте рука об руку с ячейкой ВКП(б)».

Очень захотелось мне узнать, с кем же, с какими мастерами хотел сотрудничать сам Немирович-Данченко, великий режиссер. Порывшись в старых бумагах, я обнаружил, что членами партячейки были следующие лица: Д. С. Коновалов – слесарь, С. А. Саврасов – столяр-краснодеревщик, И. А. Агафонов – рабочий сцены, И. Н. Воробьев и И. С. Морозов – бутафоры, Г. П. Лопатин – зав. бутафорской мастерской, Я. Г. Сорокин – зав. декорационно-мебельной мастерской...

И впрямь, все мастера! Только не того цеха. Всего их было семь человек – три члена и четыре кандидата. Но уже два года спустя МК партии позаботился укрепить партячейку девятью новыми членами – и опять ни одного актера и ни одного режиссера. Давление нарастало, и Станиславский, которому «Дни Турбиных» еще недавно казались большевистской агиткой, скрепя сердце заявил: «Мы знаем, какое значение имели в театре коммунисты, которые поняли его природу. Вот такой красный директор, если не понимающий еще, но желающий понять природу театра, является при данных условиях, по моему глубокому убеждению, необходимым».

Очень многозначительно звучат теперь слова: «при данных условиях». А были они, условия эти, таковы, что к тридцать седьмому году в группу сочувствующих подали заявления Николай Хмелев, Марк Прудкин, Ангелина Степанова и Виктор Станицын – лидеры второго поколения МХАТа. О глубине и искренности их порыва свидетельствовал в газете «Советская культура» Марк Прудкин:

«Мне вспоминается знаменательный день, – писал он, – когда нам вручили партийные билеты. Мы возвращались

из райкома, взволнованные необычайным, огромным событием, происшедшим в нашей жизни. По дороге молчали. Вдруг Николай Павлович (Хмелев) схватил меня за руку и сказал:

— Ты понимаешь, какая на нас ответственность ложится. Ведь мы теперь коммунисты!..»

Да простит меня милый Марк Исакович Прудкин, многолетний парторг МХАТа, но так это было. Внутри театра. А были еще Главрепертком, цензура, министерство, сперва просвещения, потом культуры. Были МК и ЦК... Нет больше Театра с чайкой, летящей в партер.

* *
*

Помню, мы засиделись за полночь. Устав, она молчала, и тогда я сказал: «Вы не беспокойтесь, Елена Сергеевна, пройдет десять, пятнадцать лет, и всё, о чем мы говорим, ляжет на бумагу».

Два месяца спустя, в июле семидесятого года, я жил в Абрамцево, под Москвой. Утром раскрыв «Литературную газету», увидел на третьей полосе старый фельетон Булгакова, внизу стояло, как обычно: «Публикация Е. С. Булгаковой». На этот раз имя ее было в черной рамке. Позже я узнал, как это случилось.

Режиссеры Алов и Наумов пригласили Елену Сергеевну посмотреть только что снятый фильм по пьесе «Бег». Был жаркий день, сын Сергей привез ее на Мосфильм в своем старом «Москвиче». В зале ей стало плохо, а фильм шел, на экране билась, умирала гвардия белых, шел бой за Перекоп. Фильм был долог, в душной темноте режиссеры подходили к ней, предлагали сделать перерыв. Она смотрела на экран. Елена Сергеевна была без сознания, когда сын привез ее к себе на улицу 8-го марта. Здесь она скончалась.

Столько горя принял Михаил Булгаков с этой пьесой и не знал, не ведал, что на просмотре «Бега» умрет Елена Сергеевна, его жена. Урну с ее прахом захоронили, по ее желанию, в могиле мужа на кладбище Ново-Девичьего монастыря.

Я рассказал лишь малую часть того, что удалось узнать, найти за семь лет непрерывных поисков. Книгу о Булгакове я задумал давно, как только познакомился с Еленой Сергеевной, когда и мысль об отъезде казалась мне кошунством. А уехал я, когда понял, что ни о Булгакове, ни о ком другом писать правду мне не дадут.

Теперь я выполнил свой старый, давно тяготивший меня долг.

1987 г.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АНТИКВАРИАТ»

- М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. 526 стр.
- В. БЕТАКИ. Русская поэзия за 30 лет (50-е – 80-е годы). 300 стр.
- Л. ГРОССМАН. Пушкин в театральных креслах. 182 стр.
- М. ГРУЛЕВ. Записки генерала-еврея. 250 стр.
- В. ЗЕНЗИНОВ. Русское устье. 72 стр.
- Г. ИВАНОВ. Несобранное (составитель – В. Крейд). 154 стр.
- А. НЕСМЕЛОВ. Избранная проза (составитель – Э. Штейн). 164 стр.
- М. СМЕРНОВ. Адмирал Александр Васильевич Колчак. 60 стр.
- Н. УСТРЯЛОВ. В борьбе за Россию. 80 стр.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. 260 стр.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. 302 стр.
- В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. 77 стр.

Издатель – Э. Штейн
Antiquary
594 Chestnut Ridge Road
Orange, Conn. 06477 USA

СУТЬ ВЧЕРНЕ

О как же мне, к корням припав,
Все донести, не растеряв:
Слезящиеся лужи глаз,
Дрожащие в снегу от трав
Толчков, как глазки старичков.
И гладкие короны снов,
Стекающие на каркас
Панельных вытертых домов.
И гладкого объятья путь
К тебе под простыней. Заснуть –
И видеть дьявола искус,
В метро трубящего. Заснуть –
И жалящий укус
Усвоить комара во сне.
Застыть на солнечной стене
Пчелой. Щёлк снимка. Снова в путь.
Тянуть природы сок, тянуть,
Его вытягивать в извне.

О как же донести мне суть,
Не расплескав ее вчерне?

РАССВЕТ В ГОРОДЕ

Чудовище. Слепой и мокрый
Рассвет в гудках далеких шпал
Убийцей прятался в кагал
Вокзала. Залом ожидания,
Надев очки, Москву читал
Сквозь сотни стекол спящих зданий.

Убийца – центр мироздания
На пенсии. Он улиц знал
Дрожь пробивавшие названия,
Но сухо про себя молчал.
И крокодил дробил кристалл
Воды в аквариуме сада.
Сырые капли от росы
Стекали чугуном ограды.
Хвост крокодил свой поднимал,
И город надевал трусы
На гильотину. В чувства гада
Не верил трезвый семьянин.
Но, ощущая голод ада,
Сквозь бороду и сквозь усы
Он зрил то сказки, то баллады
Кроваво-красной полосы
Зари. Просохла автострада.
Луч крылья детям показал
Над белым паром зоосада.
Очки убийца надевал
На время, перевесив дужки
Своих очков ему за ушки
И дужку нацепив на нос.
Уполз рассвет – приبلудный пес
На скверы в поисках подружки.
И сыростью в садах занес
Клумб пышно взбитые подушки.

РАСКРЫТИЕ

Листом, свернувшимся калачиком,
Неразвернувшимся листом,
Моя душа чернилом плачется
Над белым воздуха листом.

Приговоренная к раскрытию
Листа бутона в полный рост,
Оплакиваю я отбытие
Души раскованной до звезд.

А там – вьюном зеленой свежести
Цвести и оплетать пространство
Между двумя губами нежности:
Земли и неба постоянства.

НЕ ДАЙ МНЕ, БОГ, ДРУГОГО...

Не дай мне, Бог, другого
От щедростей твоих:
Когда ты молвишь слово –
А произносишь – стих.
Когда ты дышишь звуком,
И этот звук из букв –
Материализован
Он бегом рук.
Любое, любое
Бриллиантовое кольцо –
Из горла, из горла.
И жемчуга на стол.
Слово за словом,
Слово за словом
Сыпется, играет словцо.
Рассыпается осколками
О мое лицо.
Миру солнца улыбается
Широко.
Легко.
Сыпется, сыпется осень листьями,
Пусть душа осыпется, как листва, словами.

ОКРУЖНОСТЬ СЛОВА

Окружность слова – червонец сердца,
Пролет души – ничтожны средства.
Пиши! Пиши?
Мое наследство
Уши да вши
Больного детства.
Отхаркну слизь –
Простуду хроника,
Покуда жизнь –
Мелкая хроника.
В такой душе
Душа историка
Сорвет туше
С души-дистрофика.
Уже? Уже!
Да что в ней толку-то.
Слежу. Слеже –
Нье не легко ли мне?
Аукнись, жизнь!
В глухие тропики
Души нестись
Словесной коликой.

СЛОВО

Но слово вырвется из рук
Не молю, не жучком древесным,
А выдохом из легких звук
Материализован в песню.

И лепеча, и трепеща,
И крылышками оббиваясь,
Оно влетит в покой плюща,
С его неспешностью сливаясь.

Ах, вечен, вечен путь плюща
Из недр земли и вверх до неба.
И вечно слово, трепеща,
Скользит в его зеленых стеблях.

Всевышний, Бог ...а был ли он?
Иль это – точка, где привьется
Лозы сверхвысший обертон.
Зацепится и оборвется.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Разломится. И упадет рука
От нежности и слабости. Я верю,
Что жизнь свечи для ночи коротка.
Но у обид есть привкус лицемерья.
Я упаду. Но я прожгу века
Касаньем слабым крыльев мотылька.
И колокол надтреснуто заверит
Мою печать на венчике цветка.
И на листе взволнованных деревьев,
Когда их нежно шевелит рука
Влюбленного в деревья ветерка.
Дом на песке – сильнее суеверья.
Я верю, что он выстоит, пока
Слеза, упав, звездой прожжет века.

И АЗ ВОЗДАМ...

Глава из романа

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Белесое, будто застиранное зноем небо подступало к самым глазам, выкуривая степь впереди вязким, с просинью маревом. Солнца как бы и не было вовсе, оно ставало, растекалось вокруг от собственного накала вроде сплошного яичного белка. Тишина над выжженной степью, чудилось, слегка потрескивала в изнеможении, не в состоянии вынести этого августовского одурения.

Прикипая к брустверу куцей траншейки, Семен вбирал в себя эту изнурительную тишину, и она разбухала в нем все нарастающим томлением и тревогой. Начало наступления дроздовцев ожидалось с минуты на минуту, но время шло, а даль все так же продолжала плавиться знойным безмолвием, отчего напряжение в цепи становилось еще более удушливым.

Семену предстоял, пожалуй, первый в его жизни настоящий бой. Та прифронтовая кутерьма, в которой ему довелось порою постреливать до сих пор, была не в счет: праздные эти перестрелки походили скорее на азартное озорство, чем на всамделишную войну. Теперь же дуновение затаившейся за видимым горизонтом смертельной угрозы осязалось им с такой определенностью, что ложе винтовки у него под рукой казалось ему чугунным, а стиснутые намертво скулы сводила судорога.

Главу первую см. в «Континенте» № 51.

«Быстрее бы уж, – прилипчиво возвращалось и возвращалось к нему, – быстрее бы, семь бед – один ответ!»

Лета не минуло с тех пор, как Семен отсиживался в приазовских плавнях, а ему казалось, полжизни просвистало, такими емкими и затяжными были эти быстро-течные дни. Правда, долго ему отсиживаться не пришлось: вслед за станичной вольницей в Прикубанье хлынул многоцветный поток армий Северо-Кавказского Главкома Сорокина, подхвативший его в свой гремучий водоворот, где он вскоре и затерялся, переключаясь из одной походной части в другую, пока не застрял в пластунском полку, собранном с бору по сосенке из всякого иногородного люда.

Понукаемый разноречивыми приказами, полк бесцельно кружился во всех направлениях, ни в одном так и не дойдя до фронта, но хлебнуть на этих кругах Семену довелось немало и плохого, и хорошего, хотя больше плохого, с чем он и дошел до Екатеринодара, до того самого дворика у Сенного базара, откуда потянулась перед ним та единственная дорожка, на какой ему было суждено или сгинуть в пути, или, хоть и полупокойником, а вернуться по ней же обратно, к своему истоку.

Поэтому сейчас, за бруствером куцей траншейки, он снова и снова уносился памятью в те короткие ночи, когда в жарком забытии и обморочном удушьи плавилось в темноте перед ним тихое лицо Надийки, а в голове у него осыпалось созвездьями небо и тело его изнывало от почти невыносимого звона.

«Эх, Надийка, Надийка, такой веревочкой нас связало, – заваривалось в нем, – развязать – жизни не хватит!»

День перед глазами померк внезапно и оглушительно. Он вдруг почувствовал, как тело его, ставшее сразу же полым и невесомым, вознеслось над землей и пошло проваливаться куда-то в бездонную темень. Этот винтовой полет закружил его в хороводе обрывочных, но цветастых картинок, vyplывающих из его памяти, напо-

добие осенних листьев на черной воде: жаркое пятнышко хуторского окна сквозь ночную вязь яблоневого листы; забитый солдатней товарный пульман с раскаленной «буржуйкой» посредине; тощий фокусник на Сенном рынке в Екатеринодаре, вытягивающий из размаляванного рта бесконечную ленту.

Лента тянулась за ним в его падении до тех пор, пока темь перед ним не раздвинулась и в ослепительном свете над головой не затвердела вокруг матросской бескозырки чернильной змейкой в тисненной чешуе линялого золота: «Красный террор». А сама бескозырка парила вверх чуть ли не в поднебесьи, венчая голову чубатого всадника в матросском бушлате, перетянута крестнакрест пулеметными лентами.

– Что, казак, очухался? – снизу, на фоне мелового неба силуэт всадника выглядел, будто вырезанный из вороной жести. – Сам справишься или пособить?

Следом за этим фигура матроса черным ангелом стала снижаться над Семеном, пока окончательно не заслонила свет перед ним, после чего память вновь оставила его, а когда он пришел в себя, то лежал опрокинутый навзничь на соломе в тряской подводе. Белесое солнце било ему в глаза, в голове стоял ровный завораживающий гул, а по сторонам текла все та же выезженная до медного звона степь, вся в буграх и трещинах, как вытянутая кверху старческая ладонь. В ленивой тележной качке явь уверенно возвращалась к Семену, заполняя его голосами и запахами живой жизни. Пахло прелой сыромятью, конским потом и дегтем. Вязь голосов вокруг постепенно распутывалась, пока не устоялась где-то совсем рядом сбоку ленивым, словно от скуки разговорцем:

– Видать, теперь до самого Армавира не задержимся, – уверенно вел один.

– Слух идет, Деникин несметной силой ломит, уж на что кубанцы зверье-рубаки, а и те бегут.

– Одна слава – кубанцы, – вяло откликнулся другой, – там кубанцев тех – кот наплакал, больше братишки флотские, привыкли по станицам стариков мордовать да девок щупать, а как рубиться, так дёру.

– Ну не скажи, – продолжал настаивать первый, – вон, слышал, под Пашковской в окружении все до одного полегли, не сдались.

– Не за фронт полегли – за себя, им сдаваться никак не с руки, ихнего брата беляки живьем не берут.

– Может, оно и так, – внезапно уступил тот. – Испить бы...

– Иде ж тут испить, хошь не хошь до перьвого жилья терпи.

– Так вот и весь век, терпи да терпи.

– Такая наша мужицкая доля.

– И то правда...

Вровень с телегой, по обочине, плыли чуть не след в след две, безликие под сплошным слоем пыли, фигуры, и, если бы не мослатая сутулость одной и не приземистая стать другой, их можно было бы принять за близнецов. Со стороны они казались сколками самой степной тверди, только наделенными человеческой плотью и нутряным духом, настолько сливался их облик с окружающим естеством.

Семену захотелось¹ было подать голос, но язык не слушался его, и слова, едва возникнув, крошились в непослушных губах. Пошевелиться тоже оказалось неважноту, тело теперь существовало как бы отдельно от него, его воли или желаний. Он с трудом скосил взгляд в сторону, чтобы хоть краем глаза увидеть говоривших, но знакомая фигура в бескозырке опять заслонила белую высь над ним, и оттуда, сверху, потянулся к нему насмешливый, с хмельной игривостью хохоток:

– Опамятовался, казак? – маячил под небом всадник. – Видно, в рубахе родился, даже не царапнуло, оглоушило только, отойдешь помаленьку, вся жизнь впереди, – и уже натягивая поводья. – Встанешь на ноги,

ищи особый отдел первой Кубанской бригады, Чумака спросишь. Слышишь – Чумака! Язык, казак, до Киева доведет, ты теперь как-никак – мой крестник, бывай здоров!

Всадник тут же исчез, будто мгновенно вылинял на глазах, а за ним сплошной паутиной потянулись сумерки. Солнце вдруг выявилось на уровне самых глаз и раскаленным докрасна обручем покатилося по кромке горизонта, наматывая на себя чадные космы закатного окоема.

Семен снова забылся.

2

Особый отдел – название грозное, а имущества у него – не Бог весть, на двух подводах умещается. Да и поглядеть, что там того имущества – бумажки одни. Правда, это как глядеть: если без интереса, то и на самом деле – бросовая писанина, но если со вниманием, то лучше не к ночи и не на трезвую голову, иначе в холодном поту проснешься.

Тянулся полковой обоз по голой степи, а вместе с ним двигалась в нетронутые еще гражданской резней края бумажная беда Особого отдела в ожидании новой добычи и желанных расправ.

Среди большого жилья серая эта беда выбиралась из пропыленных подвод и, воцарившись в лучшем из попутных домов, с душливым шелестом растекалась по комнатам и закоулкам, чтобы тотчас взяться за скорый суд и шальные розыски.

Искать Чумака после своей поправки Семену не пришлось: тот снова нашел его сам. Черным ястребом опять навис над ним, не слезая с коня, озорно осклабился:

– Жив, казак? Выходит, долго еще жить придется, если мне под горячую руку не попадешься. Бери-ка

любого коня из бесхозных и айда за мной, теперь при мне будешь, – и опять осклабился еще озорнее. – Пока не пристрелю ненароком...

И взмыл в небе с торопливым топотом, словно конь у него и впрямь был крылатым, а Семен вскоре подхватился следом и уже не отставал, кружил за ним послушной ниткой, среди походной бестолочи и человеческого озверения. Часом ему даже чудилось, что они и не движутся вовсе вместе, как остальные, а витают наподобие двух слитных теней над общей сутолокой, шальной пальбой и людским криком. Оборачиваясь, Чумак только свирепо скалил зубы и кричал ему сквозь дымные облака:

– Не зевай, казак, час да наш, полютовали с нами, теперь мы полютуем, изводи контру до последнего семени, чтобы снова не поднялась на нашу с тобой голову!..

А и то сказать, лютовать доводилось отчаянно. До того, что Семена спервоначала изрядно повыворачивало, но со временем он пообвык и, незаметно для себя, даже втянулся в допросный азарт, как втягиваются в хмельной запой или иную одурь. Его уже не мучило от людской крови, и ничьи слезы не откликались в нем жалостью или досадой. И хотя сам он пыточным делом не баловался, чужой плоти брезговал, – когда случалось быть при этом, глаз не отводил и душой не вздрагивал. Смотрел, как податливо корчится под точеной сталью человеческое тело, глож от истошного воя, но будто не видел, не слышал, не задерживал в сердце. Так бывает иногда во сне: вроде бы всё и взаправду, а не страшно. Постреливать тоже доводилось, и не раз, только ведь если не в упор, то словно бы и не в человека – в белый свет, как в копеечку. Другие в отделе пили почем зря, заливали нутряной страх чем ни попадя, Семен же капли в рот не брал, спал без снов и просыпался без угрызений.

Правда, иной раз среди белого дня вдруг обваливалась в нем душа и такой бездонный холод цепко схваты-

вал его изнутри, что, казалось, втяни в себя воздух одним глотком, зазвенишь ледяной глыбой. В такие минуты он хватался за всякую всячину, лишь бы в подвернувшейся суете и случайных хлопотах избавиться от этой студеной напасти.

Но избавиться, сколько он ни старался, не удалось, настал-таки и для него час, когда судьба столкнула его с тьмой, из которой, если в нее вступить, еще не возвращался никто.

Как-то, метельным утром, втиснул Чумак свою необъятную статью в тесную ему дверь дежурки, придвинулся к крестнику, упер волосатые кулаки в стол, сразу заслонив собой все в комнате:

– Как я погляжу, заматерел ты, казак, в этой конторе, тут самое дело мамзелям с маникюром сидеть, а не червонному станичнику.

– Я что... Я ничего... Я, как прикажут, – послушно сникал Семен под напором гостя. Терпкая смесь сивушного перегара, пота и мокрой кожи забивала ему дыхание. – Наше дело солдатское.

Тот пристально перелился в Семена требовательным взглядом, как бы вымывая из него последние остатки сопротивления:

– Тогда айда за мной, попытаю тебя на казацкий гонорок твой...

И, безвольно поддаваясь его напору, Семен даже не пошел, а поплыл за ним, не чувствуя под собой ни земли, ни пространства вокруг, полым одуванчиком по ветру.

Ступеньки подвальной лестницы казались Семену ватными. Он тонул в их обжигающей податливости, сердце, словно заарканенная птаха, рвалось через горло, а в голове перекипало в полынную горечь обморочное предчувствие близкой беды, той беды, с которой, случись она, ему придется жить всю остальную жизнь.

Да, попривыкнуть-то он попривык: и на дознаниях бывал, и к пыточному делу приглядываться не брезговал, и постреливал вместе с другими, только когда вот

так, вроде бы со стороны, к тому же и в куче, то это все как бы и не в счет, один за всех не ответчик, а теперь – и это он знал заранее, хотя и надеялся, что пронесет, – ему придется сойтись со своей жертвой самому, глаза в глаза, без свидетелей или облегчающего соседства сослуживцев.

Глаз у Чумака был цепкий, все кругом схватывал с полувзгляда, откладывал в память до поры, о чем он не раз и сам проговаривался:

– У меня не заведение для благородных девиц, мы землю на попа ставим, нам в бирюльки играть некогда, у кого душа со страху мерзнет, уйди с дороги, а то растопчем, нам не по воду – по людские кровь ходить, руки замочить боишься – не суйся, враз на распыл пушу...

И обжигал знойным холодом с головы до ног.

Видно, не обошла его хваткой памяти и молчаливая уклончивость недавнего крестника. Он словно бы до поры выжидал, пока тот обвыкнется в этой своей уклончивости, чтобы в урочный час поставить его перед выбором: или – или. Семен знал, что был он на этом счету у Чумака не первым и не последним, а поэтому на избавление не уповал, но все в нем – каждая пора и клеточка – иступленно противилось неизбежному: пронеси, пронеси, пронеси, Господи!

Теперь, властно увлекая его в кромешную пропасть подвала, Чумак даже норовисто посыпывал от нетерпения и все повторял, будто заговаривал темь впереди себя:

– Поглядим, какая тебе цена, казак... Поглядим... Да, да, поглядим, – и уже проворачивая ключ в двери перед собой, повернулся к нему всем лицом, но видны остались только его глаза, в которых, словно жар из-под пепла, попыхивало насмешливое злорадство. – Не подведешь, казак?

– Не казак я, – только и нашелся Семен, – иногородний.

В ответ Чумак лишь неопределенно хмыкнул и взял на себя дверь.

3

Сквозь узкую прорезь оконной отдушины под самым потолком свинцовой лентой струилась вниз слабая полоса света. После сплошной темени Семен не сразу разглядел на земляном полу подвальной клетушки свернувшегося в комок босого человека в беспорядочно разодранном нижнем белье. Человек сидел, стиснув голову между колен, и прерывисто подрагивал всем телом, то и дело сотрясаемый судорожной икотой. От его согбенной позы исходило такое отчаянное равнодушие, что, казалось, обвалились сейчас на него потолок, он не вскрикнет, не пошевелится, не поднимет лица.

– Надругайся над этим жидком, – пропустив Семена вперед, жарко нависал на него сзади Чумак, – он у Чернецова своей пархатой правды искал, пускай теперь нашей пролетарской умоется. – И уже отступая, из коридора. – Чур, тут не оставляй, за станицу выведи, ему все одно, где смердить, а у нас чище будет...

Сколько там случилось тогда этого молчания, до трех сосчитать хватит, а чудилось, целая жизнь прошла. Душа Семена резко проваливалась в беззвучную пропасть, прозревая впереди сквозные окна в иные времена и в другие дали. Из тех окон неслись ему навстречу людские лица, множество и памятных, и незнакомых лиц, взмыленные лошажьи морды, дороги, дороги, дороги в снегах и пыли, контуры соломенной кровли, готических крыш, слепящих гор, извилистых берегов, подернутых отсветами огня и пороховой гарью. И длилось это то ли миг, то ли вечность, до режущего звона в ушах.

– Ну, – тяжким усилием стряхивая наваждение, выдавил из себя Семен, – вставай однако...

Тот поднял на него покорное лицо – в застывших глазах ни света, ни проблеска – и стал подниматься,

будто складывал себя по частям: сначала, опершись на руки, он утвердился на корточках, потом медленно распрямил колени и только после этого вытянулся во весь рост. Его слегка покачивало, но он старался держаться прямо, переступал с ноги на ногу, как бы силясь утопаться на месте.

– Пошли что ль, – Семен обогнул его, зашел к нему за спину. – Шагай шибче, авось недалече...

Ветер лениво кружил на дворе сырую метелицу. Мокрые хлопья слепили глаза, стекая по лицу зябкой кашицей. Над станицей госпитальным пологом нависало серое небо. Под его мутной промозглостью вереница хат за почерневшими плетнями выглядела вымершей, и лишь легкий запах исходившего от них кизячного тепла напоминал о том, что за их окнами еще кружит, еще колготится какая-то жизнь.

Пленный бесшумно ступал по хрупкому снегу и там, где он шел, в отпечатках ног сразу выступала талая вода, отчего след его смотрелся цепочкой голубых пятен. Расхристанное белье на нем топорщилось наподобие линялого оперенья, и, если бы не следы на снегу, можно было подумать, что сквозь белое кружево метельного снегопада плывет впереди подбитая, на излете птица.

За околицей Семен не выдержал, спросил походя:

– Ты что ж, и вправду из жидов будешь?

– Раньше не знал, – едва слышно отозвался тот, – думал, откуда все, оттуда и я, теперь знаю.

– Так слышно, у Деникина вашего брата не жалуют, чего ты у них забыл?

– Долго рассказывать.

– На тот свет спешишь?

– Если суждено, чего тянуть?

– Твоя правда...

Сказать-то сказал, но без привычной твердости, скорее – отговорился. Трудно было представить ему в эту минуту, что вот сейчас, через несколько шагов,

мертвая пуля, жалкий кусочек свинца повяжет его душу смертным грехом, с которым ему придется жить до конца своих дней. Помилуй меня, Господи, и спаси!

И вдруг почудилось Семену, будто сажеей мазнули по белой занавеси, выявилось перед ним налитое яростью лицо Чумака:

– Что ж ты, сробел, казак?

– Говорил уже, – огрызнулся в сердцах Семен, – не казак я – иногородний, чего пристал?

– Выходит, не зря вас казаки били, – не унимался тот, – видно, было за что?

– Кто кого бил, это еще надвое сказать.

– Так покажи свой гонор, – рысьи глаза Чумака придвинулись к нему в упор, – не срами звания.

– Да иди ты, сатана окаянный, – громко вырвалось у него, – а то и тебя пришью ненароком...

И, услышав сам себя, смолк.

– Ты чего, – слабым эхом отозвался впереди пленный, – я здесь.

– Ладно, иди себе...

Семен остановился, щелкнул затвором, взвел курок и, сразу облегчаясь сердцем, дважды выстрелил.

В воздух.

4

А ночью Семену снилось, будто сидит он в одном седле с Чумаком и тихий конь, не касаясь копытами земли, несет их над заснеженной степью. Чернильное небо осыпается на них звездными ливнями, и клубятся по сторонам то ли облака, то ли пар из лошажьих ноздрей. Редкие огоньки внизу призывно подмигивают им, но тихий конь уносит их все дальше и дальше в матерюющую впереди ночь.

– Погоди, казак, то ли еще будет, – оборачиваясь к нему, азартно скалится Чумака, – по всей земле просвистим, только головешки считай!

– Не казак я, не казак, – в иступленном отчаяньи прикипает к нему сзади Семен, словно влиться в него силится, пропасть целиком в его колдовской мощи, – иногородний, сказано тебе, нечистая твоя сила, будь ты проклят!..

– Охолопись, парень, – чья-то беспокойная рука трясла его за плечо, – беда!

На дворе, будто лопались детские хлопушки, частила стрельба вперемешку с артиллерийскими разрывами.

5

Белые обложили станицу внезапно и уже не давали опомниться. Огневая петля вокруг нее затягивалась с упорной методичностью. Над станичными крышами то тут, то там вспыхивали чадные свечки пожаров. Горький дым стелился по улицам, оседая на снегу смоляными хлопьями. В низком небе с тревожным клекотом беспорядочно кружилась присмирившая было за зиму птичья мелюзга. С крыш за окном, с наличников, с оконных переплетов то и дело осыпалось снежное крошево: ружейный огонь со всех сторон становился почти прицельным.

А Чумаку и это нипочем. Нахрапистым коршуном носился он по дому, только грозно посверкивали рысьи глаза да яро вздувались широкие ноздри:

– Что, допекло, бумажное семя? – гремел он по комнатам. – Это вам не с бабами управляться, не мужиков пороть почем зря, ты ей – костлявой – сам в ее пустые очи загляни, душа из вас вон! – хищный взгляд его вдруг выделил перед собой Семена и тут же застрял на нем. – Слушай сюда, парень, у меня к тебе особый интерес, ступай за мной, разговор будет, – и уже увлекая его за собой, остальным. – Занимай круговую, писучее воинство, в затылок палить это всякий справится, в упор оно понакладнее обойдется...

Затащив Семена в боковушку, служившую здесь архивом, Чумак плотно закрыл за собой дверь, встал к ней спиной и, утвердившись на месте, потянулся к нему затвердевшим лицом:

– У меня глаз на человека меткий, имею к тебе доверие, Тимков, душа в тебе еще нетоптанная, есть у меня заначка одна, сохранить надо. Выберусь живым отсюда, сам тебя найду, не выберусь, по адресу передашь. – Он выпростал из-под тельняшки табачный кисет на шейном ремешке, бережно снял его через голову и, чуть придерживав в руке, протянул Семену. – Вот, держи, Тимков, носи, пока не спрошу, в середку, чур, не заглядывай, ни к чему тебе, а коли не спрошу, заглянешь, там и адресок найдется, кому передать, а от меня прибавь, что не замерз, мол, сердцем матрос ваш, до конца в памяти держал. – Чумак еще раз цепко задержался на нем, отступил от двери. – Чую я, Тимков, береженный ты, уцелеешь. И мой тебе совет, бросай ты эту канитель, двигай до дому, отсидись до поры, без тебя перемелется, не по тебе эта ноша. – И следом, в спину. – Давай через погреб и задами в камыши. Не поминай лихом!..

Тяжким, ох тяжким камушком обернется Семену эта чумаковская заначка, о том еще речь впереди, а пока что ему было еще незамеченным выбираться во двор, а оттуда, среди шальной перестрелки, через добрую половину станицы выскользнуть за околицу, от которой бежать, куда глаза глядят, неведомо зачем и неизвестно, в какую сторону...

Стараясь держаться утоптанной стежки, чтобы не оставлять следов, Семен в полубеспамятном напряжении добежал до первого плетня, перевалился через него и затих, вслушиваясь в нарастающую пальбу. Она надвигалась на него со всех концов, прижимая его к земле, и не было в мире силы, какая помогла бы ему сейчас подняться, чтобы двигаться дальше. Семену хотелось лежать вот так, уткнувшись разгоряченным лицом в

сырой снег, в блаженной уверенности, что желанная шапка-невидимка уже простерла над ним свои спасительные крыла.

Сквозь ячейки плетня он искоса видел, как торчащий на взгорье атаманский дом, где размещался Особый отдел, ошетиливается в разбитые стекла огневым оскалом. Дом отстреливался наугад, вслепую, а кольцо вокруг него смыкалось с охотничьей хваткой — размеренно и беспощадно.

Вскоре пристрельную трескотню перекрыл близкий пушечный залп: первый, второй, третий. Пятная снежный покров, снаряды ложились вокруг дома наподобие бурого ожерелья, пока один из них не поднял поверх него вихря искр и черного дыма. Крыша занялась сразу, будто ее подожгли. Обугленные по краям космы пламени рваным полотнищем потянулись в серое небо. Сначала кто-то пытался было спастись, устремляясь из-под горячей кровли в сторону наступающих цепей, но, скошенный их обложным свинцом, тут же распластывался на снегу, после чего винтовочный и револьверный лай из обреченного дома всякий раз становился еще ожесточеннее: терять осажденным было уже нечего.

Дом затихал, как смертельно раненный зверь, — с прерывистым рыком, дымной одышкой и резкими судорогами. Но когда, казалось, жизнь окончательно окоченела в нем, в одном из его оконных проемов выявилась внушительная фигура Чумака. Размахивая над собой ручной гранатой, он маячил в текучем чаду и его зычный голос отчетливо отдавался в возникшей вдруг тишине:

— А ну подходи, кому жизнь не мила, попробуй матросского гостинца, может, впору придется!.. Сколько ж я вашего брата, псы, на распыл пустил, целой арифметики мало!.. Чего затаились, гады, или только и гонору, что за глаза палить! Выходи, угощу, век помнить будешь!.. У меня...

Рухнувшая крыша прервала его на полуслове. Аспидный столб винтовой лентой взмыл ввысь, и на короткий миг Семену почудилось, что в клубах вьющегося дыма взлетает в небо зыбкая тень Чумака.

И он закрыл глаза, стараясь ничего больше не видеть, не слышать, не осязать.

6

А когда открыл, над ним склонялось женское лицо в повязанном чуть не до переносицы цветном платке:

– Смерз?

– Станичная?

– Не бойсь, укрою...

И укрыла. Но об этом дальше.

7

Правда, укрываться ему пришлось недолго. Овладев станицей походя, при отступлении, белые уже на следующий день оставили ее, откатываясь дальше на юг, в сторону Кубани. Эскадроны корпуса Думенки раскаленным гребнем просвистали по вымершим улицам и улетучились в погоне за отступающим противником. После них жизнь здесь, в боязни новых нечаянных перемен, заваривалась медленно, исподволь, словно прикидывала: что-то еще будет!

Но весна брала свое. По утрам над степью за околицей густо стелились волглые туманы: после урочного забытья земля расправляла поры, выдыхая вовне скопившееся в ней за зиму животворное тепло, сквозь которое голубыми островами призрачно маячили дальние хутора вокруг. К полудню туман рассеивался, а обнаженная даль принималась источаться призывными запахами талой воды и забродившего перегноя. Люди и по-

возки за воротами вязко тонули в густом, цвета маслянистой нефти дорожном месиве. Земля звала человека вспомнить ее и оплодотворить.

Семена тоже потянуло к ручному делу. Отметившись в Совете как временно выбывший на поправку красный боец, он взялся потихоньку обихаживать нехитрое хозяйство своей спасительницы: подправил плетень, вычистил и обиходил хлев, а когда чуть подсохло, заново выбелил хату. Огород вскапывал, тело, обмякшее было от докучливой праздности, торжествующе гудело, будто потревоженная ненароком колокольная медь. Чернозем пластался под лопатой маслянистыми языками, хоть бросай их на противни и пеки. Временами, не выдержав соблазна, он захватывал землю горстью, подносил к лицу и жадно вдыхал ее резкую сырость: «Господи, хорошо-то как!»

В нем словно высвобождалась какая-то дремавшая до сих пор сила, которой и дневных тягот было мало, чтобы укротить свой необузданный норов. Когда по ночам к нему в сени приходила хозяйка, он ожесточенно переливал себя в ее покорную плоть, но так и не насыщался. Казалось, у такого избытка уже не будет, не бывает конца.

Ему даже не думалось о том, кто она — эта женщина, лежавшая с ним каждую ночь. С того февральского утра, когда она склонилась над ним у заснеженного плетня, он только и узнал о ней, что зовут ее Настасьей, что она тоже иногородняя, что муж у нее пропал на германской и что она порядком старше его. В каждодневной колготне он и разглядеть-то ее толком не удосужился: как увиделись ему в то первое утро в прорези цветного платка ее раскосые, в дымчатой пелене глаза, так этими глазами она в нем и осталась, да еще ночным своим податливым телом, а большего узнавать нужды не было.

Впрочем, Настасья о большем и не рассказывала, лишь оплывала рядом с ним по ночам горячим воском, шепотно привораживала:

– Не ходи от мени, Семушка, не кидай мени, рид-нинький, стану тэбе заместо половицы, буду ноги мыть и юшку пить, чого тебе ще любо, слово молви тильки, усё сроблю... Пожалей мени, Семушка, пожалей, кровиночка моя!..

И Семен жалел. Жалел яро, напористо, неутомимо. Но сердцем отсутствовал, уносясь в тот тихий дворик в Екатеринодаре, где, однажды вспыхнув, занялась его душа жаром, который уже никому не дано ни отвадить, ни погасить до конца отпущенных ему дней: эх, Надийка, Надийка, доля моя, простишь ли?

Чем дальше откатывался от станицы фронт, тем скорее забывалось им его военное прошлое. И если бы не чумаковская заначка, что камнем висела у него на шее, он давно бы и думать о том забыл. Но кожаный кисет матроса терся под грудью, настырно бередил память, подзуживал, искушал глумливо: глянь, глянь, Семен, что там в этом кисете, от одного взгляда авось не убавится! Но всякий раз при этом настигал его хищный прищур Чумака, неизменно придерживал от соблазна: «Не спеши, не спеши, парень, обгоришь!»

А погода тем временем скатывалась к лету: зацвели сады под окнами, штыковой щетиной ломились к солнцу первые зелены, светлела, отстаивалась вода в озерных камышах, а птичьи станицы уже не тянулись за горизонт, но кружили над степью в поисках добычи и крова.

Семен, сам не свой, бросался от одного дела к другому, да так и не сделав, брался за новое, чтобы тут же схватиться еще за чего-либо. Душа его томилась и млела в предчувствии дальней дороги и нечаянных встреч. И каждый минувший день казался ему досадной потерей.

В один из таких дней он не выдержал, сказал за вечереЙ Настасье:

– Пора мне, Настя.

– Пошто так, – еле слышно выдохнула та, – неужто постыла?

– Не надо, Настя, давай по-людски.

– Тебе видней. – Лицо ее потерянно схлынуло, остались одни глаза. – Силком не удержишь...

Той ночью, лежа бок о бок, они не коснулись друг друга, каждый каменел в своей гордости, и не нашлось у них слов, чтобы растопить разделивший их навсегда холод. А едва рассвело, он уже выходил на большак за околицей, направляясь следом за фронтом, на юг, в сторону Кубани. Выходил не оборачиваясь: себя боялся, своей слабости.

Вспоминать ему об этом утре еще и вспоминать!

Михаил Крепс

ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС

Стихи

Париж - Нью-Йорк, «Третья волна», 1986,
142 стр.

БУТОН ГОЛОВЫ

Стихи

Филадельфия, «Встречи», 1987, 192 стр.

В сборниках представлены лучшие лирические
и метафизические стихи поэта.

Обе книги можно заказать по адресу:

Encounters (Vstrechi)

7738 Woodbine Ave.

Philadelphia, PA 19151, USA

КАРТИНА В БОСТОНСКОМ МУЗЕЕ

Фламандская школа, пятнадцатый век,
И будет разорван сейчас человек.

Его четвертуют четыре коня.
О, мученик светлый, молись за меня!

Он будет разорван, святой Ипполит,
А сердце мое за него не болит.

За веру Христову его разорвут
И поднят над крупом извилистый кнут.

И всадники в алых камзолах взлетят
Сейчас (а святые бесстрастно глядят)

Сквозь розы, репейник, сквозь чертополох,
Туда, в облака, где невидимый Бог.

И дико ярятся четыре коня,
Но слишком их много, коней, для меня.

Ведь русский поэт, эмигрантский поэт,
Разорван лишь надвое. Кони, привет!

* *
*
* *

Задумывался, да, но не додумался
Ни до чего. Ну, и прекрасно.
Божественного замысла и умысла
Нам не постичь. «Не плачь напрасно».

Напрасно мудрые ломали головы
Философы и богословы.
Боюсь, что понимали очень мало вы
В предначертаньях Иеговы.

А мы ходили по грибы, по ягоды
И белку легкую ловили,
И серебристых рыбок в светлой заводи
Или в зеленом, темном иле.

На свадьбе пьянствовали и горланили,
Как будто в Кане Галилейской,
И подплывали к неизвестной гавани
Под вечный шум воды летейской.

* *
*

Надменное презрение верблюда
(Я побоялся на него взобраться)
Запомнилось. Лежал навоз. И груда
Цветистых ковриков – товар Махмуда.
Блестела ярко медная посуда.
И девочка вела меньшого братца.

И в желтых шлепанцах, в чалме зеленой
Старик прошествовал самовлюбленный
И голос молодого муэдзина
Запел тягуче, что Аллах – Единый,
И лакомился молоком беспечно
Кот, не слыхавший, что ничто не вечно.

Ну, не совсем: стояли пирамиды.
Но не молилась в капище Изида
Богине египтянка молодая,

А сфинкс, обезображенный, безносый,
Не задавал извечные вопросы,
На молодость и старость намекая.

* *
*

Загадка Сфинкса. Сфинкс спрашивал путников:
Утром на четырех, днем на двух, вечером на трех – что
это? – Недогадливых убивал. Эдип, опираясь на посох,
ответил: человек.

* *
*

Памяти Юрия Иваска

В Печорах, где природа не нарядна,
Есть церковь малая Николы Ратна.

Кубическая, белая, простая,
Она поет, из праха вырастая.

Никола Ратный, храбрый Божий ратник,
Нас осенял хоругвью в Светлый Праздник.

Святил священник куличи и паски.
Я там узнал о Юрии Иваске.

У белой звонницы Николы Ратна
Мы повстречались в тишине закатной.

Игрок «Играющего человека»,
Он стал мне другом. Другом на полвека.

Музеи, церкви, города и веси
Мы повидали, восхищаясь вместе.

На Мексику, на Рим, на древний камень
Он отзывался страстными стихами.

А в старости была ему улада:
Увидеть блеск державный Петрограда.

И он смотрел, взволнованный, влюбленный,
На Стрелку, на Ростральные колонны.

И легкую гармонию Растрелли
Он понял, как другие не умели.

Пускай сиянье питерского солнца
Сойдет в раю на русского эстонца.

Пускай в раю сияет незакатно
Ему любимый храм Николы Ратна.

* *
 *

«...О, если бы ты был холоден или
горяч! Но так как ты тепел, а не
горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих!..»

*Откровение Иоанна Богослова,
III; 15-16*

В тени молчания Господня
Я поживаю понемногу.
Мое вчера, мое сегодня,
Наверно, неуютны Богу.

Хоть никого не убиваю,
Ни разу не ограбил банка
(Напрасно!) и не замышляю
Украсть богатого ребенка,

Но... мне ни холодно, ни жарко,
Лишь чуточку – беда чужая.
И, знаешь, мне почти не жалко,
Что теплый не увидит рая.

Я теплый? Кажется... А впрочем,
Удастся без больших стараний
Стать в крематории горячим,
Холодным – пеплом в океане.

* *
*

Всё уладится, а не уладится –
Обойдется как-нибудь.
Белый голубь к нам летать поведется,
Провожать в последний путь.

Хорошо, что хорошо кончается:
Голубь запоем, как соловей,
Ветка золотая закачается
Над моей могилой и твоей.

Но в краю чистилищного холода,
В буре адского огня
Дух Святой не снидет в виде голубя
На тебя и на меня.

ГОРОД-ОБОРОТЕНЬ

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный
Скука, холод и гранит.

А. С. Пушкин

Полувывыбелен, полувывычернен
Воздух хладный, застывший, сумрачный.
Город – выхолен, город – вычурен
И рукой самодержца вычерчен
До последней детали уличной.

На пяти ветрах – лишь костры горят,
По реке Неве, брат, гробы скользят,
А на тех верстах –
Вишь, кресты стоят;
Да под каналами-хлябями,
Под домами да дамбами
Утрамбованы скриплые косточки –
Живых мертвецов – осколки.

Жевала вода Пальмиру,
Вьюга кривила проспекты,
Стужа срезала иглы,
Но городу не до жиру –
Остались бы живы проекты:
Окно в Европу – не фигли-мигли.

Наконец прорубили оконце
Да тут же наглухо – ставнями.
Не шмыгнет мышка, не сеется солнце,
Пробирайся на волю, мол, плавнями...

Но город жирел, столицею стал,
Балы и фейерверки закатывал;
«Восхитительный ансамбль»,
«Потрясающий портал»,
А Россию тем временем закладывал...

Камень с человеком – одна душа.
Когда это горы или город,
Но если СПб – умышленное антраша –
Человек или камень будет вспорот.

Обернулся раз: не СПб – Петроград,
Крутанул другой – страшно вымолвить;
Печальна судьба «Пальмиры» сто крат –
Если ее немисливо вымолить...

Приехал Хам из-за границы:
С местным хамом – по рукам!
И разнесли Россию по больницам,
По т и х и м подвалам и лагерям.

В честь Хама город обернулся,
Который раз... но кто считает?
Чу! всадник Медный встrepенулся,
Все неспокоен, о чем мечтает?

зима 84-85

* *
*

Мне не раз говорил человек
с почерневшим от тайны лицом
на редких и дальних свиданьях,
притертых к душе,
как мрамор паросский, к примеру, прирос

к именам
в древнегреческих изваяньях:
– Кто правит твоим колесом –
давно оболыщен...
Пережди нервозность пространства,
неровный бег времени – остуди.
Видишь, как в поисках транс
проливные гуляют дожди...
Пусть природе дано постоянство
деревья растить на гробы,
на раскладе чужого пасьянса
оставляй свои стансы...

осень 86

ИЗ ЦИКЛА «АРАБЕСКИ»

* *
 *

Целовать тебя, что повеситься –
Поцелуй пойдет пеной с губ...
Пусть глаза твои также светятся,
Надвигаются и растут...

* *
 *

Грусть, помноженная на рассвет –
вычитает сон,
но видение любви неопасно...

* *
 *

Кто окольными путями идет,
Кто – оккультными,
По прямой – лишь святые, герои,
убогие...
А как грустный час настает –
Унести бы мне руки-ноги.

* *
 *

История в истерике –
Не удалась затея:
Запечь в Освенциме
Последнего еврея.

80-е

Михаил Федотов

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Роман о людях, мечущихся по свету, чуждых
любым политическим режимам и ищущих Бога,
правды и любви.

POB 6997 Jerusalem, Israel
400 страниц

СПРАВКА

Ворота были заперты, но Валерий постучал в железную дверь проходной, и маленькая форточка, крест-накрест перехваченная железными прутьями, сразу откинулась.

– Ну, чего? – спросили белесые, растрескавшиеся губы.

– Мне войти, – сказал Валерий. – Я должен кое-что выяснить. У меня вещь пропала. На складе.

– Какая еще вещь? Закрыто все, – буркнули из окошечка. – Завтра приходи, если надо. Ходят тут, психи! Ни днем, ни ночью отдыха нет.

Валерий испугался, что форточка захлопнется, и придержал ее рукой.

– Подождите! Куда же я пойду? Я тут никого не знаю, некуда мне идти. Я сейчас шесть километров от станции прошел, поезд вечером прибывает.

– На свидание, что ли? – сказал другой голос, принадлежавший кому-то, кого Валерий не видел.

– Ты, может, на свидание? – переспросил стоявший ближе.

Валерию показалось, что ему подсказывают нужный ответ. Он ведь ясно сказал, что на склад, но, видно, если на склад, то не впустят, а если на свидание, то могут впустить. За десять лет он научился понимать такие намеки – вот вроде бы человек даже не против сделать тебе что-нибудь доброе, но сам не сделает, пока ты не пойдешь ему навстречу, не подскажешь какой-то такой причины, почему он может это сделать.

– Да, на свидание, – сказал Валерий.

И в общем-то не соврал. В самом деле, ведь склад был только предлогом, не более, чем предлогом, не мог же он всерьез рассчитывать найти то, что пропало три

года назад. А может, даже не три, а все тринадцать, и не здесь, а совсем в другом месте, куда не требовалось ехать поездом с двумя пересадками и топать шесть километров в мороз по снегу.

– Паспорт давай, – сказал человек по ту сторону двери.

Разбухшими окоченевшими пальцами Валерий вытащил из кармана серый паспорт.

– Ну что, впустить, что ли? – посоветовался голос.

– Да шут с ним,пусти, – сказал другой.

Заскрежетали засовы, и дверь, громыхая, отъехала в сторону. Валерий шагнул в проходную, каменную будку при воротах, размером два метра с половиной на три, с двумя дверями, внешней, в которую его пустили, и внутренней, ведущей в тюремный двор. Под крохотным окошком помещалась длинная деревянная лавка, над ней на стенке висел железный аппарат телефона, а в углу жарко пылала печка. Валерий распахнул пальто, но ближе к огню не придвинулся, не желая показаться наглым. Холод потихоньку вытекал из его тела, и его начало знобить. На стене напротив лавки на двух кусках ватмана, склеенных коричневым канцелярским клеем, было выведено: «Народ и партия едины».

Один из находившихся в проходной оказался мужчиной, а другой – женщиной. У обоих были широкие, будто опухшие лица, но у мужчины голову покрывала матерчатая ушанка, а у женщины – платок, перекрещенный на груди и завязанный концами за спиной.

– Кто ж это у тебя тут? – спросила женщина, усаживаясь на лавку.

Валерий посмотрел на нее, стараясь угадать, что она имеет в виду.

– К кому приехал-то?

Тут Валерий понял, заволновался, глупо и совершенно излишне взмахнул руками и дернул себя за отвороты пальто. Сказать или не говорить? Но нужно, верно, сказать, иначе как же?..

– Я хочу видеть... Вы понимаете, кого. Мне надо. Я знаю, что он тут. Мне точно известно, что он тут. Я раньше в Москве пытался, но не удалось. Вы не подумайте, это не любопытство. Я десять лет при нем отсидел. Ведь это не шутка – десять лет! Конечно, не я один, многие так, но я... Я ведь мальчишкой был.

– То-то я смотрю, паспорт у тебя с судимостью, – усмехнулся мужчина и, накренившись на бок, вытащил из кармана ватника пачку папирос.

– А за что посадили-то? – спросила женщина без особого интереса, но чтобы поддержать разговор.

– Из-за самолета. Я самолет в клуб принес. А там на бильярде играли. Он прямо на стол упал. Это, конечно, глупость была. Но десять лет!

– А, так ты самолетчик! – удивилась женщина.

– Вообще-то это не самолет был, планер. Это его следователь после самолетом назвал. На самом деле это планер был. Модель планера. Я его там же в клубе и смастерил, в кружке «Юный пионер». Они сперва даже не поняли, когда он на стол упал...

– А кто играл-то? – спросил мужчина, постукивая пачкой по ладони и вытряхивая через оборванный уголок папироску.

– Где играл?

– Да где же, на бильярде!

– Я не знаю, меня это не интересовало...

– Главное, кто играл, – сказал мужчина назидательно.

– Да нет, какое это имеет значение!

– Если начальство, так большое значение имеет.

Мужчина закурил и тут же тяжело закашлялся.

– Нет, при чем тут начальство. Просто двое играли. А еще несколько так, рядом стояли, смотрели. Он когда на стол шлепнулся, они подумали – нечаянно. Один даже взял и мне бросил. Я прекрасно помню: чего, говорит, дурака валяешь? Другого места тебе нету? А я опять запустил...

– Чего запустил? – спросила женщина.

– Самолет. То есть, не самолет, а планер. Мне ведь тогда шестнадцать было, я и не думал, что так оно обернется. Разве можно за это такой срок?

– Почему же нельзя? – сказал мужчина, продолжая кашлять и отплевываться. – Срок всегда получить можно. Очень даже просто. Тем более, самолет.

– А чего ж ты его на стол-то пускал? – поинтересовалась женщина.

– Я хотел... Не знаю... Чтобы обратить внимание. Ведь пассажирский самолет. Женщины, дети. Мне тогда это ужасно показалось... Страшно это. – Валерий прикрыл глаза рукой. – Ведь страшно это, как подумаешь...

Женщина на лавке вздохнула.

– Кто тебе сказал, что пассажирский? – пробурчал мужчина. – Шпион он был.

– Значит, вы верите? – огорчился Валерий. – Но как этому можно верить! Ведь там люди...

– А что? Люди ему не помеха, – заметил мужчина. – Небось, объект выслеживал.

– Какой объект? Ну, какой объект?

– Да мало ли! Может, к примеру, тюрьму нашу сфотографировать хотел.

– Тюрем много, – подтвердила женщина.

– Да, тюрем много, – вынужден был согласиться и Валерий. – Но это ужасно.

– Ужасно! – хмыкнул мужчина. – Я бы, парень, на месте твоего следователя тебя не в тюрьму, а в дурдом направил. Это ж сразу видно, что ты чокнутый.

– А может, он от тюрьмы такой стал, – вступилась за Валерия женщина.

– Прямо уж, стал! Всегда такой и был.

– Это вы потому так говорите, что вы еще не все знаете, – попытался объяснить Валерий. – Это ведь не простой планер был, я ведь ему название написал.

– Какое еще название?

– Название... – Валерий помялся. – «Боинг-707».

Мужчина присвистнул, весь как-то подтянулся, выпрямился, тверже поставил на пол ноги в громадных серых валенках с галошами и взглянул на Валерия поновому.

– Так это, я тебе скажу, ты еще мало получил!

– Но ведь на самом деле это был не «Боинг», это была модель планера...

– Зачем же ты такую глупость писал? – спросила женщина.

– Может, и не чокнутый, – произнес мужчина, продолжая приглядываться к Валерию. – Может, нарочно придуривается.

– Но как же так можно? – спросил Валерий тоскливо. – Двести человек на дно, и в бильярд играть?

– А тебе, выходит, больше всех надо? – покачала головой женщина.

– Нет, вы сами подумайте! – Валерий заметался по будке, едва не задевая ноги сидящих. – Ведь если кто тонет, а на берегу видят, ведь бросаются, спасают!

– Которые дураки бросаются, а которые умные, своей дорогой идут, – заявил мужчина валенок об валенок.

Валерий остановился, посмотрел на него испытующе и не поверил.

– Не знаю... Я раньше так представлял: если где беда, люди должны помогать друг другу. Ведь если не жалеть никого... Что же это получается?

– А если всех жалеть, так и его пожалеть надо, – сказала женщина.

– Нет, это не то, – возразил Валерий. – Я не об этом. Что ж его жалеть? Он ведь никого не жалел. Но я понять хочу. Ведь иначе... Бессмыслица какая-то получается. Сидят люди – неизвестно за что, неизвестно зачем.

– Чего ж – неизвестно, – засмеялся мужчина. – «Дело» на каждого есть, значит, за дело и сидят.

– Меня когда сюда перевели, мне жутко было, я нового места боялся, людей незнакомых боялся, а тут коридорный увидел меня и говорит: «Еще одного жидочка доставили. Я бы вас, – говорит, – не сажал, а сразу вешал. Или хоть правую руку отрубал, чтобы не воровали». Как будто я украл что-то.

– Ты, значит, еврей? – спросил мужчина.

– Я ведь вам паспорт показывал.

– А я в эту графу не смотрел, я серию смотрел, по серии видно, сидел или не сидел.

– Это ты на Сидоренко попал, – сказала женщина.

– Он евреев не любил.

– А кто их любит, – заметил мужчина.

– В прошлом году помер, – сообщила женщина. – Как раз комнату получил – двенадцать лет на очереди стоял, а получил, два месяца пожил и помер.

– Умер, значит... – Валерий покачал головой и прошелся по будке. – Сидоренко, да... Сидоренко Иван... Я вначале подумал: какой злобный человек. Но вообще-то он ничего был... Он не злой, нет, он... Как бы это сказать? Добросовестный был. Все, как положено, делал. Хотя, конечно, какое тут добро? Но совесть в нем все же была, какая-никакая, а была...

– Езжай-ка ты лучше домой, – вздохнула женщина.

– Чем дурью-то маяться. Чего ты тут забыл, скажи на милость?

– Это вы, конечно, правильно говорите, – согласился Валерий. – Ничего не забыл. Но вообще-то... Вещь-то мне все-таки не додали. Пропала, говорят. Я из-за этого.

– Что за вещь? – осведомился мужчина деловито.

– Труссы.

– Чего?

– Труссы, – повторил Валерий.

– Подштанники, что ли? – не поверил мужчина.

– Нет, почему же подштанники – обыкновенные труссы. Синие, сатиновые. Все вещи отдали, костюм

габардиновый отдали, а трусов, говорят, нету. Пропали, говорят.

– Не ври, – сказала женщина. – Откуда у такого засранца габардиновый костюм!

– Я не вру, – смутился Валерий. – Он у меня и теперь есть, костюм этот, мне родители на день рождения купили. Я когда в клуб шел, нарочно все самое хорошее надел.

– Евреи они, забыла? – сказал мужчина. – У них все есть.

– Так ты что, за трусами сюда приехал? – спросила женщина.

– Ну да, получается, что за трусами.

– Дурак, – определил мужчина и сплюнул.

– Ну почему же – дурак? – запротестовал Валерий.

– У меня справка есть.

– Справка у психов у всех есть! – усмехнулся мужчина.

– Да нет, справка, что трусы не додали.

– Врешь! – сказал мужчина.

– Вы ничему не верите. Можете посмотреть, если не верите. – Валерий полез во внутренний карман пиджака, извлек оттуда несколько бумажек, выбрал из них одну, сложенную вчетверо, и протянул мужчине.

Женщина тоже наклонилась поближе – прочесть бледные лиловые строчки.

– Гляди, Гражитный подписал! – сказала она с уважением.

– Верно, – подтвердил мужчина. Заплывшие глазки его от удивления раскрылись пошире.

– И печать имеется, – продолжала женщина.

– Ясно, – сказал мужчина, – если уж подписал, так и печать поставил.

– Как же это Гражитный тебе такую бумагу выдал? – не могла успокоиться женщина. – Поражаюсь!

– А он сперва чужие трусы мне пытался подсунуть, – принялся рассказывать Валерий. – Тоже сатиновые,

только посветлее и с полосочкой беленькой. Но я не взял. Не имеете права, говорю, заставлять чужое брать! Я, говорю, в таком случае в Москву поеду и жаловаться буду. Ну, он тогда и растерялся. Время тогда такое было – непонятное. И так уж, видно, решил: лучше справку выдать. Что ж ему, в самом деле? Не погибать же из-за каких-то трусов проклятых! Так и выдал...

– А вы, евреи, за копейку удавитесь, – заметил мужчина.

– Тут не в деньгах дело, – возразил Валерий. – Мне, конечно, трусы жалко было. Я за десять лет сколько раз эту минуту себе представлял, когда в них влезу. Ведь что в тюрьме делать? Сидишь себе и мечтаешь о чем-нибудь хорошем. Например, как одежду свою получишь, как домой поедешь... Я, может, за десять лет каждую складочку, каждую ниточку на них вспомнил. А они пропали.

Валерий взглянул на женщину и ему показалось, что поправляя на голове платок, она украдкой растерла по щеке слезу.

– Чего ж, если бумага есть, обязаны вернуть, – сказал мужчина.

– Да где ж их теперь найдешь? – со всхлипом пробормотала женщина. – Раньше надо было... Чего ж раньше-то не требовал?

– Я требовал, да не нашли. И вообще, разве в этом дело? Я ведь не за трусами, мне его увидеть надо.

– Да кто ж тебе его покажет! – женщина безнадежно махнула ватной рукой. – Нельзя его видеть. Мы тут сколько времени находимся, а и то ни разу не видели. Тут уж многие пытались...

– Как-нибудь увижу, – пообещал Валерий.

– Да как?

– Не знаю. Войду и увижу.

– Да как войдешь?

– Скажу, на склад. Справка-то есть.

– Справка правильная, – подтвердил мужчина. – Только, допустим, и увидишь, как узнаешь – он или

нет? Думаешь, по портретам? Много, будто, он на эти портреты похож!

– Тюрьма хоть кого разукрасит, – по-своему истолковала женщина.

– Узнаю! – сказал Валерий. – Его нельзя не узнать. У других такого лица не бывает.

– А то, говорят, его и в живых-то нету, – продолжала женщина. – Тогда, будто, сразу и убили. А это только слух один, что в тюрьме сидит.

– Какой же слух? – изумился Валерий. – Это все в газетах было: культ личности, злоупотребление властью.

– В газетах! – хмыкнул мужчина. – Ты на газету не надейся, ты свою голову имей. Станут тебе такого человека в тюрьме держать, как бы не так!

– Большой человек был, – согласилась и женщина. – А может, и не убили, может, живет себе где в свое удовольствие. Кто знает...

– Да на что и знать-то? – заметил мужчина. – Ни к чему!

– Как же так – ни к чему? – запротестовал Валерий. – Он у меня десять лет жизни отнял! Зачем, ради чего?

– Так все равно не вернет! – мужчина засмеялся и тут же снова закашлялся.

– Нет, вы поймите! Вы только представьте: десять лет! Ни за что, ни про что! Сколько зачеркнули, сколько вычли из жизни. Ведь я мог бы – да мало ли – учиться мог бы, девушек любить, в походы на байдарке ходил бы...

– Вперед надо было думать, – сказала женщина строго. – Когда планер свой запускал.

– Так мне ведь шестнадцать лет было. Мальчишка! Что я понимал?

– Вот, которые не понимают, тех и учат, – проговорил мужчина, щелчком отбрасывая окурок.

– Я, может, жить хотел... Строить, может, мечтал... Петь, летать... А меня взяли – и за решетку.

– Ишь ты, летать! Много вас тут – летунов. Ловить устанешь.

– Ты не жалуйся, – сказала женщина, – другие еще не такие срока получали. Ты вон живой вышел.

– Я не жалуюсь. Но вы подумайте, что вы говорите – выходит, отсидел десять лет неизвестно за что, и еще радоваться надо.

– Как это, неизвестно за что? – возмутился мужчина. – А в клубе кто – Пушкин – хулиганил?

– Теперь за это не сажают, – сказал Валерий.

– За это ли, за другое, а пустая тюрьма ни одного дня не стоит. Езжай-ка ты лучше домой, – вздохнула женщина. – Небось, мать у тебя есть, ее пожалей.

– Мать у меня есть, – сказал Валерий. – Только не здесь.

– А где ж?

– Далеко.

– Дальше наших мест не бывает, – усмехнулся мужчина.

– У меня родители в Израиле, – признался Валерий. – И мать, и отец.

– Ишь ты! А ты чего ж тут остался?

– Так я же в тюрьме сидел.

– Чего ж они тебя бросили?

– Да нет, они не бросили, они все делали, что могли, в Москву ездили, пересмотра добивались, а уж после решили в Израиль ехать, думали, может, оттуда меня вытащить удастся, только не помогло. Так уж оно получилось – они там, а я здесь. Тяжело им, конечно. Я как вышел, сразу на выезд подал, только мне отказали. Тогда почему-то отказали, а теперь вдруг выпускают, открытка из ОВИРа пришла, вот: – Валерий полез в карман и вытащил беленькую открытку. – Я потому теперь сюда и приехал, что уж в последний раз. А то после не прощу себе, всю жизнь казнить буду: мог ведь увидеть и не увидел!

– Чудно получается, – проговорил мужчина, с явным неодобрением разглядывая открытку. – Одни, значит, тут сидят, а другие в Израиль едут. Цирк!

– А что, – спросила женщина, – в Израиле этом – одни евреи живут?

– Тебе-то что? – покосился на нее мужчина. – Или тоже собралась?

– Дурак! – отмахнулась от него женщина. – Если одни евреи, так у кого ж они там воруют? Друг у дружки, что ли?

– Ну почему, воруют! – воскликнул Валерий. – Почему обязательно – воруют? Они работают. Вот у меня отец инженер, а мать – врач. Работают, зарплату получают.

– Работают! – покачала головой женщина. – Ты вот на нашей работе попробуй поработай... А может, и нет его вовсе, Израиля этого, – прибавила она, помолчав. – Может, так только болтают...

– Как же так – нет? – засмеялся Валерий. – А израильская агрессия? Каждый день в газетах пишут.

– Агрессия – это другое, – не уступила женщина. – А я так думаю, если бы он был, так и не пускали бы никого.

– Ишь ты! – сказал мужчина. – Баба-баба, а не дура!

Валерий хотел возразить, объяснить что-то, но сдержался и отошел в угол к печке. Женщина вздохнула, поерзала на лавке, устраиваясь поудобнее, сошлась с мужчиной плечом к плечу и затихла в своем ватнике. Валерия тоже разморило в тепле. Место на лавке оставалось, но он понимал, что не должен садиться. Привалившись к стене, он закрыл глаза и стал дремать. Мысли у него совсем уже начали путаться, когда зазвонил телефон. Мужчина сонно потянулся, поднялся на ноги и снял трубку.

– Восьмая слушает, – сказал он, зевая. – Зину? Какую такую Зину? – голос его сразу посвежел и окреп. – Паняеву?

Женщина тоже встала. Мужчина подмигнул ей, но трубку передавать не спешил.

– Паняеву вызывают! – закричал он вроде бы в сторону от телефона и продолжал в трубку: – Какую Паняеву? Из охраны? Сейчас выясним. Паняеву кто видел?

Женщина наседала на него, он уворачивался и обонялся локтями.

– А кто спрашивает? Муж? По какому вопросу? Личному? Сейчас придет! – он вскочил на лавку и отбивался теперь от молчаливо наступавшей женщины ногой. – Послали за ней. Послали, говорю! Идет уже, кажись. Вот она, тут!

– Дурак! – сказала женщина и обратилась наконец к трубке: – Ну, чего звонишь?

– «Блядую?» – донеслось оттуда отчетливо.

– У тебя одно на уме, – произнесла женщина с обидой. – Тут работаешь, работаешь...

«Знаем мы, как вы работаете! – гремела трубка. – Погоди, разгоню всю вашу лавочку блядскую!»

Валерий старался не показать, что слышит разговор. Мужчина веселился от души, вся его суровость пропала, он притоптывал галошей, взмахивал руками, хлопал себя ладонями по ватным штанам и даже раскачивался от смеха и кашля, которые душили его попеременно. Женщина поговорила недолго, повесила трубку и уселась обратно на лавку.

– Чего звонил? – спросил мужчина.

Она не ответила.

– Ты чего, Зин? – продолжал он, пристраиваясь рядом и подталкивая ее локтем в ватный бок.

– Отвяжись, – сказала она хмуро.

Мужчина насупился и отодвинулся от нее, но через минуту снова заговорил:

– Слышь, Зинка! Давай я ему тоже позвоню. А что, попугаю его, сволочь, малость. Пусть не радуется, милиция!

– Не вздумай! – запретила женщина.

Но он все же набрал номер и фальшивым гнусавым голосом потребовал:

– Паняева! Кто спрашивает? Спиридонов! Это ты, Паняев? Ты что же это, Паняев, служебный телефон в личных целях используешь? А? Ты мне не крути, Паняев! У нас тут каждый разговор на ленту записывается. А ты как думал? Так вот, Паняев, я этот твой разговор завтра к тебе в парторганизацию перешлю, пускай там послушают. Не о чем нам с тобой, Паняев, разговаривать! У нас тут объект, а не бардак! Все, беседа наша с тобой, Паняев, окончена! – Повесив трубку, он снова толкнул женщину в бок и принялся радостно докладывать: – Не звонил, говорит, не я это, говорит. Видала? Полные штаны наложил!

– Отстань, – сказала она.

– Это у нее второй муж, Паняев этот, – объявил мужчина Валерию. – В милиции работает. Как в ночь дежурит, так и звонит – проверяет, чем она тут занимается. Проверь – не проверяй, не поможет, верно, Зинка?

– Отцепись ты.

– Первый-то ее мужик вроде тебя дурак был, – продолжал мужчина. – Десятку схлопотал. А она чего надумала – следом прикатила, поблизости, значит, хотела быть. Вишь, блажь какая! Что за близость, если свиданий не положено. Ну, он вскоре взял да и загнулся, дурак-то ее. Всех, выходит, обманул. А она, Зинка-то, с горя едва не удавилась!

– Не бреши, – сказала женщина.

– Чего мне брехать? Я не брешу. Верно говорю. Она у нас декабристка, Зинка-то. Зинка, ты ведь у нас декабристка!

Женщина ничего не сказала, посидела еще немного, потом поднялась и направилась к печке. Поворочала прогоревшие полешки, подложила новых, закрыла дверцу, но обратно к лавке не вернулась, а шагнула к двери во двор.

– Пошла я, – бросила она, не оборачиваясь, и скрылась за дверью.

Как только она вышла, Валерий тотчас пожалел, что не спросил фамилию мужа. Ведь не исключено, что были знакомы, может, в одной камере довелось сидеть, может даже, у него на руках и умер – ведь случалось такое... Почему же не спросил? Надо было спросить. Может, догнать ее? Валерий глянул на мужчину. Тот сидел, опустив плечи, уронив голову на грудь и нахлобучив ушанку на глаза. Стараясь ступать бесшумно, Валерий придвинулся к двери и потянул ее. Дверь подалась. Мужчина не шевельнулся. Валерий выскользнул во двор и притворил за собой дверь.

Двор был знаком ему. Где-то рядом угрюмо надрылись голодные псы. Окрепший с вечера ветер крутил поземку и раскачивал мутные лампы, укрепленные вдоль стены. Косой луч прожектора, плотно забитый снежным мельтешением, высвечивал кумачовый лозунг над тюремными дверьми. Перебегая двор, Валерий успел разобрать: «Решения партии и правительства претворим в жизнь!»

Внутри здания он проник без труда. Все здесь выглядело по-прежнему, исчезли только решетки между этажами... «Либерализация», – догадался Валерий. Миновав несколько пролетов, он скользнул в боковой коридор и двинулся осторожно вдоль одинаковых дверей.

– Прибыл, Дризин, – прозвучал за его спиной знакомый голос. – Одобряю.

Валерий обернулся и увидел надзирателя Сидоренко.

– Иван Афанасьевич, – пробормотал он в растерянности. – А мне сказали... – он едва не прибавил: «что вы умерли», но вовремя спохватился: – что вы уже не работаете...

– Как же – не работать! – ответил Сидоренко бодро. – Кто не работает, тот не ест!

И тут Валерий почувствовал, что тюремное здание наполнено звуками. За дверями кричали, плакали, пели, звали на помощь, смеялись.

– Шумно у вас тут стало...

– Пускай погалдят, – отозвался Сидоренко благодушно. – У нас нынче декада такая – культурно-массовая. А ты, Дризин, правильно сделал, что в нашу систему пошел работать. Тюрьма – место надежное. К тому же и зарплата. А что сидел, не смущайся. Тут многие так: отсидел свое, и в охрану. А что? Спецодежда, харчи, чего еще надо?

– Да нет, я только так, ненадолго, взглянуть, – пробормотал Валерий.

– Чего глядеть! Гляди – не гляди, лучше ничего не сыщешь.

– Я ведь, Иван Афанасьевич, уезжаю, – сказал Валерий. – Насовсем. В Израиль.

Но Сидоренко и это не смутило.

– А чего? Почему не поехать? Ты ведь еврей. Главное, чтобы в своей системе. А так, я понимаю, за границей даже лучше: командировочные.

– Нет, какие командировочные, – испугался Валерий.

– Справишься! – продолжал Сидоренко. – Опыт у тебя есть. Это врут, что от перемены места сумма не изменяется. В твердой валюте оно надежнее.

«Какой общительный стал, – подивился Валерий, – прежде, бывало, слова лишнего не скажет».

– Опять, выходит, вашему брату, еврею, везет. Умеее устраиваться!

Валерий промолчал. Они двигались какими-то переходами, спускались по одним лестницам и подымались по другим.

– Где это мы?..

– Не узнаёшь? – воскликнул Сидоренко радостно. – Расширяемся! Новый корпус пристроили.

– Пи-и-ть! – донеслось из-за ближайшей двери. – Дайте пить!..

– А ведь я давно тебя ждал, – сказал Сидоренко, не обращая внимания на крик. – Чувствовал, что вернешься.

– Иван Афанасьевич, пить просят, – сказал Валерий, пытаюсь остановиться.

– Хитрят! – отмахнулся Сидоренко. – По ночам есть-пить не положено.

– Заставляют, чтобы в соревновании участвовать, а пить не дают! – кричали из-за другой двери. – Своей команде победу куют!

– Молчи, сволочь! – рывкнул Сидоренко на ходу, увлекая Валерия дальше в глубь коридора. – Соревнования им, паскудам, устраивают, аттракционы всякие – думают, они благодарны будут, спасибо скажут! Как же, дождешься от них!

– Что за соревнования? – спросил Валерий.

– Через стену ссать. Кто перессыт, тому лишняя пайка, а кто недоссыт, тому – знаешь сказочку? – голова с плеч. Тут только одно учеть надо – не всякую стену перессышь, понял? А то еще по дрисне конкурс бывает. У тебя, кстати, и фамилия подходящая – Дризин! Вроде как Дрицин, – он засмеялся и покровительственно похлопал Валерия по плечу.

– Пить!!! – гудел этаж.

– Что ж про дружка своего не спрашиваешь? – продолжал Сидоренко.

– Которого?

– Сережку Шаповалова.

– Так он раньше меня вышел.

– Раньше вышел, раньше вернулся! От тюрьмы далеко не уйдешь.

Они стояли теперь в тупике без окон и дверей. Валерию стало не по себе.

– Душно здесь, угарно, – пробормотал он в тоске. – Дышать нечем...

– Новую котельную в строй ввели! – объявил Сидоренко с гордостью. – Глянь!

Он нагнулся и приподнял чугунную крышку в полу – наподобие тех, что закрывают канализационные люки. Из-под крышки пахло смрадом и гарью. Валерий увидел бесконечно уходящую вниз шахту, освещенную бьющимся где-то в глубине желтым пламенем.

– Отчего же такая вонь? – спросил он, отступая. – Чем это топят? Утильсырьем, что ли?

– Зачем утильсырьем? Дерьмо конкурсное используем! Чтобы даром не пропадало. Шучу, Дризин. От самого центра обогреваемся, от ядра земного. Есть план соединить все тюрьмы с земным ядром. В единую систему!

«Это невозможно», – хотел сказал Валерий, но разглядел на стене лозунг: «Пятилетний план выполним и перевыполним!» – и промолчал.

– Так что, Дризин, никуда ты от нас не скроешься. И в Израиле твоём, если надо, достанем. Имей в виду! Ну ладно, будь здоров, заболтался я с тобой, а работа стоит. Не хорошо это, не положено. Бывай, Дризин, не обмани доверия. Еврейчикам своим привет передавай, когда увидишь. – И с этими словами исчез в глубине коридора.

Валерий остался один. Осторожно обойдя открытый люк, он двинулся наугад вдоль стен. В недрах тюрьмы теперь было тихо, ни единого звука не возникало за закрытыми дверями. Приблизившись к одной из них, Валерий глянул в волчок.

Посреди ярко освещенной камеры стоял Великий Диктатор. Гладкую желтую лысину украшали знакомые всему миру усы. Валерий пытался убедить себя, что видит затылок, что Диктатор стоит к нему спиной, но понимал, что это неправда – просто лица нет и не было, никогда не было. Диктатор слегка приседал и взмахивал

тонкими старческими руками. На ногах у него сверкали новенькие тугие сапоги, а на дряблом оплывшем теле не было ничего, кроме трусов.

И Валерий узнал эти трусы. Это были его собственные трусы. Его пропавшие трусы! «Так значит, не затерялись, а *были украдены*», – подумал он с изумлением. Не случайно, значит, Сидоренко и эта женщина, Зина, все толковали о воровстве... Так вот из-за чего – из-за какой малости! И как все было предусмотрено, спланировано, вычислено: курс самолета, траектория сбившей его ракеты и даже точка приземления планера, созданного в кружке «Юный авиатор». Убийство с целью ограбления. С целью похищения синих сатиновых трусов. «Они даже знали, что я пойду в клуб, они и это предвидели!» Какая могущественная система, как детально все продумано...

Фигура медленно поворачивалась, но и с той, другой стороны, которую тоже в равной мере можно было назвать и задом, и передом, не было ничего, кроме желтой лысины и черных усов. Продолжая приседать и вращаться, Диктатор потянулся руками к резинке трусов и начал не спеша стаскивать их с бедер, так что открылись вершины двух белых нулей. Валерий отскочил от двери и налетел на кого-то, стоявшего за его спиной. Он обернулся и увидел женщину в ватнике. Но это была не Зина из проходной, это была его собственная мать, и под ватником на ней было надето обычное демисезонное пальто, а под платком на голове виднелась шляпка, отделанная черным бархатом.

– Мама? – сказал он, пораженный. – Как ты узнала, что я здесь? Ведь ты же в Израиле!

– Нет, сыночек, – пробормотала мать смущенно. – С чего ты взял? Я не в Израиле. Кто тебе сказал? А ты? Мне казалось, ты уже вышел...

– Что ты тут делаешь? – спросил он, снова ощутив озноб.

– Видишь ли... Как тебе объяснить? Я не хочу тебя обманывать. Ты уже взрослый, мой мальчик. Ты должен понять... Я пришла к нему.

– К нему? – повторил он. – Зачем?

– Не сердись, – прошептала она. – Он настоящий мужчина...

– Это ничтожество? – Валерий засмеялся. – Мама, ты знаешь, ведь это он украл мои трусы!

– Не говори так, – пролепетала она. – Пожалуйста... Не смей так говорить! Все-таки он твой отец...

– Мой отец? Что ты хочешь этим сказать? Как это может быть?

– Что же тут странного? Ты же знаешь, что я старая комсомолка.

Он посмотрел на нее. Она не выглядела комсомолкой, но и старой ее нельзя было назвать. Наоборот, она как будто даже помолодела за те тринадцать лет, что они не виделись.

– А Григорий? – спросил он с последней жалкой надеждой.

– Он очень порядочный человек, – ответила она поспешно. – Он всегда относился к тебе прекрасно. Даже когда ты попал в тюрьму.

– Но как ты могла? – простонал Валерий. – Неужели ты не понимаешь, что ты наделала?

– Глупости! – сказала она. – Идея была хорошая. Если бы ты вел себя умнее, ты многого мог бы добиться.

Валерий ухватился за стенку. «Учение Маркса непобедимо, – поплыло у него перед глазами, – потому что оно верно! Учение Маркса верно, потому что оно непобедимо! Учение Маркса невреждено, потому что необходимо, учение Маркса неотделимо, потому что непобедимо, учение Маркса неотвратимо, потому что необратимо, учение Маркса неотделимо, потому что оно едино...» Рядом крутилась фигура Диктатора – голова, обернутая усами, узкие плечи, тощие бедра и сверкающие сапоги. А вокруг проносились стены и

лозунги, ушанки и платки, самолеты и пассажиры, надзиратели и плакатописатели.

– Остановись! – сказала мать. – Еще не поздно. Одумайся! Никто не требует, чтобы ты публично признал свои ошибки. Тебя простят, ты увидишь. Кто в молодости не ошибается? О, какая у нас была молодость! Как мы мчались в этой телеге – потом, ты знаешь, поэты называли ее тачанкой... И твой отец впереди всех! Ты тоже можешь начать все с начала, я уверена – как будто ничего не было. Сыночек, сделай это ради меня! Умоляю тебя – не упрямясь. Перестань быть лучше всех! Зачем ты меня мучаешь?

Он пошатнулся.

– Ну, скажи же хоть что-нибудь! Ответь мне! Почему я так несчастна? – она зарыдала и протянула руки, стараясь удержать его. – Вспомни, сколько я для тебя сделала! Ведь все это было ради тебя!

Валерий покачнулся, подался назад, оступился и рухнул в зев котельного люка, подстроенный предусмотрительным Сидоренко. Кровь ударила ему в голову, но он не задохнулся, не потерял сознания и постепенно даже свыкся со своим новым положением. Падение было долгим. Чтобы чем-то занять время, он, как когда-то в камере, принялся играть сам с собою в шахматы. Но ничего не получалось: ржавые балки, винты и гвозди, торчавшие из стен, били и раздирали в кровь его тело, и все это мешало сосредоточиться и запомнить ходы противника. Валерий попытался ухватиться за что-нибудь, но руки встречали только трухлявые гнилушки да зловонную слизь, облепившую стены. Пока он падал, пламя внизу отступало все дальше. Не найдя для себя никакого занятия, Валерий начал размышлять о природе вещей и чисел. Любое число можно перевести из десятиричной системы в двоичную (или какую-нибудь еще), а затем обратно. Те десять лет, что он провел в тюрьме, в двоичной системе выразятся очень длинным, но все же конечным числом мгновений и дней. Только

переведенное в единичную систему не подлежит ни возврату, ни восстановлению. Обращенное в нуль теряет вес и смысл. Беспереывная спираль пустых и вечно множащихся нулей. Вселенная, обращенная в ничто. Черная дыра, которой управляет Великий Ноль.

Желтые языки пламени мертвели и остывали. Шахта, в которой он падал (или, вернее, висел, поскольку это уже нельзя было назвать падением), делалась все уже. Валерий извивался, пытаясь упереться в стены ногами и головой, но верх и низ то и дело менялись местами, и в полной тьме невозможно было угадать направление.

– Это конец, – произнес рядом чей-то голос. – Мы падаем в океан.

– Но как же так, как же так, как же так... – возразил другой.

И тут Валерий почувствовал, как его подкинуло и выбросило наружу.

Он лежал в снегу. Ветер кудрявил поземку. Колотие веретенца ледяной пыли впивались в незащищенное лицо. Сухой разреженный воздух жег горло. Валерий привстал на колени и попытался оглядеться. Пространство вокруг сделалось круче, горизонт приблизился, а степь сжалась. Его ладони, мокрые от снега и крови, отчетливо ощущали выпуклость Земли. Он встал на ноги, выпрямился и, покачиваясь, сделал несколько шагов. Пальцы заоченели, пытаясь согреть их, Валерий сунул руку за отворот пиджака и нащупал пустой карман – ни паспорта, ни открытки из ОВИРа, ни справки о пропавших трусах не было. Зато он увидел вдали тюремное здание, в котором, как он помнил, для него приготовлено место. Оставалось только отыскать ворота.

ШЕНБРУНН Светлана – родилась в Москве в 1939 году. В 1962 – 1964 гг. училась на Высших сценарных курсах. Затем работала на Московском телевидении в качестве сценариста (внештатника). В 1966 –

1967 гг. – редактор в издательстве «Реклама». В 1975 году переехала в Израиль. Три года работала в издательстве «Библиотека – Алия». С 1978 по 1981 год редактировала юношеский журнал «Сабра» и детский – «Арик». Переводит с иврита на русский (в частности, перевела повесть Амоса Оза «Поздняя любовь»). Публиковала рассказы в журнале «Время и мы» и «22», а также в антологии прозы и поэзии писателей-репатриантов из России «Скопус». В журнале «Грани» напечатана ее повесть-очерк «Как на речке на Оке». Живет в Израиле.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В газете «Советская Россия» 3 октября 1987 г. появилась статья Л. Черненко «Приглашение с подтекстом». Упоминается там и мое имя.

Я цитирую то, что касается только лично меня. «...О. Целкова и других, которые не становятся в строй врагов социализма...»

Так вот: социализм, КОТОРЫЙ ЗНАЮ Я, есть нескончаемая череда антинародных преступлений, преступлений еще более непоправимых, чудовищных и массовых, чем преступления, к примеру, нацистов в Германии. Это бесспорная истина, особенно очевидная сейчас – в период «гласности» и «перестройки».

Всю свою жизнь я работал с желанием прославить не себя, но русское искусство. Сам этот факт не позволяет мне, русскому художнику и русскому интеллигенту, оставить без ответа глубочайшее оскорбление, нанесенное мне в газетной статье.

Я очень дорожу чистотой своего доброго имени: сегодня и перед потомками нашими.

Олег Целков

Париж, 13 октября 1987 г.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

1

Давай поговорим о доброте,
О хрупкости душевного покоя.
Быть может, я слова скажу не те...
Но ты ведь знаешь, что это такое:
Неуспокоенность и маята,
Непролитые каменные слезы
И та пронзительная немота,
Что в горле застревает, как заноза.
А доброта? При чем здесь доброта?
И где она была в тот день весенний,
Когда распяли бедного Христа,
Глашатая добра и всетерпенья?

2

Я говорю себе: постой, постой...
Давай припомним...
В этот мир постылый
Пришла Любовь
и кровь с лица отмыла,
Освободила кисти от гвоздей,
Беспомощное тело обнимала
И мертвеца в туманных покрывалах
На небо вознесла от злых людей.
Да, это так. Все это так и было...
Так разве доброта не победила?

Лежи пока на дне стола, тетрадка,
Лежи и притворись глухонемой.
Мой путь далек –
но не ищу я кратких.
Так сохрани ж правдивый голос мой.

Ты изгнал меня, бог, из рая
И отправил месить болота.
Но тебя я не упрекаю
И тружусь до седьмого пота.
Я построил дворцы и храмы,
Гидростанции и таверны...
Хлеб делил на скупые граммы,
Но не впал ни в грехи, ни в скверну.
Добывал я руды урана
И в зловонной твоей преисподней
Наживал болячки и раны,
Славя имя твое господне.
Никогда не судил тебя строго
И, как полагается сыну,
Для отца своего и бога
Взбил я облачную перину.
За одно предо мной в ответе
(Боже, дерзость мою помилуй!):
Как случилось, что в целом свете
Человеком правят гориллы.

Чахлый кустик с ягодой волчьей
Называла древом познания.
Хитрый бог улыбался молча,
Обрекая меня заранее

Быть рабыней страстей позорных,
Быть наложницею в неволе,
Под чадрую чугунно-черной
Увядать от стыда и боли.
Но была я мудрее змея
И хитрее хитрого бога,
Ни спины, ни рук не жалея,
Не щадя свои белые ноги,
Гнулась я лозой винограда
И стелилась травой пушистой,
Стала ведьмой, стала наядой,
Оставаясь мадонной пречистой.
В раскаленных песках пустыни,
На опушках ночного леса
Я рожала за сыном сына –
Одиссеев и Геркулесов.
Из моей вырастали плоти,
Как колосья из чернозема.
Я была их крылом в полете,
Теплым хлебом и крышей дома.
В море ветром была попутным...
И, бессмертие утверждая,
В праздник пела легкою лютней,
Вся иссохшая и седая.

* *
*

Вот если б найти того мудреца,
Которому все известно...
Встать перед ним, не скрывая лица,
Если даже оно бесчестно...
Встать перед ним,
 перед этим святым,
Которому все известно,

И дерзко спросить:

как жизнь прожить?

Где отыскать в ней место?

Он полистает потертый талмуд,

Свои партийные книги:

Пропишет тебе каждодневный труд

И воздержанья вериги...

А тебе б

на слезе,

по своей стезе,

Как цыганский дым, одинокой,

свои синяки,

свои кулаки

и личные кровоподтеки.

*

*

*

Разбуженная бессонницей,

Не расстаюсь с постелью.

Жду:

сон добросердный склонится

Над вынужденным бездельем.

Лежу и улицу слушаю.

В ней ночью пусто и тихо...

Но вот на меня обрушилось

Чье-то чужое лихо.

В гудящем подъезде греется

У батарей отопительных...

Оно уже не надеется

Влиять на свою действительность.

А я еще хорохорюсь.

Не доверяю горю.

Крика не подымаю.

Сердце в кулак сжимаю.

Есть порок у меня –
я люблю тишину...
Переулочков и тупиков старину,
Над бревенчатым домом
бесшумный закат
И осенний,
расписанный золотом сад,
И вечернее небо
над чуткой водой,
Где, дрожа,
возникает
звезда
за звездой.

Старомодные вкусы.
Забывтый мирок,
Девятнадцатый век на исходе.
Есть, друзья,
у поэта
ужасный порок –
Преступленья душевного вроде.
И скажу, не таясь,
что судьба не легка...

Потому что стремительно мчатся века
В нарастающее грохотанье,
И уже поднялись из того тупика
Застекленные новые зданья.
В них балконы,
 как гнезда,
 и сто этажей,

Но не слышен в них
шепот полночных дождей,
И в прозрачных каморках
громадин-домов
Только снится арбузная свежесть снегов...

А у меня полнеба за окном
И хлеб, и книга,
и стакан с вином.
И вся вселенная извне
переселяется ко мне.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 45 63 21 83, 45 63 94 47, 45 61 05 79
телекс 64 98 13 Pensrus

Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире

Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира

Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты

Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству

Об условиях подписки справляться в редакции

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Россия и действительность

Игорь Б и р м а н

ПЕР-Р-РЕСТРОЙКА

Еще Стендаль сетовал, что писать трудно как о малоинтересном, так и о возбуждающем слишком большой интерес. И то сказать, а вдруг мою статью на эту и впрямь общеинтересную тему прочтут и заметят дерзкие (наивные?) расхождения с общепринятым. И как знать – вдруг, истово взыскав истину, я все же промахнусь, не попаду. Да и «мысль изреченная...» А тут еще профессиональный статус в этой самой политологии отсутствует.

Трудно, конечно, и по стремительности событий – не поспеваешь наблюдать. 20-летний стабильный черед удобных стереотипов порушен и сменился фейерверками. В «Правде» бывают известия, а в «Известиях» кусочки правды, хотя и убавляют и прибавляют. Письмо из Казани – «в прессе полно оживляжа», из Москвы – «Горбачев открыл новую эру», из Одессы – «жить стало веселее, но не лучше», из Ленинграда – «в магазинах ни черта нет, у нас же перестройка». Кто предвосхитил перепечатку заявления группы эмигрантов «Научитесь доверять своему народу»?^{1*} А статьи Л. Попковой и Н. Шмелева в 5-й и 6-й книжках «Нового мира», зовущие назад к капитализму? А выборы секретарей райкомов? А сиятельный звонок в Горький?

Нет охоты вторить многоголосому хору разноречивых суждений и в очередной раз перетолковывать небывалые вести из Москвы. Их много, и они, как бы это сказать, преданы гласности. Но видим ли мы смысл хитросплетенной совокупности событий, можем ли предугадать, куда процесс пойдет и куда будет заворачивать?

Райкин: «Читаешь центральные газеты, и иногда такое впечатление, что цитируют наши прошлые программы. Что ни страница, то наша тема – карьеризм, очковтирательство,

* Все авторские примечания – в конце текста. – Р е д.

жульничество». Роберт Рождественский откалывает, а Чаковский печатает: «О ремонте квартиры иногда говорят, что „один ремонт равнозначен двум пожарам“. А у нас даже не ремонт. У нас – перестройка [по-видимому, имеется в виду одесское – пожар в бардаке во время наводнения. – И. Б.]. И не квартиры – страны. Да еще какой страны?»². Как сие понимать? «Известия» цитируют читателя: «Куда ни кинь, стало сейчас еще хуже, чем было при Андропове». Или – «...в интеллектуальной сфере жизни перемены сегодня более ощутимы. В характере, в организации и оплате труда рабочего радикальных изменений пока не произошло»³. Или – «Разве случайны опасения: ну ладно, „сто цветов расцветут“, а что потом? А не повторятся ли репрессии?»⁴ И уже острят – перестройку смени перестрелка.

Трудности понимания усугубляются западными средствами массовой дезинформации. Не оговорился и не пытаюсь сказать красиво. В общем эти самые mass media оповещают нас не худо; с огорчительным исключением – относящееся к СССР. Это отдельная и большая тема, немного о ней я уже писал; скажу здесь, что ТВ и пресса частенько врут⁵, хотя и не предумышленно: увы, Америка знает опасного противника до смешного худо. Наезжающие туда не все привозят важное и интересное, и не часто верно судят⁶. Наш брат, эмигранец, тоже не всегда все путем разочтет. Да и люди оттуда сами полны недоумений.

Проф. Маршалл Голдмэн рассуждает в «Вашингтон пост», что-де Горбачева поддерживает интеллигенция, а вот бюрократы решительно против (да это почти все говорят). Позвольте, а как собственно различать интеллигентов и бюрократов? Скажем, Карпов – генсек Союза писателей, он как, интеллигент? Чем именно не интеллигент Н. К. Байбаков – многолетний пред. Госплана, доктор тех. (но не этих) наук и нынешний консультант Совмина? А как насчет секретарей ЦК – Яковлева и Медведева, член-корроров Академии наук СССР? А «почвенники», хулящие среди прочих как раз интеллигентов? И, вот вопрос: Михал Сергеич, оне лично, как – бюрократ, интеллигент?

ЦРУ, совокупно с военной разведкой, докладывает Конгрессу, что «политическое будущее Горбачева находится под вопросом» и что «он следует рискованным курсом. Решения, которые предстоит принять в течение следующих нескольких

лет относительно распределения ресурсов, политических и экономических реформ, будут небесспорными и могут укрепить оппозицию ему в партии и в правительстве»⁷. Друг из Парижа предрек прямые рейсы Тель-Авив – Москва (пока вероятнее выглядят обратные рейсы); местный друг – что грядет новый детант (похоже, он прав).

В дискуссиях превалируют две позиции. Одна – Горбачев правильно не спешит. При раскрепощенных намерениях он сознаёт опасность слишком поспешного движения. Да и не доросла страна до свобод, им лишь дай, все разнесут. И в истории постепеновцы добивались большего успеха. В общем, Горбачев – это хорошо, и надо его «поддержать». Противная точка зрения: оно конечно, призывы к демократии, освобождение Сахарова и т. п. замечательны, но все это главным образом для иностранного потребления, а за качком влево всенепременно воспоследует качок вправо. Вторая позиция мне ближе. Жизнь под Хрущевым стала не только веселее, но и лучше, однако режим остался советским. Так и под Горбачевым серьезные изменения происходят, однако его цель не ликвидация, а укрепление режима.

Нашим суждениям мешают личные позиции. Речь не о хронических оптимистах, льстиво нахваливающих генсека и молящих Запад помочь ему в борьбе с внутренним врагом. Я иногда думаю: а может, мой скептицизм избыточен, подозрительность неоправданна, может, десятилетия разочарований мешают углядеть очевидное другим, и надежды на этот раз не сплывут. Гарри Трумен, слыша от экономистов «с одной стороны» да «с другой стороны» (по-английски, „на одной [другой] руке“), взорвался – где взять однорукого экономиста? Увы, он был не совсем прав – социальные дисциплины не должны быть прямолинейны, схемы, обедняя, искажают. Понимая это, я все же пишу правой рукой, памятуя: дабы разогнуть палку, надобно перегнуть ее в другую сторону. Но так не хочется быть правым, и я буду бесконечно рад промахнуться, не попасть с мрачным прогнозом.

I

Коротко о состоянии, в котором пребывает страна. Вот почерпнутое из советской печати. Мы все это знаем, но всё же...

– исконное русское милосердие вытравлено из обихода, да и из словаря уходит;

– беспомощного одинокого старика определяли в интернат 618 дней. «За все это время никто из официальных лиц даже не полюбопытствовал, как чувствует себя старик в ожидании путевки, в чем нуждается. Чем питается и вообще жив ли» («Известия», 27. 1. 1987, с. 2);

– по словам молодого московского инженера, «культ силы становится нормой для подростков». Обозреватель ЛГ (8. 4. 1987, с. 13) говорит, что это мнение многих;

– в стране эпидемия квартирных краж (ЛГ, 25. 3. 1987, с. 13), а министр внудел сознаётся, что милиция не очень знает, как с ними бороться;

– зато водитель из Караганды говорит: «Выезжая в рейс, шофер должен иметь в кармане 3-5-10 рублей „на всякий случай“. А иногда и больше, в трудном случае, когда надо дать настоящую взятку». «Известия» (20. 3. 1987, с. 6) комментируют: «Заметим опаснейшую метаморфозу: трешка и пятерка уже и взяткой не считаются, настолько к ним привыкли!»

– не помню, когда именно, но пропечатали в ЛГ, что у судов нет навычки оправдывать обвиненных, замелькал термин «жертвы юстиции», а про приговоры «по звонкам» пресса аж устала писать;

– московская учительница не шибко грамотна, оскорбляет детей, отбирает и не возвращает ручки, юбилейные рубли и т. п. Корреспондент не называет ее, потому что она «обыкновенный учитель, каких немало» («Известия», 20. 3. 1987, с. 3). Детишки учатся в школе 749 Кунцевского района Москвы в три смены («Известия», 5. 7. 1987, с. 3);

– при контрольной проверке знаний школьников в Абхазии выставлено 70% двоек («Известия», 27. 3. 1987, с. 3);

– стоматология – в ужасном состоянии («Известия», 23. 3. 1987, с. 4), а «обыкновенная» медицина – никак не в лучшем: «по количеству врачей мы уже давно обогнали всех на свете, пора бы отстать по количеству больных» (ЛГ, 15. 4. 1987, с. 13). «Мне видится неточность в слове „перестройка“. Этот термин употребляется, по-моему, к чему-то уже существующему, но нуждающемуся в улучшении. Медицинское обслуживание, по-моему, надо начинать заново строить» («Известия», 7. 6. 1987, с. 3);

– в последнее десятилетие средняя продолжительность жизни не возрастала, как в иных землях, а сокращалась;

– «ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в стране погибают почти 40 тыс., 250 тыс. человек получают ранения» (ЛГ, 18. 3. 1987, с. 12; «Известия», 21. 6. 1987, с. 3). Сравним – в США машин в 8 раз больше и пробег выше, а гибнет чуть больше 50 тыс. в год;

– акад. А. Г. Аганбегян: «Мы живем в год семидесятилетия Октябрьской революции, сорок два года прошло после победного завершения Великой Отечественной войны, а зайдешь в магазин...»⁸. Нехитрыми подсчетами по официальной статистике и даже без компьютера я вычислил вот что. Если темпы роста этих показателей будут такими же, как в последние 25-30 лет, то потребление советской души достигнет американского уровня 1976 года: по мясу – через 74 года, фрукты – 62, продажа автомашин – 176, квадратные метры жилой площади – 142, телефоны в личном пользовании – 188, и протяженность автодорог – через 298 лет⁹. А американское потребление тем временем возрастает;

– отдельную квартиру каждой семье обещают через пятнадцать лет. Обещают. Между тем, в минувшей пятилетке введено меньше квартир, чем в 1960-65 гг. Количество построенных в 1985 г. квартир – самое низкое за последние 25 лет (ЛГ, 1. 4. 1987, с. 11). «Число новых семей у нас пока что растет быстрее, чем число квартир: 2,75 против 2,1 миллиона по данным за прошлый год» («Известия», 21. 6. 1987, с. 2)¹⁰;

– предсовмина Рыжков: «Все давно были убеждены, что положение с качеством дошло до крайности. Это наносило ущерб, экономический, нравственный и даже политический» («Известия», 11. 3. 1987, с. 2);

– при средней зарплате в 190 р. (доход 40% семей менее 100 р. на душу), сапоги стоят 120, видеомаягнитофон 1200, а новая модель будет стоить 1800 р. («Известия», 21. 3. 1987, с. 4);

– в поездах холод и грязь, проводники хамят («Известия», 5. 3. 1987, с. 6), в метро не протиснуться. Письма Москва – Ленинград идут дольше, чем на рубеже столетия.

Матушка-Русь под доблестным водительством КПСС все менее обильна и все более убога. Миллионы внебрачных детей, бездуховность, коррупция, повальное (в любом смысле) пьянство, убойный бюрократизм, Афганистан, многоча-

совые очереди, хамство, ложь, безответственность, увлечения телекинезом и хиллерами. В недавней книжке: «...чудеса в нашем мире случаются только поганые». Вот и чудо – за 1976-86 гг. вооруженные силы получили 22 тыс. танков, 48 тыс. бронетранспортеров и БМП, 3,2 тыс. стратегических ракет, 20 подлодок с ядерным оружием, 7,1 тыс. самолетов и почти 4,6 тыс. вертолетов¹¹. Не забудем и аэропорт «Шереметьево-3» у Кремля.

II

Начать наши рассуждения надобно с кардинального – каковы пределы личной власти Горбачева? Наираспространена точка зрения, подробно разъясненная Восленским: в стране господствует номенклатура (правлящая элита, или, по Джиласу, «новый класс»), все делается в ее интересах, а «вожди» и сам глава партии – генеральный секретарь (генсек) – властвуют от имени и по поручению¹². Такое понимание подкрепляется примером октябрьского переворота 1964 г., московскими сплетнями и досужими домыслами¹³. Из него исходят и предсказатели скорого удаления зарвавшегося Горбачева. На нем основаны и многочисленные объяснения непопешности реформ.

Западные аналитики (по-английски – аналиты) распинаются насчет момента получения генсеком второго титула¹⁴. Хрущев отобрал у Булганина кресло предсовмина в 1958 г., значит, до этого делил власть. Брежнев, вытурив Подгорного, стал председателем Президиума Верховного Совета (президентом, по словам аналитов) в 1977 г., стало быть, и до того не правил самодержавно. А как Горбачев «только» генсек, дело ясное – власть ограничена.

Представление о неединовластии генсека традиционно на Западе. Сталинский террор «объясняли» отчаянной позицией в борьбе за власть, Рузвельт сочувствовал «дядюшке Джо», бившемуся с ястребами в Политбюро. Трудно судить уверенно, но похоже, что, доминируя на Западе, этот взгляд отсюда распространился внутрь страны¹⁵.

Не упустим – взгляд этот марксистский, восходящий к отрицанию решающей роли личности в истории, позволяющей ей лишь «выражать интересы собственного класса»¹⁶.

Моя точка зрения диаметрально иная¹⁷. Со Сталина генеральный (иногда титуловавшийся первым) секретарь ЦК

КПСС является диктатором, по Ленину, «сосредотачивает в своих руках необъятную власть». Разумеется, в наш век даже он не следует хотениям левой ноги (и редко когда так бывало – те же римские императоры казнили, грабили, насиловали, блюдя декорум). Власть генсека в том, что он устанавливает основной курс, принимает наиболее важные решения, производит главные назначения. Однако все это маскируется рядом обстоятельств.

Главным образом по идеологическим причинам (о которых ниже), но не только из-за них, блюдятся несчетные процедуры и правила, укрывающие истинные линии власти.

Генсеки кажутся «левее», либеральнее ближайшего окружения. Причина элементарна – не первым в государстве лицам боязно позволить слишком многое, спокойнее запретить. К тому же, генсек спихивает на подчиненных непопулярное: «я бы всей душой, да Политбюро не соглашается». Именно отсюда легенды о «разногласиях». Не исключим и пропагандные усилия навести тень на плетень.

Хотя очевидна процедура престолонаследия (и о ней ниже), при переходах власть генсека несколько ограничена, и создается впечатление неединовластия. После смерти Сталина и после изгнания Хрущева пропаганда талдычила о коллективном руководстве, похожие слова были и после ноября 1982 г., и оптимисты в охотку воспринимали их всерьез.

Существенно, что немедленно вслед за сменой караула возможны временные ограничения на генсекову власть. В суматохе после смерти Сталина Маленков не подобрал к рукам все нити. Хрущев тоже не сразу утвердился. По всей видимости, и в первый период правления Брежнева были ограничения на его персональную власть, договоренные заговорщиками.

Ссылаются на исторические параллели: разногласия в ЦК при Ленине, сражения в Политбюро в первые сталинские годы. Но под Лениным режим еще оформлялся, да и не припомню случая, чтобы в конечном счете он не возобладал, а угрозой его личной власти и не пахло. Сталин же борьбу уверенно выиграл и преподал памятный урок. После него не было случаев уничтожения оппонентов (кроме Берии), но член Политбюро знает: критикни, и изгонят в одночасье.

Еще один момент способствует легенде о неединовластии генсека – технические пределы того, чем он сам управляет.

Наполеон все вершил сам, в спаленной пожаром Москве подписал устав Комёди Франсез, но такая детальность не каждому по нутру. Хрущев тщился вникнуть в каждую мелочь, а Брежнев «делегировал» власть. В наше время правителью громадной страны физически невозможно все решить¹⁸.

Между тем, вполне простые соображения проясняют вопрос до предела. Прежде всего, генсеки умирают на посту. Были только два исключения. Маленков грубо ошибся, захотел «как Ленин» быть главой правительства и сам отдал пост первого секретаря хитрому Никите¹⁹. Тот недобдел, и его ушли банальным дворцовым переворотом. Мне возражали, что уже один случай доказывает: власть генсека не безусловна. Простите, но удушение Павла не поколебало абсолютную монархию в России.

Генсек резко выделен пропагандой, вознесен над остальными членами Политбюро. Неужто эти члены доброохотно так ущербляют самолюбие? Самолюбие людей, живот кладущих карьеру. Американский дипломат рассказывал, как во время переговоров в 1972 г. Брежнев начал хлопать себя по карманам, Суслов достал спички и поднес прикурить. «Заметьте, — добавил он. — Суслов не курил».

Доводилось ли читателям бывать на заседаниях райкомов-обкомов, коллегий министерств? Стилль тот же. Первый секретарь, или министр — хозяин, он не только ведет заседание, но решает. Споры с ним исключены, остальные докладывают, оправдываются, объясняют, предлагают, пререкаются друг с другом. Решение оформляется голосованием, но комитет (коллегия) не голосует против хозяина (коли не указано сверху)²⁰. В 1969 г. я был на заседании Московского горкома, Гришин отсутствовал, председательствовал второй секретарь, Павлов, и члены бюро вели себя посвободнее, но ни намек на хоть чуточное возражение ему. То же самое и на Центральной контрольной комиссии. Бессомненно, младшие и средние воеводы точно копируют стиль, отправляемый на самом верху. Невозможно вообразить, что страна строго централизована, а в Политбюро царит коллегиальность.

Нельзя не сказать и еще одно. Так случилось, что за тысячелетнюю историю России демократия длилась менее восьми месяцев (не считая Новгорода). Заявления о рабском характере русского народа есть чистый (вернее — грязный) расизм. Но страна не имеет демократических традиций, культивиро-

вавшихся на Западе столетиями. Власть не делилась, не было и коллегий на самом верху. Оговорюсь, отсутствие таких традиций не означает, что, появившись возможности демократизации, их нельзя будет реализовать, я лишь хочу сказать, что единоличность власти генсека не идет вразрез с привычным.

Что ж, возражат, значит в Политбюро нет споров, разногласий? Есть. Но это споры слуг между собой, а не с хозяином, это разногласия в момент, когда генсек ищет решение, не пришел еще к твердому мнению или же не считает вопрос принципиально важным.

Генсеку всегда наследует второй секретарь ЦК. Назначая (и заменяя) «кронпринца», генсек тем самым предreshает наследование. Вторым секретарем под Сталиным был Маленков²¹, а под ним, по 14 марта, – Хрущев, вторым секретарем был и Брежнев в октябре 1964 г. Вторым же секретарем был к ноябрю 1982 г. Кириленко, и лишь загадочный маневр, когда его убрали из Политбюро, но, видимо, не успели оформить Черненко, дал возможность Андропову захватить вожжи. Скажут, что вряд ли Черненко с охотой сделал Горбачева наследником, тут вполне могла быть некоторая комбинация.

Задумаемся: кто и как принимает решения о новом генсеке? Пленум ЦК? Не было и случая, когда Пленум голосовал не единодушно, да еще против того, кто его созвал (Пленум, сокрушивший «антипартийную группировку», созвал Хрущев, а октябрьский Пленум 1964 г. – заговорщики). Все известное о Пленумах (стенограммы многих опубликованы) говорит, что столкновением мнений там и не пахнет, все как на сессиях Верховного Совета: исправно штампуются то, что предлагается²². Так что, предположение о власти Пленума ЦК не подтверждается фактами.

Мне возражали: участники Пленума кулуарно приходят к общему мнению, которое затем уже «обсуждается официально». Рациональное зерно – генсеки правят не безоглядно, не дразнят гусей без нужды, загодя прощупывают настроение воевод, но не воображаю, что некий член ЦК полезет на генсека²³.

Тогда правит Политбюро? Нет, оно слабее – все генсеки его перетряхивали, но только однажды, только в заговоре, и только вкупе с ГБ, Политбюро одолело²⁴. Казалось бы, Политбюро играет решающую роль при переходе власти, но нарушений закона кремлевского престолонаследия мы не

знаем. А когда новый генсек объявлен Пленуму ЦК и стране, когда линии управления замкнулись на него, Политбюро тем более возвращается в нормальное совещательно-исполнительное состояние. В самой структуре власти нет ничего, что давало бы Политбюро хоть намек на опору в борьбе с генсеком.

Несогласных покорно прошу объяснить – на что рассчитывают члены Политбюро? Сколачивать группировку рискованно – коли вовремя не предашь, может, и сохранишь голову, но не портфель. Не видно конкретного механизма, с помощью которого соперники генсека рискнут объединиться, столкнутся о постах и низложат его.

Технический, но важный момент: в повестку Политбюро включаются уже подготовленные аппаратом вопросы со справками, проектом решения, списком вызванных, а аппарат подчинен генсеку. Член Политбюро может предложить поправку, но ему трудно отвергнуть весь проект, надо тогда предложить собственный вариант, согласовать с ведомствами, надо оспорить мнение экспертов. Кстати сказать, здесь же проявляется и особая позиция второго секретаря, аппаратом ЦК генсек руководит через него.

ГБ и армия тоже не являют собой самостоятельной силы. Некоторая вероятность захвата власти Берией проистекала из того, что госбезопасность подчинялась прямо Сталину, обладала самостоятельностью по отношению к партаппарату; с тех пор, особенно после Хрущева, приняты меры. А подчиненное положение армии в советской структуре надежно обеспечивается институтом политработников и особым тщанием членов славных органов.

В. Чалидзе выдвинул два возражения. Во-первых, статистика недостаточна, всего-то лишь седьмой генсек. Вот именно, их было так мало за 60 с лишком лет! Во-вторых, он говорит, что генсеки знают пределы своей власти, а потому и сидят так долго. Конечно, я уже поминал римских императоров, но Сталин правил «беспредельно», а Хрущев продержался почти 10 лет, многожды «переходя пределы» против номенклатуры²⁵.

III

Немного об опоре власти генсека; что ее так нерушимо держит? Несколько условий обеспечивают его самодержавную власть и политическую стабильность режима.

Первое – полная концентрация власти, тот самый ленинский принцип демократического централизма, в котором главное – как раз централизм, безусловное подчинение верху, откуда идут все команды, верх безусловно отменяет любые решения более низкого уровня. В этот же принцип вполне укладывается и подвластность Политбюро генсеку. Сверху же идут и все назначения – генсек формирует составы Политбюро и Секретариата, те определяют состав ЦК, назначают пересек обкомов и т. д. При всех назначениях в первую очередь учитывается лояльность, личная преданность.

Восленский верно указывает, что именно партаппарат образует остов власти, централизация идет через него. Однако, и тут я расхожусь не только с Восленским, аппарат есть аппарат, он подготавливает решения и исполняет (должен исполнять) их, решает же генсек. Но об аппарате мы будем еще говорить.

Второе условие, вытекающее из первого, – безусловное недопущение хоть малость независимых групп, и тем менее организаций, с минимальной политической ролью. Горбачев и примкнувшие к нему ссылаются на Ленина, твердят о «восстановлении ленинских норм». Правильно ссылаются: именно при нем X съезд запретил фракции в партии²⁶. Другое дело, что генсеки поощряют соперничество холуев друг с другом.

Третье – расположение начальства на ключевых позициях, в том числе КГБ, слоями, причем так, чтобы одни наблюдали за другими. Хрущев прошляпил: Шелепин из ЦК курировал КГБ, а там сидел его человек – Семичастный, что во многом решило дело. Брежнев поместил под Андроповым родственника, а двигая его в ЦК, он отдал Лубянку Федорчуку, явно не «человеку» Андропова.

Я упомянул ГБ. Никак не собираюсь преуменьшать роль «госужаса», все же скажу, что не надо ее и преувеличивать. Не упустим и громадные изменения в методах «работы». Но это сама по себе большая тема и здесь я ограничусь очевидным – главная задача органов не борьба с диссидентами да с иностранными разведками, а охрана личной власти генсека, в том числе надзор за придворными. Не стоит драматизировать: генсеку надо лишь знать – кто, а там достаточно просто прогнать²⁷.

Обратимся теперь непосредственно к личной позиции Горбачева. Не припоминаю, чтобы аналиты сразу признали полноту его власти, толковали, что она ограничена, неполна, что он ведет борьбу. Питер Рэддавей объявил Горбачева *primus inter pares*, другие подчеркивали его трудности в борьбе с бюрократией, объясняли (старались объяснить) различие между провозглашавшимися лозунгами и конкретными делами именно недостатком власти.

Но как раз Горбачев захватил власть сразу. Пропаганда избегала сакраментальную формулу «коллективного руководства», во всяких списках он был впереди всех, в подписях к газетным снимкам иногда даже не упоминали других членов Политбюро. Против традиций и неприлично назойливо рекламируется Первая Дама²⁹. Во время визита Тэтчер появились новые признаки: из Политбюро лишь Рыжков и Шеварднадзе были чутко на виду, остальные даже на церемониальном обеде в Кремле не присутствовали²⁹.

Приводились разные аргументы: например, он не может выкинуть из Политбюро остатки (останки?) брежневской «команды» – Кунаева и Щербицкого. Несерьезно. Вспомните, как быстро Горбачев избавился от Романова, Гришина, Тихонова. По какой такой причине было труднее убрать Кунаева? На самом деле, Романов на посту второго секретаря мог представить некоторую опасность, да и Лигачев, получивший место в Политбюро из рук Горбачева, старается изо всех сил, а с Кунаевым было не к спеху. Смена начальства в Узбекистане и соседних «республиках» показала, что надо загодя найти и подготовить новые кадры. Что касается Щербицкого, вообще не видно доказательств, что Горбачев хочет его убрать. В конце концов он его заменит, но надо ведь иметь украинца на это место, и с именем, киевский генсек по должности – член Политбюро. И тут тоже надо подготовить массовую смену кадров³⁰.

По-моему, как раз наоборот – Горбачев уже расставил на ключевых постах «своих» людей. Кавычки потому, что дело не в благодарности ему, а в том, что они связаны с ним политически, понимают, что при смене власти их сместят. А также потому, что все чиновники – «его», никому другому они не «принадлежат».

Размахивали неодинаковыми текстами речей, сравнивали сказанное Горбачевым по ТВ с пропечатанным и заключали, что на него наводят цензуру. Большую нелепость не придумать.

Выкапывали разночтения в речах Горбачева и Лигачева, доказывали, что Лигачев «правее» (кстати, вообще забавно судить об индивидуальных политических позициях членов Политбюро по текстам их речей – постоянное занятие аналитиков). Как я уже сказал выше, второму секретарю по должности надо играть на публике эту роль.

Бесконечное число раз писали, как Горбачев сам признал, что не мог собрать вовремя январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС. Что ж, прочитаем: «...мы трижды откладывали начало проведения Пленума, ибо не могли идти на него, не имея ясности по основным вопросам»³¹. Как из этого выводят, что противники Горбачева сумели задержать Пленум, что шла борьба, постичь не могу³². Кстати уж сказать, по словам Горбачева, в прениях на этом самом Пленуме «приняли участие 34 товарища из 77 записавшихся», но мы читали тексты лишь двух речей одного товарища.

Что вообще значит, что Горбачев делит власть с Политбюро? Наличие противной группировки. Видный специалист объяснял, что Горбачеву противостоят гебешные генералы – Алиев, Шеварднадзе и Чебриков, – объединившиеся с Громыкой³³. Странная мысль. Горбачева двигал Андропов, как же тогда объединились против него генералы КГБ? Да и Шеварднадзе из внудел, а не из ГБ. А главное – на что эти группировки рассчитывают, на победу? Историю борьбы в Кремле члены Политбюро знают досконально!

Выискивают разночтения в речах Лигачева и Яковлева, толкуют быстрый подъем Яковлева как победу Горбачева в борьбе с Лигачевым. Если есть тут правда, то это Яковлев соперничает с Лигачевым за влияние на Горбачева.

Самый серьезный повод – постоянные жалобы печати и самого Горбачева на препоны его политике. Такое, по-видимому, есть, и мы дальше это обсудим. Но сопротивление аппарата не может иметь открытой поддержки сверху, из Политбюро. А снять Горбачева можно только заговором.

Несомненна главенствующая роль идеологии в советском обществе. Верно указывалось, что в СССР, в отличие от левых кругов на Западе, марксизм дискредитирован, а в коммунизм никто уже не верует. И все же пропаганда – самое мощное советское оружие. Она умело вколачивает в сознание, что в западных обществах царит капитал, что там безработица, преступность и прочие ужасы. Она оправдывает экономические тяготы последствиями войны³⁴, «необходимостью» гонки вооружений. Она постоянно подменяет понятия, искусно внедряет нужные режиму представления³⁵. Даже образованный советский человек не всегда ясно понимает, что такое власть народа. Свежий эмигранец, автор ученых книг, направился в Библиотеку Конгресса. Подходим, а он говорит: «Чёрт, документы забыл». – «Ну и что?» – «Да как же меня пустят?!» Через пару лет на учредительном собрании частной организации он вопрошал – кто нам разрешит то, и кто разрешит это? Мы пытались объяснить, что надо лишь не преступать закон, но в нем сидело вколотенное сызмальства: что специально не разрешено, то запрещено, да и вообще надо оглядываться на начальство. Или корреспондент пишет из Чикаго, что если водитель не заплатит штраф на месте, то судья припадет на всю катушку. Нет, мировые судьи помнят, кто их выбирает, и снижают наказания за «нарушение правил уличного движения».

Идеология помогла режиму во многих отношениях. Десятилетиями она стояла на пути критического осмысления действительности, оправдывала террор и изоляцию от Запада, кормила людей будущими благами, зовя порося карасем, маскировала диктаторскую власть генсека, создавала видимость законности и демократических процедур. Идеология провозглашает демократию и свободу, равенство и социальную справедливость, высокую мораль, дружбу народов, материальный достаток, любовь к отечеству, служение народу, пользу науки и прочая, и прочая³⁶, и получается, что выступление против режима – есть выступление против всех этих замечательных вещей.

Особая задача идеологии (пропаганды) – неустанное напоминание о внутренних и внешних врагах, канализация недовольства на них, поддержание напряжения (это еще Орвелл показал).

В обществе все более распространяются представления, резко противоречащие официальной идеологии, – религиозность, национализм, индивидуализм и т. д. Такой и должна быть реакция на осточертевшую тяготию, но примечательно, что уходят от пропаганды вправо, а не влево. Тут важно – сколько таких уходящих вправо? Кажется, что это число сильно преувеличивается, что на самом деле куда больше индифферентных.

Как давно известно, и я уже где-то это писал по сходному поводу, в конце концов для настроения людей, для их отношения к окружающему важны не объективные факты, не истина как таковая, а субъективные представления. Западные media концентрируются на отрицательных событиях, катастрофах и провалах, и впечатления западного человека обычно хуже реальной действительности. А советская идеология, избегая раньше критику, а сейчас смазывая ее, приукрашивает действительность. Не вдруг люди осознают, например, ужасное состояние медицины, масштабы бездорожья и т. п. и фундаментальный факт: страна отстала от цивилизованного мира на десятилетия, – а винят в том не систему, но плохих начальников.

Представление, что вожди и бюрократия «все понимают», но держатся за идеологию как за средство управления, чересчур упрощено. Совпропаганда настолько эффективна, что сами идеологи, какими бы циниками они себя в подпитии ненароком не выставляли, находятся под ее влиянием. Я знавал кое-кого из этой когорты, вошедших в близкое окружение, как выразились недавно «Известия», хозяина главного кремлевского кабинета. Иные уже давно хулили порядки (беспорядок), пересказывали лихие анекдоты о Брежневле. Но затем выяснялось, что они не против советской власти как таковой, а лишь против «отклонений от ленинских норм». Да и сами генсеки «наедине с подушкой» думают не только о сладостном бремени собственной власти – они искренне уповают, что делают лучшее для страны.

Ключевой тут вопрос об альтернативе. Советские люди знают, что их жизненный уровень отчаянно низок по сравнению с Западом, хотя и специалистам не так легко определить реальный размер отставания в числах. Все же далеко не все отдают себе отчет в том, что это – прямое следствие экономической системы, а главное, им задурили головы ужасами капи-

тализма и преимуществами социализма. Уместно напомнить массовый опрос бывших совграждан по «Гарвардскому проекту» конца 1940-х гг. Кляня советскую власть, они, тем не менее, положительно отзывались о бесплатных медицине и образовании, а о капитализме – критически.

Сердитые критики все же думают, что иная система будет не лучше, или же что она не подходит для конкретных российских условий, или же что нет путей перехода. Уже здесь, на Западе, мне указывали на примеры стран, не подпавших под советскую пенту, но отнюдь не процветающих, – та же Мексика. Не видя практической альтернативы, люди примиряются с сущим или же надеются на изменения системы изнутри.

Горбачев принадлежит к большому слою в интеллигенции, в бюрократии, среди «технарей», с таким ходом мысли. Они горды своей русскостью, любят свою страну, хотят ей лучшего. И они видят, в каком трагическом положении она оказалась. Те из них, которые решили, что виноват марксизм, эмигрировали за границу, в религию, в неполитические занятия. Все более расширяется слой тех, кто почти открыто отвергает советскую идеологию. Среди них слои молодежи, «почвенники», верующие, шовинисты, как великодержавные, так и других корней. Власти их не утесняют, и их роль возрастает. Гроссмейстер называет власть «они» и «исчадие ада», но выступает за советскую команду и вполне благополучен. Вряд ли можно отнести к сторонникам режима Распутина, Окуджаву, Ахмадулину, Виктора Астафьева, жидо-масоно-едов из «Памяти».

Но Горбачев не эмигрировал.

VI

Именно потому, что власть Горбачева столь всеобъемлюща, первостепенно разобраться в нем. Нам с ним, что называется, не детей крестить, и, скажем, его отношения к домочадцам тут без надобности. Но важно понять его как политическую личность, выяснить его устремления, если угодно, идеалы.

Что мы знаем? Не так уже много. Родился на Северном Кавказе в крестьянской, по-видимому казачьей, семье. Наверняка был в оккупации – в те времена тяжкий анкетный грех.

Вот и загадка: как же его допустили в МГУ, а там в комсомольскую номенклатуру и в партию? Вряд ли обошлось без органов. Давайте сложим это с тем, что двигал его Андропов.

Непрост вопрос об интеллектуально-культурном уровне. Всегда считал бреднями разговоры про неумность Сталина или же что природа скупой наделила Брежнева мозговым веществом: невозможно тогда понять, как они вскарабкались на самый верх и там держались. В мемуарах Никсона, Киссинджера, других вы и намека не найдете на недоинтеллектуальность Брежнева; зато есть свидетельства, что он был гораздо умнее, чем выглядел на телеэкране; хотя культурный уровень виден из пристрастия к хоккею. Другое дело, что и Сталин, и Брежнев вели дело далеко не лучшим для страны образом³⁷.

Горбачев для генсека весьма образован, ему льстит роль мецената. Из Москвы: «В телехронике о конкурсе Чайковского мелькнули Горбачев с Лигачевым, в печати же не упомянули – пустячок, а приятно». Пустячок явно срежиссирован, но плохого в нем мало. Как и в том, что он бывает в театре, читал Айтматова, Маркеса³⁸, не проявил озлобленности, жестокости. Но тут очередная загадка – как же он при таких качествах столь успешно двигался? Ни на посту секретаря крайкома, ни после головокружительного прыжка из ставропольского чернозема в московские князи он ничем примечательным себя не выказал. В партаппарате, особенно при Брежневе, выдвигались безынициативные, знавшие не противоречить и спору докладывать исполнение³⁹. Так, может, он такой и есть?! Указывают Хрущева – зная его под Сталиным, нельзя было ожидать XX и XXII съездов. Но чтобы столь неординарный случай так скоро повторился...

Нельзя также не сказать (не завидую ли я?), что многие смотрятся значительно, внушительнее, когда обременены высокими постами, вниманием публики, всяческими званиями – гипноз поста.

Говоря об интеллекте сегодняшнего хозяина страны, немедленно признаю, что он умен аппаратно, изворотлив, хитер, целеустремлен, но на поверхности лежат политические ошибки: оттяжка ухода из Афганистана⁴⁰, громогласная кампания насчет новой техники, мелочная опека, реорганизационная суета. Не уверен, что вполне продумана антиалкогольная кампания⁴¹, гадка антиамериканская пропаганда. Не упустим из

виду Чернобыль. В Америке недаром говорят, что истинные качества лидера проявляются в кризисе. Выступи он сразу, скажи, что вот такое несчастье, но делаем, что можем... И обязательно самому побывать там, как Лигачев, Рыжков, Чебриков. Вместо всего этого три недели молчания.

Хотя он легко уходит от бумажки, говорит свободно и довольно грамотно, в импровизациях речь ординарна, забита штампами, не насыщена, орации безобразно длинны. Очевидны также комплексы, неумение слушать собеседника. Чувство юмора? Уж во всяком случае не по отношению к самому себе – выпущен трехтомник «Избранные речи и статьи» за последние два десятилетия⁴².

Обратим внимание и на его кадры. Их костяк (в том числе и на непартийных постах) – партработники, пропущенные через аппарат ЦК. Трудно судить о всех, но вот примеры. Министром стройматериалов назначен С. Ф. Военушкин, я его знал – невредный парень, но и только. Президентом Академии наук стал Марчук (брат которого «играет на гитаре»), первый глава Академии без научных достижений⁴³. На ключевой позиции первого зама Экономического отдела ЦК появился В. П. Можин. Зава нет, так что он докладывает, как поведаль заезжий московский экономист, «прямо самому», в газетных списках идет выше министров. Ничего плохого про Можина не скажу – у него много достоинств, но роль советника при разработке глубоких реформ ему не совсем по плечу. А может, глубоких реформ и не будет...

Невероятно, чтобы, с детства впитывая и пропагандируя советскую идеологию, Горбачев был ее противником, чтобы он не любил систему, вознесшую его, крестьянского сына, на самый верх. Я верю ему, когда он непрестанно поминает Ленина, говорит, что перечитывает его. Большой ошибкой было бы думать, что он «все понимает», цинично «играет в игру», в какой-то момент скажет: «неверной дорогой идете, товарищи». Ему действительно мститися, что социализм, советская власть лучше капитализма. Он должен искренне верить, он страждет путем революции сверху устранить наивопиющие пороки системы, сделать ее работающей. И, боюсь, не понимает, что революции, в том числе сверху, прежде всего революции идей. Легко представить, что глаз на глаз с Раисой Максимовной он произносит (кстати, завлекательная тема – генсек дома): «Система в принципе добротна, дает человечеству

возможность избежать пороков и язв капитализма (и возвышает достойнейших). Однако в результате отклонений от ленинской линии, ее искривлений, при крупных успехах, она не реализовала свой потенциал полностью. Значит, надо найти и искоренить основные недостатки внутри системы, и все будет замечательно. Еще при нашей жизни»⁴⁴.

Вот он вызволил из ссылки Сахаровых. Но ведь Сахаров (не в охулку этому замечательному человеку) не заявлял себя противником советской власти, не призывал к установлению в СССР демократии западного образца и капиталистической экономики! Наибольшее – говорил о конвергенции.

Еще раз, Горбачев – искусный аппаратчик, иначе бы и не поднялся так высоко. Изрядно грамотен, работоспособен, напорист. Но дюжинен, от осознания трагического положения страны не поднялся до понимания исторической необходимости демонтажа системы. Встречаясь с Рейганом, Миттераном, Тэтчер, Ганди, он сознает, что их срок ограничен, они зависят от закона и избирателей, а он останется, было бы здоровье. И если даже душа его уязвлена стала, он видит свою задачу не в ликвидации нечеловеческого режима, а в его усовершенствовании: «...мы ...собираемся социализм укреплять, а не заменять его другим строем... мы уверены, что социализм, если привести в действие его основные принципы, располагает всем, чтобы включить по-настоящему интересы человека и использовать преимущества нашей плановой экономики»⁴⁵.

Все яснее, что Горбачев видит главное препятствие именно в пассивном сопротивлении аппарата, в его неумении, да и нежелании вести дело как надо. Гласность – прежде всего антиаппаратна.

VII

Несколько раз я поминал аппарат, пора заняться им вплотную. Само понятие «аппарат» требует уточнений – включает ли он членов Политбюро, идет ли речь о нескольких тысячах «больших начальников», или о всех партийных чиновниках, или же, скажем, и о председателях сельсоветов и т. п. – но я это здесь обойду⁴⁶.

Восленский утверждает, что аппарат всемогущ, собственно, это и означает «власть номенклатуры». Насчет всеиль-

ности никак не согласен, но и в самом деле коллизия генсек – аппарат является ключевой (не только в СССР – культреволюция Мао была тоже антиаппаратной). Чтобы не спорить о словах и терминах, вопрос следует подразделить. Как я силился показать выше, аппарат сервилен, не способен сменить хозяина, а его реальная сила проявляется в *неисполнении*, в рвении, с которым он «претворяет» генсековские предначертания. Всякий, не обязательно только советский, аппарат консервативен, не желает лишних хлопот, борьба с ним – это преодоление *пассивного* сопротивления.

В тех достаточно широких пределах, в которых решения принимаются «на местах», бюрократы чувствуют себя вполне уверенно. К тому же, у них есть известная свобода в подготовке решений. Еще к тому же, бюрократы жестоко борются друг с другом за карьеру, за влияние на начальство.

Уже в известных жалобах Ленина на аппарат речь шла об исполнении, а не о том, что аппарат спихнет его. Сталин осилил конкурентов и взгромоздился, опираясь именно на партбюрократию, но он сразу прибрал ее к рукам, не давал «воли», снимал целые слои. И среди прочих причин террора была как раз эта – согнуть аппарат в бараний рог. Хорошо ли работал аппарат? Как бы то на самом деле ни было, хозяина согбенность аппарата устраивала.

Хрущев тоже подмял аппарат, благо что без крови. Вопрос – какие его приказы аппарат отверг, не исполнил? Пытаюсь припомнить и не могу. Утверждают, что он создавал, а потом реорганизовывал совнархозы, а еще потом размежевывал обкомы, чтобы, перетряхнув кадры, еще больше утвердиться. Возможна и иная точка зрения: лишь заставлял таким образом аппарат проводить его политику. Считается, что он и пал в борьбе с аппаратом, что критический момент наступил, когда он разделил обкомы. Натянута. Посмотрите, какое множество высоких чинов он снял и переставил после 1957 г., – как же всемогущая номенклатура терпела его долгие семь лет?!

Брежнев относился к аппарату иначе, и опять-таки возможны разные толкования. Одно – не хотел осложнений, предпочитал не трогать. Другое – не желая существенных изменений (или не видя, какие именно плодотворны), мог опираться на наличный аппарат.

Если утверждать, что номенклатура так могуча, то как же она тогда пропустила к власти Андропова, который немедленно начал шерстить ее высший слой; именно при нем зачалась смена секретарей обкомов и министров, затормозившаяся при Черненко и заканчивающаяся под Горбачевым. Как же всевластный аппарат не воздвиг вместо него того же Гришина?

Горбачев надеется заставить аппарат работать лучше без институционных преобразований. Он уповает, что достаточно прогнать дряхлых, инертных, глупых, неисполнительных, неинициативных, достаточно поставить остальных под контроль прессы, разрешить чуток демократии и все чудесно изменится. Большинство вновь им назначенных – замы снятых министров или вторые секретари тех же обкомов. Люди, прошедшие ту же школу, поднятые Брежневым. Надо ли ожидать от них новых подходов, нового стиля руководства? Гришина в Москве заместил Ельцин, до этого персек на Урале. Чем Ельцин лучше? Лично инспектирует магазины, проехался как простой смертный на автобусе, заклеил специальную столовую для начальства на заводе, пришел на встречу с «Памятью», но, по всему видно, что, как и патрон, он не понимает необходимости структурных изменений, не понимает, что, сколько ни инспектируй, не будут магазины работать хорошо, пока не станут частными. А может, понимает, но сознает, что ему лично при действительных изменениях лучше не будет.

Дело не только в хотении аппаратчиков. Несмотря на лихие заклинания, Горбачев не дает аппарату сигналов, обнаруживающих серьезность намерений. Два примера. Первый – газеты громогласно возмущаются, как ленинградцы тщились защитить есенинский «Англетер» от сноса, а местные власти их надули⁴⁷. Всякий, мало-мальски понимающий реалии сов-жизни, без труда сообразит: значит, эти самые власти были уверены – именно так и надо делать. Уж что-то, а как вести себя в подобных ситуациях, аппаратчики ведают прекрасно. Они знают: гласность гласностью, а партдисциплина партдисциплиной. Перед Горбачевым, которому, конечно же, все доложили, альтернативы были таковы:

– сделать вид, что ничего не произошло. Аппаратчики поймут вполне ясно: пер-р-рестройка – для газет и для заграницы, для того же журнала «Континент». Поймет и активная

часть населения, лучше не высовываться, плохо может кончиться;

– строго наказать аппаратчиков, снять несколько высоких чинов с работы. Ушлые чиновники усвоят сигнал быстро. Но население тоже поймет сигнал.

Открываю «Известия» от 30 марта. Сообщение о пленуме Ленинградского обкома. И ни полслова о порушенном «Англетере». Ничего не сказано и в отчете «Правды» (31 марта). Только статья в «Известиях» от 25 апреля о заседании бюро обкома, которое вел сам Ю. Ф. Соловьев – не только персек обкома, но и кандидат в члены Политбюро, – ставит все на места. Статья критикует «мэра» города и других должностных лиц, но бюро обкома лишь «указало» [им] на необходимость коренной перестройки стиля и методов работы». Статья кончается словами Соловьева «к перестройке, к расширению демократии мы пока еще не готовы». Кто, «мы» – высокое начальство?⁴⁸

Второй пример. Статья В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра» в «Новом мире» (1987, № 2) объясняет, как с 1928 г. экономика выросла не в 90 раз, что утверждают все экономические справочники, что несчетно повторяется в самых высоких речах и документах, а в 6-7 раз. Сенсация! На 16-й полосе ЛГ мелькает: «сказки ЦСУ». Однако в апрельском «Вестнике статистики» начальник ЦСУ М. А. Королев в статье «Задачи перестройки статистики» говорит, что статья Селюнина и Ханина «...начинается с факта приписок на автотранспорте. И хотя все последующие выкладки и выводы в статье глубоко ошибочны...» Помня Королева, я уверен, что он «посоветовался», не написал бы такое, коли бы не знал: так и надо.

Если бы Горбачев немедленно снял мэра, прогнал Королева (как незадачливых маршалов), аппаратчики бы сразу всё поняли. Не представляю себе, что у Горбачева не хватает власти, по-видимому, их поведение соответствует его истинным намерениям. С другой стороны, демонстрантов вроде бы не наказали, и люди не могли этого не заметить. А вдруг в следующий раз, скажем, при уже намеченном повышении цен, их будет больше и они выступят против чего-то серьезного да поведут себя активнее, что делать тогда?

Чтобы закончить с коллизией Горбачев – аппарат, не надо забывать, что на самом деле их интересы не диаметрально противоположны. Самые закостенелые бюрократы хотят,

чтобы дела шли лучше. Есть и вполне понимающие, что страна подошла к порогу исторической катастрофы. Чиновник, отоваривающийся в кремлевке, знает, что выбор продуктов в рядовом западном магазине неизмеримо лучше. Расторопные карьеристы при брежневской стабильности теряли надежду на продвижение, и бесчисленные столоначальники, продвинуемые Горбачевым, молятся на него.

В общем, не могу согласиться с теми, кто утверждает, что Горбачев двигается вперед медленно из-за сопротивления аппарата, побаивается, как бы его не скинули. Помимо всего прочего, если бы Горбачев сумел добиться реального успеха, если бы дела подкрепили его призывы и дали надежду на улучшение, большая часть аппарата пошла бы за ним в охотку. Беда, если не вина Горбачева в том, что он не породил такую надежду; даже верящие в искренность его намерений не уверены, что он преуспеет в структурных изменениях.

Последнее, хотя и не по важности. Умный человек сказал, что Горбачев борется не с аппаратом, а с народом: люди, академики и герои, мореплаватели и плотники, притерпелись, побаиваются, как бы чего не вышло, опасаются перемен, не дают себя увлечь новыми иллюзиями, новыми утопиями. Видели мы и недавнюю сентенцию «народ-сволочь». Без свободных выборов не узнать, что на самом деле думают массы, а вернее всего, большинство ничего не думает, но многие миллионы совграждан «правее» режима. (Это не специфически советский феномен, Никсон взывал к «молчаливому большинству», массы обычно настроены консервативно.) Горбачев хочет «разбудить» население, преодолеть нигилизм, зародить новый энтузиазм, для этого тоже нужен успех, а он не проглядывается. Среди проблем Горбачева, как он их понимает, эта — повести за собой население — едва ли не наисложнейшая, если вообще исполнимая.

Даже неудобно объяснять очевидную истину: надо не вести народ, а дать возможность свободного волеизъявления, надо не декларировать в очередной раз демократию, а создать условия, когда академики, плотники и кухарки будут решать сами. Я не столь наивен, чтобы предположить, что все это просто, недавно у нас в Америке было сказано: «Народ имеет конституционное право быть неправым», — но другого способа вывести страну из тупика нет.

Пора поставить центральный вопрос: какой выбор был перед Горбачевым, когда он ухватил власть. Разумеется, в самый первый момент ему надо было закрепиться. Однако в тяжелейшем положении, в котором находилась страна, закрепиться надо было, провозглашая новую политику. Уже Андропов объявил намерение что-то сделать, куда-то двинуться, но тут же произнес знаменитую фразу о неимении готового рецепта.

Еще раз: коронуясь, Горбачев знал, что положение хуже губернаторского, но не ведал, что делать. Могут сказать, что у него уже в тот момент была некоторая программа, но он ее таил, крепя личную власть. Однако теперь уже ясно: таить было нечего (хотя гласность упомянута в речи с мавзолея 11 марта 1985 г.).

Почему же вместо политики всеобщего зажима, вместо второго издания сталинизма, он пошел на частичную либерализацию?⁴⁹ Одна из причин заключается в том, что новому генсеку нелегко сразу же зачать новый зажим. Другая – Горбачев озабочен международными отношениями, пытается поднять престиж страны. Отнюдь не менее существенно: он, видимо, понял, что зажим губителен для экономики, да и вообще для страны – и дальше править ею централизованно не только неэффективно, но и технически невозможно. С другой стороны, постсталинское время показало, что режим политически стабилен и без массовых репрессий (вполне вероятно, это – иллюзия). Видимо, именно в этом главное: Горбачев считает, что даже существенные идеологические послабления, при неизбежных издержках, все же не поколеблют режим и его личную власть, но окажутся благотворными.

Будем справедливы – пока что сделанное Горбачевым идет в позитивном направлении. Режим не ожесточился, а помягчел. Сняли многие (далеко не все!) идеологические табу, обнажение сакраментальных язв, их более или менее открытое обсуждение печатью необходимо для обновления и дает надежду, что они не вернуться. В общем, то, что он сказал и сделал, улучшает, а не ухудшает.

Главная претензия ему – неспешность движения. Скажут, что он хочет избежать катаклизмов, что сложность ситуации, трудность ее разрешения предопределяют посте-

пенность. Все же суть, как мне кажется, в нежелании пойти до конца, в стремлении сохранить основы режима. Корень, опять и опять, в том, что Горбачев не видит роковых последствий социализма, ему представляется, что он был извращен, был ненастоящим, наверное, он согласится с В. Чалидзе, что в стране была «правая диктатура»⁵⁰. Пути от того, что есть сейчас, как к «настоящему» социализму (его «улучшенной модели»), так и к нормальному демократическому обществу с частной собственностью частично совпадают, но вот-вот разойдутся, и на этой исторической развилке надо будет выбирать. Именно минимальность, непоспешность реформ и порождают у многих сомнения. А я, видя, что на развилке Горбачев свернет вбок от магистральной линии развития человечества, прихожу к весьма пессимистическим заключениям.

Об экономических реформах ниже, а пока наизыбыточный пример – демократия. Как говорится, и кошке ясно, что она невозможна при однопартийной системе. Да и как демократизировать страну, когда сами партийные кадры назначаются, а не избираются. Газеты трубят, что при выборах секретарей нескольких райкомов предлагалось по две кандидатуры. Замечательно. Но на этих выборах «присутствовали» секретари обкомов, и наивно думать, что «выберут» неугодного обкому. А уже простой факт, что пленумы обкомов «выбирают» новых персеков не из местных, а из привозных, что на этих самых пленумах всегда присутствует ответственная шишка из ЦК, ясно показывает, что к чему на самом деле.

Читатель улыбнется моей наивности, все же скажу: не приходится ожидать благотворных перемен в стране, пока, как минимум, не появится еще одна КПСС – Капиталистическая партия Советского Союза!

IX

Гласность (вначале было слово). Тут несколько моментов. Не вдаваясь в дискуссию об истинных намерениях Ленина, можно объяснить жестокую цензуру и ликвидацию оппозиции особенностями того времени, когда партия, узурпировав власть в Октябрьской контрреволюции, навязала себя России. Сталин еще больше затянул удавку, а Хрущев не доверял прочности своей власти, особенно после событий в Берлине,

Польше, Венгрии. Брежнев был увереннее, спокойнее, менее истеричен, и идеологический контроль под ним охранял не столько режим, сколько аппаратчиков. Теперь же наконец осознали: при полном политическом контроле чуть большая открытость, некая гайд-парковская свобода не угрожают устоям, а умело направленные, даже помогают режиму, набрасывая демократический флер. Леонид Лиходеев: «Гласный так гласный, лишь бы был согласный».

Будем справедливы и тут. Вне зависимости от истинных целей Горбачева, надо быть благодарным за раскрепощение печати, за вздымающуюся критическую волну, за возвращение имени Набокова, за публикацию запретных вещей Платонова, Бека, Пастернака, Булгакова, положительные упоминания Галича, за то, что советскую центральную печать теперь читать интереснее, чем западную, даже язык обновился. Если он ничего путного больше не сделает, ему это зачтется, как Хрущеву зачлась ликвидация сталинского ГУЛага. Но, продолжая аналогию, Хрущев дальше не пошел, больше шустрил насчет кукурузы да реорганизаций, не пойдя далеко и Горбачев.

Гласность – это уже не бесстыдная ложь, но далеко еще не правда. Передовица «Известий» от 31. 1. 87 о Пленуме ЦК: «...как отмечалось в докладе, ЦК КПСС, руководство страны, прежде всего в силу субъективных причин, не смогли своевременно и в полном объеме...», – отчего Брежнев не назван по имени? Официальное сообщение о выборах: «Торжество социалистической демократии». Но в «многомандатных» округах результаты отнюдь не столь единодушны, как в обычных, то есть как раз продемонстрировано, что старая система никак не торжествует. Еще хуже, что повторяют старую ложь об участии в выборах 99 с гаком процентов – легко показать, что это новогласное вранье. Хотя не упустим, пошли и статьи, в которых рассказывается, как именно такое единодушие обеспечили⁵¹.

А зачем юлить, что Политбюро приняло решение «об освобождении тов. Кунаева А. Д. от обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи с его уходом на пенсию»?⁵² И гласность больше в центральных газетах, местная печать изменилась мало.

Совсем неправдива гласность насчет заграницы, врут все гаже. Особая задача гласности – мазать не всю эмиграцию дегтем, а кого-то подманить, расколоть на беленьких и чер-

неньких. В который уже раз перестали глушить Би-Би-Си и беззубый «Голос Америки», но на «Свободу» гласности не хватает.

Самое существенное в гласности не снятие запретов на прошлое, за него Горбачев не очень ответственен (Ленин все еще в красном углу)⁵³, но разрешение критиковать министров, а то и обкомы. То есть гласность употребляется для контроля аппарата. Году в 1967 я принес в «Известия» ехидную заметку. «Понимаешь, – сказал ответственный человек, – московские райкомы мы не трогаем». Иначе говоря, центральной печати дозволялось честить не выше провинциального райкома. Теперь же дана команда: выявляйте, сигнализируйте, обличайте на уровне до ЦК КПСС.

Большая статья лихо ругает замминистров, перечисляет их «уловки»⁵⁴. Вопрос – не надо ли спросить с тех, кто их назначил и продолжает держать на постах? – но до этого гласность не дошла. Тут самое важное: установлен твердый предел – абсолютно вне критики остались хозяин, Политбюро, аппарат ЦК, основные идеологические иконы. Пока предел не перейден, а на это нет надежды, нельзя говорить о действительной свободе слова, подлинной гласности.

Критика должна подготовить перемены, но где они? Есть ли хоть намеки на чуточные изменения в монопольном положении партии? Хоть бы для смеха Верховному Совету наказали разочек проголосовать неединогласно.

Х

Демократизация, выборы. Плохого мало, что об этом стали говорить, что проводят эксперименты; хотя, коли подумать, зачем? Когда после кровавого воскресенья избирали не райисполкомы, а Думу, а потом и при выборах Учредительного собрания как-то обошлись.

И неужто нужно экспериментально проверять странную идею о выборах директоров НИИ и предприятий. Хорошо ли? Только при непременном условии, что работники предприятия им владеют, являются его собственниками⁵⁵.

Газетный рассказ о «выборах в Харцизске»⁵⁶. Происшедший казус ведет корреспондента к словам: «...всем нам надо учиться жить в условиях демократии». Верные слова, но я сейчас не об этом. Из кого выбирали председателя горисполкома

в Харцызске? Из двух кандидатов: второй секретарь горкома и зампредгорисполкома. Закрытым голосованием на сессии Моссовета избрали исполком. Хорошо ли? Да, но опять единогласно!

Без демократии нет и свободы⁵⁷, не может быть и подлинной законности, пока в стране сложноподчиненные отношения и правит деспот (хотя и не тиран), стоящий над законом. Под Сталиным законность как таковая не существовала. Под Хрущевым состоялось кардинальное: прекращены массовые репрессии, органы преследуют только за «дело», потенциальных противников не трогают. Но о законности говорить не приходится – недаром газеты пишут, что крайне редко суд выносит оправдательный приговор. Да, Горбачев вроде бы пока не сажает, даже частичную политическую амнистию объявил, низкое спасибо за это. А вдруг ему или следующему захочется иначе, вдруг население выйдет на улицы при намеченном уже повышении цен, вдруг начнут открыто поносить «минерального секретаря»?!

С выборами, как и со многим иным, все больше кажется: произнесут много слов, проведут эксперименты, единогласно одобряют на партконференции и в Верховном Совете некий новый закон. И будут учитывать пожелания населения при выборах сельсоветов. Но не видно, как и когда народ станет подлинно демократически избирать своих вельможных слуг и не они будут вершить судьбы страны, а само население.

Действительно, как решаются поистине судьбоносные проблемы? Трудно назвать более важную, чем экономическое переустройство, но все по-старому: комиссии подготовили проект «Закона о предприятии», напечатали массу статей, в том числе вполне критических, а затем проект без заметных изменений затвердили на Пленуме ЦК и Верховном Совете. На той же сессии Верховный Совет принял два важных закона без всякого предварительного обсуждения в печати. Я обращаю на это внимание, потому что именно здесь суть. Мало громогласно сказать, что накопилось много проблем, и разрешить критику в печати. И мало дозволить выбирать секретарей райкомов. Надо показать действительно новый подход: начать решать всем миром очень важные, самые наитрепещущие проблемы.

Оговорюсь. Я эмигрировал 13 лет назад и не вернусь, а потому не даю непрошенных советов. Мне лишь хочется вме-

сте с читателем, глядя со стороны, спокойно, сохраняя объективность, разобраться в происходящем, и именно здесь пресловутая лакмусовая бумажка. Я отметил выше положительные качества Горбачева, никак не подвергаю сомнению благие намерения. Допускаю, что мое представление о том, как именно развиваться экономике страны, не обязательно самое разумное. При всем том *сам способ выработки и принятия важнейших решений*, определяющих будущее страны, избранный Горбачевым, не дает никаких оснований надеяться на действительно благотворные преобразования. Увы.

Опять возвращаюсь к тому, о чем мы говорили так много: самодержавная власть генсека лучше всего характеризует степень демократичности общества. Если Горбачев действительно озабочен демократизацией, он должен был начать с ослабления собственной власти. Ничто иное не является более важным: не преуспеет страна, не будут счастливы ее граждане, пока ею правит один человек, неподотчетный и несменяемый, даже если он лично полностью прекрасен во всех отношениях. Рискну сказать, что даже власть ЦК КПСС была бы лучше, а пуще того – если бы страной действительно управляла партия, как-никак их сейчас около 20 миллионов.

Понимают ли те, кто рассуждают о развитии демократии в СССР, непременные ее условия, кроме самого элементарного – выборность, зависимость от избирателей? Напомню эти общеизвестные вещи с наикоротким комментарием:

- независимость низа от верха. Скажем, школьный совет моего графства полностью независим, его действия можно разве что в суд обжаловать, но административно он никому не подчинен. Западному человеку не понять заслушивание Президиумом Верховного Совета СССР докладов местных советов; в наших обществах выборные лица на всех уровнях подотчетны лишь своим избирателям.

- разделение власти. Иначе говоря, не только председатель обл(рай-, сель-)совета должен быть независим от Горбачева и не только сам Горбачев должен зависеть от избирателей, но необходимы другие, полностью независимые от него, органы власти на самом верху – скажем, Верховный суд и, как это смешно ни звучит для советских условий, Верховный Совет (Центральный исполнительный комитет, Дума, Парламент)⁵⁹;

- сменяемость начальников. Даже самый распрекрасный руководитель «портится», коли «сидит» чересчур долго;

– неподавление меньшинства, обязательная «оппозиция его величества», предоставление ей права оформиться организационно, пропагандировать свою идеологию⁵⁹, предлагать альтернативы, взывать к избирателям. То есть нет демократии при одной партии;

– экономическая независимость индивида, возможность обеспечить благосостояние независимо от властей, то есть, опять и опять, частная собственность.

Все это настолько далеко от советской демократии под компартией, что я не могу понять тех, кто ужасно громко разглагольствует о демократизации СССР.

XI

Экономика. Тут есть много, что сказать⁶⁰, но моя статья и так слишком длинна. Прежде всего очевидно, что именно оказанная советская экономика недостатч и неудач – основная язва режима. Во все времена, во всех землях человеки озабочены в первую голову земными, материальными нуждами.

Бывший наш министр коммерции съездил в Москву и пишет: «Мы не должны больше вопрошать: реформатор ли Горбачев? Не должны мы и недооценивать его приверженность своим идеям. Вопрос стоит так: может ли он осуществить свои планы?»⁶¹ Но каковы же эти идеи, эти планы?

Начал он с патентованно негодных средств: воздвижение новых бюронадстроек – суперминистерств типа агропрома, пересадки в верхнем звене хозяйственного руководства, дежурные призывы ускорить научно-технический прогресс⁶², пересмотр планов и создание госприемки. Образчик такого подхода – шумная кампания за переход на двух- и трехсменную работу. Коли уж кричите о самостоятельности, хозрасчете и т. п., так не давите на предприятия, дайте им самим решить. Да и как переходить, коли рабочих недохват.

Анекдотична кампания за частный извоз. Тут все сфокусировалось. И необходимость особых постановлений, разрешающих гражданину реализовать естественное право – работать (без эксплуатации!), получая вознаграждение за труд. Почему вообще государству всем этим надо заниматься? – за машину человек заплатил свои кровные и заплатил недешево, хочет возить и деньги за это брать – пусть его! Нелепые ограничения – вози не более четырех часов в день, бери по таксе.

Враждебность населения – мало им, гадам, что тачки себе завели, так теперь еще деньгу зашибать будут. И поразительное нежелание увидеть элементарное решение: автобаза дает шоферу машину, обеспечивает (если он хочет!) ремонт и взимает плату, часы работы и величина заработка не контролируются. Коли такие вещи так долго и с таким скрипом пробиваются...

Не лучше сооружение госприемки. Порядок на улицах можно поддерживать большими отрядами милиции и шпиков, но многочисленные контролеры качества не запугают бракоделов. Пример показывает глубину экономического мышления Горбачева и его советников. Не инспекторам контролировать качество, а потребителю, при непеременимых условиях излишка товаров и разумной, то есть рыночной, организации цен. А еще нужны капиталовложения для переоборудования предприятий.

Того же уровня решения о ценообразовании. Предусматриваются всяческие реформы, но поразительным образом не понимают элементарное: любые установленные сверху цены плохи по определению, централизованные цены ничуть не лучше, чем централизованный план. Понятно желание избежать инфляции, есть уже и китайский опыт на этот счет, все же, пока цены не будут устанавливаться в прямых взаимоотношениях производителей и потребителей, ими самими, ничего хорошего не будет.

В сфере наиболее ему знакомой – один из его дипломов сельскохозяйственный, он партийно руководил сельским хозяйством в Ставрополе и Москве – все осталось по-старому. Парторганы, вкуче с замечательным агропромом, «конкретно» руководят колхозами и совхозами, а секретарь ЦК Никонов на зональных совещаниях инструктирует насчет сроков посева и племенного дела. Сия деятельность признана столь плодотворной, что, хотя продуктов в магазинах не прибавилось, его через ступеньку двинули в члены Политбюро.

Случились сильные снегопады, и второй человек в стране, Лигачев, прибывает в МПС, откуда опять-таки конкретно руководит по прямым линиям связи – как расчищать железнодорожные пути, что грузить и какие грузы в какую очередь отправлять, какому секретарю обкома и что «взять под личный контроль».

Прошу прощения у читателя за несколько фраз с очевидными истинами, но приходится их повторить, потому что,

оказывается, не все их понимают. Нет сомнений, что сама идея централизованного управления экономикой через планирование губительна, противоречит, если хотите, человеческой природе, утверждаю это с тем большим основанием, что сам был плановиком. Такое ощущение, что постепенно это начинает доходить и до Горбачева. Поэтому реальная альтернатива заключается не в том, что предприятиям надо дать хозяйственную самостоятельность, освободив их от централизованного планирования сверху и сбоку, а в том, на какой именно основе эту самую самостоятельность реализовать.

Никто иной, как Маркс, верно указывал, что экономические формации различаются видом собственности⁶³. Человечество шаг за шагом поднялось к капиталистической собственности, и, при всех явных недостатках развитого капитализма, он работает: жизненный уровень неизмеримо выше, чем в странах с социалистической собственностью разного вида. (Самый неоспоримый пример: страны, разделенные на капиталистические и социалистические части, – Германия, Корея, Китай.) В непрямой форме это говорится теперь даже в советской литературе, например, в уже упоминавшейся статье Шмелева в «Новом мире»⁶⁴. Все теперь на словах признают, что никакая реформа не будет успешной, если она не *выгодна* исполнителям, если она не дает людям личного корыстного стимула, но упорно не хотят признать, что стимул работает в полной мере только при частной собственности. И не надо морочить ни самим себе, ни другим голову – чем скорее откинуть социалистические утопии, реставрировать капитализм, тем богаче будет страна, тем лучше будут жить люди. Я уже упомянул свою статью 1981 г., в ней я писал, что введение капитализма нереально, предлагал подумать о каком-то гибриде. Предлагал, понимая, что советские правители далеко не пойдут. Как жаль, что я был прав: они соглашаются пойти очень недалеко, а полумеры не приведут даже к четвертьрезультатам.

Надо, наконец, понять, что «рыночный социализм» – это такой же нонсенс (Н. Попкова называет в «Новом мире» это словосочетание абсурдом), как «социализм с человеческим лицом»: как ни исхитряйся, без буржуев не станет экономика рыночной. Кому-то это покажется обидным, несправедливым, за что боролись в 1917 г.⁶⁵, но иначе просто не получается. Посмотрите на опыт югославской экономики, где пред-

приятиям дали максимум экономической самостоятельности, ликвидировали централизованное планирование, но до капитализма не дошли. И мыкаются, аж военным положением приходится останавливать забастовки.

Горбачев и помыслить не хочет о реставрации капитализма (как и об установлении подлинной демократии), и все направлено теперь на изыскание форм и методов, при которых государство (партия и правительство), оставляя за собой контроль, сохраняя эту самую общественную собственность на орудия и средства производства, будет все же как-то его стимулировать. Избегу вовлекать читателя в подробную дискуссию о недавних постановлениях, в частности «Закона о предприятии», скажу лишь главное: реформа не создает настоящего интереса у тех, кто производит. Ничто не может быть хуже идиотского устройства экономики, созданного в конце 20-х годов и доведшего страну, при всех ее природных богатствах, талантах и трудолюбии населения, до, по словам Горбачева, «предкризисного состояния», до «стагнации». Именно потому, что положение столь плачевно и хуже некуда, можно надеяться, что намеченные меры несколько улучшат его (хотя, как я писал все в той же статье, переход будет обязательно сопровождаться временным ухудшением)⁶⁶. Лучше по сравнению с тем, что есть (чего нет) сегодня. Но не намного! Вопрос не в том, позволять или не позволять капитализм, а в том, когда же наконец советские правители на благо и радость населения без дураков пойдут по капиталистическому пути⁶⁷.

Ну почему, почему вместо всяческих семейных и бригадных подрядов не разрешить выращивать помидоры и арбузы в любых количествах? Хочет человек, дайте ему земли сколько желает (все равно пустует), продайте в магазинах по сходной цене удобрения, машины, стройматериалы (а коли не хватает, то дайте вперед колхозов-совхозов – для страны лучше), снимите заставы на дорогах, по которым повезет мужик товар на базар, и не препятствуйте эксплуатировать – эксплуатируемые не прохлаждаться будут, а созидать, и воздастся им за труд. А коли человек разживется, заработает, допустим, в четверть от американского фермера, так и на здоровье. Ведь, чёрт возьми, он же не американ, он же свой, советский человек, и его богатством будет богатеть общество. И когда раскрепощенные крестьяне будут ежедневно и ежечасно рождать капитализм (как они это прекрасно делали после столыпинской реформы), то

советским гражданам и гражданкам, российской державе, а не нам, заокеанским хулителям, будет лучше.

И почему, почему не поступить точно так же в сфере услуг, в промышленности, на транспорте? Ведь уже есть очень успешные подпольные предприятия! Выпустите их на божий свет, обогащая себя, они от общества не отрывают, а добавляют! И делать-то ничего не надо, перестаньте только мешать людям! Тогда и длинные речи о научно-техническом прогрессе не понадобятся. Ну как поверить, что во всей Москве нашлось желающих на организацию одного частного кафе! И про него, пишут «Известия», идут слухи – закрыли.

Ну а почему не продать магазины тем, кто в них работает? Сложитесь, выньте из кубышек нажитое нечестным трудом и наживайтесь честно, то есть не таясь. Киньте клич, отмените сонмы инструкций да инспекций – сразу же найдутся желающие откупить кирпичный заводик, транспортную контору, химчистку, а там, глядишь, и компьютеры зачнут тачать.

Бойтесь, что будут воровать? Не без того. А что, лучше, чтобы сгнило: не им, но и не себе. Все равно воруют с русским революционным размахом и американской деловитостью. Опасаетесь социального неравенства? Так оно уже едва ли меньше, чем в западных странах. И что, справедливее всем жить плохо, чем всем жить богаче, а самым умелым – лучше всех? Вот у нас в Америке 800 тысяч миллионеров (каждая сотая семья), и ничего, живет, не тужим. Не хотите утратить контроль? Так перестаньте врать и признайтесь: пусть всем будет плохо, но власть не отдадим.

Надеетесь отделаться кооперативами? Да, они где-то, в чем-то, как-то получше, особенно без партконтроля, все же это яичница вместо дара Божьего – опять напомяню опыт Югославии. У нас, в Америке, попробовали рабочие откупить несколько предприятий у собственников и хозяйствовать самим, не слишком ладно получается⁶⁹.

А почему не попросить растаких буржуев вложить капитал, талант, опыт, технологию на российской земле? Кто же это такое удумал: пусть вкладывают, но предприятиям быть смешанными, и не менее 51% капитала должно быть советским. (То есть я вложу свои кровные доллары, а у вас контрольный пакет, все решаете вы. Так я уже видел, как вы дорешались в собственной экономике.) Защищаете рабочего от эксплуатации? А вы его помилуйте от такой защиты, он бегом

побежит на завод, где производство разумно организовано, где зарплату не выводят, а платят в действительном соответствии с количеством и качеством труда. Ну, конечно, капиталист охулку на руку не положит, опять же на здоровье, на здоровье не только ему, но и стране, где уже и шнурки для ботинок не купишь, где в Москве торгуют молодой кубинской картошкой по 50 коп. за кило. Куда это патристичнее, чем распродавать Россию, вывозя нефть, газ и иные природные богатства (две трети всего экспорта – сырье).

Остановлюсь. Сказал уже Горбачев, что хотя в статье Шмелева «дается картина, близкая к тому, что есть на самом деле», то, что предлагает автор, это другое дело. «Предлагается, например, чтобы вроде и безработица была. Нет, нам это не годится»⁶⁹. А решает он. Так что экономическое положение всерьез не улучшится, недовольство населения будет нарастать. Именно по экономическим причинам неизбежен поэтому грядущий возврат к всеобщему зажиму.

XII

Страшно сложен и важен вопрос – национальный⁷⁰. Уже в тронной речи Горбачев показал намерения: предшественники ритуально упоминали дружбу народов, он этого не сделал.

При всей гласности, печать помалкивает о межнациональных напряжениях. Не все с этой проклятой проблемой в порядке в других землях, но СССР – единственное, пожалуй, современное государство, в котором принадлежность к этнической группе, пресловутая пятая графа (относящаяся далеко не только к избранному племени) прикреплена к вам на всю жизнь⁷¹. Раз уж я упомянул соплеменников, то замечу, что под Горбачевым ушли на пенсию двух последних евреев в Совете Министров – Дымшица и Володарского. Очевидцы твердят: «бытовой» антисемитизм все ожесточеннее и откровеннее; переписка Эйдельман – Астафьев показывает: антисемитизм не постыден*. Не сбросим со счета и общество «Память». Но

* К сожалению, нравственный уровень письма Н. Эйдельмана по своему мало чем отличается от позиции В. Астафьева, что, разумеется, никак не извиняет последнего. Видимо, в сложившейся сегодня ситуации откровенный расизм по отношению к русским так же не постыден для некоторых интеллектуалов, как и антисемитизм. – Ред.

в газетах еврейские фамилии, имена и отчества замелькали не только в фельетонах, например, большая статья нахваливает врача Асю Львовну Хейфец⁷².

Свидетельство высочайшего одобрения вздымающегося великодержавного шовинизма – статья в «Правде» о «более чем скромном положении русских» в автономных республиках Северного Кавказа, где автор клеймит навет о «протатаренности» русского языка, объясняет, что «русский народ принял на себя максимальную тяжесть последних войн, экономических усилий и подъемов. Можно сказать, что он добровольно потеснился, сознательно помогая другим нациям и народностям»⁷³. Не собираюсь оспаривать, но не думаю, что украинцы, татары, эстонцы и т. д. прочитали это с приязнью. Вряд ли счастливы белорусы, что лишь в селах сохранились национальные школы и республика становится «национально-бесполкой» (ЛГ, 6. 5, 1987).

Конечно, не случайно казахским персеком посадили русского. Статьи, растолковывавшие события в Алма-Ате, говорили о местном национализме, но хотя бы «для баланса» не обмолвились о великодержавном шовинизме. Первым секретарем Ашхабадского обкома партии назначен, простите избран, Чертищев («Известия», 5. 4. 1987) – явно не туркмен⁷⁴.

Среди членов и кандидатов в члены Политбюро, а также секретарей ЦК, всего две чертовых дюжины, мы видим грузина, азербайджанца, по паре украинцев и белорусов. Из общего числа 93 командующих, их заместителей и начальников штабов групп войск, округов и флотов по состоянию на 20. 1. 1987 года⁷⁵, я заметил одну армянскую и совсем мало «ясно украинских» фамилий, остальные – русские.

Так что, по всем признакам, Горбачев принадлежит к «русской партии»⁷⁶. Будем надеяться, что он не оголтелый националист типа Астафьева, но очевидно нежелание пожаловать больше самостоятельности республикам, продвигать нерусских, которые уже в 1979 г. составляли 47,8% населения (против 46,6 в 1970 и 45,4 в 1959 г.). Словом, процент русских в правящей группе резко выше, чем в населении.

И хотя недавно, безусловно по команде, газеты дружно обрушились на «Память», создается впечатление, что это единственное общество, которое власти согласны терпеть. Как сказал недавно друг, с банкротством марксизма-лени-

низма-сталинизма у властей просто нет идеологической альтернативы.

Чтобы долго не распространяться, Горбачев явно не понимает фатальную трудность национальных проблем – возможно, наиболее трудных. Судя по первой паре лет, он их лишь усугубляет.

XIII

Несколько слов о моральных проблемах, о нравственном здоровье нации. Я как-то писал, что экономика – наихудший враг советского режима, и продолжаю так думать. Или, сказать по-иному, могу представить себе, как экономика радикально улучшена без проблем нравственных, но не наоборот.

Большевики (иные – искренне) надеялись, что социалистическая этика заместит религию. Не получилось. Отнюдь не считаю, что вне религии нет морали, да и далеко не всякая религиозная этика меня устраивает (инквизиция, современные иранские фанатики). Но действительно – на чем же зиждиться общественной морали в этой несчастной стране, что родители заповедуют своим чадам?

Идея была – людям служить общественному благу за свой счет, в ущерб самим себе. Даже если это благо формулируется в свободном демократическом волеизъявлении, не приходится ожидать такого самопожертвования. Не честнее ли, реалистичнее признать наконец примат личности, ее натурального корыстного самоинтереса, устремления к личному счастью, благосостоянию, самоутверждению. Достигать этого можно разными методами, а десятилетия жизненного преуспевания невежд, импотентов, подлецов, подхалимов, лицемеров, десятилетия беспардонной лжи, унижений и насилия над личностью искоренили нормальные этические стандарты.

Мораль понижается и неусыпными проверками, недоверием. На все нужна справка, документ с печатью – то есть вам заранее не верят, непрестанно надо доказывать, что вы не жулик, не верблюд.

Говорили и писали, что американец стремится подняться до уровня преуспевающего соседа, а советский человек хочет спустить его до своего. Зависти, увы, везде слишком много, все же надо сказать вот что. В Америке, где действительно

открыты все дороги, реакция «а чем я хуже, надо постараться» естественна. Так же естественна, как реакция «ишь, чего достиг, укоротим прохиндея» в стране, где и немногие дороги перекрыты барьерами.

Где же выход? Все больше натурально-честных людей находят его в возвращении к религии, в обращении к истории своего народа, в углублении национального чувства. Все это дико сложно, но мне не кажется, что религия начнет доминировать в духовной жизни общества, в многонациональной стране национализм далеко не поведет, а кого-то может завести слишком далеко. Наверное, сказывается профессия, но, по моему глубокому убеждению, мораль не восстановится без экономической самостоятельности граждан, без их экономической независимости от партии и правительства. И, разумеется, без по-настоящему демократических общественных институтов.

XIV

Совсем немного о международных делах, в которых Горбачев ничем заслуживающим одобрения себя не проявил. Поддерживает тиранов в странах-сателлитах, нет и признаков стремления воспользоваться деликатным положением Рейгана и договориться о настоящем разоружении, никак не изменяется жесткая империалистическая политика на всех континентах.

Резко усилилась и антиамериканская кампания. Наиболее отвратительный ее вариант – серия статей, в которых настойчиво «доказывается», что трагедия 18 ноября 1978 г. в Гайане – дело рук агентов ЦРУ, убивших более 900 человек за желание эмигрировать в СССР⁷⁷, и не менее грязные обвинения Пентагону насчет СПИДа. Зачем? Кремль, повторяю опять и опять, отнюдь не намерен «отменить социализм», а критика язв и пороков цитадели капитализма назначена отвлечь совграждан от подобной крамолы.

Вообще – преступно, другого слова не подберу, упорное нежелание переломить прошлое, повернуться наконец лицом к Западу. Ведь только сумасшедший пугается, что Запад сам нападет на СССР, даже осатаневшие американские либералы не осмелятся такое помыслить. Зачем же тогда длить гонку

вооружений? Не смею входить в детали, но ведь можно удумать нечто новенькое – скажем, объявить мораторий не на ядерные испытания в момент, когда Америка с ними отстала, а на производство ракетного оружия и подлодок да устроить международную инспекцию из «третьих стран»; наш замечательный Конгресс сразу бы уполовинил, а то и учетвертил военные траты.

Говоря выше об экономике, я не упомянул военные расходы, но тут и обсуждать нечего: на это отданы лучшие мозги, все возможные и невозможные ресурсы, и освобождение страны от непосильного бремени (в том числе и чрезмерной численности вооруженных сил) если не разрешит, то смягчит экономические проблемы.

На Западе вопрошают: действительно ли большевики мечтают завоевать мир, зачем им иначе так много такого страшного оружия? Ответа я не знаю – наверное, и не прочь, но понимают, что не по зубам. Главное же в элементарном: еще со Сталина раздувание военной истерии, нагнетание ужаса перед войной создает моральное оправдание для бесконечных материальных жертв, обосновывает жесткость режима.

Как, видя все это, левая и «средняя» западная печать взахлеб, наперегонки славят Горбачева, не могу постичь. Как не могу поверить в его либерально-демократические устремления во внутренней политике.

XV

Что сказать в заключение? Статья уже приблизилась по длине к докладам Горбачева, так что я лишь повторю основное.

Вроде бы он не кровожаден, ищет лучшее для страны, но нет желания ни на йоту уменьшить собственную диктаторскую власть. Понимание, что именно хорошо, насколько и как быстро страну повернуть, – оставляет желать лучшего. Не перестройки нужны, а замена самого фундамента социализма, сооруженного с немыслимыми жертвами. Улучшенный, усовершенствованный, развитый (и любой другой) социализм не принесли благоденствия ни одной стране. Способа поставить страну на ноги в рамках системы просто нет.

Мы слышим призывы, в том числе от иных эмигранцев, «помочь Горбачеву». Как? Предлагают Западу пойти на уступки в переговорах о разоружении, клянут программу «звездных войн». Даже доверяя прекраснородушию Горбачева, надо бы подождать, пока он продемонстрирует непоказное желание замирился, прежде всего уйдет из Афганистана. А главное – не надо забывать, что система та же. Вдруг он завтра почует в бозе, где же гарантии, что следующий генсек не вознамерится немедленно закрутить все вспять?!

То же и торговля с СССР. Продавать им нечего, значит, кредиты надобны, так неужто сотни миллиардов, даденных Третьему миру, ничему не научили? Коли есть неделовые банкиры, готовые опять просадить кредиты, – пусть их, но ни в коем разе наши государства не должны кредиты гарантировать, мало шансов, что отдадут. Пусть сначала откроют границы, сделают рубль конвертируемым, тогда можно будет подумывать об инвестициях.

И уж коли помогать, так правдой, спокойным, неоголтелым обсуждением, взвешиванием не только сказанного, но и сделанного. Предлагайте, господа, трезвые идеи, расскажите, как вы видите настоящее и будущее одной шестой части планеты.

Приоткрыв бутылку, из которой вылез не всемогущий джин, но пьянящая гласность, Горбачев, тут надо его опять похвалить по заслуге, дозволил людям поактивничать. Они уже малость разгибаются, их труднее держать в идеологических шорах, да и карательный аппарат ослаблен. На пороге тяжелые времена: наговорили много, а снабжение скоро не улучшится, цены стремительно возрастут, социальные проблемы, обнажившись, станут взрывоопасными, межнациональные конфликты чреваты взрывами никак не меньше. Если давление нарастет, если люди выйдут на улицы, Горбачеву придется завинчивать гайки. Коли он этого не делает...

Живу это я в комфортабельном американском далеке, почитаваю, подумываю, пописываю. А страна, где мы родились, на языке которой объяснялись в любви и скоро уже промолчим последнее прощай, страдает все горше.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Но «Московские новости» от 3. 5. 1987, с. 4: «По существу, злейшими врагами нашей перестройки, можно сказать, провокаторами, льющими воду на мельницу ее противников, выступают сейчас и авторы печально знаменитого „письма десяти“, опубликованного недавно в „Московских новостях“, и участники недавней голодовки нескольких десятков еврейских женщин-„отказниц“ в Москве в день Международного женского праздника 8 марта и два последующих дня».

² ЛГ, 1. 4. 1987, с. 11.

³ «Известия», 18. 4, 1987, с. 3 и 5. 5. 1987, с. 2.

⁴ ЛГ, 29. 4. 1987, с. 10.

⁵ У Набокова президент американского университета говорит о «России – стране Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и прекрасных людей».

Наша популярная ТВ программа «60 минут» объясняла 22 марта, что у советских евреев нет проблем. Или массовый журнал умиляется, что детсад обходится в 18 долл.

Упорно твердили, что, предлагая Пленуму ЦК от имени Политбюро избрать генсеком Горбачева, Громыко сказал: «Учтите, у него приятная улыбка, но железные зубы». Громыко не отличается образностью речи, да и фраза не русская. Но в эту чушь настолько поверили, что в Женеве телекорреспондент просил Горбачева ее прокомментировать.

А вот заявления московского корреспондента «Вашингтон пост», 8. 4. 1987, сс. 1 и 16:

– академику Аганбегяну, «советнику Горбачева», неясно: согласится ли Пленум ЦК на изменения в структуре цен,

– Горбачев говорит о реформах, но другие члены Политбюро, и прежде всего Лигачев, избегают это слово в своих речах,

– и вообще Горбачев вот так старается, следует сравнение с Петром, а бюрократия противится, да и народ инертен. Так что Запад (для того, видно, и вся статья написана) должен его поддержать.

⁶ Американец, побывав в Москве, поделился: бюрократы недовольны Горбачевым.

– А откуда это, собственно, вам известно?

– Так ведь как же. Смотрел и ТВ, и кинохронику, видно, что у бюрократов, слушающих Горбачева, лица хмурые.

Ну как ему, хорошему (потому и не называю) человеку, знать, что бюрократу положено не лыбиться, а нести лица сурьезное выражение.

⁷ «Вашингтон пост», 2. 4, 1987, с. 24. Слова о «партии и правительстве» все же не самые замечательные в этом замечательном документе, утверждающем, что советская экономика преодолела отставание и набирает темп.

⁸ «Огонек», 1987, № 29, с. 4.

⁹ См. мою статью «Экономические права советского населения» в «СССР: Внутренние противоречия», 1985, № 14.

¹⁰ «Хорошее помещение имеет такую важность в наших климатах, в средней и северной Европе, что едва ли не больше страдают люди от дурного помещения, чем от недостаточной пищи». Чернышевский. Очерки из политической экономии.

¹¹ A paper by the CIA and DIA to the JEC of the U. S. Congress, March 19, 1987, p. 3.

¹² М. С. Восленский. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Overseas, Лондон, 1984. К легенде приложил руку Троцкий, например: «Сталин вырос из аппарата и неотделим от него». Но он же писал: «Власть Сталина представляет современную форму цезаризма. Она является почти незамаскированной формой монархии, только без короны и пока без наследственности». Его «Сталин», Chaldize publications, 1985, том I, с. 15, том II, с. 145.

¹³ Скажем, в 1983 г. разглагольствовали, что Байбаков, дескать, дезавуировал заявление Андропова. Простодушные западные журналисты со советологи и не такое могут отчебучить. Но им вслед эту нелепицу лихо несли и эксперты из эмигранцев.

¹⁴ Много писали и о том, кто именно возглавляет Совет Обороны, хотя ясно – генсек и только он.

¹⁵ Советские люди, устав от пропагандной лжи, часто думают, что «там-то уж они знают». Увы...

¹⁶ Недавно перечитал «Наполеон» Тарле и «Наполеон Бонапарт» Альберта Манфреда. Мне нравится книга Манфреда, люблю с детства книгу Тарле и дальше прибегу к параллелям, все же проводимая в них мысль, что Наполеон «обслуживал интересы французской буржуазии», довольно забавна.

¹⁷ Я изложил ее в статье «Власть в СССР», «Грани», 1985 № 137, а также в статье «Способа поставить страну на ноги в рамках системы нет» – «СССР: Внутренние противоречия», 1987, № 19.

¹⁸ Впрочем, Политбюро, т. е. генсек, решает даже, какие булки выпекать. Я не шучу: Политбюро приняло специальное решение осенью прошлого года.

¹⁹ См. «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», часть II, изд. седьмое, М., 1953, сс. 1146-51. Обратим внимание, что опубликованное 7 марта постановление, провозгласившее перестановки, начиналось с Совета Министров и упоминало о секретарях ЦК лишь в предпоследнем, XI-м пункте. В постановлении Пленума ЦК от 14 марта, опубликованном 21 марта, Хрущев не был назван «первым», это было оформлено лишь на сентябрьском Пленуме (там же, с. 1153).

²⁰ «Известия» от 22. 4. 1987, с. 3 сообщают, что Днепропетровский персек освобожден за «нарушение принципа коллегиальности в работе обкома». Слуги изгоняют хозяина? Не совсем – «на пленуме выступил» Щербицкий, сами члены обкома снять персека не могли.

Невозможно не заметить, что когда имеют в виду ЦК КПСС, то «пленум» пишут с заглавной, а когда республиканские и иные нижестоящие парткомы – с прописной.

²¹ Рассуждения на эту тему А. Авторханова в «Загадке смерти Сталина» не идут в сравнение с его другими, очень интересными работами.

²² В середине января секретари ЦК Добрынин, Медведев и Яковлев направились в Польшу и газеты, вопреки алфавиту, ставили Яковлева впереди. Через несколько дней, на Пленуме, все разъяснилось – он объявлен кандидатом в члены Политбюро. Читатель уже понял: газетам сообщили решение, не ожидая «оформления» на Пленуме.

²³ По слухам, персек МГК Егорычев был мгновенно смещен за весьма робкую, окольную критику Брежнева на Пленуме.

²⁴ Восленский полагает, что Секретариат ЦК «главнее» Политбюро. Никоим образом. Его примеры, когда Секретариат одолевал (стр. 375 и далее его книги), это на самом деле случаи конфронтации Политбюро с генсеком, т. е. они подтверждают мои объяснения.

²⁵ Конечно же, власть любого диктатора ограничена; по свидетельству современника, французские казнокрады лишь усмехались, слыша о всевластии Наполеона.

²⁶ Принстонский аналитист Стивен Коэн: «С моей точки зрения, партийная жизнь при Ленине с 1917 по 1920 была в достаточной степени демократической. В партии постоянно происходил обмен мнениями» («Московские новости», 14. 6. 1987, с. 6). Коэну надо бы почитать хотя бы «Девятый съезд РКП(б), март-апрель 1920 г. Протоколы», М., 1960, с. 43, где рассказывается, что руководители местных парторганизаций не выбирались, а назначались Москвой.

Впрочем, что ожидать от Коэна, который там же вякает: «...в политическом сознании вашего общества существуют несколько традиций. Прежде всего – ленинская революционная традиция, которая зарождалась в двадцатых годах».

²⁷ Во время скандала с морскими пехотинцами специалисты сказали американской публике, что никогда наши дипломаты в СССР не должны надеяться, что их не слышит советская разведка. При огромных тратах на «зоны безопасности» в посольствах, на экспертов и т. д. А член Политбюро беззащитен против подслушивания.

²⁸ На завтраке в честь Ярузельского, где присутствовали 10 членов Политбюро, он начал: «Дорогой Михаил Сергеевич Горбачев! Уважаемая Раиса Максимовна Горбачева! Дорогие советские товарищи и друзья!» – «Известия», 22. 4. 1987, с. 2.

²⁹ «Известия», 1. 4. 1987.

³⁰ Однако в «Правде» (28. 3. 1987, с. 2) такой сигнал, пожалуй, появился. В отчете о пленуме Украинского ЦК приведено заявление секретаря Житомирского обкома, критикующего Щербицкого по имени.

³¹ «Известия», 26. 2. 1987, с. 1.

³² Но эта чушь повторена в уже упоминавшемся докладе ЦРУ и военной разведки Конгрессу 19 марта с. г., с. 11: «Мы полагаем, что отсрочка следовала из трудностей в обретении поддержки внутри ЦК для реформ, которые он хочет провести».

Повторено это (среди других нелепостей) и в «Уолл-стрит джорнэл», 18. 6. 1987, с. 26.

³³ Есть и другие варианты, например, самиздатская статья утверждает, что борьбу аппаратчиков с Горбачевым возглавляют Лигачев, Рыжков, Чебриков и Алиев, – «Новое русское слово», 5. 5. 1987, с. 4. Такие утверждения невозможно обсуждать по существу, у нас нет просто способа их проверить.

³⁴ Ущерб, нанесенный СССР во время второй мировой войны, официально оцениваемый (в нынешнем масштабе цен) в 68 млрд. руб., составляет 2-3% от современного объема национального богатства.

³⁵ Что говорить, если не задумываются о лживости каждого слова в названии страны: это никак не «союз», она никак не «советская», ибо не советам принадлежит власть, в ней почти ничего нет «социалистического», и не состоит она из «республик».

³⁶ Но оружие оказалось обоюдоострым. Правозащитники прекрасно использовали это – они героически призывали власти исполнять собственные законы, отказывались принимать их декоративно-декларативный характер.

Теперь объявляется, что законы будут соблюдаться. Но законодательство должно не только провозглашать свободу и демократию, а защищать граждан от властей.

³⁷ Все это непросто. По-моему, умный – это умеющий достигать поставленных им целей (тут интересно обсудить вопрос об уме Наполеона). Главной цели – власти – Сталин достиг, но его тирания стала трагедией для страны не только из-за уничтожения цвета нации, а и из-за кучи диких ошибок. Скажем, считается, что он хорошо разбирался в людях, но держал же Ворошилова, Буденного, Кулика за полководцев. Как бы это сформулировать – Сталин был отнюдь не дурак, но примитивен, а яйцеголовые не становятся правителями.

³⁸ По Набокову, все правители невосприимчивы к настоящей литературе. Высокообразованный Наполеон гневался на нелепые, по его мнению, литературные взгляды журналов и приказывал Фуше изменить их.

³⁹ «...по сути шла обратная селекция: деловой, самостоятельный, думающий человек замещался краснобаем, угодливым исполнителем с гибким хребтом». – «Известия», 12. 4. 1987, с. 3.

⁴⁰ Как бы Афганистан не стал для Горбачева тем, чем героическая Испания стала для Наполеона.

⁴¹ Не то что проблема мала, пьянство действительно развилось в национальное бедствие, но Горбачева нарекли безалкогольной бормотухой, резко обострился финансовый кризис. И, конечно, сомнителен успех всего этого мероприятия. Министр внудел А. В. Власов

(«Известия», 11. 3. 1987, с. 3): «Милиция оказалась не очень подготовленной к вспышке самогонной активности, особенно в городах». За полтора года «сдано добровольно или изъято около 900 тыс. самогонных аппаратов». В прошлом году более 130 тыс. человек осуждено и 70 тыс. наказаны в административном порядке за самогоноварение. В Латвии и Молдавии продажа сахара увеличилась на 16, а в Киргизии – на 20% (в Молдавии всегда больше пили вино, а в Киргизии более 70% мусульман).

⁴² «Известия», 21. 6. 1987, с. 2.

⁴³ Впрочем, Лев Гумилев (ЛГ, 13. 5, 1987, с. 12): «У нас спрос на образованных людей лимитируется уровнем Академии наук. Чтобы быть избранным туда, надо знать меньше нынешнего академика, что не всегда возможно».

⁴⁴ «Крепостного права Сперанский никак, даже отдаленно, не трогал, – напротив, убедительно доказывал, что оно совсем не рабство. На какое-либо ограничение самодержавия он и подавно не только не посягал, но, наоборот, в царском абсолютизме видел главный рычаг затеянных им преобразований. А преобразования эти как раз и были предназначены для того, чтобы обратить рыхлую полувосточную деспотию, вотчину семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе боярскую фамилию вымерших Романовых, в современное европейское государство с правильно действующей бюрократией, с системой формальной законности, с организованными контролем над финансами и администрацией, образованным и деловым составом чиновничества, с превращением губернаторов из сатрапов в префектов» (Тарле. Наполеон. Воениздат, 1939, с. 281).

⁴⁵ «Известия», 16. 7. 1987, с. 2.

⁴⁶ Несомненна разница между понятиями – аппарат, номенклатура, бюрократия. К примеру, директор завода входит в номенклатуру, но не в аппарат. И, наоборот, миллионы людей в аппарате управления не принадлежат к номенклатуре.

Новомодный штамп – кадровый корпус.

⁴⁷ «Известия», 27. 3. 1987, с. 6, об этом же на два дня раньше писала и ЛГ – 25. 3., с. 10.

⁴⁸ «Известия» опять вернулись к этому 1. 8. 1987, с. 3. Оказывается, ободренные городские власти начали всякими неправдами преследовать участников протеста.

⁴⁹ Андропов ввел патрули на улицах и в банях (одновременно снизив цену на водку – «андроповка»), все же распространено положительное в целом мнение о нем. Горбачев лучше для страны, чем Андропов, и уж, конечно, лучше, чем Романов.

⁵⁰ В. Чалидзе. Будущее России. Иерархический анализ. Нью-Йорк, 1983.

⁵¹ «Известия», 25. 6. 1987, с. 1 и 7. 7. 1987, с. 2.

⁵² «Правда», 21. 1. 1987, с. 1.

⁵³ Пока что максимум политической критики Горбачевым прошлого таков: «Я думаю, что мы никогда не можем и не должны прощать или оправдывать то, что было в 1937 – 1938 годах. Никогда. За это отвечают те, кто тогда был у власти» («Известия», 1, 7. 1987, с. 2). Сталин не назван и включен в группу «тех», все ограничено лишь двумя годами, а сам текст вмонтирован в заклинания о достижениях, в призывы «не принижать» и, опять и опять, в декларации о преимуществах социализма.

⁵⁴ «Известия», 6. 5. 1987, с. 2.

⁵⁵ «Литгазета» умиляется (1. 4. 1987, с. 10), как министр внулел Армении опросил закрытыми бюллетенями подчиненных насчет самого себя, а отсюда уже лишь шаг для его выборов. Армянские внудела – дело не мое, но категорически не хочу, чтобы в моем графстве Монтгомери шерифа выбирали полицейские, а судью – подсудимые.

⁵⁶ «Известия», 28. 3. 1987, с. 2.

⁵⁷ Не все тут элементарно. На автобусной остановке стоя юнцов приплясывает вокруг бешено орущего радио. Спросил одного: почему я должен слышать его музыку? Обругал меня всякими словами и сказал – у нас свобода.

⁵⁸ Когда у меня возникли трудности с натурализацией, я подал в федеральный суд и выиграл дело: «Игорь Бирман против Соединенных Штатов Америки».

⁵⁹ В свободном обществе человек имеет безусловное право выражать свою точку зрения. Крайний пример: несколько лет назад фашисты хотели провести демонстрацию в еврейском районе пригорода Чикаго, и многие, в том числе многие (далеко не все!) евреи, отстаивали их право на это.

Но где-то недавно я читал, как советский парень сказал: «Не уважаю правительство, которое терпит критику».

⁶⁰ О трагическом состоянии советской экономики я писал в этом журнале еще в 1981 г.

⁶¹ «Вашингтон пост», 14. 4. 1987, с. A23.

⁶² Еще на XVII съезде целый раздел доклада Молотова был посвящен технической реконструкции, где он говорил, что «машиностроению принадлежит ведущая роль в завершении технической реконструкции».

⁶³ «...формы собственности не даны природой как прямая кишка, а представляют взаимоотношения людей... суть революции состоит в изменении форм собственности» (Троцкий. Портреты. 1984, с. 220). Не мешало бы Горбачеву это помнить.

⁶⁴ Статья хороша, но автор вынужденно лукавит, что Ленин не считал НЭП отступлением. А может, и не вынужденно: в ЛГ, 8. 7. 1987, с. 3 он говорит об «идее Социализма» и продолжает: «мы... никогда не отрекались и, я верю, никогда не отречемся от этой идеи: слишком дорого она нам стоила, слишком много пота, крови, слез и надежд мы вложили в нее, чтобы кто-нибудь всерьез мог подумать

о возможности отделения этой идеи от нашего национального будущего...»

⁶⁵ Ленин справедливо говорил, что производительность труда определяет победу нового общественного строя. Семьдесят лет соревнования с капитализмом, в том числе сорок – после войны, вполне достаточны, чтобы выявить победителя. Несмотря на чудовищные жертвы на алтарь индустриализации, научно-технического прогресса и проч., разрыв в уровнях производительности экономики США и России – СССР возрастает.

⁶⁶ Ряд лет назад я предрек денежную реформу. Она не состоялась, и мне говорят, что я был неправ; по-моему, неправ советское руководство. Объявленный подъем зарплаты рабочих на 20-25%, а специалистов и служащих на 30-35%, хотя и не предусматривает дотаций, ускорит рост денежной массы на руках у населения. Оттяжка денежной реформы лишь усугубляет крайне тяжелую ситуацию, ускоряет инфляцию. Для нее есть и другие причины, но без отъема денег у населения инфляция будет еще более драматической по последствиям.

⁶⁷ Пишут жители Воронежа гражданам города-побратима Бостона: «Читаем в газетах, что вы недоедаете. Пожалуйста, что не доели, не выкидывайте, а шлите нам».

⁶⁸ Кооператив имеет реальный шанс на успех лишь при малом числе членов. Допустим, ЗИЛ принадлежит не государству, а десяткам тысяч его служащих и рабочих – дистанция от их личного интереса до интереса всего предприятия практически не отличается от дистанции с интересами государства в целом. Поэтому они будут голосовать за повышение зарплаты, а не за капиталовложения, выбирать директора «чуткого», но не делового.

⁶⁹ «Известия», 22. 6. 1987, с. 1.

⁷⁰ Совпропагандисты называют XX век веком социализма, а он – век национализма: распад империй, фашизм, сотня новых государств.

⁷¹ В Южной Африке белые не делятся по этническим группам.

В Израиле, хотя и не записано в документах, известно – еврей ли вы. Не оправдываю этот антисемитизм наоборот, но вы хотя бы вольны принять иудаизм.

⁷² «Известия», 26. 3. 1987, с. 3.

По официальному статистическому сборнику «Итоги выборов и состав депутатов местных советов депутатов трудящихся, 1975 г.», сс. 24, 26, из общего числа 2 211 тыс. депутатов евреев было 4 519, т. е. в 9 раз меньше, чем по проценту в населении.

⁷³ «Правда», 28. 3. 1987, с. 3.

⁷⁴ Министром заготовок стал грек, Будыка. Он долго работал в Ставрополе, так что «лично известен».

⁷⁵ Бюллетень «Радио Свобода» № 22/87 от того же числа.

⁷⁶ Все это не элементарно просто. Яковлев, стремительно поднявшийся при Горбачеве, в 1972 г. опубликовал в Литгазете большую статью против великодержавного шовинизма.

⁷⁷ Одна из таких статей, на полполосы – в «Известиях» от 29. 3. 1987.

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. ☐ на срок 6 мес. ☐

Газету прошу направлять по адресу:

Запад – Восток

ИДЕОЛОГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

(вокруг Безансона)

Alain Besançon. Présent Soviétique et passé russe.
Collection Pluriel, Le livre de Poche, 1980

Все началось с того, что один человек прочел эту книгу и решил написать на нее рецензию. Потом ее прочел второй, и вместе они собрались посвятить ей диалог. А затем явился третий читатель (и почитатель) Безансона, и тогда втроем они провели обсуждение этой работы. Позднее им стало ясно, что обсуждение выстроилось не как прямой отклик на безансоновскую книгу, но как вариации на его темы. Давнее знакомство с работами Безансона, а также редкостная суггестивность его текстов побудили авторов не тратить время на комплименты, а сосредоточиться на развитии, по мере сил, идей французского исследователя, добавляя к ним свое понимание проблем и знание материала изнутри.

Каждый предложил не «готовые решения», но свой угол зрения на эти вопросы и на проблематику книги в целом.

Лишь изредка мы тратили время на открытый спор друг с другом, предпочитая, чтоб все высказались как можно полнее, и тем самым явная и неявная противоречивость наших взглядов вынесена на суд читателя.

* *
*

Д. Нелидов: Мы живем при таком общественном устройстве, которое прямо-таки вызывает к своему осмыслению и одновременно категорически это запрещает своим аборигенам. Сказать, что система стоит на камне принудительного непонимания себя самой, недостаточно, ибо она строится на обязательности ложного понимания, что принципиально меняет дело.

Получено из Москвы. Дошло до нас с большим опозданием: первый экземпляр утонул в западных «каналах». – Р е д.

Многим приходилось как-то избавляться от этой отравы, что, по правде говоря, не стоило больших мук; в определенном возрасте идеология отсыхает и отваливается кусками, сама по себе. Но, научившись отличать белое от черного, вырвавшись из магнитного поля словесной магии, куда идти дальше? Только отвернуться, расквитаться вконец – или же еще и всмотреться и понять?

Почему эта система, обещавшая всяческое цветение, обернулась всяческим удушением? Как она действует? Трансформируется ли когда-нибудь? И в чем ее суть, наконец? Сумел ли кто-нибудь разгадать ее секрет там, где нет ни здешнего оболванивания, ни здешних запретов, – на Западе?

На пути осмысления идеологии мы встретили лишь немногих провидцев с Запада, прежде всего – Оруэлла и Кестлера. Оба их знаменитых романа удивляют до сих пор. Альбер Камю, разгадавший в мифе о бунтующем Прометее происхождение современных цезарей, заслуживает благодарной памяти. Великолепный анализ тоталитаризма можно было найти у Раймона Арона и Ханны Арендт. Не говорю о многих исследованиях, вроде «Великого террора» Конквиста: в эпоху до «Архипелага» они сослужили немалую службу.

И все же непонимание со стороны Запада было привычным, систематическим и напористым. Речь идет сейчас не о партийной – генеральной – линии непонимания, но о линии, как будто от нее уклонившейся, о непонимании, застывшем как бы на границе между идеологией и реальностью и постоянно обваливающимся то в одну, то в другую сторону.

Я говорю об этой терпкой, раздражающей смеси очевидностей и абстракций, здравомыслия и доктринальной бурды, обыкновенного зрения и сверхвидения, верности фактам и верности идее исторического развития, сочувствия угнетенным слева и сочувствия угнетенным справа; словом, я говорю о том комплексе непонимания, который можно условно назвать мерлопонтизмом, сартризмом, гародизмом или как угодно еще. И от такого непонимания не спасают ни любовь к человечеству, ни бесспорное уважение свободы, ни даже некоторая философская гениальность.

Эта сумма неведения до недавнего времени была, кажется, господствующей в интеллектуальной Европе. Но когда – в рамках данного комплекса – в отношении к системе, называющей себя «реальным социализмом», произошел резкий крен в

сторону реальности, это вызвало своего рода сенсацию. «Новые философы» (прежде всего Глюксман) заслуживают нашей благодарности как за хорошее усвоение уроков самиздата и представление его Западу, так и за несколько остроумных открытий (скажем, «тождество территории и текста» – гремучая смесь!); однако их собственный бунт против «властителей мысли» оказался еще одной – с размахом поставленной – инсценировкой антигегелевского мятежа у Киркегора. Не трудно с безупречной точностью выводить ГУЛаг из Маркса: это может насытить чувство справедливости, но не мысль, вопрошающую обо *всей системе* и о сегодняшнем ее дне. Чтение Солженицына, наложившись на чтение «Капитала», может высечь несколько искр, но от них далеко до полного света.

Полного света, вероятно, не заключают в себе и те идеи, о которых мы собрались поговорить. Однако они представляют собой некий новый и принципиальный шаг к пониманию.

Начнем с самых простых вещей, описанных Безансоном в «Кратком трактате», столь интригующем своей многозначностью и самой своей краткостью. «Краткость» в данном случае может служить синонимом прозрачности.

Рассмотрим его модель. Система работает в двух режимах: нэпе и военном коммунизме. Периодически они сменяют друг друга. Сопротивление контрреволюции подавлено, но режим на грани (и даже за гранью) экономического краха; декретирован нэп. Проходит несколько лет, нэп удушен Сталиным. Все общеизвестно.

При жизни его тиски военного коммунизма разжимаются лишь однажды – во время войны. Но так ли это?

Историческая основа, оправдывающая подобное предположение, такова: снимается запрет с национализма и православия, в государстве как бы ненадолго открывается форточка. Один из героев «Доктора Живаго» вспоминает о глотке свежего воздуха. Остается выяснить, не было ли это миражем задыхающегося человека.

Режим в лагерях (Буковский советует судить о воле по лагерям) был, как говорят, наиболее тяжелым. Законы производственные, гражданские, неформулированные законы самой жизни были более чем суровыми.

Словом, этот нэп гипотетичен.

Вместе с тем, религия и национализм не были гонимы и в последующем военном коммунизме. Если же убрать нэп (пер-

вый), то останется сплошная выжженная земля военного коммунизма, что самой партией целомудренно именуется «периодом культа личности».

Вместе с тем, никакого особого «сталинизма» не было: это уже трюизм. «Кульٹ личности» – совершенное анекдотическое сооружение, коим мы обязаны теоретической гениальности Хрущева.

Предполагаемый же Безансоном военный коммунизм IV, к счастью, еще остается предположением*. Но если исключить второй нэп и четвертый военный коммунизм как вещи сомнительные, то сама модель как бы ставится под вопрос.

Д. Медвецкий: Ты начал с вещей бесспорных, а среди них всегда, нет-нет, да и мелькнет что-то такое, против чего хочется возразить. Ты, например, утверждал в самом начале: «Всем нам... приходилось как-то избавляться от этой отравы, что... не стоило больших мук; в определенном возрасте идеология отсыхает и отваливается кусками, сама по себе». Я бы не стал утверждать, что избавляешься от *всей* идеологии, если брать это понятие в том его объеме, который предложен самим же Безансоном (в «Истоках ленинизма»). Я бы выразился так: от советской идеологии, которая есть «идеология у власти», освобождаешься, если ты согласился не участвовать никоим образом в этой *власти*, т. е. решил не говорить на языке идеологии и в самом деле не говоришь на нем. Тогда наступает освобождение.

Но социальная связь с идеологией – еще не все. Эта связь порвана, однако осталась другая, более глубокая, *не языковая*. Не знаю, как у других, но я эту *привязанность* чувствую. И считаю нужным в ней признаться. Эта привязанность коренится в детских переживаниях, здесь замешаны отношения с родителями, живыми и мертвыми. Здесь есть какая-то тягучая проблема... иначе зачем тебе спрашивать о сути идеологии, когда идеология как бы уже «отсохла и отвалилась». Отсохла, да не вся.

С. Александров: К возражениям по поводу практической ценности безансоновой модели можно добавить следующее. Первый нэп был отступлением экономическим (сформули-

* Сноска марта 1983 года: времена изменились. Возможность «военного коммунизма» утратила былую гипотетичность.

рован именно так); в плане же идеологии стилистический разноречивый допускался куда меньше, чем в годы военного коммунизма. Причина тому: у режима лишь постепенно доходили руки до ценностей духовной жизни.

Нэп второй развертывался в идеологической области и просуществовал, по грубой оценке, между октябрём 1941 года и январём 1944. На земли, оказавшиеся под оккупацией немцев, режим вернулся уже в виде жесточайшего военного коммунизма. Известная терпимость по отношению к Православной Церкви сопровождалась крайней жестокостью по отношению к католикам и униатам. Террор же в годы войны не прерывался ни разу. Наоборот, были отработаны и введены в действие новые его формы (казнь через повешение для военных преступников; а на Украине, по слухам, такие казни проводились даже публично). Депортация народов продумана и осуществлена частично тоже в годы войны.

Пастернак в «Докторе Живаго» называет нэп двадцатых годов «самым двусмысленным советским периодом». Двусмысленность объясняется, вероятно, тем, что экономические мотивировки каждого послабления (называемые нэпом у Безансона) реализуются частично в сфере идеологических иллюзий. Финал войны в армии сопровождался, очевидно, ещё большими иллюзиями, нежели первый нэп (когда вернемся, все будет иначе и лучше, чем перед войной; в подтексте временами возникала мысль об ответственности за катастрофические поражения в первый период войны).

Д. Нелидов: Модель «нэп – военный коммунизм» могла бы, вероятно, найти более крепкую теоретическую, нежели историческую опору. Она, как говорится, обладает эвристической ценностью. Когда идеология опрокидывается в историю и начинается строительство социализма, нэп и военный коммунизм возникают *одновременно* в границах идеократического языка. Этот язык обладает рядом фиксированных значений. Но его подразумеваемые смыслы, его политические акценты могут быть невероятно подвижными. За словами «нэп» и «военный коммунизм» я различаю скорее акценты, чем четкие исторические образования.

Поясню свою мысль словами Безансона. Он говорит: «Ложь неотделима от отправления политической власти. Она предполагает одну истину и два языка, один – для частного

употребления, другой – для обмана противника. В ленинизме же существуют две истины, но один язык, который служит то одной, то другой из этих истин».

Отсюда – безграничная возможность манипулирования этими истинами. Ведь обе они скрыты за жестко фиксированными, почти неизменными значениями. Но за фасадом одного значения могут *сосуществовать* два смысла, один «военнокоммунистический», другой – «нэповский». Один, наделенный всеми полномочиями, другой скорее номинальный. Но ни тот, ни другой не уничтожают друг друга вполне. Будучи иногда резко разделены, они ведут себя как сообщники.

Возьмем «свободу совести», как она представлялась гражданам партийного государства: в 1936 г., в момент торжественного провозглашения, эта свобода конкретно означала уничтожение религии. Через несколько лет она уже не препятствовала ее восстановлению. За одним языком, одним значением прячутся два смысла: один – подразумеваемый, другой – декларируемый.

Когда идеология подписывается под Декларацией Прав Человека, когда она записывает эти права в конституциях, то она при этом исходит из определенного знания, каким должен быть тот человек, который всеми этими правами будет пользоваться. Когда идеология провозглашает свободу слова, она даже не лукавит, ибо знает заранее содержание *того слова*, коему эта свобода предоставлена. Ибо содержание уже заключено в ней самой. Тот человек, которому дарованы все права, родился из ее головы.

Этот механизм можно перенести и в историю: партия *всегда* строит социализм или коммунизм, т. е. идеология развертывает или артикулирует себя в реальности. Но ее «артикуляции», неизменные по своей значимости, могут обладать разными акцентами. Акценты могут смешаться.

Экономические и политические резоны не всегда совпадают или сопутствуют друг другу, и экономический нэп может обернуться политическим военным коммунизмом. Всякое ужесточение может быть чревато либерализацией, и наоборот. «Свобода совести» никогда не усыпляла борьбы с религиозными предрассудками. При «построении коммунистического общества» никогда не забывается необходимость чистки.

Д. Медвецкий: В «Кратком трактате», как я понимаю, формулируются два связанных тезиса: 1) на протяжении всего эмпирического существования «советской власти» идеологический режим *остается тем же самым*; 2) идеологический режим осуществляет свою власть над реальностью в двух последовательно сменяющих друг друга модальностях – в модальности временного и ограниченного *примирения* с реальностью («нэп») ради накопления сил для будущего наступления.

Можно возражать против второго тезиса, как это делают мои собеседники: стоит ли говорить о втором нэпе применительно к тому относительно кратковременному и узкому послаблению, какое было сделано во время войны? Но даже, если этого нэпа не было, а был сплошной «военный коммунизм» с 1929 г. до 1956 г., даже в этом случае сам принцип чередования двух форм отношений режима с обществом остается незатронутым.

Интереснее поставить вопрос: в каком смысле идеологический режим остается сегодня тем же самым, что в 1917 г., а в каком смысле – нет? Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы называем *идеологическим режимом*. Я предлагаю рассматривать идеологический режим как многоэтажное строение – по меньшей мере, трехъярусное. Есть уровень, который я бы назвал *подвалом* режима. Это – иррационально-бессловесное его содержание, потаенное состояние его ума и души. Он труден для анализа, поскольку он не поддается наблюдению; но он важен с точки зрения эволюции режима; в подвале сознания режим более, чем где-либо еще, испытывает влияния реальности независимо от того, хочет он того или нет. Здесь темно, а в темноте все люди, даже властители-идеологи, беззащитны.

Затем следует *первый ярус* идеологического режима. Здесь, конечно, посветлее, здесь режим осуществляет непосредственную власть над реальностью, свою «политику». Кажется, именно на этом уровне выводит Безансон две модальности поведения режима в отношении общества.

Наконец, есть второй ярус режима. Здесь режим существует как учение о мире или мировоззрение. Это самый неизменный уровень режима. Нынче это – хранилище словесных форм идеологии, пополняемое время от времени такими второстепенными понятиями, как НТР, экология...

Концепцию этих трех ярусов и взаимоотношений между ними можно продолжить. Но, надеюсь, и в такой приближенной форме она может принести пользу.

Если режим определять таким образом, есть ли основания считать, что с 1917 года и по сей день он остается неизменным? На первый взгляд кажется, что второй ярус режима, этаж мировоззрения, сегодня тот же самый, что в 1956 или в 1918 годах. Из этого, вероятно, и исходит Безансон, утверждая неизменность советского режима. Формально говоря, он прав: теоретическое хранилище идеологического режима имеет тот же состав идей – ленинизм, строительство коммунизма и пр. Но по опыту, а отчасти интуитивно мы догадываемся, что каким-то радикальным образом изменились за шестьдесят лет *взаимоотношения между всеми тремя уровнями. Внутри* самого режима перераспределяется и относительное их значение: грубо говоря, на второй ярус ходят все реже, а в подвал – все чаще. И что, собственно, могло измениться за шестьдесят утекших лет в самом подвале? Там прошла не одна волна невидимых миру изменений. Каких именно? На каком языке их можно описать?

С. Александров: Имея в виду две «модели» Безансона, мы ощущаем одновременно определенную заманчивость и продуктивность его идеи, но также и известную смутность ее. Смутность иллюстрируется уже приведенными примерами. Заманчивость я вижу в том, что в концепции двух «моделей» есть зерно истины. На мой взгляд, «нэп» и «военный коммунизм» обозначают не два режима работы одной машины, но пределы, в которых данный механизм способен развиваться.

Первое, что бросается в глаза при таком подходе: дистанция между первым военным коммунизмом и первым нэпом была куда серьезней, нежели в случаях остальных повторов, отмеченных Безансоном. Иными словами, пределы оперативного простора внутри страны для руководства суживаются постоянно – покамест. Ни той степени экономической свободы, которую узнала страна при первом нэпе, ни того террора, который она узнала при втором военном коммунизме, больше уже не было. Таким образом обозначились исторически максимальные колебания маятника для советского режима.

При этом за рамками нашего рассуждения остается очень важный вопрос: а до каких пор возможно при сужающей-

ся амплитуде маятника сохранять существующий порядок вещей?

Общая позиция наблюдателей с Запада (да и внутри страны) еще в первые послереволюционные годы заключалась в том, что «такое» должно очень скоро лопнуть. Постепенно все устали от неисполнимости подобных прогнозов и молчаливо решили, что «это» возможно и будет существовать неопределенно долго.

Ошибка прогнозов в первые годы режима объяснялась рядом обстоятельств; среди них самое важное — незнание колоссальных резервов России (т. е. возможностей экстенсивного развития). Также и режим интуитивно, наощупь, выяснял размеры своих ресурсов и пришел к выводу, что его ресурсы безграничны.

Между тем, они конечны. И их беспощадная эксплуатация по всем направлениям приносит нынче свои плоды. С некоторой осторожностью можно предсказать, что истощение ресурсов в ближайшее время станет очевидным. Например, ресурсы сельского хозяйства, несмотря на значительные бюджетные вливания последних лет, уже доказали свою конечность и истощенность. В какой-то степени можно говорить об истощении целого ряда подземных ископаемых. Кризис рабочей силы отчетливо ощущим уже сейчас.

Однако наиболее серьезный кризис ресурсов заметен в духовной области. И здесь для режима кроется постоянная проблема. Нехватка людей ощущалась всегда. Духовная апатия (наряду с катастрофическим падением рождаемости в центральных районах страны, опаснейшими потерями в генофонде, неизменно возрастающим цинизмом каждого нового поколения) угрожает режиму всерьез. Чтобы обойти проблему, режим прибегал к паллиативам: реабилитация людей в середине пятидесятых годов и робкое разоблачение преступлений режима под вывеской «культы личности» должны были пробудить население от апатии. Всякий раз, когда становится очевидной обманчивость «либерализации», режим ощущает возрастающую вновь апатию людей. В свою очередь, всеобщий цинизм (а вместе с ним коррупция, разложение во всех формах) вызывает у режима автоматическую реакцию ужесточения.

Нынешний этап такого ужесточения мы ощущаем сами. Все громче слышны плохо замаскированные призывы к тер-

рору («при Сталине был порядок»), предложения ужесточить законодательство и репрессивный аппарат режима. В обстановке нынешнего истощения ресурсов и апатии населения, окрашивающей все в один цвет, хозяева страны, весьма вероятно, приходят к выводу, что у них нет иного средства решения проблем, кроме террора. Тогда нас ждет своеобразное повторение массовых репрессий «с русским размахом и американской деловитостью».

* *
*

Д. Нелидов: Уже в заголовке самой книги Безансона слышны отголоски старой полемики, соотношение прошлого и настоящего, русского и советского составляет предмет ядовитого спора и безысходного противостояния в границах того явления, которое может считаться вольной общественной мыслью.

Те, кого называют русскими «диссидентами», давно уж не образуют тесно сомкнутую могучую кучку «поборников прав человека». Ибо они разделены противоположными решениями традиционно русского вопроса: «кто виноват?» Чья это вина? С большим упрощением все ответы на эти вопросы можно разделить по двум группам: разрыв и преемственность. Начнем со второй точки зрения, она проще, логичней и связней аргументирована.

Суть ее в том, что нынешний режим есть унылая модификация деспотического русского прошлого, время от времени всплывающего со дна русской истории. Истоки нынешнего коммунизма – прежде всего русские, так утверждают Николай Бердяев, Тибор Самуэли и Ричард Пайпс. В перспективе более умеренной (и более распространенной) судьба русской истории – испытывать конвульсии сменяющих друг друга автократий; однако в промежутках между ними могут встречаться и островки свободы, достоинства, того, что на Западе именуется «просвещенным абсолютизмом», всегда чреватый постепенным расширением просвещения до демократии, но неизменно сменяемым очередным деспотизмом.

С точки зрения противников этой установки, умеренность ее не служит смягчающим обстоятельством, ибо всякое сопо-

ставление нынешнего режима с русским прошлым для них оскорбительно, это плевок на могилу России.

Между тем сопоставления эти сами по себе соблазнительны; они так легко, одно за другим, нанизываются на нитку этой концепции. Здесь и вопли русской литературы (чего стоят только Герцен или Салтыков-Щедрин, коего и в официальной-то литературе избегают цитировать!), а тут и множество забавных и печальных фактов, ворох документов, ряд прозрений и чаадаевских приговоров, кладезь анекдотов и курьезов и целая копилка из донесений заезжих иностранцев. Слов нет, некоторые заводили из «партии преемственности» любят покрутить этой ниткой перед носом своих противников, приводя их в ярость и гипнотизируя при этом самих себя.

Однако международные метастазы идеологии, дурная повторяемость советского опыта представляется им либо отроостками русской опухоли, либо вовсе выпадает из их поля зрения.

Именно с этой стороны начинают свою аргументацию поборники разрыва, хотя они почти никогда не устаивают своих противников джентльменского спора. Коммунизм для них – прежде всего международное чудовище, он интернационален и вненационален. Более того: он органически враждебен *всякой* национальной жизни, нет и не может быть никакой связи между ее государственными формами, между верой народа в своего государя, подчинением всех государству (у каждой страны свои традиции!) и тем сатанинским насилием, которое развязала революция. Кто смеет судить за преступление потерпевшего? Не недогляд, а кощунственный злоумысел – дела международного террора сваливать на растоптанную Россию. Нынешний режим вышел целиком из черного зева идеологии социализма...

Партия разрыва стоит на том, что русский народ в целом – или только избранная часть народа – не принял социализма, как избранный остаток Израиля не принимал идолов, что режим иноприроден сути народа, его идее, его сотворенной Богом личности. Партия же преемственности настаивает как раз на *соприродности* их, и отсюда – весь яд и вся желчь спора. (И потому «Зияющие высоты», изображающие общество подонков, механически зачисляются партией разрыва в литературу преемственности, хотя Зиновьев ни слова не говорит ни о каком русском прошлом.) Неприятие режима *душой* народа

– основной член в символе веры поборников разрыва. На их знамени написано: сопротивление продолжается! Но – увы! – кадры сопротивления по большей части поставляют либо патриоты других народов, либо как раз несогласная сторона. Вот два края одной раны, которая заменяет у нас общественное сознание.

Разумеется, не Безансону издалека вылечить ее, но он предлагает решение, которое, во-первых, основано на усвоении и осмыслении аргументов обеих сторон; во-вторых, обеими могло бы быть принято, так сказать, без ущерба без себя. Позиции очерчены здесь весьма приблизительно, без нюансов, но каждая требует от другой, в общем-то, интеллектуальной или моральной капитуляции.

Преимственность вызывает к очевидности и статистике. Разрыв угрожает нравственными карами за холодное сердце и нечувствие народной души. Мне кажется, Безансон готов сказать: правы обе стороны.

Суть спора можно выразить в одном слове, даже в одном слоге: то зло, которое у нас перед глазами, *народно* или *иноприродно*? Спор заиклен на слове «народ» и потому замкнут. И если бы однажды «доводы от ума» сумели превозмочь «доводы сердца», то метод Безансона мог бы если не разрешить, то разомкнуть этот спор. Ибо со слова «народ» (символа, социальной группы или объекта веры) он переносит центр тяжести на слово «идеология». Перефразируя Джорджа Кеннана, он ставит вопрос: «Как могло случиться, что книга, ложная для 1839 г. («Россия в 1839 г.» маркиза де Кюстина), оказалась истинной для 1939 г.?» В «Кратком трактате» он задается тем же вопросом, исходя из Маркса и Мишле. Вопрос столь же западнический, сколь и славянофильский. Ибо, с одной стороны, Безансон слышит западнические обличения и признает их *правоту*. С другой стороны, понимание сути нынешнего режима и эрудиция историка заставляет его признать и *неполноту* этой правоты. Книга Кюстина – еще не вся реальность, но скорее пророческий кошмар. Русская история, вопреки Марксу, обнаруживает способность быть фарсом сначала и трагедией потом (Безансон).

Настоящее вышло из головы утопии, но при соприкосновении ее с исторической плотью России воспроизвело некоторые уродливые, отчасти разложившиеся, отчасти мумифицированные черты прошлого. Всякое прошлое, добавим, сохра-

няет в себе свойства, которые могут всплыть при коммунизме. Однако это не означает, что коммунизм китайский – красный только снаружи и желтый – внутри. Это иллюзия, происходящая от того, что ныне идеология обходится без «веры». Однако, не нуждаясь в «переживаниях», она не может обойтись без языка. Это языковое одеяние ее – не условная тряпка, скрывающая под собой какое-то хилое тело, она – все. За ней нет никакого тела. Точнее, она сама есть тело *мертвой речи*». Мертвые души, которые бродили по русской истории, никогда не обладали такой телесностью, такой реальностью и такой властью. Злые духи, выползавшие из темных углов церкви в гоголевском «Вие», исчезали при первом свете дня. Но духи, вошедшие в бесплотное тело идеологии, могут не бояться утра. Они остановили время ночью.

С. Александров: Пусть идеология – такая волшебная отмычка, которая автоматически превращает вскрытие любого сейфа в филантропическое мероприятие. Все равно – описывать такую филантропию партии приходится особым языком: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Откуда взялись «честь» и «совесть»? Это слова не коммунистического языка, внимательное ухо сразу же регистрирует здесь стилистический разноречивый. За стилем кроются более серьезные вещи.

Я собираюсь говорить об этом подробнее позже, а сейчас сформулирую это покороче: идеология компенсирует анемию положительного собственного содержания активной эксплуатацией чужих идей, предварительно их выхолостив. Безансон называет этот процесс псевдоморфозом, но берет его уже – лишь в рамках соотношения русского прошлого с советским настоящим. Естественно, в первую очередь и в наибольшей степени советский режим усваивал идеи и формы национального прошлого. Для вождей и идеологов эти «ветхие» элементы мертвы, но они прекрасно сознают, что для партийной и особенно беспартийной массы эти формы и идеи – живы. Живо, например, чувство имперского величия, и именно оно мотивирует безусловную поддержку, которую широкие массы населения оказывают – покамест – всем военным авантюрам режима вне страны. Аналогичным образом польский военный режим, стремясь предотвратить открытое столкновение с собственным народом, пытается нажимать педаль польского патриотизма и единства.

Д. Нелидов: К старой нашей контрверзе Безансон предлагает подойти с тем оружием, которое составляет, вероятно, главное его открытие. Он исходит из одного допущения, столь же смелого, сколь и очевидного, столь же спекулятивно безумного, сколь и банального. Опираясь на эту точку, он, с помощью логики, проницательности и добротной эрудиции, переворачивает мир привычных представлений.

Эту точку опоры он называет «приматом идеологии». Стоит поставить наш мир с ног на голову, и мы испытываем своего рода радость узнавания: да, так оно и есть – не социализм с извращениями или без них, не азиатский способ производства, не жестокости первоначального накопления, не маска вечной Руси, не «праздник советской демократии» составляют суть нашего мира, но рассчитанный на бесконечность идеологический спектакль, который должен по-своему изображать (и по мере сил заменять собою) реальность.

Все участники этого спектакля обязуются играть всерьез, иначе под ними откроется люк и они полетят в трюм или машинное отделение. Основа нашей системы изнутри – некая принудительность для всех ее подданных подтверждать словами, жестами и поступками то и только то, что идеология провозглашает реальностью (разумеется, такое подтверждение может быть и чисто пассивным).

Вот почему не подходит советская система ни под одно из классических определений: это не деспотия, не монархия, не олигархия, не демократия, не тоталитаризм, – но – идеологический режим, который может себя обнаруживать в каждой из этих форм и во всех вместе одновременно. Итак, идеология – не как «ответ, но принцип исследования» (Р. Арон), как определенный ключ к пониманию того, что Безансон называет идеологическим режимом.

С. Александров: Я думаю, начинать следует с описания внутреннего облика идеологии в период ее тотального господства. Безансон удачно отмечает «полноту» идеологии в популярных учебниках 20-х – 60-х годов (в «Истоках ленинизма»). Отсюда дополнительно вытекает еще одно: конечность идеологии в плане содержания, завершенность ее основного костя-

ка. Мысль – открыть, скажем, еще один марксистский закон или категорию – не приходит в голову самим идеологам данного режима. Ибо добавление даже малейшей малости к мавзолею ленинизма превращается в ересь. Идеология сама постулировала собственную завершенность и неделимость.

Парадокс в положении советской идеологии заключается в том, что, поскольку все определено (законы, категории, жестко заданное направление развития и т. д.), для идеологов нет работы: им нечего открывать. Сознывая внутренне такое положение, идеология симулирует деятельность: она активно ассимилирует чужие идеи, пытается давать «марксистское» объяснение новым факторам реальности. Если лишить ее этой пищи, официальная идеология останется на голодном пайке.

Д. Нелидов: Почему и вправду марксистская философия (верхний этаж идеологии) не открывает новых законов? Энгельс писал – и это стало как бы догмой, которой приносятся ритуальные почести: для диалектической (т. е. марксистской) философии нет ничего, раз навсегда застывшего, неподвижного. С другой стороны, диалектическая философия уже *познала* свою диалектику, и это знание само обратилось в диалектику. Она знает, что она знает, что она знает. Она живет в замкнутом мире своих отражений. Она есть абсолютное знание, созерцающее самого себя. Но – в отличие от Гегеля – именно этого-то она и не знает, полагая, будто созерцает мир и его объективные материалистические и диалектические законы. Здесь она (говорю не о людях, но о философии в целом) сознательно себя обманывает.

Она не знает мира. Она переделывает его, не видя. Чеслав Милош первым, кажется, сформулировал этот закон, исходя из своего недолгого послевоенного польского опыта: «Я формулирую идею и силой создаю условия для ее претворения». Это правило универсально. Если материя изменяет идею, идея ее устраняет. Если весь польский рабочий класс вступает в «Солидарность», «Солидарность» все равно будет заговором против польского рабочего класса. Идеологический режим поставил Гегеля опять на большую голову: Абсолютный Дух познаёт самого себя, посредством мира и насилюемой сознанием материи.

С. Александров: И все же классический марксистский анализ (даже в том виде, в каком мы находим его у Ленина или Грамши) уже невозможен для описания таких явлений, как, скажем, венгерское восстание в 1956 году, «пражская весна» или феномен «Солидарности» в Польше. Вместо анализа социальных и экономических причин каждого из этих явлений, идеология предлагает мифологические мотивировки собственных действий, вроде жидо-масонского заговора или интриг мирового империализма.

Д. Нелидов: С тем, что «классический марксистский анализ» оказывается непригоден для описания современных событий, я не могу согласиться. Ленинизм годен для описания всей вселенной и всякого времени. Любая реальность – от вавилонских религий до теории относительности, от психологической до космической – подлежат «творческому осмыслению», т. е. препарируются в марксизме-ленинизме. Более того, понятия, которые при этом пойдут в дело, будут заимствованы из старого надежного арсенала.

Если, к примеру, восстание 1956 года, «пражскую весну», отчасти «Солидарность» считать заговором, то, по Безансону, это означает ведение классовой борьбы с буржуазных территорий на территории социалистической. Кадры заговорщиков – неустойчивые элементы, соблазненные пропагандой извне, моральные отбросы общества и т. п. До наступления коммунизма, т. е. гармонии сознательности и благоденствия, социалистическое общество еще не избавилось от этой прослойки. Но социальная база ее уничтожена. Прослойка обречена на вымирание, на догнивание на «свалке истории».

Добавим к этому еще каплю либерального марксизма: возникновение недовольных, рекрутируемых буржуазной идеологией извне. Вызывается объективными противоречиями в период строительства социализма. Есть отдельные недостатки. Они преодолеваются. Партия не боится сказать о них открыто и во всеуслышание. Но мы никому не позволим использовать эти недостатки для подрыва социализма. Революция умеет себя защищать.

С. Александров: Коренное отличие марксистского анализа (в его классических формах) от нынешних опытов идеологов у власти заключается в том, что тогда заговоры объясняли

через расстановку классовых сил и экономические факторы, а теперь классовую борьбу объясняют через заговоры. Кроме того, допуская классическое описание событий как производное от классовой и экономической ситуации, партия имплицитно признает собственное не-всемогушество, свои ошибки, просчеты, даже заблуждения на предшествующем этапе (а в СССР идеологи знают, «чье сало кошка съела», и потому не торопятся с марксистским анализом).

Ради компенсации, идеологи вынуждены демонизировать собственного противника; тем самым в идеологию вносятся еще больше иррациональных моментов. Именно поэтому внутри СССР пропаганда, вместо анализа польского сопротивления, заводит разговор о том, что «при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков погибло» столько-то тысяч русских солдат. Это внятней и апеллирует не к марксистским урокам школы или вуза, но совсем к иным сторонам сознания.

Когда данная идеология демонизирует своих противников, то ее язык представляет собой не что иное, как вывернутое наизнанку ее самоописание. Безансон специально анализирует расслоение образа истории на суб- и мета-историю в советской идеологической практике. Сейчас мы имеем в виду суб-историю.

Так вот: в этом языке можно разглядеть мысль системы о самой себе. Все, что в языке связано с суб-историей (коварные замыслы, чудовищные интриги, беспощадные заговоры и т. д.), соответствует деструктивному ядру самой идеологии, ее разрушительным действиям. Язык же мета-истории (и свободное развитие каждого в качестве условия для свободного развития всех) коренится в утопии, которая, в свою очередь, составляет субститут конструктивного содержания в данной идеологии.

Разграничение этих двух уровней позволяет нам понять ряд существенных сторон в мышлении системы и в ее действиях. Даже самый поверхностный анализ покажет, что мета-история, обращенная в будущее, сводится попросту к пустым обещаниям. За ними ничего нет. Не составит труда вообразить, какие возражения вызовет эта точка зрения: а как же освоение космоса, развитие могучей военной промышленности, колоссальные проекты и гигантские стройки?

В таком возращении смешаны два аспекта системы и ее идеологии – разрушительный и созидательный. В определенных моменты система добивалась и добивается серьезных успехов (идеология тут же выдает это за собственное достижение), но эти успехи – в решении деструктивных задач или в решении задач, искусственно и ненадолго приравненных к созидательным (к примеру, можно путем нечеловеческих усилий выстроить тракторный завод, но это возможно потому, что данный завод должен производить не только тракторы).

Своеобразную импотенцию данной системы в решении конструктивных задач ощущает не только независимый наблюдатель, но и «ведущие умы» советской системы, ее идеологи. Отсюда их предпочтение непременно приглашать «варягов» для решения любой задачи, не связанной с разрушением.

Импотенция в решении созидательных задач продиктована отсутствием позитивного содержания в идеологии: поскольку последняя отказывается видеть какие бы то ни было противоречия внутри себя или перед собой, то ее перспектива заключается не в выборе возможных путей, а в том, чтобы «объять необъятное». Идеология в этой части абсолютно аморфна: ничто не мешает ей включить в себя заведомые нелепости – вроде обещания (20 лет назад) нынешнему поколению советских людей, что оно будет жить при «полном изме».

Захватив власть, идеология отличается циничным и инструментальным подходом к любым идеям. Чужие идеи беззастенчиво эксплуатируются нынешними вождями режима; причем из каждой идеи стараются извлечь ее мифологическое ядро и развить этот именно элемент до безумия. Пример Ленина у них перед глазами.

В самом деле, он в подходящий момент «занял» для своей партии земельную программу эсеров (которую прежде оспаривал с пеной у рта). Это случилось накануне октябрьского переворота. И если в исходном виде эта программа перераспределения еще носила какие-то разумные черты, то в руках большевиков она мгновенно превратилась в удивительно доходчивый лозунг: грабь награбленное! В ней осталось только разрушительное содержание, связанное с мифологией равенства и ненавистью.

Советская идеология занята как раз высвобождением и экзальтацией подобных эмоций – так она осуществляет

«углубление революции». Поджигая детонатор ненависти, идеология тут же оправдывает этот взрыв «всеобщим благом» революции, историческими закономерностями и т. д. Аналогичным образом нынче осуществляется эксплуатация в разрушительных целях любых национализмов: французского против единства западных стран, арабского против Израиля и США...

Д. Нелидов: Я хотел бы сделать замечание о соотношении рационального и иррационального в идеологии. Мне кажется, рациональное – это формулируемое, а иррациональное – это подразумеваемое. Подразумеваемое никогда не допускается до полной артикуляции, до тезиса. «Разрушительное содержание» взрывается тем успешней, чем лучше оно прикрито отвлекающей идеологической оболочкой.

Эту оболочку никак нельзя принимать за условность; на этом настаивает Безансон, и я с ним совершенно согласен. Идеология – это «сардинница ужасного содержания» (Андрей Белый), на которой нарисованы аппетитные сардинки. Я воспользуюсь примером Солженицына: арестованных перевозят в воронках, с внешней стороны которых написано: «Пейте советское шампанское!» или просто «Мясо». Корреспондент французской газеты с полным правом может доложить своим читателям: «Столица отлично снабжается».

Вернемся, однако, к тезису о примате идеологии у Безансона. Сравним его идеи с собственным опытом; здесь у нас печальное преимущество – мы можем подтвердить его правоту. Наш опыт поразительно им угадан и отчасти сконструирован. Из всякой конструкции можно вычислить первоначальную вспышку интуиции, внутреннего видения.

Так, открытие Зиновьева, уложившееся уже в доброе собрание сочинений, можно, разумеется, утрируя, свести едва ли не к одной фразе, которая болтается на всех углях: народ и партия едины! Стоит взглянуть на нее не идеологическим, а отстраненным взглядом – как бы с другой стороны лозунга, – и откроется целая пропасть «Зияющих высот».

Здесь есть какое-то подобие с открытием Безансона, который в определенном смысле согласен быть наивным и верить идеологии. Парадоксальным образом он отказывается перейти в иной план речи. Он не совершает перехода от идеологии к тому, что она означает, на что указывает, во что вну-

шает веру и т. д. Все обозначаемое в идеологии: борьба социализма и империализма, законы исторического развития, доблестный труд, светлое будущее – все это фантом. Все согласны: конечно, фантом. Однако именно этот фантом отнюдь не условность (тема западников), не искажение светлого источника (тема левых), не маска (тема правых), не подлинное выражение человеконенавистнического социализма (тема славянофилов), – этот фантом, о котором Безансон почти ничего не говорит, есть замена реальности.

Суть режима в том, что языковая магия, имеющая вид идей, притворяющаяся мировоззрением, выдает себя за реальность. Она подминает под себя всякую жизнь, до которой может дотянуться; она гипнотизирует ее.

Что же происходит с жизнью? Если ей удастся избежать гипноза, она забивается во всякие углы, вроде наших, и питается там горькими размышлениями (что позволено в вегетарианские времена). Или же целыми пластами проваливается в ГУЛАг, что случается, когда система питается не только словесным жмыхом, но «живым мясом». Во всех случаях идеология торжествует.

«Марксист, – говорит Безансон, – сбит с толку больше, чем кто-либо другой. Он ищет социальную базу идеологической структуры в тот момент, когда власть пытается преобразовать общество в эпифеномен доктрины. Режим поступает как абсолютный идеалист. Он подчиняет онтологическое – логическому. Но, по примеру Дон Кихота, он принимает мысленное наваждение за реальность и считает себя материалистом».

Определение это, по-моему, неоспоримо. Единственное, что мне кажется в нем расплывчатым и даже несколько чатым, это само наименование такой системы: идеологический режим.

Речь идет о власти марксистских идей, со всей беспощадностью и безапелляционностью навязывающих себя обществу, природе, истории, культуре, искусству, сельскому хозяйству, внешней политике и т. д. Почему же не сказать прямее и короче: идеократия?

Идеократия ведь и есть такая власть идей, когда они – при всем сохранении декорума – перестают быть идеями; когда идеология в точном смысле слова – уже не идеология, но код поведения и общения. Общения как с понимающими этот

язык, так и с непонимающими. (Международное сообщество, как мы видим, принимая его, научается быстро и понимать.)

Идеи как бы и остаются, но лишь внешне, в словесных клише; под их шелухой нет полновесных плодов, которые наливались бы эмоциональными и интеллектуальными соками. Человеческая душа в плену идеологии теряет способность дать жизнь тому мировоззрению, коим она сверху как бы прикрита.

Собственно это я и имел в виду, когда говорил об отваливающейся идеологии. Идеократия есть самая безыдейная власть. Однако это отнюдь не власть одного лишь ритуального слова, не логократия, как предложил называть ее Чеслав Милош в великолепной книге «Порабощенный разум». Ассоциация с логосом (любым) здесь только мешает. Все дело не в одном слове, но в стиле, стиле человека. А стиль здесь определяется идеей. Идеократия вообще – это мир «как если бы», als ob.

Все это мы найдем в той цитате, с которой я начал. Посмотрим внимательней: здесь два действующих лица – марксист и власть. Марксист верит (почему бы и нет?), т. е. ищет, подводит основу и т. д. Власть же лепит из реальности то, что считает нужным. Но это не просто отвлеченный марксист и не голая тоталитарная власть. Это – одно и то же лицо, которое обозначается в следующей фразе: режим поступает как абсолютный идеалист. Марксист, подчиняя реальность своей «вере» (скажем, захват государственной власти на основе собственного представления о борьбе классов), действует с завязанными глазами и развязанными руками. Он *обязуется* не врать, что творит.

Именно это я понимаю под идеократией: господство такого *знания*, которое становится призрачным, как только получает власть над реальностью; последняя же должна питать его собой и приносить этому знанию гекатомбы.

С. Александров: По-моему, вопрос уже перенесен в плоскость антропологии и речь идет о перспективе, которая во многом определяет положение человека перед лицом идеологии. Конкретная интересующая нас идеология возникает в тот момент истории, когда христианский мир стоял перед серьезным кризисом. Богочеловека вытеснял человекобог (если описывать положение в терминах Достоевского). В резуль-

тате, изменилась основная жизненная перспектива. В треугольнике «Бог – человек – мир» исчезла та верхняя точка, которая и создавала прежде нормальную перспективу. Человек остался с миром один на один («хозяин природы»).

В этом противостоянии у него под рукой были два орудия: наука (как понимали ее в позитивистском XIX столетии) и идеология, заявлявшая о своем кровном родстве с наукой. В новом треугольном образовании «человек – наука/идеология – мир» человек, по крайней мере теоретически, сохранял за собой господствующее положение. Но то было лишь начало процесса; кульминацию мы наблюдаем сейчас. Из орудия наравне с наукой (наукоподобного) идеология, благодаря своей претензии на универсальность, превратилась в нечто иное: она оттеснила науку на второе место, а затем заняла господствующее положение в треугольнике. Во всяком случае – на уровне практики.

Если внутренняя логика науки диктует ей постоянно ограничивать известное от неизвестного (уточнение понятий, инструментария, результатов), то идеология – напротив – утверждает свое всеисилие и всезнание («учение Маркса все-сильно, потому что оно верно»). Так осуществляется поглощение науки, превращение ее в служанку идеологии.

Будучи вначале *одним из инструментов* человека, идеология представляется как объект, подчиненный человеку, родственный иным объектам (науке, иным идеологиям), только чуть-чуть лучше. Именно в этом качестве человеку и предлагается ее изучать. Но такое положение характерно для самого начала процесса, а позднее как раз изучение данной идеологии как *объекта* карается самым жестоким образом. Стоит заговорить об идеологии не в ее терминах, как последняя тут же переносит спор в иную плоскость (если враг не сдается, его уничтожают).

Традиция такого отношения идеологии к попыткам «поставить ее на место» восходит, несомненно, к Ленину (см. подробное описание вопроса в книге В. Валентинова). Идеология не желает занимать место в ряду объектов, она силится представить себя неким «сверхобъектом» или даже «субъектом» мирового процесса.

Здесь следует отметить, что данный вопрос имеет два аспекта. Во-первых, идеология старательно дистанцируется от науки за счет наполнения иррациональными элементами.

Во-вторых, она поглощает человека, стремясь занять то место в треугольнике, которое прежде занимал Бог.

При всем том, идеология не в силах, очевидно, отменить первоначальный тезис о своем родстве с наукой и о человеке как «мере всех вещей». Иначе исчезает ее историческое оправдание, а также возникает вопрос: если не человек – мера всех вещей, то Кто же? Вопрос для идеологии едва ли не смертельный.

Тут-то и реализуется серьезное логическое противоречие: человеку предлагается занимать одновременно две позиции – внешнюю по отношению к идеологии (он же мера всех вещей и всех объектов) и внутреннюю, когда он поглощен идеологией и низводится до положения нуля рядом с ее «божественным» всесилием и смыслом.

Я думаю, это противоречие крайне важно, потому что в результате человеку остается либо бунт против логической бессмыслицы (и часто именно в этом причина индивидуального восстания личности против идеологии), либо он должен принять логическое противоречие и немыслимую для себя раздвоенную позицию как данность. Принять можно в качестве «циника», т. е. маскируя свое осознание бессмыслицы, или в качестве «наивного», т. е. ослепив себя до такой степени, что противоречие незаметно.

Д. Нелидов: Мне кажется, что проблема «меры всех вещей» нашла гениальное решение в идеологии. Правда, решение, в какой-то мере заимствованное у Платона. Вспомним тезис Протагора: «Человек есть мера всех вещей, существующих, коль скоро они существуют, и несуществующих, коль скоро они не существуют». Мы знаем, что «коль скоро вещи существуют», то существуют они не где-либо, а в идеологии. Здесь они существуют царственно, идеально, либо вообще не существуют и тогда выбывают вовсе из инвентаря вещей существующих. И человек, который мерит собой их существование, есть тот же ирреальный идеологический человек, который получает жизнь от существования идеологических вещей, а затем сам, в свою очередь, наделяет их правом на существование. Дружба народов существует в силу интернационализма советского человека, а интернационализм советского человека существует потому, что в «программу» советского человека записана «дружба народов».

Вы спросите: а как же человек реальный, хомо сапиенс, коль скоро он существует?

Он существует, но как вещь, которая мерится Человеком с большой буквы. Он есть та проблематичная реальность, право на существование или не-существование которой все-цело зависит уже от человека.

Вообразим себя эстонцами сорокового года: одним прекрасным июньским утром мы либо просыпаемся советскими патриотами, либо нас увозят в воронке. Впрочем, зачем воображать себя эстонцами? Едва родившись, мы уже как бы вписаны в матрицы идеологии: наши убеждения (убеждения Человека с большой буквы) известны заранее, как известно, какая партия победит на выборах 2000 года. Мы – вещь, глина, материал, из которого идеология создает именно такого человека, который ей нужен. Более того, идеология творит душу человека в момент его зачатия, ибо не допускает и мысли, что на свет Божий может выйти кто-то иной, кроме советского человека.

А промахи? Что ж, бывает, в семье не без урода. «Уродами» могут быть все; семья все равно останется цветущей.

Логического противоречия нет, ибо человек, коль скоро он человек (т. е. лицо, подающее вовремя нужные реплики в большом спектакле), не может быть вне идеологии. Он и его роль – одно. Если по ходу действия у него возникают еще какие-то мысли, то публика (другие человеко-роли) их не слышит.

Да и зачем ему выступать вовне? Идеологически он собирает замечательные урожаи, сторожит государство, заботится о повышении идейного уровня литературной критики... Вне же этой роли все эти вдохновляющие дела и заботы тотчас отнимутся у него вместе с общественным положением, зарплатой и прочими благами.

В связи с этим представляет интерес проблема отождествления человека с идеологическим человеком, т. е. проблема «наивности» и «цинизма». Я, по-видимому, принадлежу к тем, кто, постоянно слыша о цинизме и сталкиваясь с ним, все меньше верит в реальную его силу. Сама эта дихотомия «наивность – цинизм» должна быть подвергнута сомнению. Может быть, наивны именно мы: наивны тем, что, не участвуя в идеологическом спектакле, втихомолку подаем собственные реплики?

Ведь идеология не отменила свободу слова, но она зачеркнула право на неконтролируемую речь. Все, что должно быть сказано, – говорится. Все, о чем не говорится, – того попросту нет. (Тирания сказала бы: о том следует молчать.)

Пользуясь безграничной властью над звуками, идеология все же не может – вероятно, в силу «временных трудностей» – докопаться до содержания моего черепа. Мои мысли, моя душа – могут быть «циничны». Я могу сделать свою жену, как и мебель на кухне, молчаливыми свидетелями моего «цинизма». Что из этого?

Я облакаю свой цинизм в тот кухонный, житейский, уличный, повседневный язык, на котором никогда не говорит идеология. По первому же сигналу я «войду в роль» и заговорю на «их» языке. Не «кухонное» просторечие смеется над партийными собраниями, а партийные собрания торжествуют над призрачной реальностью застольных анекдотов и дешевеньких усмешек. Год за годом, десятилетие за десятилетием утверждают эти собрания свою триумфальную правоту.

К роли привыкают, она проста. «Наивность» и «цинизм» – не два отношения, но скорее два языка, официальный и кулуарный, партийный и кухонный. И каждый из них владеет сознанием, создает свой тип сознания – деревянноязычный и житейский. Мы, люди, слабые создания, уступаем деревянноязычию свою душу, коль скоро нам нечего противопоставить ему.

Цинизм способен выполнять роль оператора, подставляющего в нужный момент то один смысл, то другой. Его нет на сцене, где звучит только качественная, отутюженная речь. Всякий профессионал идеологии (политик, партактивист, следователь, писатель, журналист и т. д.) – «циник», именно потому что он умеет управлять своей идеологической «наивностью», пользоваться ею для своих целей, пускать в ход в нужном месте, с нужными акцентами. Его «цинизм» обслуживает его «наивность» – и только.

В рамках этой «наивности» или этого идеологического языка его носитель обладает своего рода моральной легитимностью или правотой. Он отлично защищен от любых обвинений в безнравственности. Когда судили Берию, эту выставку пороков, у него, как говорят, был один аргумент в свою защиту: он-де, «преданный партии». Считайте меня простаком, но я верю ему; это не была соломинка для спасения, но, если

хотите, кредо. Как и всякий исполнитель Большой Идеологической Роли, он пестовал свою «наивность», верил в нее и, может быть, гордился ею. Он не хотел умирать ни злодеем, ни циником. Он хотел доиграть роль до конца.

И если на сцене говорят о честности и чистоте, а за кулисами путаются с актрисами и крадут стройматериалы для дачи, то зачем нам сомневаться в искренности актеров? Одно ничуть не уничтожает другого, ибо в одном слове могут быть два смысла и два этажа в одной душе. Раздвоение не смертельно для идеологии, напротив. Сценическое вдохновение может послужить и как алиби для закулисных делишек. Человек – странное животное и может «наивно» с пафосом верить в идеологию до тех пор, пока его «цинизм» находит это разумным и выгодным.

Я думаю, в этой идеологии «быть правым» заменяет «быть нравственным». Разговор о нравственности и безнравственности теряет смысл. Роль «наивная», честная, чистая, идеологическая роль – всегда права. А человеку, не имеющему прямого задания от сатаны быть открытым злодеем, нужно быть оправданным. Идеология же оправдывает его и в этом веке и в будущем. Ну покопошится он с комнатным, жалким своим цинизмом, а потом? Потом он напишет в газету такое искреннее письмо: «Хочу быть со своим народом...» Примеры бывали....

С. Александров: Речь, собственно, зашла о языке идеологии, а языковая ситуация в рамках подобного режима представляется уникальной: один язык для выражения двух истин. Но мы склонны забывать (а на Западе, кажется, этот момент никто и не вспоминает), что сама данная ситуация возникла исторически; в истории ее обоснование и специфика.

Взгляд на динамику языка дает нам определенные преимущества при анализе. С XVIII столетия, с момента исторического рывка России по пути «прогресса», нигде, вероятно, так не ощущался слом традиции, как в языке. Насильственное приобщение к «чужой» и «эффективной» традиции привело к внедрению в русский колоссального слоя иностранных слов. С той поры политический и идейный багаж России (за исключением архаизирующей под-традиции) выражался в терминах европейских без достаточного обоснования в ткани национального мышления. Однако до катастрофического круше-

ния русской культуры в эпоху революции этот процесс еще не был необратимым. Сейчас же достаточно открыть любое издание общественного характера и подсчитать – пусть грубо – количество нерусских терминов, чтобы понять, что весь политический словарь, за небольшими исключениями, строится из «чужого» материала.

На практике такое положение приводит к серьезным последствиям. В сознание людей с исключительной настойчивостью внедряется образ «высокой» политики, говорить о которой допустимо лишь в «чужих» терминах и лишь тем, кто специально подготовлен на этих терминах изъясняться. Образовался определенный уровень мышления о политике, где «чужим» языком (неким «высоким штилем» партаппарата) должно описывать вещи, недоступные «простому» родному языку.

Языковое сознание откликается на такое положение потоком анекдотов. Достаточно лишь минимального смещения в контексте, чтобы привычные и отработанные клише превратились в макабрические шутки (лозунг «Наша цель – коммунизм» – по известному анекдоту, висит над воротами артиллерийской академии в Москве).

Анекдоты, однако, не должны заслонять от нас тот факт, что в такой языковой ситуации заложены практически безграничные возможности словесной (а следовательно, и идеологической) манипуляции. В языке нынешних советских газет один и тот же объект описывается двойным образом («акулы мирового империализма» вдруг превращаются в «представителей деловых кругов» и т. п.). Механизм, оказывается, крайне прост: берется слово или словосочетание из своего языкового пласта и ему подбирается эквивалент из «чужого» пласта или наоборот.

Наличие двух подходов подтверждается ежедневно. Скажем, одни и те же цифры (сводки ЦСУ) в советских газетах – истина в последней инстанции и одновременно «клевета», если они процитированы в тексте иностранных газет. Так, собственно, и складывается положение, которое Безансон описал словами «два языка для выражения одной истины».

Развитие и распространение коммунизма сопровождается активным «проталкиванием» советских слов в иностранные языки – усилиями компартий и многочисленных попутчиков (так сказать, обратный процесс внедрения двуязычия). Ряд

феноменов советской жизни, если перевести их на иной язык, отказавшись от бессмысленного словоупотребления, вдруг раскрывают свой истинный характер. Например, в американском издании Большой Советской Энциклопедии переводчики предложили несколько вариантов для передачи термина «партийность» в особой о том статье. Москва долго размышляла и в конце концов распорядилась озаглавить статью «The partyinost». Добросовестный перевод этого термина на английский должен был раскрыть абсурдный смысл данного феномена: «часть претендует объять интересы „целого“ и встать выше этого „целого“».

Д. Нелидов: Непонимание Запада, о котором я уже говорил, имеет, среди прочих, еще одну специфическую причину – эстетическую оглушенность. Когда человек, воспитанный на изящной словесности, обнаруживает готовность ежедневно проглатывать коммунистические передовицы, то вопрос о его «вере» в идеологию отступает уже на второй план. Если его защитные механизмы не реагируют на ее безликий, чудовищно однообразный, выпренный, условно-заклинательный стиль, он уже и так ее пленник.

Я готов одолжить ему одно оправдание: идеологический жаргон представляется ему эманацией высокой и неопровержимой марксистской историософии, материалистической диалектики истории. На самом же деле это – ее возмездие, ее злая судьба. Это – ад, где ей вечно суждено узнавать себя в кривляющихся рожах и передразнивающих голосах.

Но «деревянный язык» идеологии – это не только бюрократизированное выражение устаревших догм. Здравомыслящие советологи, исследуя «советскую действительность», чаще всего отбрасывают его как условность, стараясь отыскать под деревянным языком независимую от него реальность. Их слуховой аппарат – прочной англо-саксонской работы – попросту не воспринимает этот язык. И потому эта «действительность» так часто ускользает от них.

Ибо действительность идеократии есть ее язык. Непонимание советологическое (извне) иной раз бывает ничуть не лучше, чем идеологическое (изнутри). Язык – не ритуальная риторика, не партийная пропаганда и не средство сообщения научной истины. Он есть орудие идеологического господства. Прежде, чем утопия завоевала шестую часть суши, она за-

воевала некоторое лингвистическое пространство. Прежде, чем возник ГУЛаг, уже существовали «суб-история» и «мета-история».

Деревянный язык обладает способностью создавать псевдореальность. Это открытие не принадлежит исключительно Безансону, но он подтвердил его вновь во всей фундаментальной значимости.

Д. Медвецкий: Обсуждая все вопросы, мы так или иначе пользуемся понятием идеологии. Но вопрос о самой идеологии не поставлен. Как будто это нечто очевидное, само собой разумеющееся. А ведь дело обстоит не так.

Безансон только потому и смог описать систему, где идеология «вытесняет реальность жизни», что он пользуется оригинальным и, на мой взгляд, чрезвычайно интересным понятием идеологии. Тут надо избавляться от ложных очевидностей понимания. Начинать надо скорее с непонимания, удивления... Надо как бы забыть привычное значение слова «идеология», имеющее хождение в обыденном сознании, в марксизме, в социологии.

Оригинальность Безансона состоит в том, что в социологическом (политологическом) анализе он *последовательно исходит* из некоторой первоначальной *метафизической* интуиции: в октябре 1917 г. к власти в России пришла, если можно так выразиться, метаполитическая партия, конституируемая не тем или иным групповым (или классовым) интересом, но идеологией.

Идеология, по Безансону, есть прежде всего некоторое состояние ума и души. Это состояние души, потерявшей религиозную веру, но не потерявшей желания спастись. Это состояние ума, потрясенного успехами науки и техники, рационального знания в целом и дерзнувшего удовлетворить потаенное желание спасения посредством абсолютного и рационального знания и действия.

Идеология есть верование особого типа и одновременно – доктрина, учение о мире. Идеология – это верование, полагающее себя знанием; причем знанием вселенским, абсолютно-универсальным. В полной мере идеология реализуется лишь в той голове, которая помещает себя в точку, остроумно названную *центральной* *видением*. Из этой точки идеолог видит в принципе все. Он «верит, что знает; он не знает, что верит».

Идеология, при этом, есть *исторически конкретное* образование. Она может возникать лишь при определенных культурно-исторических предпосылках. Поскольку она есть устремление к спасению через знание, она родственна гнозису (прежде всего гнозису, возникавшему при монотеистических религиях). Поскольку идеология ориентирована на научность, она есть нечто, непохожее на любые виды традиционного религиозного гнозиса, и могла возникнуть лишь в новейшее время.

Идеология, таким образом, — это своего рода метаполитический кентавр. Если воспользоваться религиозной терминологией, она есть ангел и зверь одновременно. Могучий ангел, поскольку он питается волей миллионов человеческих существ к спасению, но бессильный ангел, поскольку он питается ущербной волей к спасению. Могучий зверь, верующий в то, что он видит (знает) все, но вместе с тем бессильный зверь, поскольку он не видит (не знает), во что же он верует.

* *
*

Д. Нелидов: В конце интервью, приложенного к книге, Безансону был задан вопрос: Зачем нужна советология? Мне хотелось бы дополнить его ответ.

В качестве некоторой науки советология имеет чисто научное обоснование своей полезности. Если мы изучаем кости вымерших животных, мертвые языки, события отдаленной истории (что вполне достойно человеческих занятий), то не менее достойным для изучения можем мы считать тот эволюционный тупик, в котором уже оказалась немалая часть человечества и который зримо угрожает другой. Если мы справедливо интересуемся болезнями человеческого общества, как и средствами против них, то мы для начала должны научиться различать социальную лихорадку и социальный рак, чтобы раковые метастазы не считались наилучшим средством против лихорадки.

Отсюда вытекают, так сказать, наши гражданские обязательства. Они очевидны, и говорить о них можно либо скучно, либо высокопарно. Если слова Чаадаева о том, что Россия существует лишь для того, чтобы дать какой-то печальный и

назидательный урок миру, все еще сохраняют свое значение, то этот урок должен быть кем-то как-то артикулирован. Если узники ГУЛага погибли с какой-то мыслью, с какой-то правдой, то до этой правды мы должны доискиваться. Что может быть важнее изучения общества, которое одновременно может быть столь манящим и столь удушающим, столь тяжелым и тесным и одновременно столь ирреальным?

Но помимо всех этих резонов есть еще нечто. Общество, которое изучается советологией (оставим теперь этот термин социологам и политикам), построено исключительно на господстве некоторого «наукословия», ставшего затем пустословием и мертвословием. В разгаре XX века, ничуть не скрываясь, процветает система, основанная прежде всего на словесной магии. Ведь любой идеологический текст может быть понят и анализирован прежде всего в качестве культового действия. Если мы откажемся от позитивистских предрассудков и туповатой и ученой нейтральности, мы признаем, что всякое идолослужение (= культовое деревянноязычие, магическое мертвословие) обладает собственным глубинным смыслом. Этот смысл может быть прояснен лишь перед лицом Подлинника, коего он слепо (ибо идеология не ведает самой себя) копирует. Идеократия – это спародированная Церковь. И это пародийное ее начало также необходимо исследовать.

июль 82 г.

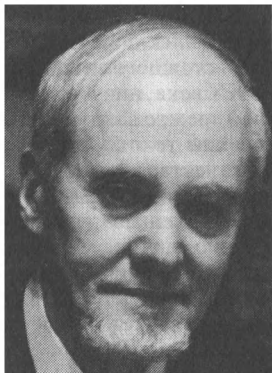
* *
*

С. Александров: С последним пора поторопиться, пока святейшая инквизиция этой спародированной Церкви сама не взялась исследовать нас. Пространство между «суб-историей» и «мета-историей» снова сужается, и в нем остается все меньше места для нашего брата, «ночных сторожей». Балансировать между разинутой пастью и «светлым будущим» становится все труднее. Ведь все мы – помните ершовскую сказку о «Коньке-горбунке»? – как бы разгуливаем по спине дремлющего кита, готового вот-вот проснуться и уйти под воду с нами и нашими псевдонимами. И похоже, что ныне он уже просыпается.

март 83 г.

ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПАНИН

В нынешнем мире, захлестываемом волнами насилия, ненависти, неверия, лжи и цинизма, крайне редко встретишь тех, в ком ярко просиял образ Божий. Одним из таких людей был Димитрий Михайлович Панин.



В нем было нечто от средневекового рыцаря, смолоду посвятившего себя служению Богу и Прекрасной Даме – для Панина ею была Россия – и никогда, ни разу, не нарушившего своих обетов. Четко умея различать добро и зло, он с юности был убежденным противником коммунизма, за что и поплатился 16-ю годами тюрьмы, лагерей и ссылки и еще столькими же годами изгнания, жизни вне родины. Советский Союз он покинул с единственной целью: бороться за свободу России. И вклад его в дело борьбы за осво-

бождение нашей страны и всего мира от коммунистического наваждения – трудно переоценить. Первая же его книга, изданная на Западе в 1973 г. «Записки Сологодина», вскоре после выхода в свет стала (и, увы, остается поныне) библиографической редкостью. Книги и брошюры, множество выступлений и публикаций в русской и иностранной периодике, издаваемый при помощи французской Ассоциации друзей Панина двуязычный журнал «Выбор» – все было посвящено этой борьбе.

Он умер внезапно, в расцвете творческих сил, деятельности, научных поисков. Трудно представить себе, что его уже нет среди нас – сильного духом, волевого, обаятельного человека с ясными глазами, открытым лицом и удивительно доброй, застенчивой улыбкой...

Вечная память ему!

И – глубочайшие наши соболезнования его жене и верному другу Иссе Яковлевне Паниной.

«Континент»

ВНУКИ МИЦКЕВИЧА И ДЕТИ СИСТЕМЫ

(Отношение поляков к коммунизму)

1

В статье «Все мы наследники Мицкевича» («Континент» № 49) Адам Михник противопоставляет политиков тем интеллигентам, которые сознают «долг солидарности с правдой и долг свидетельствовать». Разумеется, правда – не главное для политиков. Если же говорить об обязанностях, то мое полемическое мнение вытекает из весьма конкретного обязательства: так уж вышло, что на страницах «Континента» и «Культуры» я подверг критике нобелевские речи Валэнсы за умолчание о нынешней судьбе другого лауреата – Андрея Дмитриевича Сахарова. (Речь идет о статье «Осло – Прага – Горький», полный текст которой появился в № 41 «Континента», а сокращенный в № 4/439 «Культуры», 1984. Из комментария Михника следует, что он читал версию «Культуры».) Валэнса – как политик – должен руководствоваться реальностями, а реальностью в Польше должен стать компромисс в духе Гданьского соглашения; реальным фактом, определяющим позицию «Солидарности», остаются также «люди, правящие Россией», и договоренность с ними была «необходимым условием политического успеха Гданьского соглашения». Валэнса, правда, неоднократно декларировал, что он не политик и что «Солидарность» политикой не занималась и не занимается, но и эти высказывания – снова в силу той же самой логики – мы можем считать продиктованными требованиями реализма (разумеется, политического); реальным фактом в Польше является политическая власть коммунистов (добавим: абсолютная власть), если же мы желаем компромисса с ними, то не декларируем, что являемся политической силой (ибо всякая независимая политическая сила угрожает коммунистам). Открытым

остается вопрос, поверят ли этому коммунисты. Судя по их собственным высказываниям от момента появления «Солидарности» по сей день, они принимают независимое профсоюзное движение не только за политический фактор, но и за политического противника, с которым поступают в силу присущей им логики (политической), требующей либо уничтожить врага (13 декабря 1981 года – достаточное тому подтверждение), либо подавить его в политической борьбе, используя «активные меры»¹: психологическую и пропагандистскую войну, манипуляции и дезинформацию (после 13. 12. 1981 по сегодняшний день).

Вопрос оценки нобелевских речей Валэнсы – это в статье Адама Михника конкретный полемический пункт, касающийся сегодняшней политической ситуации. Позволю себе напомнить, что моя критика касалась не только одного отдельного факта, а целой политической концепции и тактики, представляемой Валэнсой (и определяемой его советниками). В нобелевских речах замалчивались операция 13 декабря и военное положение и в то же время говорилось о том, что «мы обречены на соглашение» и о «подлинном диалоге власти с обществом». Логiku позиции Валэнсы я уже ясно разобрал, и в этом пункте мой вывод совпадает с истолкованием Михника: раз Валэнса стремится к соглашению, избегая «спорных» вопросов и «определенных акцентов», то молчит и о Сахарове. Разногласия касаются оценки этой политической тактики. Адам Михник забывает о предмете, как мне кажется, основополагающем в политике. Ведь главной мерой ее ценности является действенность, и если мы желаем видеть в Валэнсе политика, то трудно утверждать, что его достижения в этой области (особенно после 1983 года) можно считать достижениями, чему печальные подтверждения приносит сегодняшняя ситуация в стране.

Хочу еще признаться, что написать статью «Осло – Прага – Горький» склонили меня – кроме заметки Наталии Горбаневской «Солидарность?» («Русская мысль» № 3506 от 1. 03. 84) и инициативы редактора Гедройца – некоторые воспоминания о политических событиях в Польше, связанные именно с тактикой «Солидарности». 22 сентября 1980 года телевидение ПНР передало фальсифицированные интервью с Марылей Плонской и Яцеком Куронем, из которых следовало, что этот последний предлагает поджигать партийные комитеты и

вешать коммунистов. Это был кульминационный пункт тогдашней пропагандистской кампании против Комитета общественной самозащиты КОР. Вечером следующего дня в кругу лиц, давно связанных с демократическим движением, мы разработали проект заявления, которое должно было стать протестом против этой кампании. Мы хотели дать властям понять, что «Солидарность» будет защищать членов и сотрудников КОРа. В Варшаву тогда же прибыло руководство «Солидарности» в связи со стараниями по ее регистрации. 24 сентября согласительная комиссия НСПС «Солидарность» выпустила, правда, упомянутое уже извещение, из текста которого было, однако, выброшено название «КОР». Неважно, кто из заинтересованных был за упоминание КОРа, а кто против (я был за), верх взял, однако, тот самый принцип: избегать «определенных акцентов» (КОР раздражал бы власти, считавшие его политической организацией). Вскоре после этого прокуратура официально объявила о начале расследования деятельности КОРа.

Тут, по сути дела, можно бы полемику закончить; Адам Михник защищает Валэнсу как политика, а поскольку, однако, его политические достижения мизерны – Михник защищает плохую политику. Я же критиковал Валэнсу также и как политика, а не только моралиста, и представляется, что истина на моей стороне: умолчание о Сахарове в нобелевских речах не было ничем иным, как символом отказа от солидарности с оппозиционными и диссидентскими движениями в других странах советского лагеря и ставкой на «польское решение», на то, что «поляк с поляком столкнутся», короче: это выбор четко определенной политики. Однако эта проблема порождает следующий вопрос: а возможно ли вообще «польское решение»? Тут и проявилась вдохновляющая ценность статьи Михника, который поднял по существу важнейший для политической ориентации поляков вопрос; и дискуссия на эту тему никогда не станет лишней.

Не буду повторять полностью доводы из моей статьи, опубликованной в № 41 «Континента». Напомню только, что я высказал также скептицизм по поводу «концепции независимости» (нередко противопоставляемой Валэнсе). Ее представители чаще всего сводят проблему свободы Польши к избавлению от государственной зависимости от СССР (или – как заявляют некоторые представители этой ориентации – от Рос-

сии²). В статье Адама Михника мы находим подобную постановку проблемы: для него основная политическая дилемма поляков – по преимуществу отношение к России. Однако Михник – в противоположность значительной части сторонников независимости – осознает необходимость союза польских и российских демократических сил, он свободен от антирусских предубеждений (может быть, потому, что является и политиком, и публицистом). Мои сомнения касаются, однако, самого принципа перенесения исторического опыта польско-русских отношений на нынешние политические реальности. Так как я считаю, что основная политическая проблема для поляков (и, по существу, не только для них, однако надо разобраться хотя бы со своими делами) – не отношение к России, а отношение к коммунизму.

Не думаю, чтобы мое мнение разделяли многие польские публицисты. Раз можно сказать, что поляки ненавидят коммунизм, сорок лет борются против советизации, сохранили независимую Церковь и в значительной степени культурную автономию, отвергли коллективизацию, – какая же тут дилемма? Все это правда, однако стоит вспомнить исключительно точную формулу Леопольда Тырманды: «Поляки по своей природе антикоммунисты. Но интеллектуально они до сих пор не извлекли из этого никакого прока». Тут заключается по существу принципиальный вопрос: в какой мере поляки сумели интеллектуально осмыслить тоталитарную систему. И в какой мере на их представления влияло – детерминированное исторически и географически – отношение к России. Стоит попытаться ответить на эти вопросы, ибо они тесно соприкасаются с политической действительностью в Польше, которой Адам Михник подчинил конструкцию своей статьи.

Первородный грех, порождающий ложные направления в польской политической ориентации, можно определить как «синдром Кухажевского»: советское государство – это прежняя имперская Россия, перекрашенная в красный цвет. Поляки, исходя из «геополитической» ситуации, стоят по-прежнему перед той же самой проблемой – как относиться к России, и альтернативой: компромисс, договоренность либо независимость.

«Синдром Кухажевского» тяготеет, однако, главным образом над судьбами Польши после Второй мировой войны, когда стали переносить давнюю, XIX века, схему польско-русских отношений на качественно новую ситуацию, каковой

было установление в Польше коммунистического строя. Понятное дело, существенную роль сыграл факт, что система пришла с Востока, была ввезена на советских танках. Это еще больше затруднило понимание сути коммунистического режима; и, может быть, эта «диагностическая ошибка» была неизбежной. Однако модель захвата власти коммунистами в Польше не является единственной в своем роде; уже несколько иначе было в Чехословакии и совсем по-другому, спустя годы, на Кубе, в Анголе, Мозамбике, Никарагуа и т. д. Отметим, однако, что чехи также страдают от своего «синдрома Кухажевского», зато Савимби – нет, а это показывает, что география (соседство с Россией) и культурная традиция (ареал западноевропейской цивилизации) затрудняют постановку правильного политического диагноза.

Кроме того, я полагаю, что с момента захвата в Польше власти коммунистической партией прежние аналогии, касающиеся польско-русских отношений, обесценились и должны были уступить место анализу отношения общества к новой политической системе. Старые представления, однако, отягощают и по сей день коллективное сознание; из первого кризиса режима в ПНР коммунисты вышли удачным маневром (по-английски это называется «deception», а в польском языке нет соответствующего слова и, пожалуй, нет необходимости вырабатывать соответствующую терминологию) – это был гомулковский «польский путь к социализму». В Гомулке видели поляка, и то, что он коммунист, казалось, играет второстепенную роль. Всеобщий энтузиазм вокруг этого «представителя национальных интересов» оставил незамеченным ряд симптоматических явлений, хотя бы осуществленный Охабом (при согласии Хрущева) спектакль «выбора» Гомулки первым секретарем ПОРП. Позднее говорили, что Гомулка «предал идеи Октября» (польского). А на самом деле? Разве идеи эти не состояли единственно в успокоении общественного мнения, получении поддержки со стороны Церкви и признания со стороны Запада?

Проблема осмысления природы коммунистической власти состоит в том, что трудно поверить (особенно патриотам), что коммунисты не могут представлять национальные интересы, так как их деятельность подчинена интересам коммунистической системы³. Они не служат (и служить не могут) национальным целям (польским или русским), а лишь наднацио-

нальным, универсальным, продиктованным марксистско-ленинской идеологией. Она обосновывает постоянное расширение сферы господства, пробуждает в коммунистической системе имманентные силы экспансии, направленные против всего внешнего мира (безразлично, как это будет называться: мировая революция, «мирное сосуществование», «разрядка» или «сотрудничество различных общественно-политических систем»).

В чем, однако, расходятся поляки в отношении к своей извечной национальной проблеме? Пусть коммунисты завлекают и захватывают, но, может быть, мы – при очередном первом секретаре, «представителе национальных интересов» (коль сам Валэнса утверждает, что Ярузельский – это патриот!) – урвем для себя больше свободы? Адам Михник не раз повторял, что после каждого взрыва возмущения в Польше «что-то остается» (для общества). Тезис рискованный (немножко марксистский, ибо предрешает единственное направление развития событий), и исторический опыт его не подтверждает. После 13 декабря 81-го наступил кошмар, куда худший, чем герековские годы (не говоря уже о кратком промежутке правления Кани), да и после «предательства» Гомулки история вновь пошла вспять. Во-вторых, надо отличать изменение системы от перемен внутри системы, которые не носят постоянного характера и определяются тактическими интересами. Предусматривается, чтобы партия не утратила контроля над обществом; укрепление такого контроля подтверждает, что данное коммунистическое государство остается «прочным звеном социалистического содружества» и реализует его цели: на международной арене, в ООН (или в области официальной дипломатии), в операциях по дезинформации и психологической войне против Запада, поддерживая национально-освободительные движения, где ведутся «тайные войны». Тактические цели при этом подчиняются стратегическим, как учил Ленин.

Но ведь, утверждают некоторые, марксистская идеология обанкротилась, никто в нее не верит, сказать по правде, даже члены политбюро. Согласен, идеология уже не предоставляет человеку мотивировок, интеллигенция в Польше (в значительной степени) отрезвела от марксизма (на Западе в меньшей мере), увидев, как во имя «прогресса» создается тоталитарный режим.

Идеология, однако, по-прежнему определяет стратегические цели советского лагеря, и этого достаточно. Новая фаза коммунистического режима (сформировавшаяся при Брежнев) опирается на предпосылку, правильность которой подтвердили политические успехи: идеология может обходиться без убеждений. Лучше всего поняли это в КГБ, начав – уже в годы правления Хрущева – распространение дезинформации об «отмирании идеологии»⁴: СССР уже не является идеологическим государством, а обычной мировой державой. А потом наступила «разрядка». Мало кто из наблюдателей замечал при этом, что «отмирание идеологии» сопровождалось не каким-либо ослаблением коммунистического лагеря, но напротив, расширением «семьи братских стран».

Чтобы понять соотношение между переменами внутри системы и неизменностью ее целей, надо еще принять во внимание дополнительные факторы: международная политика коммунистических стран тщательно координируется (в обеих областях: официальной дипломатии и «активных мер»); за внутреннюю политику ответственность несет местная коммунистическая партия, которая, увы, не является всего лишь марионеткой Москвы, ибо не принуждается к этому. Собственные коммунистические власти, во-первых, лучше знают местные условия, а во-вторых, используют «национальный» камуфляж (Ярузельский преподавал в этой области образцовый урок, расправившись с «Солидарностью»).

Представляется, что причиной подмены проблемы коммунизма «проблемой России» является фактор, который Кестлер определял как «веру», Мацкевич как «оптимизм», а некоторые как «wishful thinking». Я назвал бы такой феномен «психологическим защитным механизмом»: это более или менее бессознательное нежелание принимать действительность во всей ее грозной и трагической сложности. К сожалению, зыбкой является надежда и необоснованной – вера, что собственная коммунистическая власть лучше чужой коммунистической власти. Она даже хуже, так как ее злостность скрыта одеждами национальной фразеологии (когда это требуется), что сбивает с толку политических противников. И тогда – оставь надежды навсегда, ибо если правители не принимают в расчет наших национальных интересов, то кто это сделает? А без надежды – как писал Достоевский – человек жить не может.

Собственно, в силу этой позиции – редко, впрочем, осознаваемой – недооценивалась в Польше подготовка к введению военного положения, хотя не было недостатка в предостережениях. Опасались единственно интервенции извне... Этот же фактор обеспечил правительству успех дезинформационной операции, каковой была так называемая «быдгощская провокация» 1981 года; общественное мнение восприняло эту акцию как направленную против генерала Ярузельского; такая интерпретация облегчила (либо предопределила) массовое распространение плакатов (придуманных явно в департаменте дезинформации): «Генерал! Против сил беззакония вместе создадим фронт общественной самообороны!» Подобным образом можно объяснить успех аналогичной операции – убийства о. Ежи Попелушко; большая часть независимой печати придерживалась мнения, что это была провокация против генерала Ярузельского; подтвердили это и «Свободная Европа», и представитель ПНР – Урбан. Та же самая вера или «wishful thinking» лежит в основе назойливых утверждений, повторявшихся вопреки фактам и политической реальности, что власти должны начать диалог с общественностью, чтобы вывести страну из кризиса. Это коммунисты должны выйти из кризиса, в котором оказалась их власть, и, в общем, им это уже удалось именно благодаря призывам об отмене американских санкций (заклучались они главным образом в отказе ПНР в привилегиях) и о «помощи для Польши»⁶. Но ПНР – это не Польша. Велёпольский или Дмовский, проводя политику компромисса с Россией, могли представлять польские интересы, они ведь не служили универсальной идеологии, поскольку ее не было. Ни один первый секретарь коммунистической партии позволить себе этого не может. Даже Чаушеску. Поэтому похвалы полковника Куклинского по адресу Чаушеску свидетельствуют о запущенной стадии «болезни Кухажевского». Что дал румынам тот факт, что «народная армия» Румынии не приняла участия во вторжении в Чехословакию? Чаушеску хорош для Запада, но не для румын. Албания независима от Москвы, а там господствует жесточайший в Европе тоталитарный режим (о чем, кажется, весь западный мир и знать не хочет).

И чтобы уж закончить предостережение перед «соглашением с Россией» (ибо, по существу, защита Валэнсы Михником предполагает, что независимые политические силы в

Польше должны стремиться к соглашению с Россией): договариваться-то не с кем. КПСС представляет не Россию, а лишь международный центр коммунистического движения.

И на этом должен закончить. Но не хочу оставлять читателя с ощущением абсолютной безнадежности, хотя мало что могу предложить. Разве что несколько постулатов. Первый повторю за Джим Киркпатрик; если мы сегодня не хотим или не можем открыто выступать против коммунистической власти – то уж хотя бы не должны помогать ей. Помощью, которая на многие годы отяготит отношения Запада с советским блоком, явился отказ от поддержки политики Вашингтона по отношению к генералу Ярузельскому, а тем более, прямая критика этой политики – со стороны Церкви и представителей «Солидарности» на Западе (к чему присоединился также Валэнса, утверждая, что американские санкции наносят вред населению, а не властям). В действительности эти санкции были первой за много лет конкретной попыткой помощи населению после явной атаки на него со стороны властей. Теперь – если где-нибудь в советском блоке вспыхнет социальное возмущение – Запад ограничится бумажными протестами и воплями возмущения. Во-вторых: период последних нескольких лет и призывы к «диалогу поляков с поляками» исказили в сознании деятелей, активно вовлеченных в политику, основной характер конфликта, где власть – противник, а не партнер. Этот конфликт в «диссидентские» годы «Солидарность» ощущала весьма определенно; обязательным был принцип: «с ГБ дел не имеем!», – и кто его нарушал, тот не находил морального оправдания. Сегодня беседы с представителями МВД возводят человека в ранг политического реалиста.

А что стало с лозунгом «За вашу и нашу свободу», который освящал свободолобивые мечтания нескольких поколений поляков. Речь идет не только о Валэнсе и его советниках, ратующих за «польское решение», речь идет о чем-то большем: кажется, утрачивается способность распознавать врагов свободы. Как же иначе объяснить факт, что два независимых деятеля из Польши присоединились к декларации «прогрессивных интеллектуалов», критикующих американскую помощь для повстанцев в Никарагуа?⁷ Разве не сражаются они за свободу? А с другой стороны, главный представитель «Солидарности» на Западе публично выразил поддержку АНК – марксистской террористической организации.

Я не разделяю взглядов Адама Михника, когда речь идет о принципиальном политическом выборе. Равным образом в переносе «проблемы России» на сегодняшние политические дилеммы поляков я вижу опасность затушевывания действительного характера конфликта в Польше. Но не согласен я и с некоторыми конкретными пунктами аргументации Михника. Несколько слов о них.

Не убеждает меня его предложение пользоваться противопоставлением Катков – Герцен, где первый должен символизировать угнетение и реакцию, а второй – прогресс и свободу. Факт, что Герцен поддержал восстание 1863 года, а Катков его осудил, не достаточен еще для формулирования общего политического диагноза (это я пишу не из симпатии к Каткову). Само это сопоставление не равнозначно: Катков был чиновником государственной цензуры, а Герцен – идеологом и даже идеологом предмарксистским, точнее, кабинетным революционером.

Очарованный Цешковским, он поверил в законы, управляющие ходом истории, и в их осуществлении усматривал модель прогресса, а это приводит уже к идеализированной политике, реализуемой во имя Воображаемого. Герцен поддержал польское восстание 1863 года, ибо, будучи анархистом и антимонархистом, видел в нем борьбу против царизма. Но уже французская республика разочаровала его. Поддерживая итальянское движение за воссоединение страны (снова потому, что оно было направлено против австрийской монархии), он в конечном счете подверг критике Кавура. Короче: Герцен хотел переустройства мира, переустройства во имя идеологии. А как научил нас XX век – главным образом ленинизм, – это ни к чему хорошему не приводит.

Адам Михник упускает из виду целое либеральное течение в России XIX века, которое – независимо от оценки его достижений – стремилось к реформам; хотя бы окружение Сперанского. И князь Чарторыйский в период дружбы с Александром I был сторонником реформ в России, а при этом представителем польских интересов.

Возражения может также вызвать – частый в публицистике Адама Михника – принцип перечисления краткого или длинного списка имен, чьих обладателей, как правило, что-

либо объединяет; однако, на самом деле, различия между упоминаемыми существеннее, чем сходства. Сахаров, Буковский, Солженицын и Горбаневская, Некрасов и Копелев (противопоставленные Брежневу, Андропову, Черненко, Горбачеву) – все они русские диссиденты и все (за исключением Сахарова) эмигранты. Однако этого недостаточно для доказательства политического тезиса, что все вышеупомянутые высказываются за одну и ту же Россию (подразумевается – свободную, противопоставленную России коммунистических генсеков). Удивляет в этом списке имя Копелева, открыто исповедующего марксизм и идеологию «истинного коммунизма». Нынешняя система в СССР – согласно Копелеву – не имеет с коммунизмом ничего общего. Копелев встал на сторону Горбачева, а не редакции «Континента», выдвинув лозунг: «Мы должны помочь Горбачеву!», охотно подхваченный в ФРГ «Шпигелем» и изданиями подобного пошиба. Более того, Копелев – так же, как и Горбачев – является сторонником возвращения к «чистому большевизму»: «Вся власть Советам!» – призывает Копелев в интервью «Аугсбургер альгемайне цайтунг» (13. 03. 1987). И дальше: «„Перестройка“ произойдет только тогда, когда большевики реализуют свои обещания, данные семьдесят лет назад» (там же)*.

Я не в состоянии объяснить это недоразумение, ведь отношение самого Адама Михника к Горбачеву определяется надеждой на реформы⁸. Объяснением, возможно, должно быть понимание Михником тоталитаризма, которое, кажется, отличается от моего⁹. Во вступлении к изданному в Западном Берлине сборнику своих статей Адам Михник, следуя тому же принципу, приводит перечень имен: Т. Манн, Д. Бонхеффер, К. Ясперс, Х. Раушнинг, Б. Брехт, Ф. Клемперер, М. Нимеллер, Э. Фромм, Г. Грасс, Г. Бёлль, определяя всех как противников тоталитаризма¹⁰. Снова тезис, с которым трудно согласиться, учитывая симпатии пастора Нимеллера к СССР и Бёлля и Грасса к режиму сандинистов.

Не будем тут, однако, дискутировать по поводу концепции тоталитаризма (хотя можно указать на достаточно однозначные признаки этой системы); значение этого немодного

* Надеемся, что господин Копелев среди этих обещаний не имеет в виду также и лозунг: «Даешь Варшаву!» (Кстати, уже осуществленный!). – Р е д.

теперь слова часто, однако, затемняется, особенно сейчас, когда в политической публицистике пропаганда доминирует над содержательностью.

Не нужна и дискуссия о необходимости союза польской и русской демократической оппозиции – излишне добавлять, что я полностью разделяю позицию Адама. Подчеркнуть, однако, надо необходимость осмысления противниками тоталитаризма методов, применяемых коммунистами, в частности, «активных мер», которым в эпоху Горбачева обеспечена «зеленая улица». Тут, собственно, возникает целый комплекс проблем, для оценки которых требуется анализ новейшего опыта в ПНР и СССР.

Чтобы создать впечатление, что старое – это нечто новое (хотя по своей сути действия Горбачева повторяют проверенные в прошлом образцы), требуется старому дать новое название: сегодня провозглашают «гласность» и «перестройку», в то же время помалкивают о НЭПе или «оттепели». При этом внимательное наблюдение за операцией в целом приводит к выводу, что начиналась она не в Советском Союзе, а в... Польше.

Первым был Урбан, и лишь после него – Герасимов. Не удалось мне до сих пор отыскать материал, который бы точно раскрывал роль этих уполномоченных по делам печати; находят в этом проявление демократизаций, переиначивания на западный лад обычаев коммунистических правительств, в то же время совершенно не замечая, что эти «уполномоченные» успешно вносят вирус дезинформации в кровеносную систему западных средств коммуникации. Оба, впрочем, демонстрируют во время пресс-конференций для западных журналистов поразительно похожее красноречие и сходное чувство юмора.

Это сперва в ПНР была объявлена «амнистия», лишь потом Горбачев освободил полтораста заключенных ГУЛага. В ПНР – после введения военного положения – можно было получить свободу, подписав заявление, предлагаемое властями; аналогично было позднее в Советском Союзе. Ни в одном случае, однако, не были реабилитированы безвинно заключенные люди. Последняя амнистия в ПНР принесла Ярузельскому несомненные выгоды: как бы добровольную самоликвидацию подполья, разногласия (мягко говоря) среди оппозиции, очередной призыв Валэнсы к отмене остававшихся американских санкций и окончательный выход ПНР из изоляции на международной арене (что было главной целью Ярузель-

ского). Так же было в СССР: Горбачев добился аплодисментов на международной арене и... высказываний Сахарова против СОИ (опять в иерархии советских целей – приоритетный вопрос). Это сначала в ПНР допустили либерализацию в области культуры, позже в СССР. Это в ПНР официальная печать начала писать о недействующей экономике, засилии бюрократии, повседневных трудностях жизни населения. Сейчас подобные темы стали определяющими в горбачевской «гласности». Это сначала в Варшаве состоялась официальная конференция интеллектуалов (на которую прибыло с Запада немало деятелей, явно не симпатизирующих коммунистам), без помех беседовавших с независимыми представителями польской культуры. Позднее то же самое повторил Горбачев. Это также в ПНР были начаты (без препятствий со стороны властей) встречи приезжавших с Запада политиков с Валэнсой и советниками «Солидарности». Позже встречи с диссидентами стали обычными в Советском Союзе. Это в ПНР стали действовать кооперативы «Полонии» (с участием западного капитала), привлекавшие к себе благожелательный интерес товарищей из СССР.

Перечень можно продолжить, но, пожалуй, хватит... Заместитель председателя комиссии иностранных дел Сейма ПНР Рышард Война заявил в интервью Варшавскому радио: «Поляки (вероятно, такие, как Война. – Т. М.) видят в том, что происходит в Советском Союзе, поддержку курса на реформы, проводимого у нас» (7. 05. 87). Беда польской публицистики – трактовка официальных источников информации исключительно как пропагандистского бормотания, тогда как там можно вычитать (либо услышать) многое, если только захотеть (и суметь) правильно истолковать смысл. Неплохо, если бы нашелся какой-нибудь Адам Кручек, чтобы писать обзоры «В печати ПНР»*. Призыв Валэнсы, чтобы в Польше приступить к реформам на манер горбачевских, несколько запоздал...

Но «гласность» – не изобретение Ярузельского. Это коммунистическое изобретение – один из главных элементов стратегической дезинформации, используемой сейчас советским блоком против Запада. В конце мая в Закопане состоялась конференция главных редакторов газет коммунистических

* Адам Кручек – автор постоянных обзоров «В советской печати» в «Культуре» (псевдоним М. Я. Геллера). – Р е д.

партий из 11 «братских стран». «Обсуждались способы обобщения редакциями *новых эффективных методов* (выделено мною. – Т. М.) деятельности партий». Присутствовавший там генерал Юзеф Барыла (секретарь ЦК ПОРП, ответственный за госбезопасность) «подчеркнул важность и значение сотрудничества братских партий в укреплении идейных связей между братскими партиями, а также в *распространении наиболее эффективных методов и нового стиля деятельности*» (выделено мною. – Т. М.)¹¹. В начале июня Живков перед поездкой в ФРГ заверил репортера западногерманского телевидения (к нескрываемому удовлетворению этого последнего), что в Болгарии продолжается осуществление таких же реформ, как в СССР.

Справедливо определил когда-то Юзеф Мацкевич ПНР как «испытательный полигон» коммунистического лагеря (действительно, примеров таких испытаний было уже множество). Система демонстрирует сейчас, насколько может быть гибкой. И в состоянии себе это позволить, поскольку даже ПНР («испытательный полигон»), где имеется наиболее сильное независимое движение, все проявления «гласности», вплоть до освобождения политзаключенных, не представили опасности для режима. Министр культуры ПНР Кравчук заметил: «Что касается неподцензурной литературы (...) неплохо, что она существует, мы не преследуем ее»¹².

О «гласности» можно (и нужно) написать целый трактат. Но это уж в другой раз. Еще только одно замечание: вся операция, как мне кажется, была разработана после провала политики разрядки (ведь в то время нашелся даже политик, который назвал Советы «империей зла») и имеет целью – разумеется, кроме различных политических и экономических выгод – создание такой атмосферы в международных отношениях, чтобы Запад не был в состоянии предпринимать даже чисто оборонительные действия в случае непосредственной угрозы со стороны СССР. После высылки из Франции советских шпионов Москва обвинила французское правительство в ведении «холодной войны» (уже сам этот термин вызывает трепет у людей на Западе). Подобной была и реакция Кремля на американские протесты после обнаружения в посольстве США в Москве густой сети подслушивающих устройств. Однако Шульц поехал в Москву (страшно подумать, что бы было, если бы в эпоху «гласности» он отложил визит). А одновременно...

Советы проникают в Тихоокеанский бассейн (после практического распада союза АНЗЮС), в Персидский залив, на Ближний Восток. Что-то готовится... И, может быть, стоит напомнить, что хрущевская «перестройка» (почему бы и ту операцию не назвать «перестройкой») была подготовкой к размещению на Кубе советских ядерных ракет.

Но, как говорит цитированный уже Адамом Михником Стефан Киселевский: «наше (поляков) место – на Висле». Географически – да, но политически? Так вот, с большой сдержанностью, трактуют часто в польской публицистике категорию «польских интересов», откуда, собственно, и родилась среди других концепция «соглашения с Россией». Эти польские интересы, рассматриваемые в отрыве от борьбы за господство в мире (Киселевский, зная, что таковая идет, написал о ней весьма занимательную брошюрку), – не существуют. И я утверждаю это не по причине антикоммунистического ослепления, но опираясь на элементарную политическую калькуляцию. При каждом народном возмущении в советском блоке Запад воспринимался как естественный союзник, к которому направляли призывы о помощи (другой вопрос, к чему они приводили...). Так было и в Польше после 13 декабря 81-го: началось со стихийных призывов к санкциям против ПНР и СССР, а закончилось... призывами помочь Ярузельскому и упованиями на реформы Горбачева. И чем больше будет ослабевать позиция Запада по отношению к советскому блоку (а последние годы – может, за исключением первого президентского срока Рейгана – характерны именно успехами коммунистов и их союзников) – тем меньше у нас шансов на свободу.

Из немногих политических постулатов, которые сохраняют моральную ценность, хочу в заключение напомнить один: не помогать врагам свободы. Итак: не помогать Горбачеву и не протягивать руки Ярузельскому!

Адам Михник пытается в своей статье разрешить дилемму соединения позиции публициста, который сохраняет верность правде и этическим ценностям, с позицией политика, который должен руководствоваться реальностями. Это его несомненное профессиональное достоинство. Чтение его материалов являлось для меня, как правило, побудительным толчком. С благодарностью храню я в памяти и воспоминания о наших личных контактах в Польше. Адам был для нас – несколько более молодого поколения, политически созревшего после

1976 года, – примером того, что в системе, которая поощряет худшие черты человеческой натуры, стоит рисковать собственной свободой ради убеждений. Именно поэтому с таким вниманием сейчас – с позиции эмигранта – я слежу за его судьбой и публикациями. Его статья побудила меня на этот ответ главным образом потому, что Михник-публицист сам следует принципам, которые сформулировал в своем тексте. И если я не соглашаюсь с политическими оценками автора, то уверен, что выполняю одновременно его требования:

«Интеллигент должен понимать действительность. Должен распознавать узлы ее напряженности. Не забывать, что скрытые ценности могут иметь конфликтный характер: защищая одни, мы отбрасываем другие. Поэтому долг интеллигента (...) глубоко изучать действительность и обнаруживать ее ловушки. Он должен разрушать мистификации и упорно возвращаться к трудным темам, предлагать язык, свободный от лжи, и размышление, свободное от фобий, разговор же – свободный от дипломатии и стереотипных банальностей».

И поэтому:

Моральной правоты недостаточно, чтобы добиваться успехов в политике. Наблюдая за положением в Польше, трудно временами скрыть разочарование, видя, как коммунисты надувают своих противников (ведь по существу «активные меры» – несмотря на все тонкости манипулирования и нюансы дезинформации – это не что иное, как обман противника). Этой проблематики в польской публицистике почти не существует. Без учета этого фактора политической литературе приходится блуждать между Сциллой банального морализаторства и Харибдой «геополитических обусловленностей» и «польских запретов». Я выступаю против сговора, но не призываю к восстаниям, поджогу советского посольства, не призываю вешать коммунистов, тем более, что это и не возможно, и не нужно. Парадокс заключается в том, что конфронтация с коммунизмом носит сегодня главным образом интеллектуальный характер. Примитивна официальная пропаганда, идеология, казалось бы, убога, однако методы – тонкие и рафинированные, опирающиеся на знание человеческой психологии, национальных комплексов и мифов. И стыдно признаться, но подчиненные Кищака действуют в условиях этой конфронтации лучше советников Валэнсы, хотя, без сомнения, моральная правота на стороне последних. В нынешней

фазе коммунистического режима, особенно в Польше, отчетливо видно, что власти стремятся не только получить общественную поддержку (на что не имеют шансов), но и использовать независимое общественное мнение для реализации своих тактических целей, во имя «национальных интересов».

Начинать, значит, надо с разоблачения методов коммунистических режимов, с анализа новейшей истории Польши, анализа – как пишет Михник – свободного от фобий и стереотипных банальностей. Лишь теперь можно формировать политическую ориентацию, свободную от ложных аналогий, национальных мифов и благих пожеланий. Иначе говоря: поставим (по прочтении) Кухажевского и Прушинского на полку подручной библиотечки, а возьмем в руки Волкова и Сун Цзу, книжки Годсона и Борчгрейва и хорошо припрячем их от полиции.

III – VII. 87

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Термин «активные меры» используется в языке КГБ с 50-х годов, после реорганизации Хрущевым аппарата госбезопасности. Объединяет он целый ряд операций, проводимых политической полицией: физическую ликвидацию политических противников, явную и тайную пропаганду, манипулирование общественным мнением, стратегическую дезинформацию, подлоги, деятельность агентуры. Термин «активные меры» используется в западной литературе, посвященной этой тематике (весьма обильной, хотя в Польше, как представляется, совершенно неизвестной). Однако впервые этот термин появился в тайных документах большевиков уже в 1918 году. (См. First Use of the Term «Active Mesure»? – Desinformation, Nr. 3. Summer 1986, стр. 9).

² Создатель Конфедерации независимой Польши, которая с момента своего возникновения была главным представителем ориентации на независимость (противопоставляемой на основе не слишком ясно сформулированных идейных категорий окружению КОРа), Лешек Мочульский утверждает, что «Польша расположена теперь между Россией и Россией», и, опираясь на такой диагноз, формулирует свою нынешнюю политическую программу.

³ Упомянутое (критически) в статье Михника письмо Солженицына «К вождям Советского Союза» было написано с позиций русского патриота, который согласился поверить, что коммунистический

режим готов руководствоваться интересами народа. И это представляется ошибочной предпосылкой автора, ожидания которого на ответную реакцию правителей СССР были все же изначально окрашены скептицизмом. В самой же программе Солженицына (оставим в стороне его точное описание ситуации и – для меня наиболее дискуссионное – предсказание войны с Китаем), с которой можно соглашаться либо нет, в самом деле трудно обнаружить элементы великодержавного шовинизма.

⁴ Подробно описывает эти действия Анатолий Голицын в книге «New Lies for OLD», New York, 1984 (особенно гл. 14: «The Second Desinformation Operation: The «Evolution» of the Soviet Regime», стр. 120 и след.).

⁵ Стоит процитировать Алена Безансона:

«Отношения между коммунистическим движением и советским государством надо представлять в истинном свете. Не коммунизм – орудие советского государства, а советское государство – орудие коммунизма. Международное коммунистическое движение не управляется издалека Москвой, а добровольно признаёт Москву стратегическим центром движения на основе общности целей и политического согласия. Например, не Москва ответственна за кризис Церкви в Центральной Америке, который привел к возникновению там коммунистического движения; в то же время естественно, что движение это – поскольку является коммунистическим – связано с Москвой». (Il ne suffit pas de survivre. – «Commentaire», 1985, Nr. 30, стр. 721).

⁶ Учитывая, что среди советников Валэнсы есть люди, считающиеся экспертами по политике и экономике, больше всего поражает факт, что не были они в состоянии предвидеть неизбежных последствий приема ПНР в Международный валютный фонд, а именно: политических выгод для властей и экономического ущерба для населения (участие ПНР в МВФ вынудило провести несколько раз подряд резкое повышение цен).

⁷ Были это Ян Юзеф Липский, подписавшийся как деятель «Солидарности» и Яцек Чапутович – представитель движения «Свобода и мир». «Солидарность» и «Свобода и мир» – две наиболее известные на Западе польские оппозиционные группировки.

⁸ См. статью Михника «Письмо из Курковой». – «Aneks», 1985, а также статью J. Diehl: «Polish Historian Seeks to Evaluate, Exploit Gorbachev's Reforms» („International Herald Tribune“, May 23-24, 1987), основанную на высказываниях Михника.

⁹ Поводом для такого объяснения явился фрагмент из статьи Михника, посвященной политике Пилсудского в годы Второй республики, который – согласно автору – отдавал себе отчет в тоталитарном характере Советов (и гитлеровской Германии). Пилсудский не разбирался в тоталитаризме (тогда, впрочем, не многие в нем разбирались), о чем свидетельствует его политика в годы гражданской войны в России.

¹⁰ Polnischer Frieden. Aufsätze zur Konzeption des Widerstandes (Hrsg. von H. Hirsch). Berlin, 1985.

¹¹ Радио Варшава, 29.05.1987.

¹² Привожу по: Р. Лев. Месяц в стране. – «Контакт», 1987, № 4 (60), стр. 20.

СТРЕЛЕЦ – 1988

*ежемесячник литературы, искусства
и общественно-политической мысли*

Гл. редактор – Александр Глезер

Журнал «Стрелец» объявляет подписку на 1988 год. В редакционном портфеле новые прозаические произведения Василия Аксенова, Владимира Войновича, Юрия Гальперина, Юрия Мамлеева, Владимира Некрасова, Сергея Юрьенена и др. писателей, новые стихи Василия Бетаки, Дмитрия Бобышева, Натальи Горбаневской, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского и др. поэтов, эссе и воспоминания, интервью с русскими и западными писателями, статьи о неофициальных русских художниках, неизвестные современному читателю рассказы и повести 20-х и 30-х годов, публицистика Александра Глезера, Иосифа Косинского, Доры Штурман, Сергея Юрьенена. Мы будем по-прежнему продолжать публикацию стихов и прозы, поступающих к нам по каналам Самиздата из СССР. В разделе «Критика» читатель встретится с рецензиями на новые книги и журналы, а также творческими портретами писателей и поэтов.

Стоимость годовой подписки на журнал остается прежней.

Чеки посылайте, пожалуйста, по адресу:

В Европе: Alexandre Gleser, Chateau du Moulin de Senlis,
91230, Montgeron.

В США: Alexander Glezer, 286 Barrow str., Jersey City,
N. J. 07302.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Наталье Горбаневской и всем друзьям на Западе

Я обращаюсь к вам, друзья, с просьбой предпринять действия в поддержку Корнеля Моравецкого, который боролся за свободу для всех и сам за это лишился свободы. Нет сомнения, что одной из причин его ареста была верность принципу «За нашу и вашу свободу».

Мы считаем, что объединенными усилиями — нашими здесь, в Польше, и вашими, во всем мире, — мы принудим власть освободить нашего товарища и лидера.

Разумеется, и освобождение Корнеля не изменит положения: в Польше и других странах по-прежнему будут сажать невинных и держать в тисках свободную мысль. Однако мы считаем, что нашим долгом — во имя всеобщей человеческой солидарности — является защита угнетаемых и преследуемых.

Наш друг, товарищ и лидер Корнель Моравецкий переживает сейчас нелегкое время, беззащитный перед лицом ложных обвинений, оговоров и нападок в печати. Мы не знаем ни того, когда он к нам вернется, ни — какие его ждут испытания. Мы продолжаем его труд и стараемся остаться достойными его доверия.

*С заверениями в дружбе и солидарности
от имени «Борющейся Солидарности»*

ЯН ЭВАРИСТ
(редактор «Нижесилезского бюллетеня»)

Вроцлав, 27 ноября 1987

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Яков А й з е н ш т а т

ДВА САПОГА ПАРА

Проработав десятки лет адвокатом, я привык к тому, что приходится не только вести дела в судах и давать юридические консультации, но и помогать людям, которые приходят посоветоваться о всякого рода житейских ситуациях и получить не юридический, а, скорее, житейский совет. В этих случаях чувствуешь себя уже не столько юристом, сколько чем-то вроде раввина. И тут не важно, что обращаются к тебе не только евреи, но и люди самых разных национальностей.

В 70-е годы пришла ко мне молодая красивая русская женщина по имени Тамара, преподавательница английского языка. Она рассказала историю своей жизни. В молодости она была цирковой актрисой, и будто бы именно ей были адресованы строки Окуджавы:

Она по проволке ходила,
Махала белою рукой...

Потом она располнела, оставила цирк, вышла замуж за советского дипломата, прожила вместе с ним несколько лет в Женеве, объездила Европу, родила сына. Теперь брак с дипломатом расторгнут. Преподавание английского языка дает очень скромный заработок. Она умеет хорошо вышивать. Вышивка сейчас в моде, обратилась в ателье, ей дали работу на дом, но оплата маленькая.

Что делать? – спрашивала меня Тамара, всем своим обликом напоминая пышнотелых русских красавиц, изображенных на лучших картинах Кустодиева.

Адвокатский и жизненный опыт позволял дать совет и в этом, казалось бы, совсем не юридическом вопросе. Я посоветовал ей обратиться в хозяйственный отдел Московской Патриархии, где нужны умелые вышивальщицы для изготовления сложных вышивок на облачениях священнослужителей,

в особенности для высших иерархов Русской Православной Церкви. Объяснил ей, что там платят очень хорошо.

Тамара воспользовалась моим советом. В Патриархии убедились, что она весьма искусная вышивальщица, и ей поручили сделать вышивку для парадной ризы одного из высших иерархов Русской Православной Церкви, отца Льва, по происхождению грузина. Этому иерарху понравилась не только вышивка, но и сама Тамара, и он предпринял шаги, чтобы сделать ее своей любовницей. Тамара не пошла ему навстречу. Она была молода, а любвеобильный отец церкви был значительно старше.

Однако Церковь не оставила Тамару без любви. В нее влюбился начальник отдела снабжения Московской Патриархии – молодой человек по имени Женя. Он имел семью, но между ним и Тамарой установилась прочная связь. Они были люди одного возраста и подходили друг к другу.

Вскоре Жене потребовалась серьезная юридическая консультация, и Тамара привела его ко мне. В моей коллекции визитных карточек самых различных клиентов появилась визитная карточка Жени, отличавшаяся от всех остальных тем, что весь текст на ней был отпечатан сусальным золотом. Женя много раз бывал у меня дома и в юридической консультации и рассказывал мне подробно о Патриархе Пимене, о членах Синода и о том, как он их обслуживает. Женя ведал личным снабжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и членов Священного Синода. В состав Синода входят пять постоянных членов – высших иерархов Русской Православной Церкви, являющихся митрополитами, а также несколько временных членов из епархиальных архиереев. Снабжением этих лиц и ведал Женя. На обслуживание Патриарха и пяти постоянных членов Синода он получал ежемесячно из церковной кассы 100.000 рублей наличными.

Каждое утро он доставлял Патриарху и членам Синода свежие розы из специального правительственного хозяйства. И так – круглый год.

Все лучшие московские магазины и закрытые распределители для самого высшего партийно-государственного руководства были ему доступны и стремились обслужить его в первую очередь, ибо он расплачивался наличными и щедро.

В Подмосковье находится хранилище, куда в свое время завозились вина для личного стола Сталина. Теперь там хранятся предназначенные для высшей партийно-государственной элиты особого квашения капуста, засоленная целыми кочанами, и редкого вкуса моченые яблоки. Оба продукта — необходимая составная часть русской кухни. Женя рассказывал мне, что, когда он подъезжал к этому хранилищу, там всегда стояла очередь правительственных «чаек», на которых приезжали посланцы наиболее видных советских чинов. Но эти посланцы получали товар по безналичному расчету. Поэтому кладовщики, завидев Женю, наперебой кричали: «Женя, сюда!», — и отпускали ему всё вне всякой очереди. Ведь он расплачивался наличными, не крохоборничал, и кладовщики никогда не были в обиде. Женя ездил в лучшие подмосковные совхозы, там в его присутствии закалывали отборный скот, и свежайшая телятина и баранина доставлялась к столу высших церковных иерархов.

Вскоре Женя купил Тамаре кооперативную квартиру, самый дорогой цветной телевизор, лучшее стерео, резную мебель, окружил заботами ее маленького сына. Регулярно к ней на квартиру привозили то, что повседневно завозилось на квартиры членов Синода. И розы, и икра, и лососина, и нежнейшая телятина, и стерлядь, и балыки различных видов, и многое другое.

Женя повез Тамару на несколько дней в поездку по монастырям на Украину, где их с почетом принимали настоятели монастырей и устраивали в их честь изысканные обеды. Угощали такой монастырской ухой, что только из-за нее одной, говорила Тамара, можно было навсегда остаться в этом монастыре.

Серьезная юридическая консультация, для которой Женя пришел ко мне впервые и потом приходил много раз, была связана с делом, на котором Церковь всегда имела самый большой доход. Это производство и продажа церковных свечей. Прокуратура Москвы в лице одного из старших следователей внезапно произвела изъятие документов о производстве и продаже церковных свечей, возбудила уголовное дело, пыталась обвинить работников Патриархии в серьезных корыстных злоупотреблениях.

Непосредственная угроза нависла над рядом работников Патриархии и над Женей в их числе. Он систематически

приходил ко мне и советовался о том, какие следует давать показания.

Следствие по делу о свечах велось долго, но прокуратура Москвы не смогла разобраться в изъятых документах, не смогла докопаться до механики злоупотреблений. Ведь каждому ясно, что посетитель церкви, покупая свечу, не только оплачивает ее стоимость, но тем самым что-то вносит и в церковную кассу и сознательно идет на это. Незаконные доходы же могли извлекаться при самом производстве свечей. Небольшие доходы на одной свече, помноженные на миллионы свечей, могли составлять значительные денежные суммы. Но доказательств не было, были одни подозрения.

Когда стало ясно, что следствие топчется на месте и почти зашло в тупик, было составлено письмо, которое подписал Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Это мотивированное письмо было адресовано генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. В нем говорилось, что прокуратура Москвы возбудила без всяких оснований дело о свечном производстве Московской Патриархии, что Церковь обижают, а ее работников много месяцев зря нервнируют. Последовало указание Л. И. Брежнева прекратить дело. Так руководитель партийного политбюро в очередной раз помог Патриарху Пимену.

Л. И. Брежнев не раз помогал Пимену. Прежде всего, он помог ему стать Патриархом Московским и всея Руси. В 1971 году собрался поместный собор Русской Православной Церкви для интронизации, т. е. возведения на престол нового Патриарха. Этому собору предшествовало собрание Святейшего Синода, и высшие экзархи Русской Православной Церкви долго не могли решить, кто будет новым Патриархом. В Святейший Синод позвонил Л. И. Брежнев и сказал: «А разве не подходит Пимен?» После этого звонка вопрос был быстро решен.

Женя справедливо говорил, что между членами партийного политбюро и членами Святейшего Синода много общего. Их сближало стремление к почету, к самым различным привилегиям, к торжественным церемониям, к чинопочитанию, а главное, ни те, ни другие не стеснялись расходовать огромные средства на собственный комфорт, отдых, удовольствия, драгоценности, на зрелища, путешествия, поездки, секс. Женя говорил об этом со знанием дела, ибо, обслуживая много лет

Патриарха и Синод, общался и с людьми, обслуживающими генерального секретаря и политбюро. Кроме того, я знал, как глубоко проник Комитет государственной безопасности в Русскую Православную Церковь, и предполагал, что Женя имеет приличное звание в этом учреждении. Особой грамотностью он не отличался, но обладал русской купеческой смекалкой и хваткой.

Но и без свидетельств Жени можно заметить, что в построении и деятельности политбюро и Синода много общего. В состав политбюро в последнее время входят первые секретари Московского и Ленинградского горкомов, первый секретарь ЦК коммунистической партии Украины, министр иностранных дел. Так же и в Синоде. В него входят председатель отдела внешних церковных сношений; патриарший экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий; митрополит Ленинградский и Новгородский; митрополит Крутицкий и Коломенский, он же является главным идеологом Русской Православной Церкви.

Свою идеологическую деятельность члены Синода подчиняют идеологическим задачам, выдвигаемым партийным политбюро. Если прочитать, например, слово Святейшего Патриарха Пимена перед панихидой в Богоявленском патриаршем соборе по поводу смерти К. У. Черненко, то в ней можно увидеть все набившие оскомину штампы советской партийной пропаганды. Особо энергичны высшие экзархи Русской Православной Церкви на внешнеполитической арене. Они организуют различные конференции церковных деятелей разных стран и так же, как политбюро, направляют всю свою активность против американского плана стратегической оборонной инициативы.

Лишь об одном различии между политбюро и Синодом говорил Женя. Высшие партийные органы в последнее время стремятся не привлекать к работе евреев, даже для выполнения второстепенных поручений. Московская Патриархия и Синод и раньше, и теперь в нужных случаях широко привлекают для работы евреев, являющихся специалистами в той или иной области.

Мне было известно, помимо Жени, что, когда в Вологде произошел пожар в церкви из-за неисправности электропроводки и предали суду местного священнослужителя, епископ Вологодский пригласил московского адвоката — еврея

Гринберга защищать обвиняемого. Он добился оправдания священнослужителя и после этого ряд лет осуществлял юридическое обслуживание Вологодской епархии по договору, заключенному между нею и московской юридической консулцией.

Московская Патриархия часто, в случае необходимости, привлекала московских адвокатов-евреев. Женя рассказывал о привлечении евреев – художников и ювелиров – для создания нужных Патриархии и Синоду портретов и ювелирных изделий. Эти ювелиры-евреи изготавливали и драгоценные украшения для личных надобностей членов Синода и Патриарха.

Привлечение евреев для обслуживания Священного Синода и Московской Патриархии породило анекдот о священнослужителе, приехавшем с периферии в Москву. Его принимает владыка из чинов Патриархии и делает ему выговор: «Не блюдешь ты, батюшка, свой сан. Ряса у тебя поистрепалась, сапоги худые. Так не годится. Церковь у нас сейчас пользуется почетом. Сейчас я позвоню в наш отдел снабжения и тебя оденут во все новое». Чин поднимает трубку телефона и говорит: «Отдел снабжения? Отца Лифшица...»

Не только в анекдоте, но и в жизни Русская Православная Церковь действительно привлекает к себе на работу евреев. При ознакомлении с правилами приема в духовную семинарию и Духовную Академию Московской Патриархии на 1986-87 учебный год и с анкетой для поступающих в эти учебные заведения можно убедиться, что в анкете вообще нет пункта о национальности. В этом смысле для СССР это уникальная анкета. Церковников не интересует генетическое, расовое происхождение человека. Лишь поскольку эти учебные заведения готовят священнослужителей, их интересует вопрос о вере. Поэтому среди подлежащих представлению документов значится справка о крещении.

Русской Православной Церковью к участию в конференции в Москве «Новые опасности священному дару жизни» был привлечен и на ней выступал главный раввин московской синагоги Адольф Шаевич. В коммюнике о конференции в отношении каждого представителя говорилось не о национальности, а о вере. В отношении Адольфа Шаевича было указано «иудаист».

Но всякая корректность по еврейскому вопросу со стороны Русской Православной Церкви тотчас заканчивается, когда нужно поддержать антиизраильскую и антиссионистскую позицию политбюро. Для поддержки этой позиции используется, например, такой форум как заседание совета Российского Палестинского общества. Так, в Троице-Сергиевой лавре, в Актовом зале Московской Духовной Академии, на заседании совета Палестинского общества выступал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий с сообщением «Межрелигиозный вклад в решение ближневосточных проблем». Он обратился к истории. Говорил о долголетней деятельности Русской Духовной миссии в Иерусалиме, о Российском Императорском православном Палестинском обществе, которое теперь превратилось в Российское Палестинское общество при Академии наук СССР. Но больше всего митрополит говорил о страданиях палестинского народа, о несчастных палестинских беженцах, о том, что в различных частях Святой Земли Русской Церковью было возведено много церковных и гражданских строений на приобретенных участках земли, а теперь часть из них отчуждена и находится в незаконном владении. Митрополит, полностью солидаризируясь с позицией политбюро по Ближнему Востоку, говорил об аннексии Израилем восточного Иерусалима, оккупации Западного берега Иордана и о том, что арабы – мусульмане и христиане испытывают серьезные трудности и не имеют возможности посещать Святой Град.

Высшие экзархи Русской Православной Церкви подчас признают факт тесного идеологического сотрудничества между Синодом и политбюро. Так, митрополит Ювеналий на заседании Совета Палестинского общества прямо сказал о «тесном соработничестве, тесном сотрудничестве между руководителями Коммунистической партии Советского Союза и представителями Церкви».

Правильнее было бы говорить не о сотрудничестве, а о полном и безропотном подчинении высших церковных иерархов государству. В частности, Синод не защищает прав верующих, не отстаивает закрываемые церкви, и поэтому во многих местах страны на сотни, а то и на тысячи километров не осталось действующих православных церквей, нет православных священников. В этих местах стали эффективно действовать протестантские проповедники независимой Баптистской

Церкви. Лишь отдельные рядовые православные священнослужители выступали против такого положения. Я был знаком с одним из них, замечательным человеком, православным священником Глебом Якуниным. Московская Патриархия лишила его прихода за защиту прав верующих. Он добивался рассмотрения своего вопроса в церковном суде, но такого суда в Московской Патриархии вообще не было и создавать его не хотели. Все его обращения к Патриарху Пимену оставались без ответа. 30 декабря 1976 года в Москве Глеб Якунин создал Христианский комитет защиты прав верующих в СССР. Он не мог добиться церковного суда, но в результате активной деятельности, направленной на защиту прав верующих, был 1 ноября 1979 года арестован, предстал перед советским судом и по статье 70 УК РСФСР за «антисоветскую агитацию и пропаганду», был осужден на 5 лет лишения свободы в лагерях строгого режима и на 5 лет ссылки. Глеб Якунин был неугоден и Священному Синоду, и советскому партийно-государственному руководству. Его осуждение устраивало и тех, и других. В борьбе с отцом Глебом Якуниным и другими священниками, защищавшими права верующих, Синод и государство действовали сообща.

Вообще политбюро и Священный Синод объединяет многое, они похожи друг на друга не только по структуре и организации своей деятельности, но и по фарисейству, которым проникнута вся их идеологическая деятельность, причем Синод всегда готов выполнить волю своего партийного сородича.

Схожесть исключительного положения Синода и Патриарха, с одной стороны, и членов политбюро и генерального секретаря, с другой стороны, в том, что ни на кого в СССР, кроме как на людей из этих двух небольших групп, не сыплются, как из рога изобилия, в таком количестве все мыслимые и немыслимые материальные блага. Поэтому членов Священного Синода и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси вполне справедливо можно назвать членами церковного политбюро и сказать, что в Москве царствуют и благоденствуют два похожих друг на друга политбюро: партийное и церковное. Два сапога пара.

Вот на какие мысли навело меня знакомство с Тамарой и Женей...

АЙЗЕНШТАТ Яков – родился в 1919 году, участник Второй мировой войны в рядах советской армии, доктор юридических наук, больше 20 лет – член Московской городской коллегии адвокатов. С 1982 года живет в Израиле, работает в Иерусалимском университете, в Центре по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, пишет юридическое исследование о дискриминации евреев в СССР. За 1983 – 1987 гг. опубликовал в израильских изданиях и газете «Русская мысль» ряд статей и очерков на юридические темы. В 1986 году в Лондоне в издательстве «ОРІ» вышла на русском языке его книга «Иск дочери Шалапина и другие очерки московского адвоката».

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

ГЛАСНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ДЕЛУ МИРА

Обращаем внимание общественности на один новый аспект внутреннего развития в СССР, вызванный политикой гласности, осуществляемой Горбачевым. В последние годы резко усилился интерес советских людей к любой свободной литературе – не только к книгам, газетам и журналам, выходящим на русском языке за рубежом, но и к изданиям на тех иностранных языках, которыми в той или иной мере владеют советские граждане. Вся эта литература разными путями провозится или доставляется в Советский Союз, ходит по рукам, зачитывается до дыр. Огромным успехом там пользуются книги русских писателей – изгнанников – Солженицына, Максимова, Владимова, Аксенова, Некрасова, Войновича и других, которые, несмотря на гласность, советскими издательствами не печатаются. Их книги всегда пользовались исключительным спросом, нередко перепродавались за баснословные цены.

Наше общество, с момента своего основания, активно соучаствовало в этом процессе и достигало заметных результатов, о чем свидетельствуют отчеты правления. Однако, в настоящее время, в связи с психологическими сдвигами в СССР, спрос на неподцензурную литературу настолько возрос, что далеко перегнал все наши скромные возможности. Мы уже не в состоянии удовлетворять даже запросы наших старых друзей, приезжающих из страны, не говоря уже о создании новых каналов для переборки литературы. И нам приходится отказывать людям, которые обращаются к нам за книгами.

Поэтому у нас нет другого выхода как призвать на помощь общественность, всех людей доброй воли. Напоминаем, что проводимая нами работа представляет собой важный общественный интерес в мировом масштабе, ибо свободная литература, поступающая в Советский Союз, сильно ускоряет процесс превращения советского общества в общество открытое. А государствам с открытой, политически информированной общественностью невероятно трудно как планировать нападение, так и, тем более, его осуществлять. Таким образом наша деятельность способствует созданию мирового сообщества без напряженности между Востоком и Западом.

Мы просим всех людей доброй воли помочь нам как личным участием в нашей деятельности, в первую очередь со стороны тех, кто ездит в Советский Союз или общается с советскими гражданами, приезжающими за границу, так и литературой – мы готовы принимать даже слегка бракованные издания и «модерный антиквариат».

Но, главным образом, мы нуждаемся в денежных средствах для закупки заказанных нам советскими людьми книг и оплаты расходов наших добровольных помощников. Спрос на книги и другие издания теперь в Советском Союзе настолько велик, что этой нашей деятельности не видно конца.

**Verein zur Förderung der unabhängigen Kultur in der UdSSR e. V.
Postfach 111923 · 6000 Frankfurt am Main 11 · Tel.: (06171) 7 35 71
Frankfurt am Main, Dresdner Bank, BLZ 500 800 00, Konto-Nr.
2132187**

Истоки

К тысячелетию Крещения Руси

Константин К р и п т о н

ЦЕРКОВНАЯ «ЕЖОВЩИНА» И ПОРАЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ПЛАНОВ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

*(По документам, литературным данным и личным
наблюдениям)*

Опубликованный в январе 1918 года декрет о Церкви, предшествовавшее ему вторжение в Александро-Невскую лавру и все последующие «мероприятия» советского правительства поставили сразу же вопрос: не о том или ином месте православия в жизни русского народа, а просто о прекращении его существования.

Ложные концепции вновь пришедшего правительства характеризовались уверенностью в возможности быстрого уничтожения всякой религии. Прежняя же связанность Православной Церкви с политической системой монархии, казалось, еще больше упрощала решение данного вопроса. За внешней пеленой «казенности Церкви» просмотрели, а еще вернее, не понимали существа самого вероисповедания, его соборных начал, уходящих в глубинные народные массы.

В 1922 году Ленин высказывает перед Совнаркомом даже недовольство: прошло 5 лет после революции, а религия отделена только от государства, но не от людей¹. Сегодня мы можем сказать: прошло 70 лет, а православие в русском народе живет. Это подтверждается самим советским правительством: «в сфере общественного сознания продолжает сохраняться религиозное сознание»². Последнее настолько сильно, что во всех первичных партийных ячейках, т. е. в каждом предприятии, колхозе и учреждении, создана должность специального инструктора по атеизму.

Ранние теоретические построения и практические планы советского правительства, несмотря на применение долголетнего террора, постигло, как мы видим, поражение. Ведущие атеисты страны оказались в тяжелом положении: как объяснить его причины? С горя призывают на помощь даже такие «затасканные» вещи: грубые суеверия, вульгарную мистику и даже магико-анимистические представления. Но при всех этих «экивоках» они вынуждены признать: за устремлением русского народа к Всевышнему стоит православно-религиозная доктрина³.

Решающими годами «поединка» правительства с Церковью, разрушившего его исходные планы, явились два после-революционных десятилетия. Их завершающим «актом» была призвана стать знаменитая «ежовщина». Остановимся на этом подробнее.

1

Законы человеческой истории своеобразны. Остались они такими и в годы, следовавшие за крушением русской монархии. С одной стороны, бушующий революционный шторм, с другой – страстные, приподнятые моления в церквях, наполняющихся больше и больше. Народные молебствия (крестные ходы) привлекают вообще бесчисленные толпы людей. Состояли они не только из попов, купцов, чиновников и бывшего офицерства, как пишут сегодня некоторые советские историки⁴. А. М. Коллонтай – одна из крупных фигур тех дней – дает совсем другие сведения о людях, устремившихся к Богу, да еще в самой Москве. «Это не только спасающие души старики и старушки, не только отсталая часть рабочего класса – жены рабочих, не только наивные подростки, дети; нет, тут и бородатый рабочий, и красноармеец, и юноша пролетарского вида, и бойкая, смышленная работница в платочке, лицо которой будто мелькает и на пятничных митингах»⁵. Религиозный вопрос становится настолько серьезным, что после года нахождения у власти Ленин предупреждает о необходимости большой осторожности в борьбе против Церкви, – об опасности «озлобления» миллионных масс верующих людей⁶.

Происходящие политические события сыграли, конечно, свою роль в духовном подъеме православия. Пережитое кру-

шение старых основ государственной и общественной жизни, скорая утрата надежд на большую справедливость, равенство, свободу и многое другое, обещанное революцией, побудили задуматься о превосходстве Божественного и Вечного над земным и временным. Верующие люди становятся повсеместно более активными и, позволю себе сказать, более сознательными в жизни Церкви, в жизни своих приходов. Усиляется деятельность и самого духовенства.

За два месяца с лишним до Октябрьского переворота, в исключительно торжественной обстановке, собирается в Москве Всероссийский Церковно-Поместный Собор Православной Церкви. Он избран свободным голосованием клира и мирян, что было давней мечтой духовенства, крупнейших общественных и политических деятелей (того же Витте), самих мирян. Восстанавливается патриархат, упраздненный Петром Первым. Собор смог работать больше года, до осени 1918 года (разогнали власти), успев определить «вехи» сохранения Церкви в условиях богоборческого государства. Во главе его Патриарх Тихон, митрополиты Кирилл, Петр, Агафангел, Вениамин и большое количество других лиц, отдавших позже свою жизнь за Церковь. Их имена остаются священными для всех верующих людей.

Решением Патриарха Тихона осенью 1919 года, еще до исхода гражданской войны, явился отказ от политики, от непосредственного участия Церкви в делах государства. Это был большой исторический шаг. Установление той или иной формы правления, – говорит послание Патриарха Тихона, – не дело Церкви, а самого народа... Посвящайте все свои силы на проповедь Слова Божия, истины Христовой, особенно в наши дни, когда неверие и безбожие дерзновенно ополчились на Церковь Христову... Архипастыри, священство и миряне искренне пошли путем, указанным Патриархом. Разумность данного пути подтверждается «критикой», с какой он был встречен в правительственных кругах⁷.

Церковно-Поместный Собор 1917 – 1918 гг., озаривший своим светом начало скорбных испытаний православия, заслуживает большого внимания и с точки зрения состава его участников. Кроме высших иерархов, мы видим на нем представителей священства, а также мирян. За участием последних в работе Собора стоит 900-летний духовный опыт русского православия – стремление быть ближе к апостольскому пре-

данию и истине, к действительной соборности Церкви. Призыв к более прямому и активному участию мирян в ее жизни, когда сохранение религии и религиозности становится все более тяжелым, оказался исключительно оправданным. Приведем два примера.

1. В годы поголовных арестов духовенства верующие люди стремятся все же продолжать молитвенное общение, порой в помещении церквей. Об этом говорят даже документы приоткрывшихся советских архивов научных учреждений и просто исполкомов различного ранга во время т. н. «оттепели», когда в Москве печатался «Один день Ивана Денисовича».

2. Сразу же после революции пришлось создать различного рода тайные очаги православия: домашние церкви, монастыри, кружки подготовки священников и др. Их задача – всячески поддерживать церкви, продолжающие функционировать открыто. В случае же их совершенного закрытия, чего приходилось опасаться и в дни красного террора, и во время т. н. «раскола», и к чему пошло, как мы увидим ниже, в дни «ежовщины», – сохранить очаги возрождения православия, а также окормление хотя бы самого ограниченного числа верующих людей. Деятельность мирян, сплотившихся вокруг своих видимых и невидимых пастырей во имя спасения соборного православия, переоценить трудно⁸.

2

По окончании гражданской войны за искоренение православия, равно как и других вероисповеданий страны, берутся с исключительной энергией. В Православной Церкви устраивают хорошо известный нам «раскол». Провалились. В 1927 году добиваются подчинения себе «местоблюстителя Патриаршего престола» митрополита Сергия (будущего Патриарха⁹). «Радости» это также не приносит. Молитвенное общение десятков миллионов верующих людей продолжается. Среди них немало пастырей и мирян – деятелей тайных очагов православия. Само правительство через два года после «пленения» церковного руководства вынуждено признать: Православная Церковь – не изнеженная Церковь эпохи царизма, она смогла разработать целый арсенал средств влияния и связи с массами сообразно советским условиям, сумела закрепить

свои нынешние позиции¹⁰. Неукротимый Сталин идет тогда на массовое уничтожение духовенства и более выдающихся церковников-мирян (лагеря, ссылка, расстрелы). С 1930 года церкви закрываются все в больших и больших размерах. Заключительным мероприятием подобного «отделения религии от людей» (Ленин) должна была стать «ежовщина» (1937 – 1938). Ее задачей было вообще окончательное утверждение принципов тоталитарной политической системы – от превращения крестьян в государственных батраков-«безбожников».

Методика проведения «ежовщины» известна: усиленные аресты людей, именуемых «врагами народа», бесконечные статьи об их работе на иностранные разведки, вредительстве и саботаже. Одновременно проводятся громкие судебные процессы над рядом бывших «соратников» Ленина, а также многими другими лицами. Основная масса людей «репрессировалась», конечно, по решениям закрытых судов.

Все это проводится и в отношении Православной Церкви: ее священнослужителей, а также мирян. Последних прямо предупреждали: «за посещение церкви не поздоровится»¹¹. Немало людей, не желавших порвать с религией, было исключено из профсоюзов и лишено работы. В конце февраля 1938 года, после собрания IV расширенного пленума Центрального совета Союза воинствующих безбожников СССР, пришлось все же остановить это. Рождалось раздражение, страдала производственная работа.

В обвинениях священнослужителей, кроме обычной «контрреволюционной деятельности», появилась «работа» на иностранные разведки: фашистскую (немецкую) и японскую. Широко проводится специальная пропагандная работа – приводится ряд «доказательств». В 1937 году Партиздатом ЦК ВКП(б) выпускается сборник «О методах и приемах иностранных разведывательных органов и их троцкистско-бухаринской агентуры». В нем участвует 16 известных авторов. Даются «данные» и о «шпионско-диверсионной деятельности религиозных организаций». Тираж сборника – 300.000 экземпляров. В этом же году издается ряд брошюр с соответствующими материалами. Одна из них под названием «Подрывная работа церковников и сектантов» принадлежит перу Л. Заковского – руководителя Ленинградского НКВД. Ее тираж – 100.000 экз.

Исключительную деятельность развивает, разумеется, текущая пресса. В августе 1937 года «Известия» печатают

статью известного писателя-антирелигиозника Кандидова «Шпионы в рясах». Им следуют местные газеты, а также журналы. Даже в «Под знаменем марксизма» – «философском и общественно-экономическом» журнале спешат напечатать статью того же Кандидова на эту тему¹².

Обвинения против Православной Церкви можно сформулировать в трех пунктах:

1. Церковное управление, будучи строго централизовано, имеет разветвленную сеть, часто используемую в контрреволюционных, диверсионно-террористических и шпионских целях.

2. Наряду с «Право-троцкистским центром» существует и так называемый «Московский церковный центр». Он связан не только с иностранными разведками, но также с троцкистами.

3. По всей стране создана сеть организаций. Они были разоблачены в Москве, Ленинграде, Горьком, Омске, Орле, Ижевске, Беломорском районе и т. д.¹³.

Против самого митрополита Сергия – будущего Патриарха, – возглавляющего 75-80 процентов всех церквей, открыто готовится судебный процесс «всесоюзного значения». Литература тех дней дает развернутую картину его прошлой и настоящей «деятельности»:

1. Это тот самый архиепископ, что, будучи в Финляндии, душил в 1905 году революционное движение финляндских рабочих и крестьян.

2. При голосовании в Учредительное собрание шел первым по списку вместе с С. Н. Булгаковым, участником контрреволюционного сборника «Вехи» в 1905 году, и известным генералом М. В. Алексеевым, бывшим верховным главнокомандующим, а позже организатором Белого движения.

3. Послание митрополита Сергия в 1927 году, как и послание Патриарха Тихона, были только дипломатическим маневром для легализации своей деятельности, направленной к подрыву советского строя. Даже молитва «Спаси Господи» по существу не изменена. Выпущено только о «благочестивом государе императоре», но оставлено «сопротивные»... не требуется усилий для догадки, кого митрополит Сергий понимает под «сопротивными».

4. «Связи» с Японией, где митрополит Сергий вел миссионерскую работу еще в 1890 году.

В «тайных очагах» внутри Церкви, возглавляемой митрополитом Сергием, идут горячие моления о ниспослании ему и иже с ним помощи в этом новом испытании. В «тайных очагах», находящихся в оппозиции к митрополиту Сергию за декларацию 1927 года, на это время смолкло его осуждение, порой очень горячее. В это же время храмы закрываются и закрываются. Их число, достигавшее в 1929 году – пятидесяти тысяч¹⁴, сокращается к концу 30-х годов, даже по официальным данным, – больше чем на три четверти¹⁵. Духовенство же идет в лагерь, ссылку, немалое число расстреливается.

3

Закрытие церквей и «ликвидация» духовенства не приносит, однако, желательных результатов в уничтожении православного вероисповедания. Это вынуждено признать само правительство. В один из наиболее страшных месяцев «ежовщины» (октябрь 1937 года) «Большевик» – орган ЦК партии – пишет: отсутствие молитвенных зданий и «служителей культа» не дает преодоления религии... Такого рода борьба «лишь укрепляет позиции религиозных организаций, задерживает процесс освобождения народных масс от религиозных предрассудков»¹⁶. Одновременно отмечается влияние «невидных руководителей» на рядовую массу верующих и даже на советский и колхозный актив вплоть до комсомольцев и членов партии¹⁷. В октябре 1937 года еще не сказали прямо: закрытие церквей ведет к увеличению тайных очагов православия. Подобное признание приходит только по окончании «ежовщины», через два с половиной года¹⁸.

Увеличение числа нелегальных церковных организаций явилось естественной реакцией населения, остающегося в большей, а в деревне в подавляющей части – верующим, устойчиво верующим. Приведем по этому поводу некоторые данные. Специальные экспедиции, например, в Рязанскую область более чем через 25 лет после «ежовщины», во время «оттепели», свидетельствуют: «Иконы являются непременной принадлежностью почти каждого дома сельского жителя и многих домов горожан. В отдельных селениях области... домашние иконостасы включают несколько десятков икон, распятий, картин религиозно-назидательного содержания»¹⁹.

Одновременно это подтверждается местной газетой: иконы можно увидеть даже в домах «передовых людей» и, что совсем необъяснимо, в домах коммунистов²⁰. Тогда же, в годы террора 30-х лет, при исключительных размерах арестов духовенства, прихожане, оставшиеся без священника, стремятся, как я уже говорил, продолжать сами молитвенное общение. В архивных материалах Рязанского горсовета можно прочесть: после закрытия в Рязанской области больше 900 церквей²¹, верующие люди «посещали домашние молельни, где совершали богослужения и обряды под руководством бывших монашеских и псаломщиков»²². Такого рода молитвенное общение мирян, не нарушающее канонов Церкви, порой по указаниям, передаваемым священниками, находящимися поблизости, иногда на нелегальном положении, происходит по всей стране, вплоть до Карело-Финской республики. Конечно, и оно преследовалось. В этих условиях происходит откристаллизование новых и новых тайных очагов православия.

Несмотря на специальную «обработку» (средняя школа, вузы и др.), религиозность сохраняется и среди молодежи. «Религиозными предрассудками, – пишет после «ежовщины» «Большевик», – заражена и некоторая часть (какая? – не уточняется. – Автор) подрастающего поколения... В Москве в дни Великого поста много детей исповедовалось и причащалось»²³. Антирелигиозные организации обвиняются в том, что, увлекшись работой с пожилыми людьми, они часто упускали из поля зрения молодежь, а церковники и сектанты распространяли на нее свое влияние²⁴. Ярославскому – ведущему руководителю «насаждения» безбожия – приходится выступить с статьей в «Пионерской правде»: «Нужно ли всегда слушаться родителей?»²⁵

Советское правительство вынуждено сделать соответствующие практические выводы. Насильственное отнятие церкви явно усиливает раздражение народа. Это становится опасным не только в политическом отношении (мировая война приближалась), но и для хозяйственной жизни: сказывается на эффективности труда, усиливается бессознательный, а порой и сознательный саботаж²⁶. ...«Церковная ежовщина» до конца не доводится. Всесоюзного судебного процесса над местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Сергием не происходит.

Еще полтора-два года после «ежовщины» советская печать продолжает все-таки сохранять принятый «тон», не исключая обвинений в шпионаже. Даже «Под знаменем марксизма» печатает в феврале 1940 года статью М. Шейнмана «Религия на службе японского империализма»²⁷. Но одновременно с ней «Антирелигиозник» определяет «внешне эффективную деятельность по закрытию церквей» как *вредную шумиху*²⁸. Еще раньше в закрытии церквей обвиняют «врагов народа» – левых уклонистов, стремившихся *озлобить верующих*, создавших «своеобразный рецидив контрреволюционного троцкизма»²⁹. В апреле 1940 года «Большевик» говорит о необходимости прекратить закрытие церквей, что, как мы уже слышали, ведет к образованию «церковного подполья»³⁰.

Со стороны правительства начинается движение, ускоренное пришедшими военными событиями, к восстановлению более или менее значительного числа церквей, возвращению из лагерей уцелевшего духовенства. Со стороны верующих идет параллельное укрепление и развитие тайных очагов православия. В годы «оттепели» узнаем даже о молодежи, создавшей религиозную организацию «Юноши», которая действовала в 40-х и первой половине 50-х годов в Тамбовской, Липецкой, Рязанской и Воронежской областях. Но это уже предмет специального рассмотрения.

Двадцатилетний «поединок» с православием – «на уничтожение» – был проигран. Не помогла и «ежовщина». Столь успешная в других областях жизни, она оказалась здесь бессильной. Многие десятки миллионов русских людей сохраняют веру своих предков. Глубину соборности Православия подтверждает после «ежовщины» сама атеистическая литература: религия коренится в умах и сердцах людей³¹. Одновременно слышим и такое заключение: передовым отрядом мирового духовенства в борьбе с коммунизмом явилось русское духовенство³².

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Г. Леплевский. Председатель Малого Совнаркома. Воспоминания о работе В. И. Ленина в 1921 - 1922 гг. «Ленин на хозяйственном фронте» (Сборник). М. 1934, стр. 99.

² А. И. Евсеев. «Атеистическое воспитание молодежи». Лениздат, 1981, стр. 8.

- ³ А. И. Клибанов. Современное сектантство в Тамбовской области. (По материалам Института истории Академии наук СССР в 1954 г.) «Вопросы истории религии и атеизма», VIII, М., 1960, стр. 99.
- ⁴ М. М. Персиц. Отделение церкви от государства и школы от церкви. М., 1958, стр. 140.
- ⁵ Деятели Октября о религии и церкви. М., 1968, стр. 63.
- ⁶ В. И. Ленин. Сочинения, том 28, стр. 161.
- ⁷ См., например, статью В. В. Воровского, написанную той же осенью. Послание патриарха Тихона к архипастырям и пастырям церкви Российской. Указ. «Деятели Октября о религии и церкви», стр. 26-37.
- ⁸ «Подпольная церковь» (язык советской прессы) представляет и сегодня «большой бич» в преодолении религиозности, что подтверждается работами более серьезных писателей-атеистов.
- ⁹ Сам патриарх Тихон умер в 1925 году.
- ¹⁰ Против религии. М., 1929, стр. 7-8.
- ¹¹ Н. Фоминов. Против благодушия и беспечности в антирелигиозной работе. – «Большевик», № 20, 15 окт. 1937, стр. 43. Для ряда людей, от всевозможных «ответственных работников» до учителей средней школы, посещение церкви стало вещью исключенной вскоре после гражданской войны.
- ¹² № 8, август 1937 г., стр. 166-178.
- ¹³ Обновленцы, имеющие 15-20%, и григорьевцы – 5% церквей, – также «под огнем».
- ¹⁴ Данные Ярославского. – «Антирелигиозник», 1929, № 2, 1929, стр. 12.
- ¹⁵ Е. Теляковский. Церковь в настоящее время. – Ibid., 1940, № 2, стр. 23.
- ¹⁶ Указ. ст. Н. Фомина «Против благодушия и беспечности в антирелигиозной работе», стр. 43.
- ¹⁷ Ibid., стр. 37.
- ¹⁸ Ф. Олещук. Коммунизм и религия. – «Большевик», 1940, № 8, стр. 39.
- ¹⁹ З. А. Янкова. Современное православие и антиобщественная сущность его идеологии. – Вопросы истории религии и атеизма. XI. М., 1963, стр. 81.
- ²⁰ «Приокская правда», 15 июля 1961 г.
- ²¹ Указ. ст. Янковой, стр. 70.
- ²² Ibid., стр. 70. Там, где не удавалось, свидетельствует этот же источник, – молились у себя дома.
- ²³ Ф. Олещук. Коммунистическое воспитание масс и преодоление религиозных пережитков. – «Большевик», № 9, май 1939 г., стр. 41.
- ²⁴ Ю. А. Чувенков. Постановка индивидуальной работы с верующими в 1937 - 1941 гг. – Вопросы истории религии и атеизма. X. М., 1962, стр. 149.

- ²⁵ Тема, правду сказать, скользкая. К этому времени советское правительство поняло, что поощрявшееся ранее «противостояние» детей родителям – опасно по ряду последствий, начиная с усиления уголовного мира.
- ²⁶ Данное положение остается актуальным и по сегодняшний день, что подтверждается более серьезной советской литературой.
- ²⁷ №2, стр. 180-188.
- ²⁸ Указ. статья Теляковского «Церковь в настоящее время», стр. 25. Подчеркнуто мной. – К. К.
- ²⁹ Указ. статья Олещука «Коммунистическое воспитание масс...», стр. 45, подчеркнуто мной. – К. К.
Во время «оттепели» ответственность за «озлобление» верующих перелagается с троцкистов на «нарушения законности, характерные для периода культа личности Сталина». (Указ. статья Янковой, стр. 72.)
- ³⁰ Указ. статья Олещука «Коммунизм и религия» в журн. «Большевик», стр. 39.
- ³¹ Указ. статья Теляковского «Церковь в настоящее время», стр. 25.
- ³² Ф. Олещук. Коммунизм и религия. – «Антирелигиозник», 1940, №4, стр. 11. Как мировое, так и русское духовенство названы более грубым словом.

КРИПТОН Константин родился в 1902 году. Автор работ по Арктике и воздушному праву. В сороковых годах декан инженерно-экономического факультета Ленинградского института водного транспорта. На английском языке вышли книги по Северному морскому пути. На русском языке напечатаны «Осада Ленинграда» (Издательство им. Чехова, 1952) и «История советского образования и его изучения в США» (Курдюм-Пресс, 1978). Живет в США.

Западногерманская фирма грамзаписи «Шванн»
выпустила долгоиграющую пластинку

«Старинные русские романсы»

в исполнении

Анны Чернявской

и

Берлинского Симфонического Оркестра

Среди прочих такие известные романсы, как «Очи черные», «Вернись», «Цыганская баллада», «Ямщик, не гони лошадей» и др.

Пластинку можно приобрести:

Schwann-Verlag, Am Wehrhahn 100, 4000 Düsseldorf 1. Тел.: 0211/167 95 42

В издательстве «Посев» — во Франкфурте-на-Майне. Тел.: 069/34 12 65

В магазине грампластинок Ридель — Западный Берлин. Тел.: 030/882 73 95

Индекс пластинки VMS 2102

Анна Чернявская обращается ко всем любителям русских романсов, старинных и современных русских песен с просьбой помочь ей средствами в осуществлении выпуска еще 3-х долгоиграющих пластинок:

1. Старинные русские вальсы.
2. Старинные русские народные песни.
3. Современные русские песни.

Деньги переводить по адресу:

Anna Tschernjawskaia, Konto Nr. 5930938500, bei
Berliner Bank AG, BLZ 10020000, Zweck — für LP.

Искусство

Рудольф Баршай

ПАМЯТИ ДРУГА

11 июня 1987 года умер Александр Локшин – выдающийся русский композитор. 11 симфоний (на стихи Пушкина, Блока, Камюэнса, Кипплинга, Шекспира, Заболоцкого, Мартынова, греческие эпиграммы, японские стихи VII-XII вв.), одноактная опера «Маргарита» на стихи Пастернака (три сцены из «Фауста» Гёте), «Мать скорбящая» – кантата для женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра (тексты из русской православной заупокойной службы и стихи Анны Ахматовой), соната для скрипки и фортепьяно (впервые исполненная М. Юдиной и Р. Дубинским), квинтет для кларнета и струнных инструментов, «Венгерская фантазия» для скрипки с оркестром – таков неполный перечень наследия Александра Локшина. Казалось бы, не так уж много. Но в том-то и дело, что все эти сочинения – жемчужины, одна прекраснее другой. Каждое произведение выношено, выстрадано автором и доведено до совершенства. Ничего лишнего, никаких повторений. Все подчинено логике слияния формы и содержания, музыки и слова.

Мы говорим о синтезе поэзии и музыки потому, что вокально-симфонический жанр был важнейшей стороной творчества Локшина. Именно в этой сфере композитор наиболее ярко проявил свой талант. В его музыке слышится страстный голос художника, остро реагирующего на происходящее в окружающем его мире, чутко отражающего лирику тончайших душевных движений. Его сочинения – удивительный пример точности и лаконизма. Он умел одной короткой фразой, даже одним тактом передать яркую картину, сцену, а подчас и целую драму. С удивительной силой это проявилось в 7-й симфонии, сочиненной на японские стихи VII-XII вв. Эта музыка, как крепчайший экстракт, выражает всю неповторимость японских пятистиший «танка». Подобно стихам, при всей скупости художественных средств она обладает огромной образ-

ной емкостью, заключая в себе «искусство намека», «прелесть недоговоренности», столь свойственные японскому искусству.

Слушая вокальные симфонии Локшина, ловишь себя на мысли, будто эта музыка была сочинена одновременно со стихами, – так она подходит к словам. В выборе текстов Локшин был очень требователен. Будучи прекрасным знатоком поэзии, обладая феноменальной памятью и энциклопедическими знаниями, он умел находить такие стихи, которые затрагивают самые сокровенные струны человеческой души или так называемые вечные темы – темы любви, жизни и смерти, темы добра и зла.

Можно с уверенностью сказать, что философские концепции и музыка Густава Малера оказали большое влияние на творчество Локшина. Но мы не найдем никаких примеров слепого подражания. Локшин создал свой собственный, оригинальный и неповторимый стиль.

Локшин был человеком необыкновенной скромности. Довольствовался немногим, никогда не отдыхал. Работал, работал, работал. Чаще всего без надежды услышать свое творение. Писал, что называется, «в стол». Как мы знаем, не только в мрачные дни ждановской реакции надо было бороться за исполнение выдающихся произведений композиторов XX века. Мы хорошо помним, как новоназначенный министр культуры* Лебедев после известного постановления ЦК 1948 года говорил с трибуны консерваторского собрания: «Всякие Мадлеры и Хиндемнты (орфография сохранена в соответствии с произношением министра культуры. – Р. Б.) направляли развитие советской музыки». Думать тогда об исполнении симфоний Малера было просто опасно. Но и в годы хрущевской «оттепели», и много позже надо было еще сражаться за каждое появление сочинений таких композиторов, как Стравинский, Хиндемит, Шёнберг. Как известно, 4-я симфония, одно из наиболее ярких сочинений Шостаковича, ждала своего исполнения 30 лет. (Эта симфония состояла в списке особо опасных произведений, запрещенных к исполнению.)

Немалая заслуга в борьбе за исполнение новых сочинений принадлежит покойному теперь К. П. Кондрашину. Именно он добился исполнения 4-й и 13-й симфоний Шостаковича в Москве.

* Тогда это учреждение называлось «Комитет по делам искусств».

Помню, сколько душевных мук стоила Дмитрию Дмитриевичу «предыстория» исполнения его 14-й симфонии. Весна и лето 1969 года ушли у нас на бесплодные переговоры с Московской и Ленинградской филармониями. Обе категорически отказались предоставить нам свои концертные залы для исполнения новой симфонии. Но нашлись смельчаки. Вот отрывок из письма Д. Д. Шостаковича автору этих строк:

«...Сегодня утром мне позвонила из Ленинграда Наталья Ефимовна Петрова. Она является главным руководителем Зала Капеллы. Она предложила исполнить 14-ю симфонию в Капелле 25-го и 26-го сентября. Я, конечно, обрадовался этому предложению. Я дал ей Ваш адрес и телефон. Может быть, дело и наладится. Это было бы здорово.

Крепко жму руку. Ваш *Д. Шостакович*».

Для меня было большой радостью общение с такими личностями, как Шостакович и Локшин. Теперь их уже нет в живых. Не так давно Локшин писал мне:

«...Во всем остальном моя жизнь смахивает на жизнь растения. Все, что составляло радость при нашем общении, сгинуло, осталась пустыня...»

Александр Лазаревич Локшин родился в 1920 году в городе Бийске, в Сибири. Его первым исполнителем был Евгений Мравинский со своим ленинградским оркестром, находившимся во время войны в Новосибирске. Старожилы этого города рассказывают, что И. И. Соллертинский в своем вступительном слове перед концертом сказал:

– Сегодня мы присутствуем с вами при первом исполнении сочинения молодого композитора Александра Локшина, и я уверен, что сегодняшний день войдет в историю русской музыки.

Московскую консерваторию Локшин окончил по классу Н. Я. Мясковского. Его студенческой работой была оратория на стихи Бодлера «Цветы зла». Молодой автор подвергся уничтожающей критике со стороны партийных органов. Газеты писали: «Как мог молодой человек, выросший и воспитанный в советское время, обратиться к такой упадочнической теме, как поэзия Бодлера?» И молодой человек был исключен из консерватории. Много сил для его восстановления приложил Н. Я. Мясковский. Я видел записку Николая Яковлевича к Локшину: «Вчера разговаривал с секретарем партбюро А. Н.

Семеновым. Каковы ваши взаимоотношения с организацией, возглавляемой этим профессором?»

Локшин принадлежит к той категории композиторов, которые не занимаются игрой звуками или, как принято говорить, «чистым искусством». Его музыка наполнена прежде всего колоссальным психологическим содержанием. Отсюда – обращение к поэзии. Из 11 симфоний, оставленных Локшиным, десять сочинены на различные тексты. Вся беда была в том, что тексты не нравились властям. А среди его авторов были Шекспир, Пушкин, Киплинг, Блок...

Так вот – об авторах. Киплинг – «идеолог империализма». 3-я симфония Локшина для баритона, мужского хора и большого симфонического оркестра должна была исполняться в Москве в 70-х годах. За неделю до первой репетиции мне позвонил художественный руководитель Московской филармонии и сказал, что произведение снимается с исполнения по идеологическим причинам. Апеллируя к музыкальным чувствам художественного руководителя, я призвал его послушать симфонию в авторском исполнении на рояле. И вот мы вдвоем отправились к А. Л. Локшину. К чести моего начальника, должен сказать, что симфония произвела на него огромное впечатление. Он понял, что это крупное явление в музыкальной жизни. Но вот идеология...

– У меня есть к вам предложение, – сказал начальник. – Давайте закажем новый перевод стихов любому советскому автору – называйте, кого хотите, – и забудем о Киплинге. Только два условия: вместо Индии будет Вьетнам, а вместо английских солдат – американские. И я гарантирую вам Ленинскую премию.

– Я знал, что вы найдете непреодолимое препятствие, – был ответ Локшина.

1-я симфония – Реквием – сочинена в 1957 году на канонический латинский текст. Само по себе обращение к латинскому тексту – явление обычное. И Реквием Моцарта, и Missa Solemnis Бетховена, да и огромное множество других сочинений подобного рода написаны на латинские тексты. Но советскому композитору пришлось долго помыкаться со своим детищем. «Знаешь, Шура, мы ведь с Боженькой на Вы, – сказал автору генеральный секретарь Союза композиторов и дал совет, схожий с предложением руководителя филармонии по поводу Киплинга. – Измени текст, и тогда все будет в порядке».

Д. Д. Шостакович говорил тогда Локшину: «Ни в коем случае не сдавайтесь». Прошло 30 лет, а сочинение до сих пор не исполнено в России.

5-я симфония – сонеты Шекспира в переводе Пастернака – прошла сравнительно легкий цензорский экзамен. По поводу 66-го сонета («Измучен всем, я умереть хочу») цензор строго спросил:

– Это что, намек?

– Нет, – скромно ответил Локшин. – Во-первых, это было в давние времена, 300 лет назад, а во-вторых, в Англии.

– Ну, если в Англии, – сказал цензор, – то можно.

Так что эта симфония увидела свет на родине и была записана на пластинки. Еще повезло 7-й симфонии на японские стихи. Записаны также «Песенки Маргариты» – сцена из «Фауста» Гёте в переводе Пастернака – и 10-я симфония на стихи Заболоцкого. Эти записи произведены Московским камерным оркестром, солисты: Людмила Соколенко, Нина Григорьева, Ян Кратов; хор студентов консерватории.

Судьба Шестой симфонии во многом схожа с судьбой Третьей. Тоже было назначено исполнение. Солист и хор выучили произведение. Но за несколько дней до первой репетиции руководитель хора был вызван к высокому партийному начальству и подвергся разносу. Грозный вельможа кричал, что он сошел с ума – заставлять хористов петь такие «кошмарные стихи». А стихи принадлежали Александру Блоку («Приближается звук...», «К Музе» [«Есть в напевах твоих сокровенных...»], «Сквозь серый дым от краю и до краю...», «Старинные розы несусь, одиночек...», «Голос из хора», «Похоронят, заруют глубоко...»). Дальше перепуганному хормейстеру были высказаны угрозы исключения из партии и изгнания из Москвы.

Единственная симфония Локшина не знала трудностей – 4-я, по вполне понятной причине: она написана без слов. Эта симфония, а также Пятая неоднократно исполнялись в Англии оркестром Би-Би-Си и Борнмутским симфоническим оркестром и имели большой успех. Вокальную партию в 5-й симфонии прекрасно пел солист Ковент-Гардена Томас Аллен. Я руководил оркестром. В Лондоне оркестром Би-Би-Си под управлением Геннадия Рождественского с большим успехом была исполнена также 3-я симфония.

Из произведений последнего периода следует отметить кантату «Мать скорбящая». В ней использованы четыре стихотворения Анны Ахматовой из «Реквиема» и тексты из русской православной заупокойной службы. Это Реквием по всем, замученным живьем. Вряд ли можно теперь ожидать исполнения этого сочинения в России (а где же еще?!). Но нужно надеяться, что время его, как и других прекрасных сочинений Локшина, еще придет, и русская публика с благоговением почтит память своего выдающегося композитора.

Июнь 1987

Вышла в свет книга Анатолия Ведрицкого **«Происхождение и развитие человечества»** (180 стр.), в которой раскрыта реальность сотворения человечества наиболее совершенным существом во Вселенной (Богом) и Его косвенное влияние на развитие человечества в прошлом, настоящем и будущем времени, а также предопределённая роль в этом евреев.

Заказы направлять:
Ведрицкий, POB 28065, Тель-Авив.

Литература и время

Борис П а р а м о н о в

ЧЕВЕНГУР И ОКРЕСТНОСТИ

1

При всей его, так сказать, эзотерической популярности, «Чевенгур» остается произведением непонятым, непонятным. Может быть, поэтому и пишут о нем мало. Михаил Геллер, автор единственной пока в эмиграции книги о Платонове, посвятил в ней роману объемистую (70 стр.) главу под названием «Соблазн утопии». Это название – самое правильное из того, что ему удалось сказать о «Чевенгуре». Но характер утопии остался неразъясненным. Чувствуя, что заветным словом «марксизм» здесь ничего не откроешь, Геллер пошел на микроуровень – стал расслаивать силы, действовавшие в революции, искать ее имманентный конфликт, вне «борьбы классов». Получилась микро-, но всё же социология: у Геллера содержанием вещи предстала конфронтация «апостольского» и «церковного» коммунизма, борьба «большевиков» (уезд) против «коммунистов» (столица). Героями «Чевенгура» оказались у Геллера коммунисты-идеалисты, не принимающие ни огосударствления революции, ни нэповского ее перерождения: вариант «Вора» и, конечно же, «Красного дерева», какое недаром вспомнил Геллер. «Гальванизированная воронщина», как называлась одна из статей 29-го года о Платонове (Воронский считался троцкистом). Но моделировать «Чевенгур» по «Красному дереву» значит подвергать его прокрустовой процедуре усечения.

Геллер вспомнил Город Солнца, Мюнстерскую коммуну, средневековых хилиастов, даже процитировал статью С. Л. Франка «Ересь утопизма», причем, надо сказать, нашел наиболее идущую к делу цитату. Но смысл утопии все-таки ускользнул от его анализов. Ошибка Геллера видится мне в том, что он завысил (или, может быть, занизил?) первоначально необходимый методологический уровень исследова-

ния: он идеологизирует и социологизирует роман, а нужно начать с *психологии* как самого Платонова, так и его героев. Если идти отсюда, то вещь в конце концов предстанет поразительно ясной: «Чевенгур» – это *гностическая утопия на подкладке гомосексуальной психологии*.

2

Одна из ошибок Геллера: он ищет «хронотопы» романа, чтобы дать его социологическую привязку, обнаружить нэп, Кронштадт, антоновщину и сходные знакомые сюжеты, позволяющие увидеть в романе конфликт анархической («анархо-коммунистической») души против «государственно-го» социализма (так сказать, Бакунин против «кнуто-германской империи» Маркса). На самом деле в «Чевенгуре» нет ни времени, ни места. Места – по определению: ведь известно же, что «утопия» означает «место, которого нет». А время «Чевенгура» – это время *сновидения*, то есть отсутствие времени. «Чевенгур» построен так, как строятся, по Фрейду, сны; собственно, любое произведение искусства имеет сновиденческую структуру, – но в «Чевенгуре» как бы обнажен прием построения сновидений. Вот почему, строго говоря, книга эта – скучновата: сны интересно видеть, но не слушать рассказы о них. Сны приобретают связный смысл, когда мы научаемся расшифровывать их. Дальнейшее будет попыткой такой расшифровки.

Иосиф Бродский в нередких у него высказываниях о Платонове говорит о духе утопии как *конце*, *крае*; «рай» оказывается одного корня с «краем» (и ад – тоже). «Дальше ехать некуда, дальше ряд звезд, и они горят».

Итак, рай – край – конец – ад суть определения чевенгурского коммунизма. Платоновские герои не знают слова «эсхатология», но слово «конец», тождественное слову «коммунизм», не сходит у них с языка.

«– Чевенгур от Новоселовска недалеко? – спросил Дванов.

– Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец.

– Чему ж конец-то? – недоверчиво спрашивал Гопнер.

– Да всей всемирной истории – на что она нам нужна?»

Разговор о кооперации («ленинский путь к социализму») прерывается следующим образом:

«— Какая кооперация? Какой тебе путь, когда мы дошли... Теперь, братец ты мой, путей нету — люди доехали.

— Куда? — покорно спросил Алексей Алексеевич, утрачивая кооперативную надежду в сердце.

— Как куда? — в коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?

— Нет, товарищ Чепурный.

— А вот надо читать, дорогой товарищ: история уж кончилась, а ты и не заметил».

Когда Симон Сербинов является в Чевенгур из Москвы и спрашивает, где тут исполнительный комитет, ему отвечают, что такового нет, потому что все уже исполнено.

Еще о том же:

«Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, — время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска».

Запомним сразу же противопоставление чевенгурской сюрреальности — природе, этот мотив первостепенно значим в романе. Если природа — изначально *данное* бытие — подменяется «историей» как *заданностью*, идеальной (конечной!) целью, если осознается их принципиальная противоположность, то «конец» и «цель» будут не чем иным, как *уничтожением* природной данности. Ничто — логический предел этого движения. Единственный чевенгурец, не потерявший здравого смысла (мы потом поймем, почему), Прокофий Дванов говорит: «...Чепурный хочет, чтобы сразу ничего не осталось и наступил конец, лишь бы тот конец был коммунизмом». Но коммунизм и будет «концом», поскольку в нем нет ничего, кроме отрицания извечных определений бытия, отрицания «природы». Это морализм (установка на заданность, на должное), тождественный нигилизму, — уравнение, которое Ницше считал изобретением христианства (подробности позднее).

После этого нетрудно уже понять, что коммунистическая эсхатология «Чевенгура» — не что иное, как проекция на социально-историческое поле традиционных представлений о рае, о потустороннем бытии. Смерть, рай, коммунизм — все тот же чевенгурский комплекс. Отсюда — одна из важнейших фраз или, если угодно, формул романа:

«Чепурного... коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, —

так же, как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света».

В эсхатологическом сознании героев Платонова смерть – или конец истории – вызывает представление не о небытии, а о тотальном преображении бытия. Чевенгурцы жаждут нового неба и новой земли – как петербургские символисты (связь далеко не случайная). И это буквально, в терминах биотехнической революции: «Земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет... небо станет голубей и прозрачней». В коммунизме исчезнет труд, и это настолько воодушевляет, что даже высказывается стихами («Буржуев нет, так будет труд – опять у мужика гужа на шее... Долой земные бедные труды, земля задаром даст нам пропитанье»). В чевенгурской коммуне уже не работают, здесь осуществлено «моментальное пришествие социализма». Скотине, от векового угнетения отставшей от человека, человеком тоже быть охота – мотив, подхваченный Заболоцким в его «зверином» цикле (надо думать – от Циолковского, с которым он состоял в переписке). «В Чевенгуре человек не трудится и не болеет, а все налоги и повинности несет солнце», – таков сон, приснившийся в смертном сне коммунизма. Важнейшая причина ликвидации труда в Чевенгуре: «...труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество – угнетению», – еще один чевенгурский комплекс, анализ которого дадим ниже. В коммунизм «курица сама должна прийти». Еще одна формула:

«– Теперь жди любого блага, – объяснял всем Чепурный. – Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отжившие дети, – коммунизм дело не шуточное, он же светопреставление».

Таким образом, коммунизм у чевенгурцев – событие не в истории происходящее, а в космосе, это *космическая фантазия*, что есть важнейший признак утопического мышления вообще. Об этом и писал С. Л. Франк в «Ереси утопизма». Имеет ли к этому отношение марксизм? Да, поскольку он вдохновляется эсхатологическим мифом о конце истории, о прыжке из царства необходимости в царство свободы – поскольку он чужд «реализму» захватившей власть марксистской партии. И если мы скажем, что «утопия у власти» сама

себя опровергает – как говорит это М. Геллер, – то этим еще не охватывается процесс активной борьбы власти с утопией – и пассивного сопротивления утопии. Вот этот последний процесс и нашел, между прочим, отражение в романе «Чевенгур»: фантазия вымирающего «большевика-ленинца» – так называли себя троцкисты, люди, оттертые от власти, от «реального социализма». Конечно, в этом смысле «Чевенгур» – книга «троцкистская», ибо она если и не сохраняет, то описывает идеализм утопического сознания. Вот и всё, что следует сказать об «апостольском» и «церковном» периодах коммунизма, то есть о социологии романа. Но на этом проблематика романа, как мы уже говорили, далеко не заканчивается.

3

Неортодоксальность чевенгурского марксизма хорошо видна в отношении платоновских коммунаров к тому, что называется экономическим базисом общества. Давно уже была замечена буржуазность самого марксизма – центрированность его на материальной стороне (общественного) бытия. Бердяев писал, что экономический материализм – это не выдумка, не миф, а трезвое описание той эпохи человечества, когда оно повернулось к богатству, к деньгам, к «материи»; но тогда и марксизм – не что иное, как истина этой буржуазной эпохи. «Социализм – это истина буржуазности»: он не борется с материалистической ориентированностью сознания, но озабочивается лишь правильным, справедливым распределением материального богатства. Ничего подобного мы не встретим в «Чевенгуре».

Одна из важнейших смысловых оппозиций романа – «товарищество» против «имущества». Имущество – конденсация мирового зла, имущество – это то, что необходимо сжечь; чевенгурцы стреляют из пулеметов в узлы с барахлом высылаемых «полубуржуев» – и эта сцена сильнее и выразительнее сцены расстрела, она дает какой-то более емкий символ Чевенгура.

«И сразу же взор его завлакивался воодушевлением, он мог бы с убеждением сжечь всё недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища».

«У японца денег не было и быть не могло – в Чевенгуре не имелось бюджета, на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на

здоровых основах самокупаемости; жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека».

«Чекист понял и заволновался: с пульей внутри, буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули – любили одно имущество».

Жеев пишет «символ Чевенгура»:

«Товарищи бедные! Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и желаете лучшего друг другу. Ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с прохожих дорог.

Чепурный одобрил символ первым:

– Верно, – сказал он, – и я то же чувствовал: имущество ведь одна только текущая польза, а товарищи – необходимость, без них ничего не победишь и сам стервой станешь».

Но вот еще более выразительная формула:

«Чепурный почувствовал, что взамен степи, домов, пищи и одежды, которые приобрели для себя буржуи, пролетарии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку надо что-нибудь иметь: когда между людьми находится имущество, то они спокойно тратят силу на заботу о том имуществе, а когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и хранить один другого от холода во сне».

Мы здесь снова встречаемся с напряженным морализмом чевенгурцев, с установкой на должное, с проективным сознанием, отвергающим всякую мировую данность – уже не только природную, но и социальную. Заметим, что в этих формулах «буржуазия» легко подменяет «природу»: чевенгурец одинаково враждебен любой материи – как природной, так и социальной. Вот еще одна из этих формул:

«...сам для себя Чепурный открыл одну успокоительную тайну, что пролетариат не любит вид природы, а уничтожает ее посредством труда, – это буржуазия живет для природы: и размножается, – а рабочий человек живет для товарищей: и делает революцию... Быть может, они, эти пролетарии и прочие, служили друг для друга единственным имуществом и достоянием жизни, вот почему они так бережно глядели один на другого, плохо замечая Чевенгур, и тщательно охраняя товарищей от мух, как буржуазия хранила собственные дома и скотину».

Снова и снова этот морализм оборачивается всё тем же нигилизмом: голый человек на голой земле, как люби-

ли говорить в начале века; но у Платонова сказано еще лучше:

«...лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга...»

В этом «голом порядке» совершается еще одна подмена: «буржуазия» равна не только «природе», но и женщине; «баба» – опять же *данность*, косная материальная сила, для которой закрыта воодушевляющая, поднимающая от земли перспектива долженствования. «Разве бабы понимают товарищество: они весь коммунизм деревянными пилами на мелкобуржуазные части распилят!»; «у моей бабы на пуд живого мяса – пять пудов мелкобуржуазной идеологии. Вот контровес какой висит!» В Чевенгуре существует лишь одна пара, связанная привычными «природными» отношениями: Прокофий Дванов и Клавдюша, наделенная автором отвратной фамилией Клобзд; и эта пара как раз и занимается приобретением имущества. Нельзя было более ясно провести знак равенства между женщиной и «буржуазной» имущественной стихией, с одной стороны, и между нищетой, голизной – и «товариществом», с другой стороны. Общий знаменатель здесь, как и во всех других формулах «Чевенгура», – отвращение к данности, к естественному порядку.

«...Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее, но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое; для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события. Из таких предчувствий Чепурный готов был приветствовать в Чевенгуре всякую женщину, лицо которой омрачено грустью бедности и старостью труда, – тогда эта женщина пригодна лишь для товарищества и не составляет разницы внутри угнетенной массы, а, стало быть, не привлекает разлагающей любознательности одиноких большевиков. Чепурный признавал пока что только классовую ласку, отнюдь не женскую; классовую же ласку Чепурный чувствовал, как близкое увлечение пролетарским однородным человеком, – тогда как буржуа и женские признаки женщины создала природа, помимо сил пролетария и большевика. Отсюда же Чепурный, скупно заботясь о целостности и сохранности советского Чевенгура, считал полезным и тот

косвенный факт, что город расположен в ровной скучной степи, небо над Чевенгуром тоже похоже на степь – и нигде не заметно красивых природных сил, отвлекающих людей от коммунизма и от уединенного интереса друг к другу».

Итак, женщина – естественный, в самом прямом смысле этого слова, противовес («контровес») коммунизму – «голому порядку товарищества». Это видно на примере всё той же Клавдюши:

«...японец втайне не верил, что Клавдюша может ходить на двор и иметь страсть к размножению, – слишком он уважал ее за товарищеское утешение всех одиноких коммунистов в Чевенгуре; а она взяла и легла с Прокофием в бурьян, а между тем весь город притаился в ожидании коммунизма и самому Чепурному от грусти потребовалась дружба; если б он мог сейчас обнять Клавдюшу, он бы свободно подождал потом коммунизма еще двое-трое суток...»

Наиболее «алгебраичен» из чевенгурцев в своих формулировках Копёнкин – бедный рыцарь Розы Люксембург, заведомо мертвой и, следовательно, бесполой: врагов и женщин я буду косить, как бурьян!

4

Фрейд говорил, что существуют открытия (он имел в виду Эдипов комплекс), которые как-то неудобно делать и заявлять: настолько соответствующие факты лежат на поверхности. Все видят – и никто не замечает. Так и с «Чевенгуром», с гомосексуальными темами в нем. М. Геллер, конечно, заметил соответствующий мотив у Платонова (в «Епифанских шлюзах», к примеру), но не решился положить это наблюдение в основу анализа «Чевенгура». Однако это совершенно необходимо, без этого роман непонятен. Нас, конечно, не сексуальная ориентация Платонова сама по себе должна интересовать, но его мировоззрение – угол, под которым он видит жизнь. Этот угол был у него очень острым. Или скажем так: индивидуальные особенности Платонова позволили ему лучше, чем другим, прозреть сокровенный смысл коммунизма.

Тема «товарищество против имущества», как мы уже видели, естественно трансформируется в тему «мужчины против женщин». Женщина – «буржуазна», это натуральный, стигматизированный враг коммунизма – искомого, желаемого, долженст-

вующего быть состояния мира. «Буржуазен» сам мир, горы и звезды. Поэтому горы нужно скрыть, а на звезды направить ракеты Циолковского. Волевой активизм как «мужское» начало – абстракция одной из сторон бытия, он не полон, а значит, нежизнен. В коммунизме – в его архетипическом образе, данном в «Чевенгуре», – не происходит любовно-брачного соединения с бытием, с природой, с женщиной. Чевенгурский, коммунистический «гомосексуализм» – манифестация безлюбости, пустоты, смерти. Ненавистнейшее слово в Чевенгуре – «размножение»: образ плодотворящей силы, богатства, преизбыточествующей полноты бытия.

Поэтому «товарищество» – законный заменитель «имущества» и «жены». Читатель может подумать, что тут речь идет о классовой солидарности пролетариев в их совместной борьбе с крупным и мелким капиталом, – читая такой, например, отрывок:

«Раньше товарищи были дороги от горя, они были нужны для тепла во время сна и холода в степи, для взаимной страховки по добыче пищи – один не достанет, другой принесет, – товарищи были хороши, наконец, для того, чтобы иметь их всегда рядом, если не имеешь ни жены, ни имущества и не с кем удовлетворить и расходовать постоянно скапливающуюся душу», –

однако главное слово здесь – «раньше»: солидарность была этическим прибавлением, нравственным плюсом к наличной данности, поскольку в этой данности были и «жены», и кое-какое «имущество» – если не у героев «Чевенгура», то в российских уездах. Теперь же, в Чевенгуре, этически предпочтительное делается единственным содержанием жизни – здесь торжествует чистая этика, установка на должное. Рубеж между раньше и теперь – революция, от которой чевенгурец ждет тотального преобразования бытия, полного растворения его в долженствовании. Но при этом оказывается, что революция направлена главным образом – на женщин:

«Прочий, по прозвищу Карпий, сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: 'Я хочу семейства: любая гадина на своем семени держится и живет покойно, а я живу ни на чем – нечаянно. Что за пропасть такая подо мной!'»

Старая нищенка Агапка тоже пригорюнилась:

– Возьми меня, Карпий, – сказала она, – я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б тебе и щи варила. Хоть и чудно, а хорошо быть бабой, – жить себе в заботах, как в орехках, и горюшка будет мало,

сама себе станешь незаметной! А то живешь тут, и все как сама перед собой торчишь!

– Ты хамка, – сказал Карпий Агапке. – Я люблю женщин дальних.

– А помнишь, ты одна грелся со мной, – напомнила Агапка, – небось тогда я тебе дальней была, что в большое нутро поближе лез!

Карпий от правды не отказывался, он лишь поправил время события:

– То было до революции».

Необходимо понять один психологический поворот в «Чевенгуре»: естественные отношения бытия отменяются здесь не потому, что чевенгурцы – жертва утопического сознания, а как раз наоборот: утопия овладела ими потому, что они изначально возненавидели эти естественные отношения. Революция – только мотивировка для этого изначального жизнененавистничества.

Чтобы не было сомнений в эмпирической, так сказать, истинности того, что я говорю, – приведу следующий, недвусмысленный для психоаналитической трактовки отрывок:

«Он вспомнил однажды своего старшего брата, который каждый вечер уходил со двора к своей барышне, а младшие братья оставались одни в хате и скучали без него; тогда их утешал Копёнкин и они тоже постепенно утешались между собой, потому что это им было необходимо. Теперь Копёнкин тоже равнодушен к Чевенгуру и хочет уехать к своей барышне – Розе Люксембург, а чевенгурцы не имеют барышни и им придется остаться одним и утешаться между собой».

Не следует, конечно, эту тему брать в чистой ее эмпирике. Нас интересует коллективная утопия, а не индивидуальная психология. Но эту утопию нельзя правильно понять, если не увидеть в ней основного психологического импульса: ненависти к бытию, тяготения к смерти – объясняемых некоей элементарной извращенностью. Платонов сумел разглядеть смертолюбие коммунизма задолго до Шафаревича, потому что он в себе самом носил готовую модель революции и коммунизма: отвращение от «женщины», от мировой природной данности. Это гностическая установка, но, по-видимому, она особенно легко, «естественно» порождается тем особым психологическим складом, о котором мы здесь говорим.

Зададимся простым вопросом: может ли в фантазии «нормального мужчины» родиться сцена, подобная сцене привода «жен» в Чевенгур Прокофием Двановым – «жен», которых в

конце концов разобрали на сестер и матерей. Кажется, в этом случае только один Кирей ушел от коммунизма в «срам брака»:

«Яков Титыч подошел к выбранной им женщине и потрогал ее за лицо – ему подумалось, что она похожа снаружи на него.

– Чья ты? – спросил он. – Ты чем живешь на свете?

Женщина наклонила от него свою голову. Яков Титыч увидел ее шею ниже затылка – там шла глубокая впадина и в ней водилась грязь бесприютности, а вся ее голова, когда женщина опять подняла ее, робко держалась на шее, точно на засыхающем стебле.

– Чья же ты такая скудная?

– Ничья, – ответила женщина и, нахмурившись, стала перебирать пальцы, – отчужденная от Якова Титыча.

– Пойдем ко двору, я тебе грязь из-за шеи и коросту соскребу, – еще раз сказал Яков Титыч».

В этой сцене – инстинктивное отвращение, компенсируемое «христианским» милосердием. Возьмем другую сцену – единственную, в которой действие переносится за пределы чевенгурского небытия, во вроде бы реальную Москву. Делается попытка описать «роман» Симона Сербинова с покинутой идеалистом Двановым Соней. Тут характерны такие фразы: «В тот час, когда Сербинов с тщательностью чистил зубы, освобождая рот от нагноения для поцелуев, или когда ел ветчину – его мать умерла». И Сербинов овладевает Соней – на кладбище, на могиле матери.

Было замечено – а пожалуй, подчеркнуто самим автором, – что, кроме Саши Дванова – предполагаемого Христа, – в Чевенгуре одиннадцать коммунистов. Начались поиски двенадцатого – Иуды, и М. Геллер предложил московского бюрократа Симона Сербинова. Я бы выдвинул другую кандидатуру на роль чевенгурского Иуды: всё ту же Клавдюшу Клобзд – женщину, приобретательницу имущества, буржуйку. «Иудой» она предстает на метафизическом уровне романа; оговоримся, впрочем: весь «Чевенгур» – на метафизическом уровне. Это не реализм и уж, конечно, не сатира. Строго говоря, при любой попытке спроецировать «Чевенгур» на эмпирическое поле Клавдюша окажется единственным «положительным» персонажем романа – именно потому, что она живая и живет элементарными инстинктами «размножения». Но Платонов понимает, что и всякий пролетарий – эмпирический, а не метафизический – глядит туда же. Недаром в Чевенгуре говорят:

«Отчего у нас всё правильно, буржуев нет, кругом солидарность и справедливость, а пролетарий тоскует и жениться захотел?»

5

Нам нужно теперь проследить, как отразилось в «Чевенгуре» пресловутое «федоровство» Платонова, точнее – посмотреть на самого Федорова еще раз в связи с этим. М. Геллер написал, что в «Чевенгуре» столкнулись две утопии, одна плохая – коммунистическая, к гибели ведущая, а вторая – противоположная ей: утопия всеобщего воскрешения, федоровская. Саша Дванов – Христос, потому что в коммунистический Чевенгур он принес благу весть о воскрешении.

Противопоставить Федорова если не Марксу, то «реальному социализму» тем более соблазнительно, что после Шафаревича трудно не заметить коммунистического смертолюбия. Но Федорова наши специалисты по Платонову читали всё же невнимательно – хотя он издан даже в Советском Союзе. Начнем с того, что Марксу его противопоставлять действительно не стоит: федоровщина – теологизированный вариант марксизма как идеологии исторического активизма и, конкретнее, технической экспансии человечества. Философия XIX века, перешедшая в практику XX-го, – «борьба с природой», с мировой данностью. Общая философская установка Федорова и Маркса – прагматизм, построение «второй вселенной»: истина не существует, а строится деятельностью человека. В этой установке Федоров – мыслитель, так сказать, совершенно трезвый, он совпадает с главной линией современного мировоззрения почти без затора. Затор – его безумная идея всеобщего воскрешения. Самое интересное, что логикой его мировоззрения она совсем не требуется. Значит, мы снова должны уйти в психологию.

Психология Н. Ф. Федорова не представляет загадки. Основной ее мотив – не безотцовщина, как хотелось бы думать (и из которой Платонов извлек своих «прочих»), а мизогиния, ненависть к женщинам. Это и было исходным толчком к построению утопии. Несколько формул из Федорова: «От супружества и рождения к соединению в общей любви ко всем родителям»; «Прогресс брака состоит в постоянном уменьшении чувственной любви и в увеличении деятельности»; «...должно наступить время, когда сознание и действие заме-

нят рождение». По Федорову, вся современная цивилизация порождена пленением мира у женщин. В статье о всемирной выставке 1889 года Федоров построил настоящую культурологию современной цивилизации, выводя ее из господства женщин как некоего прафеномена. С женщиной Федоров связывает порабощение людей материальными стихиями, что выражено всем стилем расслабляющей городской культуры, – и эта порабощенность, по Федорову, и есть в конечном своем пределе – смерть.

Стоит, однако, задуматься над тем, действительно ли ненависть к смерти, борьба со смертью суть основной мотив у Федорова. Не наоборот ли? не плененность ли его мысли, всей его личности смертью должно отметить в первую очередь? Не забудем, что Федоров предлагал, например, сделать кладбища центрами общественной жизни:

«Для спасения кладбищ нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести на кладбище, т. е. сделать местом собрания и безвозмездного попечения той части города или вообще местности, которая на нем хоронит своих умерших... Смотреть на землю как на жилище, а не как на кладбище, значит прилепиться к жене и забыть отцов. (...) Перенести школы к могилам отцов, к их общему памятнику, музею, значит пересоздать школы; в этом царстве смерти и тления нет места для сознания мнимого достоинства, внушаемого нынешней школой; пред общим сходством, смертностью, и огромное несходство в уме и познании не будет казаться превосходством».

Итак, смотреть на землю как на жилище, а не как на кладбище – значит прилепиться к жене и забыть отцов: вот универсальная формула федоровского мировоззрения – нет, федоровской психологии. Оппозиция коррелятивных пар исключительно ясна: «жена – жилище» против «отец – кладбище». Воскрешение предков – дело сомнительное и во всяком случае отдаленное, – а вот отлепиться от жен Федоров призывает уже сейчас. Это не вульгаризация темы – это необходимая ее психологизация. Неизбежный результат такой переориентации предельно ясен: понижение бытия, уменьшение его чисто количественное. В пределе – это и есть смерть. Влечет Федорова – смерть, а не воскрешение. Поэтому коммунизму – как социально мобилизованному инстинкту смерти – противопоставлять Федорова не стоит.

Платонов это понял лучше своих исследователей. В романе «Совет социального человечества Чевенгурского освобожденного района» помещается на кладбище. Платонов обнажает в федоровщине – некрофилию, воскрешение у него (в «Чевенгуре» – всегда) предстает как раскапывание могил. Федоровская философия технической экспансии человечества нашла у инженера Платонова свою психологическую подоснову. Чевенгурцы спят на полу – чтобы быть ближе к земле: к могиле. Но мотив смерти, тяготения к смерти дан в «Чевенгуре» в федоровском опосредовании. Важнейший здесь образ – Копёнкин со своей Розой Люксембург. «У вас вместо невест – могилы», – говорит чевенгурцам проходящая цыганка. Это подлинная оценка Федорова Платоновым (пусть и бессознательная, что прибавляет подлинности). Можно даже сказать, что «Чевенгур» написан не столько как отклик художника на реальный коммунизм, сколько в качестве художественной экспликации федоровских идей. То, что федоровщина совпала с чистой идеей коммунизма, с идеальной его моделью, – убеждает в тождественности обоих явлений. Тождественность эта – психологического порядка. Не будем настаивать на гомосексуализме, каковой есть, в любом случае, характеристика личности, а не идеи; назовем этот общий психологический корень – *ненавистью к бытию*; идейно-исторически она проявилась в *гностическом бунте*.

6

Влияние Федорова на русскую мысль, на русское творчество колоссально. Так или иначе он воздействовал на всех – и на Толстого с Достоевским, и на Соловьева с Бердяевым, и даже на Горького с Маяковским. Федоров проявил и мощно выразил гностические интенции русской души. Поэтому Федорова можно обнаружить даже там, где вроде бы его быть не должно, – в «Докторе Живаго», например. У Пастернака опосредование – через «Крейцерову сонату» и статью Владимира Соловьева «Смысл любви». Поговорим о последней.

Соловьев трактует земную, половую любовь как луч и отблеск любви «софийной» – любви Бога к твари, вызываемой Им из небытия Божественной потребностью в «другом». София – Премудрость Божия – идеальный образ творения, его Божественный проект, всемогуществом Бога актуализиро-

ванный. В церковных кругах соловьевскую софиологию (христианизированный платонизм, по Бердяеву) сочли ересью. Всячески имитирующий ортодоксальность, но на редкость культурно усложненный, тонкий, изысканный автор – прот. Г. Флоровский («Пути русского богословия») пишет о «Смысле любви» и сопутствующих произведениях Соловьева: «какой-то жуткий оккультный проект», «эротический и магический сдвиг», «деятельный магизм». Всё это потому, что Флоровский увидел в «Смысле любви» влияние Федорова. Вообще Флоровский знал Федорову настоящую цену и резко его отвергал. Основной федоровский мотив в «Смысле любви» – отвержение от пола, ненависть к плоти. Отсюда – установка на утопию, формулу которой Соловьев нашел у Федорова. «Наше перерождение неразрывно связано с перерождением вселенной, с преобразованием ее форм пространства и времени». Это гностицизм чистой воды. «Сила (...) духовно-телесного творчества в человеке есть только превращение или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов». Это уже федоровский гностический вариант, и Соловьев действительно, в пятой статье «Смысла любви», заговаривает о воскрешении предков. Гностический утопизм Соловьева умеряется всё же как раз его софиологией – представлением о предсуществовании идеального плана мира; задача человечества в этом случае – только восстановление мира в Божьем образе, а не насильственное стяжание совершенства (отсюда пойдет о. С. Булгаков). Но и Соловьеву не был чужд федоровский *проективизм*, попытка свести небо на землю. Недаром тогда же, в эпоху «Смысла любви», он сделал нечто совсем уж неподобающее: расхвалил дубиноголовую эстетику Чернышевского – за это вот отвержение идеальных содержаний человеческой деятельности, за критику и преодоление «эстетического сепаратизма» (термин самого Соловьева). У символистов позднее это стало называться теургией; и недаром они – всем скопом – приветствовали большевистскую революцию, – ибо была в символизме всё та же гностическая установка.

Розанов сказал о Соловьеве: это был непризнанный король среди валетов и шестерок нигилизма.

Здесь важно вспомнить об одной из идей нравственной философии Соловьева: о понимании им *стыда* как одного из

базовых элементов нравственности. Совесть – модифицированный стыд. В стыде (специфической эмоции, связанной с полом) Соловьев видит доказательство сверхживотной – сверхприродной – сущности человека. Психологическая важность этой трактовки очевидна: всё то же неприятие бытия в его природной эмпирике, отвращение от данности, нелюбовь к элементарным содержаниям жизни. Гностический уклон еще раз обнаруживает свою связь с (индивидуальной) психикой – с определенным поворотом этой психики.

7

Нет лучшего подтверждения вышесказанному, чем пример Н. А. Бердяева, написавшего наиболее значительный в России (если не считать самой «Философии общего дела») гностический текст – книгу «Смысл творчества». В гностицизме Бердяева следует видеть и причину его таинственного романа с марксизмом и большевистской революцией – сюжет, соблазнивший многих. Этот соблазн перестанет действовать, как только мы доберемся до психологической подоплеки бердяевских парадоксов. Несомненно, Бердяев был «подпольным» человеком. «Подполье» Бердяева, делающее его философию столь капризной и неустойчивой в ее оценках, это подполье – несомненно, гомосексуализм. Доказывать это я не собираюсь, ибо не считаю сказанное вменением вины, – это просто констатация факта, абсолютно ясного всем знающим психоанализ*.

Итак, «Смысл творчества» – важнейшая у Бердяева книга, впервые адекватно формулировавшая его исходную философскую интуицию, как неоднократно подчеркивал это сам автор. Нам не нужно сейчас оценивать по существу бердяевскую концепцию творчества – мы должны лишь обнаружить специфичность этой его концепции и в то же время – символический ее характер, выходящий за рамки непосредственно сказанного. По этому поводу следует сказать следующее. В концепции творчества, «мировую эпоху» которого Бердяев противопоставил эпохам закона и искупления, сказалось то укло-

* Сомневающиеся могут, впрочем, заглянуть в 4-й выпуск сборника «Память», где опубликована переписка Бердяева с его будущей женой Лидией Рапп.

нение мысли Бердяева, которое о. С. Булгаков назвал *человекобожием*. Основной порыв Бердяева – прометеевский, титанический, стремящийся к узурпации Божественных прерогатив, среди которых творчество – Божественное творчество из ничего! – самая главная. Бердяев хочет такой же дар усвоить человеку; вернее, слово «дар» как раз сюда и не подходит – речь у него идет об узурпации, присвоении не данной человеку автономии, о похищении огня с неба. Факт творчества – творчества человека – неоспорим в мире, говорит Бердяев; но всякое творчество есть творчество из ничего, и в этом смысле оно божественно. Историческое христианство, религия искупления, отягощено и придавлено прежней эпохой законничества и греха, поэтому в нем не был раскрыт до сих пор божественный характер человеческого творчества, истина о человеке как творце, – в христианстве не было антропологического открытия. И Бердяев сам выступает с таким откровением, трактуя творчество как важнейшую онтологическую реальность. Скажем так: у Бердяева творчество выше бытия, потому что бытие фактично, а творчество проективно. Это федоровская установка. И совсем уже по-федоровски звучит важнейшая, пожалуй, глава «Смысла творчества» (8-я): «Творчество и пол. Мужское и женское. Род и личность».

Бердяеву, как и инспиратору его Федорову, ненавистна стихия родовой жизни, осуществляемой через пол. Половая жизнь противоположна творчеству, исключает творчество, говорит Бердяев. Человек, подчиненный стихии пола, бессилен направить свою энергию на то, что Бердяев весьма туманно называет «творческим половым актом». Нужно понять, однако, что речь у него идет отнюдь не о том – или не только о том, – что получило название сублимации половой энергии. Бердяева, вслед за Федоровым, тянет к некоему магизму – что, собственно, и есть, в его контексте, «творчество из ничего». Им владеет мечта о «новом небе и новой земле» – онтологическом перевороте, достигаемом активностью человека. Пол у Бердяева – ловушка для человека, направляющая творческую энергию на родовые цели, на воспроизведение природного порядка. Пол рождающий должен быть преобразован в пол творческий – ибо всякая энергия в основе своей сексуальна, или, лучше сказать, эротична. Это понимание идет у Бердяева от Розанова, конечно. Бердяев, вслед за любимым своим Я. Бёме, много говорит об андрогине как истинном

образе целостного человека; Платон в этом отношении не так для него важен, потому что Бердяеву надо фиксировать христианский поворот темы андрогинизма. Он произносит слова, которые мы должны запомнить, – об андрогинности Христа. «Ибо поистине не мужчина и не женщина есть образ и подобие Божие, а лишь андрогин, дева-юноша, целостный бисексуальный человек».

Нет сомнения, что в этой теме Бердяевым угадана важнейшая психологическая истина, позднее сформулированная К.-Г. Юнгом в его понятии архетипа «самости». Но недостаток – опасный уклон – бердяевской философии в том, что он не довольствуется психологическими догадками, а требует немедленного преображения бытия в свете открывшейся ему истины. Его философии присуща некая истерическая форсированность – максимализм человека, *жизненно* не связанного с бытием, с природно-исторической, даже – решаюсь сказать – с культурной эмпирикой. Недаром Бердяев говорит, что культура – это великая неудача человека, что она создает символы вместо реального преображения бытия. И это учение о символизме культуры тоже идет у него от Федорова, говорившего, что культура – это обман в свете задачи «общего дела» – воскрешения предков. Бердяев мог не разделять веры в федоровский «проект», но им владела федоровская нелюбовь к жизни. Федоровский и бердяевский максимализм – это максимализм людей, которым нечего терять, у которых отсутствует любовно-брачное отношение к земле, миру, бытию. Поэтому в самой *психологии* своей они моделируют метафизический тип большевика. Недаром Бердяев говорил постоянно, что мир должен сгореть: он часто менял свои мнения, но не мог изменить свою природу. От этой невозможности – все эти истерические порывания и срывы, мотивированные как религиозный поиск.

Вот несколько высказываний из «Смысла творчества», хорошо показывающих устремленность мысли Бердяева: готовность, повинувшись влечениям его эксцентрической природы, принять и возвести в ранг религиозной истины самые крайние результаты исторического движения, коли это движение идет в сторону разрушения органического космоса:

«Для грядущей мировой эпохи и для новой мировой жизни женственность утверждается в аспекте девственности, а не материнства. Весь мировой кризис заостряется в роковой гибели материнства, а

тем самым и материи. Наступает футуристически-технический конец религии рода, религии материнства и материи, и нет сил охранить и предотвратить от гибели родовую, материнскую, материальную органическую жизнь. От материи останется лишь преображенная чувственность и вечная форма просветленной телесности, свободной от всякой тяжести и органически-родовой необходимости».

«Положительный смысл футуристической цивилизации с ее жуткой автоматичностью и механичностью я вижу лишь в том, что в ней совершается судьба материального мира, конец рода. Есть правда в том, что материальная, родовая, органическая жизнь должна кончиться автоматом, механизмом и расколоться, расслоиться. Это трагический переход в новый план бытия. Но низко и трусливо было бы впасть в пессимизм. Дух человеческий должен в путях своего освобождения пройти через механизацию, через распятие всего органического в механизме».

«И в глубине космического кризиса свершается преодоление рождающего пола, материнства, как начала мирового, т. е. избавление от материи, освобождение от родовой жизни, через раскрытие девственности, андрогинического образа человека, творщей, а не рождающей жизни антропоса».

Крайне характерно это отождествление материи и материнства. Бердяевский «идеализм», как назвали бы этот поворот сознания в Советском Союзе, обнажает здесь свою чисто психологическую укорененность. В интуиции Бердяева «должны сгореть» материя и материнство – и на их месте появиться некий андрогин, не рождающий, а творящий «девячуноша». Да и не только эту альтернативу видит Бердяев: каким-то парадоксальным образом с этим андрогином у него отождествляется – машина, технический прогресс, техническая экспансия человечества. Мир в аспекте девственности – это и есть машина. И тут снова вспоминается Платонов, у которого мастер говорит о паровозах так: «Машина, брат, это – барышня... Женщина уже не годится – с лишним отверстием машина не пойдет».

То, что я не придираюсь к словам, а вхожу в самую суть дела, может подтвердить еще один бердяевский текст – статья «Дух и машина», вошедшая в сборник 1918 г. «Судьба России». Здесь окончательно расставлены все акценты – многоточия «Смысла творчества» заменены в этой статье решительными точками. У Бердяева в этой статье *технологический прогресс, триумф машины предстает реализацией христианской правды в мире*. Так для него оборачиваются слова о неисповедимости

путей Господних. Убийство плоти мира производится машиной – это и есть дальнейшее раскрытие исторических путей христианства, очередная трансформация христианской духовности. Всё тот же мотив здесь звучит: гибель материи – подъем духа, распятие плоти – спасение души. Эти последние оппозиции не нами сочинены, а настойчиво ставятся самим Бердяевым. Несколько цитат в подтверждение сказанного (как всегда, слова Бердяева чрезвычайно суггестивны, и, как правильно заметил прот. В. В. Зеньковский, они «чаруют», прельщают – заставляя, между прочим, вспомнить старинное значение слова «прелесть»: совращение, соблазн...):

«...машина есть явление духа, момент в его пути. Обратной стороной механизации и материализации жизни является ее дематериализация и одухотворение. Машина может быть понята как путь духа в процессе его освобождения от материальности. Машина разрывает дух и материю, вносит расщепление, нарушает первоначальную органическую целостность, спаянность духа и плоти. И нужно сказать, что машина гибельна не столько для духа, сколько для плоти. (...)

Машина есть распятие плоти мира, вознесение на крест благоухающих цветов и поющих птиц. Это – Голгофа природы. (...)

Сделался шаблонным в религиозной мысли тот взгляд, что машина умерщвляет дух. Но глубже та истина, что машина умерщвляет материю и от противного способствует освобождению духа. За материализацией скрыта дематериализация. С вхождением машины в человеческую жизнь умерщвляется не дух, а плоть, старый синтез плотской жизни. Тяжесть и скованность материального мира как бы выделяется и переходит в машину. И от этого облегчается дух. (...)

Природно-органическое не есть еще ценное, не есть то высшее, что нужно охранять. Истинная жизнь – творимая жизнь, а не исконная данная жизнь. (...)

Огромный смысл явления машины – в том, что она помогает окончательно порвать с материализмом в религии. Машина как бы клещами вырывает дух из недр природной материи. (...)

Только тот достигает свободы духа, кто покупает ее дорогой ценой бесстрашного и страдальческого развития, мукой прохождения через дробление и расщепление организма, который казался вечным и таким уютно-отрадным».

Наконец, последнее из той же статьи:

«Ощущение священности материальной жизни всюду сопровождало человека. Это освящение плотной жизни и ощущение божественной органичности не вполне покинуло человека и в наше время. Но на высоких ступенях исторического развития вся материальная жизнь роковым образом перестала быть священной. Всё секуляри-

зуется... Секуляризация всей внешней жизни связана с расщеплением и раздвоением, с утерей первоначальной органической цельности. Сознательное согласие на секуляризацию жизни есть согласие на жертву, на отречение от прекрасных и возвышенных обманов. Всё священное входит внутрь, в дух».

Неправильны да и опасны эти слова не тем, допустим, что в них нет понимания грядущего экологического тупика: в начале века никто этого не понимал, и Бердяев был здесь не прозорливее других. Но Бердяев прельщен – и других пытается прельстить – самой перспективой подавления и уничтожения материи: именно в этом он видит как бы дальнейшую христианизацию мира, парадоксально производимую машиной. Кстати, эта ненависть к материально-органическому – совсем не православная у Бердяева, да и не католическая: здесь сказываются скорее протестантские инспирации его мысли, сказывается Кант. Интересно также, что впервые заговорил Бердяев о предзаложенности технического прогресса в христианстве как раз в статье о Федорове («Религия воскрешения» – «Русская мысль», 1915, №7).

8

Эти мысли Бердяева ставят для христианского сознания мучительный вопрос: не является ли само христианство источником этой негативной, на отрицание бытия направленной энергии? Как известно, вопросом этим соблазнились Ницше и наш Розанов (именно последнего, а не К. Леонтьева я бы поставил в связь с немецким «антихристом»). Осознание этой темы привело обоих к небывало резкой критике христианства. Розанов – «антихрист» не меньший, чем Ницше. Но у него еще интереснее, чем у Ницше, поставлена тема о психологической основе христианства. Эта основа, пишет Розанов в книге «Люди лунного света», – «бессеменность»; христиане – это «люди третьего пола», бессознательные гомосексуалисты, сублимированные «содомиты». Любопытно, что в новейшей истории – в революционном движении – Розанов видит дальнейшую трансформацию того же христианского типа, приводя, в частности, пример из «Воскресения» Толстого – революционерку Марью Павловну Щетинину (из части 3-й романа), основной психологический импульс которой – отвращение к мужчинам. Мысль о модификации христианского типа лич-

ности в тип революционера высказывал уже Вл. Соловьев; Мережковский сделал из этого сюжета чуть ли не профессию; но у Розанова это тождество увидено острее: он обнаруживает общую психологическую основу обоих типов, видя ее в гомосексуализме.

Неизбежен вопрос: а прав ли был Розанов в этом своем наблюдении? и если прав, то можно ли исчерпать колоссальную проблему христианства методами такого психологического редуccionизма?

Приведем два высказывания Розанова по этому поводу. В первом из них, поставив вопрос о «третьей психике» христиан, Розанов спрашивает:

«Какова будет она?

Никогда не будет детей. Никогда не будет дома, хозяйства... Таким образом глубочайше будет разрушен тип социальной жизни, – разрушен не в бытовом, а в психологическом корне, т. е. более глубоко. Это есть то разрушение, на месте которого ничего не вырастает. Не менее разрушается тип истории. Будущее не нужно тому, у кого не будет потомства, – будущее полное, всеобщее. Судьба последующего человечества представится под углом зрения не интересов этого человечества, а интересов группы этих одиночек, их – за неимением родового – духовного союза, духовной преемственности и связи».

Второе – в связи с упомянутой уже толстовской Марьей Павловной Щетининой:

«Поразительно полный очерк древней христианки! (...) метафизически перерезаны вертикальные связи (с детьми, и родителями) и метафизически же отросли такие толстые «ручищи» (вместо genital'ий) для «связывания» с «ближними», с «соседями», с «однолетками» (...) связь эта неборима, неубиваема, неустанна, не тягостна, и прямо в «пищу», в «насыщение» полу-содомиток... Она вовсе не устает на помощи «ближнему», в «услужении» ближнему, духовным «братьям» и «сестрам» – и точно, так же и по той же причине не устает, как sainte prostituée Египта не уставала, совокупляясь... Разные «призвания», и радость, восторг в исполнении мирового «служения»... Но из этого ясно, до чего «дево-мужи» и «муже-девы» необходимы в цивилизации, какую колоссальную роль в жизни играют эти «никогда не выходящие замуж», какая толща работы принесена ими на алтарь человечества».

В этих высказываниях Розанова бросаются в глаза по крайней мере две несообразности: во-первых, совершенно неверно, что в христианстве нет установки на будущее, на «прогресс»: именно христианство преодолело циклическое время античности, именно оно конституировало необрати-

мость, линейную направленность, финализм исторического времени. Второе – не столько фактическая ошибка, сколько противоречие самому себе, допускаемое Розановым: сначала он говорит о христианском нигилизме (и будет много раз повторять сходные слова, например в «Апокалипсисе нашего времени»), а потом вдруг признаёт, что этот – христианский – тип личности принес колоссальные дары на алтарь человечества. В связи с последним вспомним и такие слова Розанова: «Самые пороки древности, перейдя в новый мир, с теми же названиями, получили новый колорит». В христианстве, таким образом, на первый план выступает не психологическое его основание – в чем бы оно ни усматривалось, – а самый факт сублимации психической энергии. Происхождение явления не отбечает на вопрос о его ценности – философская аксиома, забываемая Розановым, ибо ему, в отличие от Федорова или Бердяева, представлялись высшей ценностью родовая жизнь, пол в его элементарном состоянии.

Но нет сомнения в одном: розановский антихристианский гиперкритицизм объяснялся и, можно сказать, провоцировался теми гностическими уклонами в христианстве, которые отнюдь не исчезли из него с Оригеном, столь восхищавшим Владимира Соловьева. Соловьев и был самоновейшим Оригеном. Розанов не мог не чувствовать питательности христианской почвы для этих уклонов, указанной провокационности христианства. Само христианство представлялось Розанову соблазнительным, ведущим к соблазну.

Во времена Розанова характерным было у нас тяготение к образу Христа, к этому «женственному лику» (Блок), людей прежде всего вышеуказанной эксцентрической ориентации. В России в пресловутый «серебряный век» началась настоящая гностическая эпидемия, пышно названная «религиозно-культурным ренессансом». Но тот же Бердяев предостерегает от идеализации этой эпохи, говорит, что в ней было много нездорового, «оргийного», что имело место смешение разноценных духовных пластов. Сам же он и являет такое смешение – в эпоху «Смысла творчества». Каким являлся тогдашней русской культурной элите Христос, можно продемонстрировать на одном стихотворении Н. Клюева:

Мои уста – горячая пустыня,
Гортань – русло, где камни и песок,

Сгораю я о Златоризном Сыне,
Чьи кудри – запад, очи же – восток...

О сыне мой, возлюбленное чадо,
Не я ль тебя в вертепе породил...
Твои стопы пьянее винограда,
Веянье риз свежительней кропил.

Испечены пять хлебов благодатных,
Пять тысяч уст в пылающей алчбе,
Кошница дев и сонм героев ратных
В моих зрачках томятся по Тебе.

Убелены мое жилье и ложе,
Раздроблен агнец, целостно вино,
Не на щеколде дверь... О стукни, Сыне Божий,
Зиждительным перстом в Разумное окно!

Я солнечно брадат, розовоух и нежен,
Моя ладонь – тимпан, сосцы сладимей сот,
Будь в ласках, как жена, в лобзании безбрежен,
Раздвинь ложесна, войди в меня, как плод!

Я вновь Тебя зачну, и муки роженицы,
Грызть жил, послеста жар стена перетерплю...
Как сердцевины червь, и как телков веприцы,
Тебя, мое дитя, супруг и Бог – люблю.

Христос как предмет гомосексуальной фантазии – это отнюдь не приватная проблема гомосексуалиста Ключева: здесь сказался гностический уклон эпохи, для которой характерными были такие непонятные сейчас явления, как культ жены Блока, увиденной Софией – Премудростью Божьей, или поклонение, как духовному вождю, двусмысленнейшему Вяч. Иванову. О. Мандельштам говорил, что большевики приняли в русской поэзии то, что им вручили символисты. Близость символизма к футуризму уже была замечена: объясняется она всё тем же гностическим уклоном обоих течений. Вообще символизм, вне поэтических текстов, – зловещее явление. Точно так же можно смотреть на Платонова, на «Чевенгур»: брать его как текст, как языковое построение – и видеть в нем духовное знаменование. Мы убеждены, что литература имеет смысл, выходящий за пределы словесных построений.

Бердяев писал в «Самопознании», что за границей его принимали за православного мыслителя преимущественно, – и сетовал на это недоразумение, говорил, что его мысль отвечает только за себя. Его интеллектуальная честность неоспорима. Но «соблазнял», «чаровал» Бердяев другим – своим огненным темпераментом, своей, как он говорил, реактивностью – полемической заостренностью своей мысли, всегдашним движением против потока. Это темперамент и психологический склад еретика, если не ересиарха. Бердяев всегда и везде был еретиком – и в марксизме, и в христианстве. Ересь, хочется сказать, вообще выражает чистую идею, идеальную модель учения, вокруг которого она разворачивается. Этому, конечно, можно противопоставить тот общеизвестный факт, что ереси не ходят в одиночку. И всё-таки именно гностицизм – ересь, так сказать, наиболее родственная христианству, наиболее «естественным» образом из него вырастающая. Легко соблазниться ненавистью к миру, внимая Сказавшему: «не мир, но меч».

В притче Борхеса «Богословы» описывается некая гипотетическая, исторически стилизованная секта *гистрионов*, цель которых состоит в скорейшем достижении конца мира, и эта цель реализуется максимальной активностью, скажем так, в сфере негативной моральной практики. Согласно учению гистрионов, набор состояний мира конечен, и его следует как можно скорее исчерпать, совершая, среди прочего, подлости и преступления. Такой практике способствует то еще обстоятельство, что, согласно догме гистрионов, любому поступку на земле соответствует его полярный коррелят на небе: так, преступление в этом мире отзывается неким благом на небесах и послужит к вящей славе Бога. Одна из максим негативной морали гистрионов: мысль о возможности нравственной жизни на земле – величайшая и богопротивнейшая гордыня.

В этом описании феноменологии гностического духа зафиксирована та его ступень, на которой он делается большевизмом. Этот переход, естественно, не исторический, а логический. Нельзя говорить о генетической связи Ленина с каким-нибудь Василидом, самого имени которого первый не слышал; связь эта, по Гегелю, «логическая», а в свете современных представлений – именно психологическая, но не в сфере инди-

видуальной психологии осуществляемая, а в некоем «коллективном бессознательном» (Юнг). Ясна тождественность структур сознания, одинаковость моральной (моралистической) установки, допустим, у Л. Толстого и Маркиона. Почему такие связи реализуются с интервалом в тысячелетия – никому не ясно и нашему обсуждению здесь не подлежит*. Нам достаточно указать только на одно: мысль о тождественности интеллектуально-психологических структур гностицизма и большевизма уже неоднократно высказывалась – но, к сожалению, она не стала популярной в силу некоей своей эзотеричности. Даже люди, пишущие в расхожей сфере советологии – например, Ален Безансон, – высказывая эту мысль, оказываются в некоей изоляции. Приведем трактовку американского философа немецкого происхождения Эрика Фёгелина, данную им в книге «Наука, политика и гностицизм».

Согласно Фёгелину, можно выделить следующие черты в психологии гностика, которые являются формообразующими для типа личности, общего как этой древней ереси, так и для большевизма. Гностик недоволен своим положением в мире; но отсюда он выводит заключение не о том, что он сам нехорош, а что мир плох. В свою очередь из этого следует установка на «спасение мира». Акт этого спасения понимается как результат и следствие чисто человеческого усилия, а «знание» («гнозис»), или, на современном языке, «единственно правильное учение», объявляется орудием этого спасения. Итак, важнейший и глубиннейший источник гностической духовной установки – вражда к миру, понимание мира как абсолютного зла; в этом психологическом контексте спасение от мира понимается как уничтожение мира. Гностицизм объединяет в себе острую этическую установку с самым настоящим нигилизмом, являет нерасторжимое единство, тождество морализма и нигилизма.

В свое время сходную мысль высказывал – под влиянием Ницше – русский философ С. Л. Франк в статье, опубликованной в «Вехах», где он писал о гипертрофированности этической установки в нигилизме. С. Л. Франку же принадлежит

* Конечно, объяснение есть и даже, так сказать, «простое»: в бессознательном не существует времени. Но для нашего «эвклидова» ума это не объяснение, а новая загадка, разгадывать которую мы здесь не будем.

замечательная статья «Ересь утопизма» («Новый журнал», №14). Эта последняя статья вносит прежде всего ясность в вопрос, поставленный выше: о возможной связи гностической установки – то есть утопизма как такового – с характером христианского сознания. По этому поводу С. Л. Франк пишет:

«...понимание ереси утопизма как искажения христианской идеи спасения в направлении ветхозаветной теократии само по себе еще недостаточно... ни в Новом, ни в Ветхом завете как таковых не содержится ничего, что могло бы быть источником этого искажения... благая весть Нового завета о спасении мира и преодолении в нем греха мыслит это спасение принципиально в порядке надмирном... сущностная победа над грехом и, тем самым, принципиальное, еще незримое преодоление греховного зона мирового бытия должно завершиться преображением его в «Царство Божие», но это преображение совпадает уже с «концом» этого мира». И Ветхий, и Новый завет «не только не содержат, но прямо отвергают мысль о возможности совершенства и полноты блаженства в пределах... привычного, «этого» мирового бытия».

А вот как объясняется, в представлении С. Л. Франка, сама эта утопическая направленность сознания:

«Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новая – по сравнению со всем кругом ветхозаветных и новозаветных представлений – религиозная идея (некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме 2-го века). Это есть мысль, что мировое зло и страдание определены не вошедшей в мир, исказившей совершенное Божие творение и в пределах мира неустранимой, таинственной силой греха, а неправильным устройством самого мира. К этому присоединяется другая мысль: человеческой воле, руководимой стремлением к абсолютной правде, дана возможность коренного переустройства мира – сотворения нового, осмысленного и праведного мира, взамен старого, неудачного и несправедливого. Утопизм есть прежде всего отрицание догмата грехопадения. Ответственность за земную неправду он возлагает не на власть греха в мире, не на греховную человеческую волю, а на некие иные силы, повинные в неправильном и несправедливом устройстве мира, – при полной последовательности мысли, на инстанцию, сотворившую мир. Это есть восстание человеческой нравственной воли против творца мира и против самого мира как его творения. Древние гностики учили, что мир сотворен злым богом, и что Бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной Бог, чем творец мира. Отсюда ближайшим образом следовало аскетическое бегство от мира, стремление избавиться от власти злого бога-творца через духовное причастие иному «далекому» Богу любви и правды».

Необходимо выделить еще одну крайне важную черту в трактовке С. Л. Франком «ереси утопизма», выводящую эту ересь далеко за рамки «общественно-политических» учений. Нерв утопизма (в данном случае равного гностицизму) находится в иной сфере: в своей подлинной сути, это всегда *космическая фантазия*, установка на преобразование космических основ бытия. Утопизм всегда – склад мыслей «федоровского» типа. То есть в социальной революции он ищет пути для нового мирового порядка, основанного на преобразении сущностной природы человека и самого бытия. В то же время основы социального строения – космичны, укоренены онтологически; это не значит, конечно, что здесь невозможна какая-либо позитивная эволюция, – но разрушение основ социального порядка, вроде ликвидации частной собственности, – это, в глубине, онтологический бунт, направленный прежде всего против замысла мироустройства, против космического порядка.

Для утопизма, пишет С. Л. Франк, «обнаруживается необходимость... быть замыслом преобразования самих общих космических основ бытия», – и продолжает:

«Мы предвидим естественное возражение. На первый взгляд легко может казаться, что всё это рассуждение несостоятельно, будучи основано на простой игре слов – на смешении «мира» как сферы общественной жизни человека с понятием мира как космоса... Но это возражение лишь мнимо убедительно: оно проходит мимо самой существенной стороны проблемы. Лишь мимоходом укажем, что утопизм часто сам открыто признает себя мечтой о космическом преобразении, как, например, в утопических фантазиях Фурье или в знаменитой формуле Маркса о «скачке из царства необходимости в царство свободы», указующей, что наступление социализма мыслится именно как совершенно новый эон вселенского бытия. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение, т. е. конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия».

Это уже сказано как бы прямо о Федорове, о федоровском утопическом варианте.

Перспектива утопизма, по С. Л. Франку:

«Замысел этот не только фактически неосуществим, так как он разбивается о непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверхчеловеческое происхождение. Превращаясь на пути своего практического осуществления в безнадежную, никогда не

завершимую задачу разрушения мира, он фактически вырождается в процесс калечения, уродования естественных – и потому при данном состоянии человеческой природы морально необходимых – условий человеческой жизни. Задуманный для утверждения абсолютной божьей правды на земле, утопизм в процессе своего осуществления превращается в дело убийства – в переносном и прямом смысле слова – живого, конкретного, реального человека, в уничтожение самой жизни и, тем самым, всякой возможности ее морального совершенствования».

10

Если мы каким-то образом сумели отделить интеллектуальный тип гностика от христианского сознания как такового, то не менее важно по мере возможности разобраться в провокационной теме Розанова: в отношении психологических типов христианина и гомосексуалиста. Итак, христианство потому уже отходит от утопии, что оно не связывает Царства Божия – совершенного порядка бытия – с условиями земного существования. Тип христианина если не психологически, то социально более конформен, чем тип гностика – и гомосексуалиста. Последних роднит установка на бунт; может быть, она и коренится в их общей психологической почве. «Гомосексуальная... психология, как и психология любого меньшинства, доводит личную уязвимость до такой степени, что происходит ментальный поворот на 180 градусов, в результате которого оборона превращается в нападение» (И. Бродский. На стороне Кавафиса. – «Эхо», 1978, №2, стр. 147). Если христианская установка исключает бунт, то гомосексуально-гностическая его предполагает. «Онтологический», так сказать, мотив этого бунта – магическое преображение бытия, космический переворот, смена плюсов и минусов. Тут, однако, возможна сложная психическая динамика: гомосексуалист может выработать в себе конформизм как средство психологической мимикрии, стать не бунтовщиком, но законопослушным консерваторм. Последнее возможно как на метафизическом уровне, так и в самых пошлых воплощениях политического оппортунизма: соответствующие примеры – Константин Леонтьев и князь В. П. Мещерский. Существует еще одна, и крайне интересная, модификация типа гомосексуалиста – это герой, воин. Выразительнейшие примеры – Фридрих Вели-

кий, наш Суворов («находка для фрейдиста», как сказал поэт). Возможен также смешанный тип воителя и консерватора: в Америке говорили и продолжают говорить, что пресловутая комиссия Мак-Карти была компанией гомосексуалистов. «Героизм» – реактивное образование на пониженную «мужественность» гомосексуалиста; в случае военной деятельности – таковая к тому же дает удобную мотивировку для преимущественного пребывания в мужском обществе.

Это всё, однако, Фрейд, а нам нужен скорее Юнг – тем уже необходимый, что в нем явлен как нельзя полнее тип *современного* гностика. Добро и зло, свет и тьма как одинаково полные начала – непреложнейший психологический факт у Юнга, отвергнувшего старинное учение о *privatio boni*: зло как негатив, отсутствие добра. Бытие следует воспринимать в категории целостности, морализм как установка на «добро» – абстрактная, т. е. неполная, частичная позиция. Отсюда колоссальное значение в метапсихологии Юнга архетипа; *самости*. *Selbst*, *self* – индивидуальное «я», синтезировавшее коллективное сознание (и коллективное бессознательное). Христос – вариант этого архетипа; Юнг подчеркивает, что не «самость» символизирует Христа, а наоборот – Христос символизирует «самость». Другой вариант, не менее значимый, – архетип *дитяти*. И вот в этом символическом образе, равно как и в образе Христа, Юнг на одно из первых мест ставит их *гермафродитизм*. Сам этот термин, хотя и вынесенный в заголовок одного из разделов его работы «Специальная феноменология архетипа дитяти», не может считаться удачным, и Юнг тут же начинает заменять его другими – бисексуальность, андрогинизм. Он обращает внимание на широкую распространенность как в древнем мире, так и в средневековье представлений об андрогинности Христа – добавляя, что и в наши дни мы слышим о том же в католической мистике. О книге Бердяева «Смысл творчества» Юнг, надо полагать, не знал.

По Юнгу, бисексуальность дитяти – Христа (сыновняя ипостась Христа – то, что объединяет оба типа) есть не только свидетельство первоначальной недифференцированности детской психологии, но и указание телеологического свойства. Андрогин – не только сублимированный образ райской чистоты, состояния до грехопадения, это также человеческий проект, финальный телос, взываемая идеальная реальность. Мистические интуиции о поле как знаке падшести, раздроб-

ленности человека, утраты им первоначальной целостности находят у Юнга (мета)психологическую верификацию. И мы не можем не вспомнить здесь соответствующие догадки Бердяева в «Смысле творчества».

Не нужно, впрочем, забывать о психологическом различии «старого» и «нового» типа гностиков. Традиционная гностическая установка сохраняет мотив бунта, порывание к «новому небу и новой земле» как свой важнейший принцип. Гнозис юнгианского типа – скептичен, а не моралистичен. Тип современного гностика хорошо описан тем же С. Л. Франком («Свет во тьме»). Современный гностик, по Франку, отличается не моральным пафосом, толкающим его на борьбу с несовершенным миром, – а «скорбным неверием». С. Л. Франк пишет:

«В отличие от цинического неверия и в резкой оппозиции к нему, скорбное неверие есть горькое сознание фактической власти тьмы в мире, т. е. неверие в реальную силу идеальных начал, однако при сохранении «веры» в них самих, т. е. при сохранении почитания самой святости и сознания обязанности служения ей. Скорбное неверие есть сочетание натурализма, т. е. основоположного представления об универсальной власти над миром слепых, бессмысленных, равнодушных к упованию человеческого сердца сил природы – иначе говоря, сочетание последовательного теоретического неверия – с чувством рыцарского, героического служения неосуществимому идеалу. Один из его философских провозвестников, Бертран Рассель, определяет это умонастроение как позицию „защиты наших идеалов против враждебной вселенной“».

Важно в этой характеристике – как бы ни относилась она к самому Юнгу, – что современный гностик утратил страсть к внедрению идеалов во враждебную вселенную, страсть к «переделке мира» – гностическую страсть. У него сохраняется только «гностическая» – напрямую от «гнозиса», знания – широта мировосприятия.

В отличие от этого «нового гностика» – приближающегося уже к типу христианина во многих отношениях – гомосексуалист не в силах подняться над непосредственными определениями своей психологической природы. Казалось бы, он – хотя бы в бисексуальном варианте – ближе к (христианскому) андрогинизму – и в то же время бесконечно далек от него. Эмпирическая приближенность не исключает метафизической отдаленности. Можно сказать и обратное: сближению мета-

физических планов препятствует как раз «эмпирическое» начало, столь заметно определяющее позицию гомосексуалиста. Имеет место здесь натуралистическое снижение духовного типа. Можно провести одну поясняющую параллель: социальные страдания униженных и оскорбленных не делают их более способными к построению справедливого общества – равным счетом наоборот. Кухарка не может управлять государством.

11

Чтобы яснее представить себе парадоксальность христианской проблематики, парадоксальность темы Христа, обратимся еще к одному примеру из русской литературы. Речь пойдет о Достоевском. У него был нереализованный замысел – написать книгу о Христе. Тут же назовем еще один такой же нереализованный проект – «Житие великого грешника». Этот «великий грешник», как известно, трансформировался затем в один из образов «Бесов» – Николая Ставрогина. Я выдвигаю тезис, что Ставрогин – это и есть реализация не только второго, но и первого из как будто нереализованных планов Достоевского. Ставрогин, а не Мышкин – наибольшее у Достоевского приближение к образу Христа.

Уже была попытка переосмыслить фигуру Ставрогина. Это опять же Бердяев, его статья «Ставрогин» («Русская мысль», 1914, №5), вызвавшая негодование, как пишет он в «Самопознании». В статье ощущается идентификация автора с персонажем; Бердяев имеет ход к Ставрогину из глубин собственного эксцентрического опыта. Не следует читать мораль над трупом Ставрогина, пишет Бердяев, ибо Ставрогин будет присутствовать на мессианском пиру. Достоевский не отдаст Ставрогина, не уступит его никакой морали, никакой религиозной проповеди. Ставрогин показывает, что понятие зла неизмеримо глубже и важнее понятия греха. Существует положительный смысл прохождения через зло. Бердяев говорит, что трагедия Ставрогина – в безмерности, в переливе личности за грани, в отказе ее от частичных определений, от эмпирического статута, в отказе от того, что Бердяев позднее назвал объективацией. Но в этом и величие Ставрогина, сверхчеловеческий его замысел, неизбежно кончающийся крахом в мире объектов – не крахом даже, а ничтожеством, не-существованием, провалом в ничто. Ставрогин убеждает, что «безмер-

ность силы, ни на что не направленной, и совершенное бессилие – тоже одно». Ставрогина в романе по существу нет, он остался где-то за пределами, роман начался, когда Ставрогин кончился. Действует в романе не Ставрогин, а его эманации, «бесы»: те его частичные определения, от которых он отказался. Невозможно вхождение Ставрогина в эмпирический мир, пишет Бердяев; и нам теперь предстоит решить, слабость ли это его или сила.

Вспомним Ницше, его гениальную христологию. Ницше сумел показать, что *подлинный* Христос – то есть Христос как *психологический тип* (и в этом подходе Ницше упреждает Юнга, собственно даже – вдохновляет его: известно колоссальное влияние Ницше на Юнга), – подлинный Христос абсолютно чужд самой идее моральной проповеди, он не моралист, он не зовет в светлую даль, за грань существующего: он учит наслаждаться полнотой бытия здесь и сейчас. По существу, это главная мысль «Антихриста» Ницше. Христа представили в привычной – уже тогда – символической мессии, Спасителя, пророка, будущего судии всё те же ненавистные Ницше «жрецы». Христос уничтожил понятие греха, говорит Ницше, он сделал жизнь *легкой* – но путем отказа от участия в ее повседневном эмпирическом течении. Для типа христианина в этом отказе и заключается полнота существования. Ницше называет это «нигилизмом», но нас интересуют сейчас не оценки его, а описания. Вот одно из них:

«Можно было бы, с некоторой терпимостью в выражениях, назвать Иисуса «свободомыслящим» – всё твердое для него ничто: слово убивает, всё, что твердо, убивает. Понятие, опыт, «жизнь» в том виде, в каком он знает их, противится у него всякому виду слова, формулы, закона, веры, догмы. Он говорит только о самом внутреннем: «жизнь», или «истина», или «свет» есть его слово для самого внутреннего, – всё остальное, вся реальность, вся природа, сама речь имеет для него лишь ценность символа и уподобления... Такая символика *par excellence* стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всей истории, всего естествоведения, всего знания света, всех познаний, всей политики, всей психологии, всех книг, всего искусства – его «знание» есть именно чистое невежество относительно того, что существует нечто подобное. Культура неизвестна ему даже понаслышке, ему не нужно бороться с нею, – он не отрицает ее...»

Точно так же подлинный христианин, идущий путями Иисуса, относится к государству, к работе и пр.

А теперь зададимся вопросом: почему сказанное Ницше о Христе так похоже на сказанное Бердяевым о Ставрогине?

Вопрос этот – риторический. Нет сомнения, что в обоих случаях мы имеем дело с одним и тем же психологическим типом. Но за объяснениями и анализом этого типа следует обращаться все же не к Ницше и не к Достоевскому, работавшим на интуитивном уровне, – а всё к тому же Карлу-Густаву Юнгу. Описываемый обоими психологический склад – не что иное как уже знакомый нам архетип самости, в котором, мы помним, не различаются добро и зло, свет и тьма, бытие и небытие. Христос – самость – у Юнга выше этих различий, как Ставрогин в описании Бердяева, он – по ту сторону добра и зла. И для Юнга уже, как и для вдохновлявшего его Ницше, подобный образ, поднимаясь над абстрактными определениями ветхой морали, не несет на себе печати какого-либо демонизма, всё же присущего в сильной степени авторскому, а не перетолкованному Бердяевым Ставрогину. Бердяев же в трактовке Ставрогина шел в верном направлении – только само слово «Христос» осталось не произнесенным.

К той же теме интересно подходил староэмигрантский литературовед П. М. Бицилли в статье «Почему Достоевский не написал „Житие великого грешника“» (в сб. «О Достоевском», т. 2, Прага, 1933). У Бицилли Ставрогин – пародия и карикатура на владевший Достоевским образ «конкретного всечеловека». «Бесконечная индивидуальность в условиях времени и пространства, – пишет Бицилли, – это квадратный треугольник, теплый лед, бессмыслица». Заметим, что в его статье появляется слово «самость» для характеристики Ставрогина: но не в юнгианском, конечно, смысле, а как негативная характеристика эгоцентрического индивидуалиста. Вот в этом всё дело: можно увидеть в Ставрогине нечто большее, чем пародия на идеальный образ, если только слово «самость» лишить уничижительного значения, присущего ему в повседневном языке. Нужно помнить, что «самость» у Юнга – ни в коем случае не «я», а синтез «я» и универсума, образ конкретной полноты, если угодно – единство противоположностей.

Морализация христианства, произведенная протестантизмом, увела от правильного понимания проблемы. Похоже – если верить Бахтину, – что средневековые стояло в большей близости к подлинному Христу, к «самости». Христос – персонаж средневекового карнавала, главный карнавальный ко-

роль: Царь Иудейский, который распят. Вот эта комплиментарность, объединение в одном образе прямо противоположных характеристик уже выводит за пределы этического, обесмысливает абстрактные моральные характеристики. Бог – это не добро; Бог – это Бог, говорил Шестов.

Скажем тут же несколько слов о Христе «Двенадцати». Это *гностический* Христос, пришедший на землю для морального суда над ней, для казни и расправы. Это Христос, который «действует», который объективирован, тогда как основная характеристика «самости» – пребывание за пределами мира объектов. Христос у Блока противостоит «злому богу» творения, с которым боролись гностики. Блок гениально выразил один русский уклон: сведение небес на землю, попытка достичь полноты бытия в рамках пространства и времени. Поэтому его Христос в принципе пародиен.

12

Если мы теперь вернемся к «Чевенгуру», то главным образом для того, чтобы сказать о *типичности* этого произведения в ряду советской, а может быть, и русской литературы в целом. Можно сказать – с полной серьезностью, – что «Чевенгур» выделяется из ряда только тем, что это гениальное произведение. Но уже было замечено, что в отношении к архетипическим наполнениям произведений искусства они не различаются на качественной основе. Комиксы или Шерлок Холмс – работают на уровне архетипов; то же следует сказать и о «Чевенгуре». Но нам сейчас надо не эстетическую оценку давать «Чевенгуру», а увидеть вещь в содержательно-архетипическом ряду русской литературы.

Мужчины без женщин – таков образ мира, открывшийся в «Чевенгуре». Я сознательно намекаю на военную книгу Хемингуэя. Война – вот, пожалуй, исчерпывающий образ советской действительности: война с самим фактом бытия, то, что мы не раз уже называли гностическим бунтом. В той картине мира, которая существует на уровне архетипов, нельзя искать однозначных причинно-следственных связей; поэтому нельзя сказать, порождает или, наоборот, порождается гомосексуальная ориентация этим состоянием войны. Повторим: у нас все такого рода состояния берутся не в плане эмпирической психологии, а на уровне символа и мифа – каковые, в

свою очередь, составляют некую метапсихологическую реальность*. Естественно, все эти психологические содержания не могли ускользнуть от внимания советской литературы, которая иначе просто не появилась бы на свет. Роман Платонова лучше всех не потому, что в нем вся эта проблематика обнажена, а как раз потому, что она гениально зашифрована, переведена в парадоксальный, «художественный» план. Известно, что в искусстве не существует прямоговорения.

Поэтому же «Чевенгур» – не реалистичен, его нельзя назвать верной картиной первых лет советской власти. И, конечно же, это не сатира. Это роман из так называемого «фантастического реализма» – как «Бесы», отнюдь не бывшие хроникой нечаевского процесса, несмотря на подчеркнутую хроникерскую установку. Обе вещи оправданы – и правдивы – только на метафизическом и метапсихологическом уровне. Поэтому получается, что Платонов – писатель одновременно наиболее советский и наиболее антисоветский. Кошмарная правда, сказанная им о коммунизме, не исключает его личной лояльности к советской власти; это то, что всегда смущает в Платонове, – пока не станет понятна эта вот его «метапсихологическая» связанность с коммунизмом, идущая из индивидуального психологического опыта бисексуального человека. Платонов – медиум коммунизма.

Исключительность «Чевенгура», как уже было сказано, не означает, что аналогичные мотивы отсутствовали или отсутствуют в советской литературе. Элементарная наблюдательность сразу же выделила в советской жизни – тем более в первые ее годы – черты космической утопии. Много интересного увидел здесь И. Эренбург, один из рассказов которого на эту тему («Ускомчел») даже заслужил похвалу тогдашнего генсека**. Очень интересна одна новелла из «Тринадцати трубок»: о жителях Курска, под воздействием некоей злокачественной трубки меняющих сексуальную идентификацию.

* При этом, однако, существуют чисто эмпирические соответствия всех этих архетипических содержаний: так, рост числа гомосексуалистов не только во время, но и после двух мировых войн – установленный факт.

** Сталин боролся тогда с Троцким, и ему нужно было отмежеваться на словах от революционаризма мировых масштабов, отдававшего всё той же космической утопией, – прикинуться «прагматиком».

Не случайна в советской литературе двадцатых годов и обозначившаяся с начала нэпа тема победы биологических импульсов над мотивами идейного порядка; целый период – указанные двадцатые годы – прошел под знаком этой темы. Это было реакцией на небытийность коммунизма – преодолеваемую героями тогдашней русской литературы в элементарном половом акте. Тема коммунизма и тема пола – сообщающиеся сосуды в литературе двадцатых годов. Обычно как пример этой литературы называют «Тайное тайных» Вс. Иванова и два рассказа А. Н. Толстого – «Гадюка» и «Голубые города»; я бы добавил сюда еще один рассказ последнего – «Простая душа» (1919): в нем возникает архетипическая для советской литературы тема *Пенелопы*.

Советский человек как герой советского искусства снова утрачивает пол в период индустриализации, которая была очередной ступенью в «борьбе с природой». К этому времени относится крайне интересная попытка осознанного перевода этой проблематики в гротескно-комический план. Это Заболоцкий его «звериного» цикла. Сама природа стерилизуется у Заболоцкого. Переходящий к прямохождению Волк («Безумный волк») заявляет:

С этой шеей вертикальной,
Знаю, буду я опальный.
Знаю, буду я смешон
Средь друзей и юных жен.
Но чтобы истину увидеть,
Скажи, скажи, лихой медведь, –
Ужель нельзя друзей обидеть
И ласку женщины презреть?

Безумный Волк Заболоцкого – схимник, монах социалистического строительства*.

* Не следует всё же преувеличивать сатиричность установки Заболоцкого. Он испытал весьма серьезное влияние со стороны Циолковского, посылавшего ему свои кошмарные гностические брошюры, такие, как «Человек-растение» или «Нирвана». В конце концов, «Торжество земледелия» или «Безумный волк» – сочинения вполне гностические: коровы там прославляются не высокоудойные, а равноправные; волк же хорош не как представитель животного царства, а как исследователь, пытающий естество. Конечно, поэтические вариации гностических фантазий – лучший способ их осуществления. Вообще гностику лучше всего быть поэтом, сочинителем *par excellence* (вспомним Борхеса).

Нет необходимости перечислять в хронологическом порядке все случаи присутствия этой темы в советском искусстве, — достаточно сказать о постоянном подспудном ее наличии. Это позволяет обозначить архетип России, как он явлен в советском искусстве по крайней мере: этот архетип — Пенелопа, покинутая жена.

Лучше всех — как всегда, Платонов, с его «Рекой Потудань». А. Кончаловский, делая в Голливуде фильм по этому рассказу — «Любовники Марии», — в ряде сцен, как мне кажется, сознательно обнажал мотивы и ситуации «Одиссеи». Так, скотобойня, на которой работает сбежавший от жены герой, похожа на пещеру Циклопа.

Тут нужно сказать, что сама «Одиссея» психоанализируется именно в данном ключе: странствия царя Итаки можно понять как бессознательно детерминированное нежелание возвращаться к жене. Между прочим, эта трактовка знакома советскому читателю по роману А. Моравиа «Презрение», переведенному в СССР. Но, думается, А. Кончаловскому архетипическая основа платоновского рассказа была ясна и без этих психоаналитических наведений; его фильм, как и литературная его основа, лежат в весьма ощутимой русской — советской — традиции.

Вспоминается еще один из недавних советских фильмов Одиссея плана: «Любимая женщина механика Гаврилова». Механик — корабельный, т. е. моряк, т. е. «Одиссей». Тот же режиссер (П. Тудоровский) сделал фильм «Военно-полевой роман»; можно сказать, что все советские романы — военно-полевые (как русские были — почтовыми!).

Хочу обратить внимание на то, что единственная мифологическая реминисценция, встретившаяся мне в советской массовой культуре, — Одиссей и Пенелопа. Имею в виду эстрадную песенку со словами: «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?» и с рефреном: «Где же ты, моя Пенелопа?»

Вспомним также, что один из лучших рассказов русской литературы называется «Пенелопа» (А. Битов).

В двух нашумевших советских литературных новинках — «Антракте» Ю. Эдлisa и «Всё впереди» В. Белова, при всей несхожести этих книг, прослеживается общая тема: мужская несостоятельность перед женщиной. У Эдлisa интересно еще то, что он отправил в путешествие самое Пенелопу. Тот же ход — в «Иностранке» С. Довлатова. У другого эмигранта, Юза

Алешковского, в его изобретательно придуманной «Маскировке», тема брошенных жен приобретает характер гомосексуальной травести.

Пестрота приводимых примеров не должна смущать, потому что, как уже было сказано, архетипическое содержание литературных произведений не гарантирует их эстетического качества, – и наоборот. Можно, пожалуй, сказать, что архетипические образы продуцируются на двух крайних полюсах культуры: в гениальном творчестве и в массовой культуре.

После этого напоминания не страшно уже поставить Солженицына в ряд с песенкой об Одиссее и Пенелопе. Никто не знает, сколько узлов своего «Красного колеса» он еще завяжет, но вряд ли в дальнейшем появится сцена, равная по архетипическому наполнению сцене разговора Ленина с Парвусом: зачатие русской революции на убогой эмигрантской койке. Мотив этот – гомосексуальный; но вот тут как раз хорошо виден символический характер этого сюжета, этого мотива: не о сексуальной патологии идет речь, а о безжизненности, ненатуральности коммунистической догмы, о фальши и бесплодности коммунистического мировоззрения.

Пуритане возмущаются эротическими сценами «Октября Шестнадцатого». Но таковые оправданы именно на фоне описываемого иссякновения русского бытия, именно в контрасте с гомосексуальным браком Ленина и Парвуса, породившим на свет чудовище русской революции.

Вообще в сексуальной символике легче всего выразить отношение к родной стране: ведь в бессознательном это не только мать, но и жена. Ностальгия Бунина приняла характер эротических воспоминаний в «Темных аллеях», тогда как Набоков, в яростном усилии изжить эту ностальгию, пишет «Лолиту» – пародируя и снижая подспудный ностальгический сюжет намеренной сексуальной эскападой, а в «Бледном огне» он усиливает пародию введением гомосексуального мотива. Это должно означать, что автор «Дара» наконец-то забыл о прошлом и обрел покой в Швейцарии (что не помешало ему, однако, в «Арлекинах» еще раз выстроить на последний парад всех своих Лолит).

Думается, меня не упрекнут в проведении сомнительных параллелей, если я скажу здесь, что русские писатели-классики тоже не чувствовали себя хозяевами собственной страны. Поэтому и заметен в нашей классической литературе тот же

сюжет в той же символике: мужская несостоятельность русского героя, заставлявшая многочисленных Елен (Пенелоп) русской литературы искать романических героев среди болгар. В «Зоо» есть глава, не печатающаяся в новых советских изданиях: о типе «пробника» в русской литературе. В ней мужской герой не овладевает героиней, а только как бы подготавливает ее отдаться другому (Рудин – Лыжин, Обломов – Штольц и т. д.); это напомнило Шкловскому практику конных заводов, где такой вот провоцирующий, но недостаточно хороших кровей жеребец называется пробником.

Приведу пример того, как эта русская тема была обнаружена иностранным писателем. В рассказе С. Моэма «Нил Мак-Адам» героиня – русская эмигрантка Дарья неудачно соблазняет молодого англичанина, отвергающего ее по той причине, что он – латентный гомосексуалист, испытывающий влечение к ее мужу. В этом рассказе Моэм в наибольшей степени раскрыл собственную гомосексуальную ориентацию, но интересно, что для этого ему потребовалась русская героиня. Кстати, в рассказе она сравнивается с Настасьей Филипповной и Анной Карениной.

Вспомним также, что не кто иной, как Бердяев, выразил («Душа России») проблему русской истории в символике неудавшегося супружества: Россия – женщина, отданная нелюбимому или даже насильнику, в русской жизни нет проникающе-оплодотворяющего сочетания мужского и женского начал; отсюда, по Бердяеву, «метафизическая истерия русского духа».

Эта черта русской истории (судьбы? души? архетипа?) наиболее трагическое выражение нашла в опыте коммунизма. Андрей Платонов в «Чевенгуре» лучше всех сумел выразить этот опыт.

После сказанного не стоит уже удивляться хроническим неурядицам советской экономики: ведь это – ковер Пенелопы.

Литературный архив

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ СТИХОТВОРЕНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

В 1980 году парижское издательство «Лев» выпустило в свет сборник Георгия Иванова – «Избранные стихи» (с предисловием К. Померанцева). Семь лет спустя, в том же Париже, в издательстве «ИМКА-Пресс», выходит еще один сборник поэта – «Стихотворения» (составитель Ю. Кублановский). В обе эти книги включено стихотворение, которое при жизни поэта так и не было опубликовано. Вот эти стансы:

...И вот лежит на пышном пьедестале
Меж красных звезд в сияющем гробу
«Великий из великих» – Оська Сталин,
Всех цезарей превозойдя судьбу.

И перед ним в почетном карауле
Стоят народа меньшие «отцы»,
Те, что страну в бараний рог согнули, –
Еще вожди, но тоже мертвецы.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела:
Вот Молотов. Вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...

В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо морща некрещенный лоб, –
И перед ними высится, как плаха,
Проклятого вождя – проклятый гроб.

В конце марта 1953 года русский писатель Николай Иванович Ульянов, бывший в то время директором русской секции радиостанции «Свобода» в Мюнхене, получил от Георгия Иванова письмо, в которое было вложено стихотворение

поэта, написанное им от руки и датированное 20 марта того же года. Сразу же после смерти Сталина политический курс «Свободы» резко изменился, и стихотворение Георгия Иванова так и не попало в эфир. Стансы эти сохранились, однако, в архиве Н. И. Ульянова. Вдова писателя Надежда Николаевна передала мне стихотворение для публикации.

Короткий, гнилозубый, в оспе
Лежит в Москве в блистательном гробу
Великий Сталин – Джугашвили Оська
Всех цезарей превозойдя судьбу.

И перед ним в почетном карауле
Стоят народа меньшие «отцы»,
Те, что страну в бараний рог согнули
Предатели, убийцы, подлецы.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела,
И в центре – жирный Маленков, похожий
На вурдалака, ждущего кола.

В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо морща некрещенный лоб, –
И перед ними высится, как плаха,
Проклятый вождь, проклятый гроб.

20 марта, 1953 г.

Отточенность этих стансов, как мне кажется, свидетельство того, что этот, до сих пор неизвестный вариант стихотворения – окончательный.

Э. Штейн

Колонка редактора

ПОЭТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

Нас познакомил покойный Борис Вахтин. Этот человек обладал поразительной способностью предугадывать человеческие и творческие судьбы. Представляя мне золотоволосого парня в застиранной ковбойке с зоркими, но не улыбчивыми глазами, он лапидарно обозначил:

– Знакомьтесь: великий поэт, завтрашний лагерник, будущий нобелевский лауреат.

Это случилось тридцать лет назад. И, как видите, все сбылось: поэт действительно оказался великим, пусть не в лагере, но в архангельской ссылке ему довелось побыть и Нобелевскую премию он-таки получил. И только одного не знал, не ведал, не мог предположить замечательный прозаик и сердцевед Борис Вахтин, что поэт получит ее не на родине, а в изгнании, на чужбине, выпровоженный туда любезным отечеством по всем правилам полицейского искусства.

После знакомства в Ленинграде мы встречались редко, от случая к случаю, и ни одна из этих встреч не оставила сколько-нибудь заметного следа в моей памяти, настолько они – эти встречи – были мимолетными и ни к чему не обязывающими.

Гораздо ближе нас свела эмиграция. Честно говоря, зная его, глубоко укорененное в нем отвращение ко всякого рода политике или общественной деятельности, я даже не решился предложить ему в самом начале войти в редакционную коллегию «Континента», а когда как-то в случайном разговоре затронул эту тему, то, к своему удивлению и, не скрою, радости, получил немедленное согласие. Надо хорошо знать Иосифа Бродского, чтобы по-настоящему оценить этот его шаг. Кому – кому, а мне-то доподлинно известно, какое огромное давление приходится выдерживать не только нашим членам редколлегии, но и рядовым авторам со стороны тех, кто как на Востоке, так и на Западе не брезгует никакими средствами, только бы заткнуть рот подлинно свободному русскому слову.

Помнится, несколько лет назад, когда в одной из самых критических для журнала ситуаций мы вынуждены были

устроить публичный опрос членов редколлегии об их отношении к «Континенту», Иосиф Бродский, снова к моему удивлению, оказался самым твердым нашим приверженцем. В его ответе было всего пять строк, но у меня до сих пор есть основания гордиться этим ответом. Судите сами:

«... У меня ни с «Континентом», ни с его главным редактором никаких разногласий нет. У меня как писателя, как человека – с Максимовым гораздо больше общего, чем с кем-то бы ни было».

Его публикации в «Континенте» – всегда событие и для редакции, и для читателей. Я заранее знаю, что номер, в котором печатается Бродский, разойдется сразу и до последнего экземпляра. И закономерно, ибо что бы он ни предложил своей аудитории – стихи, эссе или мысли о литературе, – это всегда будет написано, как выразился однажды Борис Пастернак, до полной гибели всерьез. Недаром авторская библиография поэта оказалась в нашей картотеке наиболее обширной: восемнадцать публикаций за неполных четырнадцать лет существования журнала.

И, тем не менее, у Иосифа Бродского нет и тени притязаний на большую аудиторию. В опубликованном нами в последнем – пятьдесят третьем – номере нашего журнала разговоре с Соломоном Волковым об Анне Ахматовой он сам сформулировал личное отношение к своему ремеслу следующим образом:

«В русской поэзии существует тенденция – продиктованная размерами нашей страны, количеством населения и т. п. – считать, что поэт работает для широкой аудитории. Этой иллюзии подвержены все без исключения. Все этому поддаются, по крайней мере, на каком-то определенном этапе своего развития. В той или иной степени всеми нами когда-то завладевает мысль, что «у меня огромная аудитория». От каковой иллюзии перемещение в пространстве, между прочим, зачастую избавляет. Вольно или невольно, любой русский автор испытывает определенное давление: писать для широкой аудитории. Но, с другой стороны, всякий более или менее состоявшийся поэт там, в глубине души, сознает, что работает он не для публики. Что он пишет потому, что ему язык, в просторечии называемый музы, диктует».

В связи с этим невольно вспоминаешь того же Пастернака: «Когда строку диктует чувство, оно на смену

шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».

Присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе за 1987 год – это не только событие в русской литературе вообще, но и праздник для всех нас – и на родине, и в эмиграции, но большая неприятность для тех, кто вот уже много лет пытается стереть с литературной карты ту ее часть, где, далеко не по своей воле, образовался независимый остров нашей зарубежной словесности. С каким усердием все эти годы тоталитарная пропаганда старалась доказать мировому общественному мнению, что такого явления не существует, что за пределами страны очутились лишь бездарные отщепенцы с политическими претензиями и что единственная литература, действительно достойная этого имени, – это литература советская.

А тем временем наши зарубежные авторы публиковались практически на всех основных, а порою и сопутствующих основным языках современного мира, были и продолжают быть в центре мировой критики, получили и продолжают получать самые престижные профессиональные премии, изучаются во всех школах и высших учебных заведениях Западного полушария. Но что до того советским бумагомарателям от журналистики. Даже теперь, в эпоху так называемой гласности, такие наши крупнейшие прозаики, как Аксенов, Владимов, Войнович, Зиновьев и целый ряд других, продолжают оставаться для них бесплодными отщепенцами.

Думаю, что теперь, после Нобелевской премии Иосифа Бродского, жизнеспособность нашей зарубежной словесности сделается для всех настолько очевидной, что само по себе сведет на нет жалкие ухищрения публицистических сирен из АПН или «Литературной газеты».

Правда, и в этой ситуации они не теряют надежд обернуть случившееся себе на потребу. Не успела западная печать сообщить о решении Нобелевского комитета, как советский номенклатурный бонза от литературы Чингиз Айтматов, находившийся в те дни в Швейцарии, не моргнув глазом, заявил о своей радости по поводу присуждения столь высокой награды советскому поэту Иосифу Бродскому. Не правда ли, пикантно!

Ну да Бог с ними, с этими пропагандистскими хитрецами. Вернемся-ка лучше снова к нашему герою. Его часто упре-

кают в некоторой космополитичности поэтического мышления. Но стоит только попытаться вспомнить лишь одно его стихотворение, посвященное родной земле, чтобы убедиться, насколько поэт всегда был плоть от плоти ее, кровь от крови. Хотя бы вот это, ставшее уже классическим:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа неустанно,
поспешая во тьму,
промелькнет под мостами
в петроградском дыму.
И апрельская морось,
под затылком снежок.
И услышу я голос:
«До свиданья, дружок!»
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
Словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

В эти праздничные для всех нас дни мне приходит множество слов, которые я хотел бы высказать Иосифу Бродскому, и все же из всего невысказанного меня в первую очередь одолевает горькое сожаление, что до этих дней не дожили его родители.

Земной поклон тебе от всех нас, Иосиф!

Наша почта

НЕ НАЧИНАТЬ, А ПРОДОЛЖАТЬ

Работа А. Зиновьева «С чего начинать?» («Континент», № 51, 1987 г.) затрагивает один из важнейших вопросов современности. На этот раз отрадно было читать спокойное изложение мыслей автора (А. З.), поражавшего ранее оригинальностью высказываний и парадоксами, увы, приводящими к ряду ошибок¹.

В своей статье А. З. здраво оценивает диссидентское движение и его судьбу: оно «исчерпало себя внутренне, так и не пустив никаких корней в умы и души более или менее широких слоев населения. Оно не породило никаких глубоких и захватывающих идей, ограничившись занесением в советскую среду чужеродных ей западных лозунгов насчет прав человека и демократических свобод. Большинство активных диссидентов оказалось на Западе... Диссидентское движение ушло в прошлое навсегда» (стр. 223). Одновременно А. З. справедливо подчеркивает, что для «русских людей, встающих на путь конфликта со своим обществом, всякий социальный протест означает потери, жертвы, в конечном счете – гибель. Для них исключены контакты с западными людьми. Об эмиграции на Запад они и не помышляют» (там же). Тем самым А. З. пришел к пониманию существования в стране слоев ее населения, которым немного надо, чтобы стать сознательными силами освобождения от режима.

Конечно, А. З. вдруг не сбросит с себя коросту представлений о «научном коммунизме», бытующую в среде «жрецов режима», к которым он принадлежал. Поэтому А. З. считает, что «коммунизм пришел в мир надолго и всерьез» (стр. 232), «нужны усилия нескольких поколений» (стр. 227), «снова начинать с нуля» (стр. 225). Но будем надеяться, что, в главном, он союзник сил освобождения.

Начинать следует с того, что уже есть в стране. Опорой сил освобождения, а по терминологии А. З. «оппозиции социальной» (стр. 228) могут стать:

– Борьба населения с режимом в СССР, формы которой менялись. После гражданской войны и вооруженных вспышек

кое-где в период коллективизации открытое сопротивление режиму сменилось массовым скрытым протестом в ходе каждодневной работы в любой области. В большинстве случаев протест был неосознанным: то был ответ на унижительно нищенскую оплату труда, бесправие, сеть притеснений, закабаление единым работодателем – государством КПСС. Скрытое сопротивление проявилось в виде количества изделий без должного качества и резкого отставания технологии. Подмена требуемого планом количества материала и изделий очковтирательством, например, системой приписок, в масштабе страны привела к значительному сокращению их выпуска в ряде отраслей и задним числом корректировке планов. Скрытое сопротивление трудящихся обернулось грозным и действенным средством, ибо страна оказалась на грани экономического краха. И появилась нужда в «перестройке» и «гласности» Горбачева.

– Микробратства, которыми я назвал естественно образовавшиеся и годами проверенные маленькие группы людей, полностью доверяющих друг другу. Во времена даже страшных сталинских чисток люди обсуждали события, критиковали их, возмущались, пусть вполголоса или шепотом. Можно заставить народ перестать кричать и разговаривать открыто в общественных местах, но невозможно заставить молчать в семье, в кругу родственников, старых друзей и товарищей, верных знакомых. В таком узком кругу обсуждение проблем часто происходит в атмосфере полной свободы, ибо люди как бы наверстывают возможность проявить себя, утерянную в условиях деспотии. Свободное выражение мысли – реакция на ее зажим в условиях подавления личности. В СССР десятки миллионов микробратств, и в них сосредоточены силы освобождения от режима.

– Мостики, т. е. связи между микробратствами. Правда, их перебрасывают лишь при необходимости и с большой осторожностью, так как риск велик. Отсутствие реальных целей, разъединение населения и бездействие сил освобождения мешают возникновению мостиков. Поэтому их число ограничено и определяется остротой момента.

– Забастовки. Ставка сил освобождения должна быть на забастовки, ибо у заводского люда, к которому я принадлежал большей частью моей жизни, есть заветное желание: обрести право на забастовки для своей защиты. А с этим правом не-

избежно связаны послабления режима, как например, допущение стихийных собраний рабочих.

В силу неслыханного угнетения, которому подвергнут наш народ в советское время, в его недрах родилось и усовершенствовалось мирное сопротивление режиму. Ставка должна быть на это сопротивление, а не на партийную революцию, обреченную в СССР на провал. Слова «партия», «организация» сами по себе внушают страх или отвращение. Силы освобождения нельзя собрать под эгидой партии с уставом, программой, взносами, списками членов. Кроме того, вследствие разветвленной сети осведомителей, партию обнаружили бы, центр ее разгромили бы и рядовых членов выловили бы. В силу глухого сопротивления населения режиму, он давно бы получил смертельную для него трещину, если бы его каждый раз не спасал капиталистический мир. Поэтому трудно сказать, когда началось с нуля сопротивление народа режиму. Не с первых ли коммунистических субботников?..

Впрочем, А. З. не начинает с нуля, когда пишет, что социальная оппозиция «должна начаться с образования в стране жизнеспособного и неуязвимого для карательных органов частичного общества (подобщества) со своей идеологией... Многочисленные очаги такого подобщества стали стремительно возникать во многих больших городах страны. Между ними стали устанавливаться контакты» (стр. 235). Так речь ведь идет об образовании «подобщества» из микробратств с помощью мостиков. И существуют микробратства в СССР со времен коллективизации, т. е. уже более половины века.

Образование сил освобождения в микробратствах нуждается в едином центре, который может сообщать недостающие сведения, помогать вести обсуждение о приемлемой форме правления и социальном устройстве, давать советы о координации усилий. Таким центром может стать радиостанция представителей сил освобождения, находящаяся вне СССР. Режим использует все достижения науки и техники для оболванивания населения. Поэтому и силы освобождения, если они хотят одержать победу, должны быть оснащены на уровне века. Достаточно большое число микробратств имеет уже в своем распоряжении приемники, позволяющие ловить передачи западных радиостанций.

Уже 15 лет тому назад я призывал к созданию радиостанции сил освобождения, представители которых на своей шкуре

знают режим, для проведения революции в умах населения СССР. Такая радиостанция показалась фантастичной и недосягаемой эмигрантам, хотя устраняла угрозу нападения СССР. Запад, обработанный в течение ряда веков разрушителями цивилизации, тоже не понял значимости создания предлагаемой радиостанции. Однако фантастично совсем иное. Из СССР и его стран-сателлитов ежедневно на сотнях языках, главным образом, третьего мира мощные радиостанции ведут передачи, подрывающие жизненные основы, разрушающие общество, призывающие к бунту. И странно, что Свободный мир, представленный в передачах как главный виновник отсталости, бедности, некультурности так называемых развивающихся стран, не обращает на это никакого внимания. А ведь его клеймят последними словами, называя его жителей империалистами, эксплуататорами, расистами, колонизаторами. Призывы к уничтожению местной «буржуазии», «Церкви богатых», к террору падают на раскаленную почву. Одна страна за другой попадает в капкан разрушителей и оказывается в лагере лютых врагов Свободного мира: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Эфиопия, Мозамбик, Ангола, Никарагуа, Сальвадор, равно как и верные союзники красного империализма – Куба, Сирия, Ливия и страны, где с помощью СССР разрушители рвутся к власти, – Иран, Филиппины, а теперь и ЮАР. Еще немного – и Свободный мир останется без источников сырья и лишится морских путей сообщения. Поэтому настал час для Свободного мира ответить на разрушительные передачи из СССР передачами радиостанции, которая сумеет завоевать доверие сил освобождения от режима.

Главную ответственность за срыв предложенной мною революции в умах² несет НТС – партия, призывавшая к революции в СССР и считающая себя единственно компетентной в вопросах борьбы с режимом. НТС не только не поддержал мой план, но сделал все от него зависящее для захоронения революции в умах и ее автора, начав с того, что ни разу не обсудил план проведения революции в умах в СССР на своих открытых съездах и в своей печати.

В российской эмиграции, к счастью, достаточно мыслящих людей, которые способны оценить идею и целесообразность революции в умах для укрепления сил освобождения от режима. Российская эмиграция, включая ту ее часть, которая уже выросла в западный мир, достаточно велика. И, хотя ее

трудно расшевелить, раз решившись дружно, она могла бы сдвинуть с мертвой точки вопрос о радиостанции сил освобождения, хоть безвозвратно и потеряно добрых десять лет.

Свободный мир состоит не только из самоубийц, и это все-таки надежду на радиостанцию без советологов, точно охарактеризованных А. З. (стр. 238-239), пока еще не запахло порохом.

Если же силы освобождения останутся без своей радиостанции, то не произойдет стремительной революции в умах. Население будет продолжать следовать освоенной им линии поведения, а силы освобождения без мощного толчка извне будут расти потихоньку. «Социальная оппозиция» А. З. при своем возникновении действительно вынуждена будет при существующих таможенных барьерах и цензурных рогатках вариться в собственном соку и каждый раз изобретать велосипед, т. е. «начинать с нуля» (стр. 225).

Но прав ли Зиновьев, что оппозиционная идеология будет передаваться из поколения в поколение (стр. 227)? На мой взгляд, возможна следующая альтернатива:

— Лет через тридцать, на глазах одного поколения, режим сгниет, ибо его экономическая система окончательно развалится. Но то была бы лишь пиррова победа, доставшаяся народу дорогой ценой за счет его распада.

— Свободный мир, морально опустошенный и падший, настолько ослабнет, что Горбачев сможет молниеносно завоевать Европу и ее жители окажутся в беспросветной тьме. В этом случае социальная оппозиция вынуждена будет уйти в катакомбы, ибо за принадлежность к подобию и за клочок ее идеологии будут ставить к стенке.

А. З. призывает к «научному пониманию советского общества» (стр. 238). Однако это общество достаточно хорошо изучено. В СССР, в эмиграции и в Свободном мире создан ряд ценных исследований о режиме и экономике СССР. Увы, далеко не все из них опубликованы. У СССР на Западе много союзников, которые умело настраивают общественное мнение против опасных для режима произведений. Так были захоронены мои работы³.

Следует объявить беспощадную войну сознательному замалчиванию и захоронению авторов. Число ценных для нашего народа предложений за последние десять лет ничтожно и следовало бы отнестись к ним со вниманием. Эмиграция

обязана быть чутким прибором, способным заметить ростки нового. И если она на это не способна, то не выполняет свой долг перед родиной. Поэтому непростительно, что эмиграция пропустила мимо ушей революцию в умах в СССР, не предложив ничего более совершенного на ее место. Эмиграция не обратила также внимания на предлагаемое мною деление на созидателей и разрушителей, отвечающее универсальным законам природы и этическим законам, а тем самым действительно положению в мире. Ведь в XX веке разрушители загубили более 150 миллионов человеческих жизней. И если универсальные законы природы и этические законы требуют доказательств или разъяснений, то угроза истребления и порабощения людей доходит до них быстро.

В помощь моему делению человечества на созидателей и разрушителей произведения ведущих писателей эмиграции: «Узлы» 2 и 3 Солженицына и «Заглянуть в бездну» и «Носороги» Максимова. «Узлы» рисуют необыкновенную по широте охвата картину разложения и упадка созидателей, безудержного одурения неустойчивых слоев населения и колоссальной активности разрушителей. Как читатель я понял именно так это судьбоносное полотно, хоть и далек от того, чтобы думать, что автор согласен с предложенным мною делением. Роман Максимова несравненно меньшего объема, но обладает взрывчатой силой воздействия на читателя, ибо направляет его внимание на носителей развала и разбоя, вызывая тем ярость. В его полемическом эссе разрушители очерчены с той же ясностью и силой, не допускающей кривотолков.

Полагаю, что мне удалось убедить А. З., что не надо начинать с нуля, а надо продолжать.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Разбору произведений А. Зиновьева «Зияющие высоты» и «Светлое будущее» посвящена моя статья «Жрецы режима» (Приложение к № 14-15 журнала «Выбор», 1980).

² Брошюра «О революции в умах» впервые опубликована в 1973 году (изд. «Посев»), затем вошла в мои работы «Мир-маятник» (Тель-Авив, 1977 г.) и «Горе – не беда» (Париж, 1978 г.) и издана отдельно в 1981 г. («Как провести революцию в умах в СССР», Сан-Франциско, изд. «Глобус»). Брошюра издана также на французском и немецком языках.

³ Политэкономия на основе закона сохранения энергии (в моей книге «Мир-маятник», Тель-Авив, 1977); Постулаты марксизма и законы природы. Париж, 1978; Теория густот. Париж, 1982; Созидатели и разрушители. Париж, 1983. Те же работы изданы на французском языке.

Димитрий Панин

24 августа 1987 г.

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

В №17 «Синтаксиса» напечатана статья живущей в Голландии советской гражданки О. Е. Сурковой, посвященная моему очерку о кинорежисере С. М. Эйзенштейне («Континент», №46). «Синтаксис» попал мне в руки с опозданием – в Израиль он практически не поступает. Эта статья – пространные уверения в том, что автор следует утвержденной агитпропом «генеральной линии» в оценке творчества Эйзенштейна. Странно, что ее поместил эмигрантский журнал, – по сути, это повторение того, что пишет «золотое перо партии» Е. Д. Сурков, бывший многолетним главным редактором журнала «Искусство кино». Остается предположить, что редакцию привлекли навязчивые, бесконечно повторяемые личные выпады против меня, написанные в стиле кухонной свары с рефреном: «А ты кто такой, чтобы замахиваться на Эйзенштейна?» В стиле, не позволяющем мне вступать с автором в полемику по существу.

О. Суркова упоминает о своем сотрудничестве с Андреем Тарковским. Теперь стало понятнее, почему он снял ее имя в качестве своего соавтора.

Единственное, с чем мне приятно было бы согласиться, но что я не могу сделать, это с незаслуженно приписанной мне автором честью первооткрывателя нового взгляда на Эйзенштейна. Представления О. Сурковой о нем – чего она, впрочем, не скрывает – не идут дальше того, чему ее в далекие годы учили во ВГИКе. Уже давно ученые свободного мира трактуют Эйзенштейна как знаменитого художника тоталитар-

ного искусства в его русско-советском варианте. М. Геллер («Машина и винтики», Лондон, 1985, с. 116) пишет: «Он выполнил первую заповедь воспитания ненависти – лишить автора человеческих черт». Ученый ссылается на мнение французских историков кино М. Бардеша и Р. Бразийяка, написавших в 1980 г., что «Александр Невский» – «самый волнующий из „фашистских“ фильмов».

А. Тарковский, не пожелавший ставить свое имя рядом с именем О. Сурковой, писал: «Когда я смотрю „Броненосец Потемкин“», меня шокирует, что там без конца льется кровь, я имею в виду – льется кровь ради того, чтобы дать, дескать, людям счастливую жизнь. Это меня, естественно, шокирует: я не верю в счастливую жизнь, вспоенную кровью, кровь призывает только кровь, и ничего другого. Но еще больше в эйзенштейновском „Потемкине“ меня шокирует другое: творческий метод, заставляющий зрителя относиться к произведению, как к лозунгу – „Мое произведение – мой лозунг“. „Броненосец Потемкин“ – это лозунг, хотя бы поэтому меня это уже не интересует, так как, на мой взгляд, художественный образ есть нечто прямо противоположное, имеющее другое содержание, иной смысл». («Русская мысль», 10 января 1985 г.) Неужели, живя на Западе, О. Суркова не познакомилась с мнением Н. Я. Мандельштам о «саdistской коляске на одесской лестнице», об «эйзенштейновских рыхлых рыцарях, размахивавших картонными мечами», и ее формулой, относящейся ко всему творчеству режиссера: «Холодная роскошь деталей и нищета мысли»? Все это появилось до моей статьи в «Континенте», как и призыв Геббельса к немецким кинематографистам создать подлинно нацистский фильм, взяв за пример «Броненосец „Потемкин“».

Разумеется, может быть и другой взгляд на Эйзенштейна, и я надеялся, когда писал очерк, на достойный спор о нем, а вместо этого прочитал статью, к которой применимы слова, сказанные в том же номере «Синтаксиса» о письме Астафьева: «смесь оскорбительных выкриков, беспомощной иронии, желания взять противника „на горло“». Жаль, что О. Суркова не сочла нужным предварительно познакомиться с соответствующей литературой об Эйзенштейне, дискуссия о котором была бы полезна и поучительна.

Благодарю Вас

С. Черток

Критика и библиография

«РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЧЕСТЬ ВСЕ»

Выпуск первого номера альманаха «Часть речи» вызвал восторженные отклики не только в среде славистов и русских читателей Зарубежья, но и в таких крупных изданиях, как «Нью-Йорк таймс», лондонский «Таймс», радиостанции «Би-Би-Си», «Голос Америки» и «Радио Свобода» также посвятили выходу альманаха специальные передачи, дав ему высокую оценку. Один из крупнейших лингвистов современности Роман Якобсон назвал первый выпуск «Части речи» «ярким событием в русской и, возможно, зарубежной литературе».

В Советском Союзе, куда дошло некоторое количество экземпляров, альманах был встречен с огромным интересом. В частном письме на Запад Наталия и Георгий Владимовы писали: «...принесли альманах „Часть речи“. В нем рекомендовали прочесть все. Альманах – одна из лучших книг, изданных на Западе».

Журнал «Континент» в №27 посвятил «Части речи» большую рецензию, в которой, в частности, говорилось: «Альманах „Часть речи“ очертил уровень утонченного эстетизма и шкалу критериев, доказав, что процесс литературно-художественного созидания един и его компоненты не определяются географическими рубежами».

Обилие хвалебных отзывов, что не так часто случается с русскими эмигрантскими изданиями, однако, не повлекло за собой скорого выпуска следующих номеров альманаха. Трудности эмигрантской издательской деятельности заставили его издателя и редактора Григория Поляка выпустить очередной, сдвоенный номер (№2-3) со значительным перерывом. (Хотя у альманахов и не существует строгой периодичности, все равно это досадно.)

Этот номер посвящен четырем великим поэтам Серебряного века – Марине Цветаевой, Борису Пастернаку, Анне

Альманах «Часть речи». №2-3. Нью-Йорк, «Серебряный век», 1985. 320 стр.

Ахматовой и Осипу Мандельштаму. В сборник вошли стихи и варианты из «Воронежских тетрадей» Мандельштама, прежде нигде не публиковавшиеся, а также его письма, которые С. Полянина (в предисловии к ним) очень верно определила как трагические документы биографии поэта. Так, в одном из писем Н. С. Тихонову Мандельштам пишет: «Здесь, в Воронеже, я живу, как в лесу, что люди, что деревья – толк один. Я буквально физически погибаю... Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на ногах), избавьте от неприкрытого нищенства... примите самые решительные меры, потому что нет имени тому, что происходит со мной в Воронеже».

Трагическими документами звучат и некоторые строки стихов Анны Ахматовой (сохраненные для читателей ее близкой приятельницей Н. Л. Дилакторовой), и фразы из ее «Листков из дневника». В стихотворении 1944 года Ахматова пишет: «Опять подошли „незабвенные“ даты, / И нет среди них ни одной не проклятой...» В «Листках из дневника» она говорит о себе еще конкретнее: «...я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно... временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость... и вообще наступало удушье, которое длилось годами».

В разделе, посвященном Борису Пастернаку, напечатаны неизвестное стихотворение «Ремесло» и его письма к родным, переданные для публикации в альманахе «Часть речи» сестрами поэта – Лидией Леонидовной и Жозефиной Леонидовной. В них звучит тот же горький мотив нелегкой судьбы поэта. Так, в письме к отцу он пишет: «...у меня появилась возможность заработать некоторую мелочь в виде аванса на переводческие права (замаскированный подарок?)». И далее, в том же письме: «Судьба человеческая не становится легче, количество несчастий не уменьшается. Почти все время мне приходится разделять страдания того или иного несчастного. Я теряю время в ходатайствах и почти не работаю».

Марина Цветаева представлена в альманахе ранним стихотворением, нигде прежде не печатавшимся и посвященным ее гимназической подруге Наталии Гучкой, и несколькими письмами, также прежде не публиковавшимися, к Саломее Андрониковой-Гальперн, которая в течение многих лет была ее верным другом. Эти письма, как вообще все, связанное с

именем Марины Цветаевой, представляют большой интерес. Но и сам адресат этих писем, княгиня Андроникова, была исключительной личностью – она находилась в тесной дружбе со многими замечательными поэтами Серебряного века, включая Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову, Михаила Кузмина и других. Именно поэтому, вероятно, в раздел, посвященный Цветаевой, включена статья выдающегося историка культуры сэра Исая Берлина, многолетнего друга Саломеи Андрониковой, где он пишет о ее безошибочном чутье и тонком вкусе в литературе и искусстве.

Итак, напечатанные в «Части речи» произведения, материалы и документы великой четверки Серебряного века представляют собой существенное и ценное дополнение как к личной, так и творческой биографии этих поистине гениальных и глубоко трагических художников слова. Вроде бы и нет никаких особенных открытий во всех этих письмах, записях, набросках и вариантах стихов. Но так может показаться только на первый взгляд, да и то очень поверхностному читателю. На самом же деле, буквально за каждой строчкой открывается необъятная глубина тайны подспудных мыслей, чувств и тревог этих светочей русской поэзии двадцатого века.

Рубрику поэзии в альманахе представляют три известных поэта нашего поколения – Белла Ахмадулина, Булат Окуджава и Иосиф Бродский. Подбор довольно своеобразный и определить, чем он вызван, я не берусь. Стихотворение Ахмадулиной «На смерть Высоцкого» написано явно в тоне и духе Марины Цветаевой, но у нее все же недостает того нерва и того гневного темперамента, который был у М. И. В стихах Ахмадулиной все время слышится, как сама она однажды сказала, ее «лукавое эл» и «воркующее эр».

Стихи «дворянина с Арбатского двора», как опять же сам себя именует Булат Окуджава, со всей очевидностью требуют гитарного аккомпанеента под закуску или без.

Зато лирический цикл Иосифа Бродского «Песни счастливой зимы» – истинно классическая поэзия, в самом возвышенном и совершенном понятии этого слова. Драматические коллизии, возникающие в душе поэта, полны сложных психологических переживаний и философской глубины. Каждое стихотворение Бродского обладает какой-то тревожной тайной, неимоверно волнующей душу и вместе с тем умиротворяющей ее. Я бы сказала даже, что эти грустные «Песни счаст-

ливой зимы» вызывают в душе особую благодать, как бы ниспосланную свыше, — настолько они божественно талантливы.

Иосиф Бродский, действительно, одарен самим Богом гениальным творческим даром. Впрочем, это совсем не означает, что все без исключения должны восхищаться его поэзией. Кто-то предпочитает ему, например, стихи Андрея Вознесенского. Кстати, не так давно у меня даже произошел случайный разговор на эту тему с одной поклонницей Вознесенского. Она мне доказывала, что стихи Андрея Андреевича, как она его почтительно называла, куда талантливее, чем стихи Евгения Александровича, которого она называла Евтухом. Когда я ей заметила, что мне ни один из них не нравится, она воскликнула: «Так ты, наверное, бродкистка?» Я сначала не поняла, мне послышалось «троцкистка». Я принялась отказываться: «Разумеется, нет. Ишь, чего выдумала, начитавшись советской поэзии!» Но, когда выяснилось, что мы просто не поняли друг друга, я извинилась перед ней и смело призналась: «Да, я бродкистка».

Возвращаясь к стихам Бродского, напечатанным в альманахе «Часть речи», необходимо добавить, что этот цикл был им самим подготовлен, отредактирован и хронологически выверен для этого выпуска. В послесловии к его публикации А. Лосев очень хорошо сказал, что «Песни счастливой зимы» — «очень важный этап в формировании оригинального поэтического мира Бродского, здесь ключи ко многим темам и образам его последующих стихотворений».

В том же номере альманаха, в разделе прозы мы опять встречаемся с именем Иосифа Бродского. Собственно говоря, это не проза, а литературно-биографический очерк о Надежде Яковлевне Мандельштам. В достойном, прочувствованном тоне автор пишет об этой удивительной женщине: «Не исключительность масштабов ее горя, а именно обладание такой призмой, полученной от лучшей русской поэзии двадцатого века, — вот что делает суждения Н. Я. Мандельштам относительно увиденной ею действительности неоспоримыми». То есть и в прозе Бродский не забывает о поэзии; воспоминания Н. Мандельштам, написанные, когда ей было уже за шестьдесят, он находит ошеломляющими — но не только потому, что поздно написаны, и потому, что они выходят далеко за пределы традиционных мемуаров, сочиненных на покое человеком, прожившим долгую и богатую событиями жизнь. Самое

главное, по мнению Бродского, в том, что эти книги Надежды Мандельштам появились на свет в результате отпочкования от русской поэзии. «Поэзия и вообще всегда предшествует прозе, — пишет Бродский, — во многих отношениях это можно сказать и о жизни Надежды Яковлевны. И как человек, и как писатель она была следствием, порождением двух поэтов, с которыми ее жизнь была связана неразрывно: Мандельштама и Ахматовой».

Кроме этого, в разделе прозы напечатаны девять коротких рассказов Андрея Битова, рукописи которых пришли по каналам самиздата; эссеические наброски Аркадия Белинкова опять же о поэзии Серебряного века; воспоминания Максимилиана Волошина о Черубине де Габриак, в которых он раскрывает многие тайны этой мистификации, а также небольшой, но наполненный каким-то особым настроением и философской грустью рассказ Варлама Шаламова «Тропа» и рассказ Андрея Платонова «Усомнившийся Макар». Как известно, произведения Платонова, с 1929 года начавшиеся подвергаться резкой критике, а затем вообще переставшие появляться в печати, в последние десятилетия мало-помалу реабилитируются в Советском Союзе. Недавно даже вышел трехтомник его избранных сочинений, чем с гордостью похвастался член делегации советских писателей Виктор Чалмаев, посетивший Нью-Йорк. Кто-то из немногочисленной публики, состоявшей в основном из славистов Колумбийского университета, перед которыми выступал Чалмаев и его литературные коллеги, задал неосторожный вопрос, прозвучавший как междоуметие:

— А «Котлован»?

Чалмаев без запинки ответил, что он ждал этого провокационного вопроса, но дело в том, сказал он, что «мы не хотим его издавать в неполном виде — возможно, у Платонова были написаны еще какие-то главы, которые не вошли в зарубежное издание...»

Я вполне допускаю, что зарубежные издания произведений Платонова не соответствуют где-то академическим нормам, но и вышедший в СССР трехтомник — без «Котлована», без «Усомнившегося Макара» и без повести «Впрок» (вышедшей в издательстве «Серебряный век») — не может претендовать на полноценное издание.

Большое место в альманахе занимают такие, казалось бы, сугубо литературоведческие разделы, как «Вопросы литературы», «Искусство», «Воспоминания», «Архив» и критико-библиографический раздел «Книжная полка». Однако и тут нужно отдать должное издателю, умеющему не просто откопать своеобразные и редкие материалы, но и интересные большому кругу читателей. Например, «Разговоры с Шестовым», записанные Бенжамином Фонданом, который до конца своей жизни (закончившейся в немецком концлагере) оставался верным и преданным учеником Льва Шестова, не только полнее раскрывают философское кредо этого удивительного, но до конца не понятого и недооцененного мыслителя, но и показывают его как человека – мудрого, но не защищенного, даже беспомощного в этом мире, где по сути дела всем давно наплевать на этику философской идеологии и никому нет дела до Ницше, Шопенгауэра и Кьеркегора... а тем более, до Льва Шестова.

Невероятно интересны живые и по-женски остро-темпераментные воспоминания Анны Чулковой-Ходасевич о Владиславе Ходасевиче, за которым она была замужем 11 лет. Нечего и говорить, что каждый документ, касающийся биографии этого поистине выдающегося поэта, критика и знатока русской литературы, представляет громадную ценность.

Две статьи Соломона Волкова – «Диалог с Иосифом Бродским» и «Интервью с Мстиславом Ростроповичем» – написаны в форме непринужденного разговора. Надо сказать, что такие неотредактированные и неотрепетированные беседы, переписанные с магнитофонной ленты, стали новым жанром в современной литературе, которым пользуются многие авторы-интервьюеры. Но не у всех так хорошо это получается, как у Волкова. Правда, он и собеседников выбирает самых достойных.

Идя дальше, нельзя не отметить публикацию полного текста «Выступления на диспуте» Михаила Булгакова. Этот диспут, а точнее сказать крошечный разнос его пьесы «Дни Турбиных», состоялся в 1927 году в театре Мейерхольда, где присутствовали видные советские критики и сам Луначарский. В 1969 году в журнале «Огонек» была опубликована эта речь Булгакова, но, как всегда случается с советскими изданиями, она вышла в свет со значительными сокращениями и кое-какими неточностями. В СССР давно уже существует тенден-

ция реабилитировать, причесав под свой гребешок, и Булгакова, и Платонова, и многих других русских писателей, создав из них классиков советской литературы. Однако до тех пор, пока на Западе существуют свободные издания, нивелировка творчества столь незаурядных, столь далеких от соцреализма художников, вряд ли удастся.

Альманах, действительно, один из лучших литературных сборников, изданных на Западе. Все, что в нем напечатано, от первой до последней страницы, стоит и нужно прочитать.

Мария Тим

ГРАНИЦЫ ГЛАСНОСТИ

Советское киноведение поразительно бедно справочной литературой. Указатели фильмов, сведения об их авторах, аннотированные каталоги, словари, которые в развитых кинематографических странах выпускаются ежегодно, в СССР – редкость. О киноэнциклопедиях и говорить не приходится – нет ничего похожего на девятитомную итальянскую, многотомные французскую, американскую, английскую с их постоянными дополнительными выпусками.

В 1966 и 1970 годах «Советская энциклопедия» впервые издала двухтомный «Кинословарь». В 1986 году вышел однотомный энциклопедический словарь «Кино». В нем меньше, чем в двухтомнике, статей о технике и технологии создания фильмов, производственных процессах, киноаппаратуре и больше – о творческих проблемах киноискусства, меньше описательных очерков, но больше справочных материалов. Польза словаря несомненна – и специалисты, и любители кино смогут найти фактические сведения обо многих картинах и их создателях.

Редакция не скрывает идеологического характера справочника, так как считает кино «оружием острой идеологической борьбы». Достигается этот характер чаще всего с помощью не принятой в западных научных изданиях партийной

КИНО. Энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1986.

Например, в статье «Документальное кино» говорится: «Документальному кино как средству «психологической войны» против стран социализма, советские кинематографисты противопоставляют яркое и художественно убедительное исследование преимуществ социалистического образа жизни, аргументированный анализ на достоверном документальном материале путей национально-освободительной борьбы, углубление кризисных процессов в капиталистическом обществе».

Идеологическим справочник остается даже в кратких биографических заметках. Если они посвящены советским кинематографистам, то после профессии непременно указывается членство в КПСС и партийный стаж, а в конце – полученные ими ленинские и государственные премии. В целом эти бессмысленные сведения составляют значительную часть текста. Если кинематографисты «буржуазные» и чем-то не угодили, то их имена не вычеркиваются вовсе, как это было прежде, когда вдруг оказывались несуществующими недавние «друзья Советского Союза», но говорится, чем именно они проштрафились. Ив Монтан: «В последний период общественная деятельность Монтана носит реакционный антикоммунистический характер». Симона Синьоре «перешла на реакционные антикоммунистические позиции». Кёрк Дуглас «в последнее время неоднократно выступал в поддержку экспансионистских целей США». Джон Уэйн: «Политические убеждения Уэйна отличались реакционностью, что нашло отражение в трактовке им своих персонажей, а также в его собственных постановках». О Коста-Гаврасе мягче: «В некоторых фильмах отчетливо проявляется противоречивость позиций», – но самый яркий из «некоторых фильмов» «Признание» (1972) о процессе Р. Сланского в Чехословакии (1952) не упомянут.

Обличать реакционеров из империалистической среды оказывается проще, чем отступников из собственных рядов. Только о знаменитом польском режиссере Анджее Вайде сказано, что в его фильмах семидесятых годов «получили развитие антисоциалистические тенденции». Названы «Человек из мрамора» (1976) и «Человек из железа» (1981), а также «Дантон» (1983), где «тенденциозно осмысливаются события Великой французской революции». С другими уклонистами энциклопедия поступила прежним, испытанным способом: их в ней просто нет, потому что не может быть никогда. В их число

почему-то попал даже всемирно известный Роман Полянский, от политической деятельности и высказываний очень далекий (его имя один раз мельком упомянуто в статье об американском кино). Что же говорить о талантливых чехословацких и югославских режиссерах, обвиненных в «антисоциалистических настроениях»?

В статье «Югославская кинематография» об эпохе конца 60-х – начала 70-х годов, получившей название «черная волна», сказано: «все больше стало появляться фильмов критиканских, а то и просто антисоциалистических». Но какие это фильмы и кто их авторы, не говорится. Об этом можно только догадываться, обратив внимание на то, что в словаре нет, например, статей о Душане Маккавееве и Александре Пётровиче. Как нет статей о выдающихся мастерах «чешской волны» шестидесятых годов В. Хитиловой, З. Брынихе, Я. Немеце, В. Ясном, П. Юрачке, Л. Рихмане. В обзоре «Чехословацкая кинематография» упомянуты лишь «тенденции, враждебные социалистическому искусству и обществу». Любопытно, что о Милоше Формане, завоевавшем после эмиграции в США мировую известность, статья есть, но только как об американском режиссере, а его чехословацкие работы – «Конкурс», «Черный Петр», «Бал пожарников» и др. даже не названы. С Я. Кадаром и Э. Клосом, сопостановщиками фильмов «Смерть зовется Энгельхен» (1964) и «Магазин на площади» (1964) поступили так. Кадар в 1968 году эмигрировал, и он не упомянут. Клос остался, и ему посвящена биографическая справка, где он назван сопостановщиком без указания имени его соавтора.

Политический характер носят статьи, посвященные кинематографиям разных стран, а их великое множество, потому что в справочник включено только еще рождающееся кино молодых и маленьких государств Африки и Азии, не перешагнувшее этап хроники и первых игровых опытов. Есть даже статья «Кинематография ООП». Об израильской кинематографии сказано, что она снимает в основном вестерны, комедии и музыкальные ленты, но в итоге: «Большинство фильмов носит ярко выраженный националистический характер, служит целям сионистской пропаганды». Египетская кинематография во все периоды своего существования варьирует одни и те же образцы мелодрам или музыкальных комедий. Но об этом энциклопедия не пишет, зато утверждает, что «после смерти Г.-А. Насера и прихода к власти А. Садата (1970) еги-

петская кинематография переживала трудный период. Почти полностью исчез жанр политического кино». Дело же обстоит как раз наоборот. После того, как в 1971 году Главное управление радио, кино и телевидения было упразднено и кинематограф полностью перешел в частные руки, в нем и появились куда более откровенные ленты об экономических и политических проблемах страны – «Народная баня» (1972) Салаха Абу Сейфа, «Воробей» (1971) и «Почему Александрия?» (1979) Юсефа Шахина, «Болтовня на Ниле» (1972) Хусейна Кемалы и др.

Справочник посвящен прежде всего советскому кинематографу и утверждает его приоритет в мировом кинопроцессе. Самая большая из биографических статей – об Эйзенштейне: 354 строки (о Чаплине – 252). О Пудовкине, оставшемся в истории кино двумя фильмами немого периода, – 231 строка (о Феллини – 176). Совсем худо дело с оценкой реального значения той или иной фигуры, когда речь заходит о киновыдвиженцах тридцатых и последующих годов, даже самые одаренные из которых не пошли дальше подделки под реалистическое искусство, иллюзии реальности. Г. Козинцеву посвящено 163 строки, С. Юткевичу – 136, С. Герасимову – 128. И каких! Фильмы Юткевича «обозначили новый этап советского кино», а его картины о Ленине «знаменовали раскрепощение эстетики», «создали сложный и волнующий образ вождя, мыслителя и человека». У Герасимова «достоверность изображения», «наблюдательность», «тонкое понимание», «публицистическая достоверность». О бр. Васильевых, оставшихся в истории кино единственным фильмом «Чапаев», написано 125 строк, а о гениальном, но опальном С. Параджанове – 15 (!).

Напрасно искать в фильмографии картины, положенные на полку. У А. Михалкова-Кончаловского не упомянута даже формально получившая «разрешительное удостоверение» «История Аси Клячиной», у Г. Полоки – «Интервенция». Об А. Аскольдове, поставившем запрещенный (и показанный впервые только через 20 лет, в киноклубе Московского кинофестиваля) фильм «Комиссар» (1967) по рассказу В. Гроссманна «В городе Бердичеве», нет даже биографической справки – его имя вычеркнуто из истории кино. Не попал в справочник и режиссер Н. Рашеев, чья лучшая картина «Заячий заповедник» тоже лежит на полке. Эпоха «гласности» возвратила в прокат далеко не все фильмы и их авторов.

Из энциклопедии исчезло целое направление поэтического кинематографа, вернувшее в начале 60-х годов экрану его подлинность, достоверность. Термин «поэтическое кино» стал в советской критике ругательным. Родоначальником направления был Сергей Параджанов, поставивший на киевской студии им. Довженко «Тени забытых предков» (1965). В словаре есть статья «Украинское кино», в которой ни Параджанов, ни его последователи не упоминаются – нет «Каменного креста» и «Захара Беркута» Л. Осыки, «Колодца» и «Вечера накануне Ивана Купалы» Ю. Ильенко. Ни слова не говорится о новой поэтике кино, уходящей корнями в традиции раннего Гоголя, в эпическую культуру украинского народа – его думы, песни, предания, мифы. Партийные идеологи принимали их как элемент декорации, но испугались ощущавшейся за ними на экране свободной человеческой личности. Зато в статье подробно и нудно перечисляются ленты, сделавшие само имя студии им. Довженко нарицательным – бессмысленные и безнадежно отсталые по форме. Самые бездарные из них принадлежат режиссеру Т. Левчуку, фамилия которого упоминается в статье четыре раза и пятый – в качестве ее автора.

Судя по результатам, составителям словаря удалось выполнить указание по сокращению количества евреев, которых традиционно было много в дореволюционном русском и в советском кино. Не то, чтобы не включать совсем, но, где можно, избавляться от них. Последние 30-35 лет это достигалось административными мерами: увольнением со студий и запрещением принимать во ВГИК. Но энциклопедия исправляет и ошибки предшествующего периода, когда евреи широко допускались к кино. Из тех, кто его начинал в России, исчезли режиссер О. Галлай, сценарист Б. Мартов, оператор Б. Завелов, крупнейший киноизобретатель И. Поляков... Из кинематографистов советского периода выпали драматурги Л. Браславский, И. Бачелис, А. Блюмштейн, ученый И. Блюмберг, композитор Д. Блок (здесь взяты наугад несколько фамилий на букву «Б») и десятки других имен. Так как советский антисемитизм интернационален, то подданство кинематографиста значения не имеет – во втором издании нет и американских композиторов Марка Блицштейна и Адольфа Дейча, и польского кинохудожника Романа Манна, и аргентинского режиссера Луиса Заславского...

В словарь не попал даже здравствующий и продолжающий снимать фильмы советский режиссер Соломон Шустер, постановщик нескольких удачных картин. Возможно, потому, что его картина «День приема по личным вопросам» (1968) была обвинена Ленинградским обкомом партии в сионистских тенденциях за то, что ее центральный персонаж – еврей, и картина вышла на экраны лишь после того, как была переозвучена и имя-отчество героя не оставляло сомнений в его коренном происхождении. В энциклопедии нет покойных актеров Б. Петкера и С. Межинского. Правда, они прежде всего актеры театральные, но Ю. Толубеев, включенный в словарь, в такой же степени прежде всего театральный актер. В статье о белорусском режиссере В. Корш-Саблине не назван его фильм «Искатели счастья» (1936) о евреях – переселенцах в Биробиджан. В первом издании словаря в статье о русской актрисе М. Блюменталь-Тамариной роль Двойры в этой картине была названа среди лучших ее экранных работ, во втором издании эта роль исчезла. Нет статьи о режиссере М. Дубсоне, поставившем в 1935 году фильм «Граница» о жизни еврейского местечка в Польше, воссозданной художественно выразительно и этнографически точно. Объяснить это тем, что Дубсон был репрессирован, невозможно. Он выжил, вернулся в кино, а справочник называет других (хотя и не всех) реабилитированных кинематографистов – режиссера Н. Экка, оператора В. Нильсена, актеров А. Дикого и К. Эггерта, теоретика кино А. Пиотровского.

Еще решительнее поступили составители словаря с эмигрантами. Число пореволюционных эмигрантов в словаре по сравнению с первым изданием сократилось или о них сказано намного короче. Например, статья об актрисе Вере Каралли «усохла» вдвое. С эмигрантами последнего призыва – невозвращенцами или уехавшими легально редакция поступила еще решительнее. В энциклопедию попал только Андрей Тарковский. Когда она составлялась, он уже был смертельно болен, а мертвых советская власть не так боится, и великому режиссеру уделено 25 строк, как заурядному кинодеятелю, которого и не назвать неловко, и упоминать не хочется. Всех остальных в энциклопедии нет – М. Богина, Г. Габая, Ю. Герштейна, И. Ельцова, М. Калика, Л. Кельберта, В. Норда, Л. и С. Чаплиных, Б. Фрумина, операторов Ю. Сокола, М. Суслова, актеров О. Видова, С. Крамарова, Л. Круглого, Ю. Панича,

Ю. Севела, В. Федоровой, сценаристов В. Аксенова, Г. Владимова, А. Галича, Ф. Горенштейна, Э. Марьямова, В. Некрасова, Э. Севелы, Э. Тополя, киноведов В. Головского, И. Лещинского, В. Матусевича. Пострадали даже те, кто работали с будущими эмигрантами. В свое время три выпускницы ВГИКа И. Туманян, И. Селезнева и Д. Фирсова поставили по рассказам В. Аксенова сборник киноновелл «Путешествие». Картину сразу же положили на полку, а теперь И. Туманян и И. Селезневу не включили в энциклопедию, а о Д. Фирсовой говорится только как об актрисе и кинодокументалистке. В статье о режиссере А. Иванове не упомянут его лучший фильм «Солдаты» (1957), поставленный по книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда» – первая ласточка кинооттепели. М. Калик не называется даже и в очерке о молдавской кинематографии, одним из создателей которой он был, а его картины «Человек идет за солнцем» и «До свидания, мальчики» не называются даже в связи с работами других авторов этих фильмов.

Неясны границы гласности и в отношении режиссеров, женившихся на иностранках и благодаря этому получивших право жить и работать за границей. О менее известном режиссере научно-популярного кино Соломоне Шульмане статьи нет вообще. Об очень известном Андрее Михалкове-Кончаловском написано 19 строк (о его младшем брате Никите Михалкове – 85) без упоминания снятых им на Западе картин «Любовники Марии», «Сбежавший поезд» и «Скромные люди».

Статьи о жанрах лишний раз напоминают о том, что зажатое в тесные рамки государственно-идеологических требований советское кино неспособно рождать новые формы, стили и направления и лишь пытается копировать западные достижения. Например, в статье «Мюзикл в кино» названы только зарубежные картины – нерасторжимое внутреннее единство музыки, диалогов, пения и хореографии, основанное на свободе от каких бы то ни было канонов, оказалось не под силу тяжеловесному и идеологизированному кинематографу. В статье об американском режиссере Сесиле Де Милле говорится, что «разработанная им система «боевиков» впоследствии получила широкое распространение в буржуазном кино». Но советское кино десятилетиями безуспешно подражает ей, демонстрируя свою неумелость и отсталость. Разрекламированный пятисерийный боевик о второй мировой войне «Осво-

бождение» – всего лишь запоздалый и невнятный ответ на американские боевики «Самый длинный день» и «Битва при Арденнах». Дело не столько в профессиональных качествах советских кинематографистов, сколько в страхе советских идеологов перед всем новым, включая и новые жанры в кино.

Боясь нового, они боятся и молодых авторов. Геронтологическую драму эпохи «застоя» не разрешил в кино и период «ускорения». Киноэнциклопедия – документ, из которого видно, что всего несколько человек из более или менее известных режиссеров и сценаристов родились в сороковые годы – режиссеры В. Рубинчик (1940 г. р.), П. Чухрай (1941 г. р.), В. Абдрашитов (1945 г. р.), сценаристы Л. Адабашьян (1945 г. р.) и А. Миндадзе (1949 г. р.). Это не примеры, а полный список. Все остальные – старше. История мирового кинематографа свидетельствует о том, что самые знаменитые его фильмы были сняты тридцатилетними: Эйзенштейн поставил «Стачку» в 27 лет, Годар «На последнем дыхании» – в 30, Феллини «Огни варьете» – в 30, Вайда «Поколение» – в 29, Бунюэль «Андалузского пса» – в 28, Карне «Набережную туманов» – в 29, Тарковский «Иваново детство» – в 30... ВГИК между тем продолжает ежегодно выпускать режиссеров, которые до седых волос ходят в помощниках и ассистентах и теряют чувство новизны, способность к открытиям, охоту к риску.

Известно, что кинопроизводство в СССР медлительно – и из-за недостаточного профессионализма, и по причине отсталой техники, и из-за вечной нехватки пленки, и из-за огромного числа проверяющих, разрешающих и утверждающих инстанций. Еще медлительнее книжное дело – по тем же причинам, только не хватает не пленки, а бумаги. Кинословарь был сдан в набор в июле 1983 года. К этому времени относятся последние упомянутые в нем советские фильмы, зарубежные – к 1981-му. Подписана в печать книга в ноябре 1985 года, вышла в свет осенью 1986-го. По одной этой причине вышла уже частично устаревшей. И все же хорошо, что она появилась – другого справочного пособия просто нет.

Семен Черток

«НИКТО КАК СВОЙ...»

Парижское книгоиздательство «Альбатрос» выпускает одно за другим произведения писателей и поэтов старшего поколения российской эмиграции. Процесс издания таких книг – кропотливый. Труд – благодарный, но требующий большой отдачи. Годами ищет и собирает это культурное наследие недавнего прошлого основатель издательства, профессор-славист Ренэ Герра – по старым журнальным и газетным подшивкам, альбомам, антологиям, пока эта культура, эта литература еще не исчезла окончательно. Они все еще пребывают в нашем настоящем, в нашем повседневном – словно венский стиль начала нашего века, перекочевавший благополучно в его же последние десятилетия.

Среди писателей предшествующих поколений русской эмиграции имеются такие, стиль, мировоззрение которых нам, пришельцам «третьей волны», – ближе, чем многим из их современников. Кое-кто и сейчас их побаивается, относится настороженно. А для кого-то такие писатели оказались настоящими учителями жизни, дававшими уроки трезвости и прямоты, граничащими с истинным мужеством. К ним можно отнести Сергея Милича Рафальского, писателя, поэта, журналиста. До последнего дня этот видный полемист и публицист оставался в русской парижской прессе – вплоть до последней статьи в черной траурной рамке, появившейся в день его смерти, 13 ноября 1981 года, в газете «Русская мысль».

Родился Сергей Рафальский 19 августа 1896 года. Учился на юридических факультетах – сперва Санкт-Петербургского, затем Киевского университетов. Перед революцией вступил в партию народной свободы.

В годы Гражданской был в рядах Добровольческой армии генерала Врангеля. В 1922 году Сергей Рафальский оказался в Чехословакии, участвовал там в создании различных поэтических объединений, печатался в эмигрантских периодических изданиях: был также сотрудником Института изучения России.

В 1929 году С. Рафальский переехал в Париж, где продолжал заниматься публицистикой и литературой. Был постоян-

Сергей Рафальский. Николин бор. Париж, «Альбатрос», 1984.

ным автором журнала «Грани», газет «Русская мысль» и «Новое русское слово».

Немало возмущенных воплей, немало стонов вызывали статьи, появлявшиеся из-под этого язвительного пера. Книги же стали выходить лишь посмертно. Так, в 1983 году издательство «Альбатрос» выпустило книгу стихов и поэм Сергея Рафальского «За чертой». Воспоминания «Что было и чего не было» вышли в лондонском издательстве «Оверсиз».

Проза Сергея Рафальского, под общим названием «Николин бор», вышла опять-таки в издательстве «Альбатрос». Издание это отпечатано в количестве 500 экземпляров, 25 из которых перенумерованы. Обложка и марка – работы Сергея Голлербаха. Читатели книг, выпускаемых в «Альбатросе», уже привыкли видеть в оформлении обложки четкую и легкую руку этого художника.

В среде эмиграции Сергей Рафальский был белой вороной – по многим причинам. Был он убежденным «февралистом». Скромность, гордость, вкус и ненависть к карьеризму мешали ему предпринимать усилия по восхождению в начальство. Да и с публикацией своих художественных произведений он не спешил. Поэтому книга «Николин бор» для многих зарубежных читателей оказалась совершенно новым знакомством! Не говоря уже об отечественных.

Всеми помыслами обращенная к России, из которой автор «произшел» после 1917-го, эта книга написана вне ее – и о ней.

Она открывается повестью «Искушение отца Афанасия», написанной в 1956 году. Это рассказ о «перевербовке»: под видом священника работники госбезопасности отправляют для укрепления – а на самом деле, для разложения Церкви – своего человека. Для «накачки» самозванному отцу Афанасию дают штудировать священные книги. Напрасно тот пытается защитить себя от того, что ему приказано считать «религиозным дурманом»: грустные и высокие истины начинают овладевать его сознанием, сначала исподволь, затем – все сильнее. Уже сам не зная, кто он на самом деле – провокатор или проповедник, – отбывает отец Афанасий в лагерь, где сталкивается и с представителями мыслящей политической оппозиции, и с философами, и с правдоискателями. Иуда в нем побежден. Происходит неслышное чудо «падения вверх»: тот, кому лжесвященник открылся, предпочел не услышать...

Мистический атеизм, на котором и основывается мировоззрение автора, предполагает вообще его особенный интерес к природе предательства – ибо *предательство* – главный, быть может, ключ к происходящему в мире в последние времена. В повести «Во едину из суббот» вопрос: кто Иуда? – не предполагает адекватного однозначного ответа. Он и завистник, и предатель от природы; он и жертва Промысла. Но Иуда – также и тот прототип современного экстремиста, желающего немедленных и радикальных переворотов, который отвергал Рафальский. А ждать явного проявления чудес не положено, ибо «земной мир и ему подобные пребывают в Духе, словно капля в большой воде...»

«Николин бор», давший название всей книге, написан в жанре философской повести. Герой – современный Кандид. За одни сутки он совершает сумбурное паломничество по эмигрантским кругам, без осмысленной цели. Эта вещь соткана в виде лоскутного одеяла из встреч, лиц, групп. Рассказ о тех, кто варится в эмигрантском котле, кажется убийственно беспощадным. Но так можно говорить лишь о том, что любишь и оттого знаешь. Вот один из типичных представителей гибко-спинного племени русских за границей – Пантелей Елеферьевич Одуванцев: прототип явно знаком автору до мельчайших штрихов:

«Фактически выросший и возмужавший в эмиграции Пантелей Елеферьевич духовно созрел хоть и с высоким сознанием своей исторической миссии, но и в совершенно порой волчьих условиях борьбы за существование (...). Поэтому с парадного, так сказать, подъезда настойчиво утверждая пером и живой речью весьма высокие идеи и образы (...„Свет Христов засияет над бездной большевистского неверия...“), Пантелей Елеферьевич в то же время в повседневном быту признавал только одну одиннадцатую заповедь: „Не зевай!“».

Порой чтение повести «Николин бор» превращается в прямые поиски прототипов – в забавную игру. В хозяевах парижского литературного салона, куда попадает герой, без труда угадываются Мережковский и Гиппиус – под видом «сугров Нукиных».

А вот почти и не карикатура: сцена в «активистском Союзе Труд и Собственность»:

«В помещении клуба со стенами, украшенными боевыми лозунгами и национальными флагами, осенявшими портреты

погибших за «Труд и Собственность» Героев, частных посетителей не было (...) Не было также, к великому сожалению Александра Петровича, и буфета, который, как известно, в эмиграции органически сросся с общественностью (...). Делали вырезки из советской прессы и вкладывали их в особую тетрадь, либо выбирали из разных пачек свою собственную «освободительную литературу» (...) и Александр Петрович понял, что присутствует на большом сеансе ответственной работы Союза, его беспощадной схватке с большевистским злом...»

Центральное место в повести-памфлете «Николин бор» занимает притча:

Дремучий бор, полный леших, домовых, водяных и русалок, хозяин-Барин продал ради прихоти шлюхи-иностранки – «преобразователю» – Голотяпову Владимиру Ильичу. Он-то и сводит реформами бор на нет. А чего не удалось ему – довершает Виссарионыч, кабатчик. Лесное население, слегка посопротивлявшись, примкнуло к кабатчику – и сгнуло. А какое-то бежало за тридевять земель. И осталась от могучего Николина бора одна лишь сусальная славянская вязь – в названии, да фиговый листок, чтоб срам прикрыть...

Если угодно, пессимизм – зато без утопий и маниловщины. В эту эпоху, когда, по словам автора, за Великим Крушением последовало «смутное время» и «сам Мартын Задека не разберет, кто – как среди победителей, так и среди побежденных – трезво врет, а кто – вдохновенно сочиняет», – надо быть зорким.

Он-то был всегда начеку, этот сторонник конституционной монархии, парламента. Тайно и явно бесился Рафальский от окружающего краснобайства, пассивности, высосанного из пальца идеализма – когда единственным спасителем России – «Расеи» – представляется Кудеяр-атаман, о котором в повести зачитывается пустопорожний доклад на том витиеватом языке, который сегодня стал некоей эмигрантской «анти-новоречью»:

«Гносеологический феномен русского разбойничества – наше историческое «воровство» – представляется не чем иным как формальным коррелятом для русской души, в которой – непостижимым для европейского сознания образом – понятие правды – противопоставляется идее Права...»

Свои идеалы Рафальский готов был защищать до последнего вздоха. И, невзирая на то, что он чувствовал себя именно защитником Права – иначе, правозащитником, это право служило у него интересам правды, как внутренней, так и художественной, от которой в повестях Сергея Рафальского вкус терпкий, как от айвы.

Кира Сапгир

МАЯТНИК АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАЧНУЛСЯ

Из необъятного книжного моря ежегодно в Америке выделяются полторы-две дюжины «бестселлеров», книг, пользующихся особенным успехом. В списках бестселлеров 1987 года, наряду со шпионскими и детективными романами и сочинениями на тему «Как разбогатеть?» или «Как наладить супружескую жизнь?», появилась книга для таких списков беспрецедентная – философско-социологический трактат профессора Чикагского университета Аллана Блума под несколько странным для русского уха названием – «Заккрытие американского разума». Все в этом случае необычно. И то, что на выход книги Блума откликнулись и вся массовая пресса, вообще-то игнорирующая философскую литературу, и специальные гуманитарные издания. Что Блум мелькает в популярных телевизионных программах наряду с политическими деятелями и кинозвездами. И, конечно, то, что сотни тысяч американцев стремятся прочесть книгу, читать которую и не так уж легко, и не так уж весело.

И сама книга Блума, и ее действительно беспримерный успех – явления характерно американские, связанные с динамической природой американской демократии, для которой это способ существования – постоянно подвергать сомнению, проверке, ревизии собственные институты. Книга Блума – это философская ревизия всей системы американского образования и его, так сказать, конечного продукта, типа мышления, воспитываемого этой системой. Как явствует из названия, Блум предупреждает об опасности: по его мнению, в сознании

Allan Bloom. The Closing of the American Mind.

многих средне-образованных американцев – а сейчас подавляющее большинство американцев имеет по крайней мере среднее образование – появляются признаки невосприимчивости к глубоким идеям, отталкивания от действительно трудных вопросов, равнодушия к истории и культуре и, как результат, перспектива утраты личности, индивидуальности.

Можно сказать, что маятник интеллектуального ревизионизма качнулся от Джона Дьюи к Аллану Блуму. В девятнадцатом веке американская система образования в принципе мало отличалась от тогдашней европейской. В начале нынешнего столетия началась длительная реформа, вдохновленная прагматической философией Дьюи. В основе ее лежала идея сфокусировать образовательный процесс на индивидууме. Предполагалось, что суть не в том, чтобы начинить сего индивидуума информацией, а в том, прежде всего, чтобы раскрепостить его способность к самовыражению, помочь ему понять собственные чувства и стремления и вооружить методом для осуществления этих стремлений. Эта реформа избавила школьников от унылой зубрежки, породила новые эффективные приемы преподавания и, может быть, самое главное – сделала учащегося равноправным и уважаемым участником учебного процесса. В принципе эта система образования прямо противоположна советской. Вот что пишет советский преподаватель Юрий Корхов: «...наибольшее принуждение наблюдается в учебных заведениях всех видов и рангов. Система образования у нас – это, по сути, школа творческого выхолащивания. Человек, прошедший ее от начала и до конца (садик, средняя школа, ПТУ, техникум, вуз), способен, как правило, только исполнять. Продукт этой школы, сознательный человек, на практике – просто *послушный*, исполнительный человек» («Новый мир», 1987, №5, стр. 242). Из американской системы образования принуждение почти полностью устранено. Школьников чуть ли не с первого класса приглашают спорить, сомневаться в любом авторитете, проверять любые истины как рационально, так и путем вслушивания в свои чувства, интуиции.

Все это звучит как блистательное осуществление педагогических принципов Руссо и Толстого. В чем же Блум видит изъяны этой системы? В том, что, доведенная до крайности, она воспитывает не зрелых, свободно и ответственно мыслящих мужчин и женщин, а «взрослых младенцев». Блум,

используя выражение Макса Вебера, называет «взрослыми младенцами» тех, кто исподволь подменил критическое, испытующее отношение к действительности таким комфортабельным релятивизмом, питая одновременно наивную веру в «научную» разрешимость всех «проклятых вопросов». Вот этот умственно-пассивный релятивизм – о чем спорить, всё относительно! – и есть, по Блуму, закрытие разума. Для нас характерным примером могут послужить некоторые американские левые, вся политическая философия которых сводится к тому, что «в СССР есть недостатки, в США тоже есть недостатки, значит, обе системы примерно одинаковы».

Материал книги Блума – наблюдения профессора над студентами. В каких же конкретно проявлениях американской молодежной жизни видит он опасные симптомы? Блум считает, что предубеждение против идеологической обработки, индоктринирования, стремление педагогов любой ценой сохранить душу ученика как некую «чистую страницу» привело к тому, что вырастают люди вообще безо всякой системы ценностей – моральных, социальных, культурных. Кстати, в качестве одного из примеров он вспоминает свой школьный учебник, в котором на ярких картинках была показана безмятежная жизнь советских колхозников. Упомянуть ужасы сталинской коллективизации было бы, по мнению авторов учебника, недопустимым загрязнением «чистой страницы», грубой идеологической обработкой. Читая это у Блума, трудно не вспомнить советские учебники, где современная американская жизнь изображается наподобие самых кошмарных сцен из «Хижины дяди Тома».

Далее Блум считает, что установка на самовыражение прежде всего, не менее, чем телевидение, ответственна за то, что молодежь мало и непоследовательно читает. Ежедневные встречи с великими собеседниками, авторами классических книг, и создают личность. Без этого, говорит Блум, возникает печальный парадокс: «самовыражающаяся личность» не имеет личности, чтобы ее выразить.

Другой опасный симптом Блум видит в последствиях сексуальной революции, которая, кстати сказать, совсем не означает сексуальную распущенность, как это иногда представляют себе в Советском Союзе, а скорее то, что в старину в русских революционных кругах именовалось «товарищеским отношением к женщине», т. е. отмену флирта, влюбленности,

ухаживания, любви, губительной страсти, а взамен всего этого – разумные союзы, основанные на взаимных интересах и уважении, не обязательно долговечные. Исчезает любовное страдание, нет Вертеров и Ленских, Эмма Бовари и Анна Каренина погублены не страстями, а социальной несправедливостью, и – исчезает эрос, который, согласно Платону, и окрылял процесс человеческого самопознания, совершенствования, процесс культуры. Или в переводе на послефрейдовский язык – исчезает сублимация. Блум убежден, что любовные страдания студентов былых времен были своего рода энергетической базой культуры.

Наконец, Блум выдвигает суровые и остроумные обвинения в адрес современной музыки, коммерческого рок-н-ролла. Рок-н-ролл предлагает мгновенное и примитивное удовлетворение душевных потребностей, чем он противоположен поэзии, наслаждение которой приходит лишь в результате душевного со-трудничества, труда души. Рок-н-ролл в стиле, скажем, Майкла Джексона – это для Блума то первобытное варварство, которое имели в виду философы от Платона до Ницше, писавшие о мучительной трансформации человеческой культуры, о «рождении трагедии из духа музыки».

Нетрудно увидеть, что Блум близок к другим мастерам современной культуры в своей критике. Например, к замечательному писателю, нобелевскому лауреату Солу Беллоу, который написал для книги Блума дружеское предисловие. Или к Солженицыну – в его Гарвардской речи. Разница в том, что тревожные наблюдения Блума крепко укоренены в интеллектуальной истории Запада.

Блум беспощаден в своем диагнозе, но диагноз писателя и философа, в отличие от диагноза врача, есть уже и лечение. Самый факт, что такое множество американцев читают и обсуждают книгу Аллана Блума, говорит о том, что маятник американской культуры, достигнув опасного предела, начал качание в другую сторону.

Лев Лосев

«БОЯРСКИЕ ДЕТИ» И СОВЕТСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

«Издательство имени А. Платонова», выпустившее роман «Факультет патологии» А. Невина, – скорее всего, такая же авторская мистификация, как и «памятник Троцкому» во дворе сов-пединститута, где происходит действие самой книги.

А происходит оно, действие, в 1973 году, в учреждении, призванном «сеять разумное, доброе, вечное».

В самом начале герой, как-то захлебываясь, лопоча (потом станет очевидно, что это характерно для всего романа), с инфантильной наглостью представляет себя:

«...я был еще тот студент. (...) Появившись именно на этом курсе того же факультета педагогического института им. Льва Дм. Троцкого московского города Москва. Или, если хотите, столичного города Москва. Как хотите, так и будет...»

Роман о студенческих годах появляется не так часто сейчас. То ли оттого, что об этом ужасном времени хочется сразу позабыть (я, к примеру, после окончания института сожгла все тетрадки и учебники, торжественно поклявшись: никогда больше нигде не учиться!). Но ежели и появляются – это сиропные стереотипные опусы с юношеской влюбленностью, спортом, хорошими (или же препротивными) преподавателями. А. Невин поведал об ужасах этого мирка – обо всех этих издевательствах и пытках на зачетах и экзаменах, исчезающих из сознания, как родовые муки. И остается память о забавных происшествиях, о чьих-то чудачествах. Но остается навсегда конформизм, сноровка лавировать, ненависть к приобретаемым знаниям, все это навсегда!

Главный герой книги – мальчик Саша, возможно, перебрался на страницы «Факультета патологии» из предыдущей повести под названием «Псих».

Только там герой кончает жизнь самоубийством, едва оказывается на свободе, выпущенный из сумасшедшего дома, куда сам попал, решив симулировать шизофрению – из-за академической неуспеваемости... А плохая учеба была результатом какой-то неудачной любви.

Рассказ о дурдоме в повести «Псих» в какой-то степени стал и вступлением к нынешнему роману. Да и обстановка в

А. Невин. Факультет патологии. Роман. Нью-Йорк, изд. им. А. Платонова, 1986.

«пединституте московского города Москва» мало чем отличается от сумасшедшего дома. И преподаватели в институте такие же, как врачи в дурдоме: кто – бюрократ, кто дурак, кто просто-напросто садист.

В дурдоме, для того, чтобы тебя признали вменяемым, «пациент» перво-наперво вынуждается сказать, что он – сумасшедший, и пройти затем сквозь все средневековые пытки от уколов до шоковой терапии...

И в институте, и в больнице – никто не верит ни в пользу лечения, ни в пользу учения. Цинизм, разъедающий «персонал», везде одинаков, он переходит в цинизм личных взаимоотношений, оборачивающийся бегством от жизни – во что-то, отчасти напоминающее любовь!

Герой Александра Невина – современный «лишний человек», подросток, поднакопивший поболее опыта, чем это скажешь, глядя на него. Этот мальчик поглощает вперемешку классику и современную литературу, зарубежную и отечественную, Сартра и Саган, Ибсена и Гауптмана, Максимова и Достоевского. Его факультет – вне программы ВУЗа. Примерные маменькины сынки и дочки, с утра идущие (по выражению Троцкого) «грызть гранит науки молодыми зубами». Ничего не ждущие ни от начинающегося утра, ни от завершения нудного дня в смысле приобретения знаний, да и какие уж там знания! Они – «разболтанное поколение». «Это же ужас: программа обучения абсолютно забита и переполнена такими предметами, которые и в голову никак не придет, какое отношение они могут иметь к нам и к литературе. Она раздута и напичкана всем, чем угодно, а мы мучимся, как проклятые».

Но на педфакультете, на отделении русского языка и литературы, кое-что можно познать в избытке (не имеющее отношения к изящной словесности, разумеется).

Маленькая группка сокурсников, в которую входит и герой, является на самом деле отрядом алкоголиков, фарцовщиков, нимфоманок, однако представляющихся родителям прилежными пай-мальчиками и девочками-зубрилами. Это все дети «больших советских семейств». Их родители – сильные мира сего: министры, генералы ГРУ, писатели, академики. «Боярскими детьми» называл отпрысков таких семейств журналист, ныне покойный Сергей Рафальский.

В романе А. Невина эти «боярские дети» заняты всем, кроме учебы! Главные усилия их направлены на то, чтобы,

так сказать, опуститься классом ниже – «пробить пол». Только это невозможно.

В современном советском обществе одним из отличительных признаков класса номенклатуры является то, что дети непременно следуют по стезе отцов. Сын дипломата учится в МИМО. Дочь министра выходит замуж за сына другого министра. При этом есть еще один непреложный закон: сыну никогда по должности не обогнать отца. Сын посла – навек секретарь посольства, сын министра – навсегда замминистра или референт. Но и – ниже классом опуститься все равно невозможно, как ни бейся «лбом об пол»! – а это и есть основное, чем занимаются мальчики и девочки из советских привилегированных семей в романе, напиваясь, развратничая и бездельничая.

На самом деле, эти коллизии имеют даже свой архетип: хулиганский романс о «воре и прокурорской дочери»...

В романе, в начале – история такой советской «боярышницы». Родители – за границей, сама она «купается в бесполосых сертификатах»; у нее роман с крупным гангстером: его, конечно, приговаривают к «вышке». Самой же быть бы ей в тюрьме, да «батя (по роману – генерал ГРУ) прилетел, говорят, до самого верха дошел, полз буквально, и мудака-Андропов ее из этого дела вымазывал...»

Правда, при «хождении в народ» герои повествования отнюдь не собираются отказываться от благ и поблажек, коими награждает их советское государство – за добродетель родителей. Они прожигают жизнь по загородным ресторанам, закрытым для «простых смертных»: им угождают официанты в ресторане ЦДЛ, который они же презрительно величают «гадюшником».

Фарцуя бравады ради, ради острых ощущений – всегда все же помнят о регалиях родителей, и все их хождение в народ очень приблизительно походит на настоящее сошествие в советский ад.

Главный герой, Саша, из профессорской семьи (в романе – как бы разночинцев даже!) – с гордостью описывает свое небогатое житье – снятую лично для себя квартиру в старом домишке близ Консерватории. Его там посещает роскошная любовница, «Натали». Та-то уж спустилась к нему прямо от небожителей, из каких-то немыслимых, царских условий!.. Она тоже «бунтует» – вместо положенного по рангу МИМО оказывается в утлом пединституте – поскольку «хочет учить

детей» и там, в пединституте, она, как говорится в романе, «отдается всем, никому не отказывая» («опрощаясь»?). И – о, ужас, выходит замуж за негра! «Он безумно любит меня, – объясняется героиня, – носит на руках и делает все, лишь бы я была довольна, он боготворит меня, я белая и принадлежу ему, его жена... А я себя успокаиваю, что дед Пушкина тоже черным был...»

Возможно, нечто подобное было пережито автором лично, и ему приятно вспомнить происшедшее. Все понятно, но, к сожалению, сопереживать сложно, когда автору круто изменяет вкус: «Я балдею, когда смотрю на тебя, на твою фигуру, как ты одета (...) мне кажется, что раскаленные токи впиваются в меня и я не насыщусь тобой никогда (...) твоё тело, кожа пьянит...» Красоты стиля у А. Невина грешат наивностью – ничего не попишешь.

И все же, невзирая на недостатки и вкуса, и стиля в описаниях долгие виты советской «золотой молодежи»; и этих, по мнению автора, людей незаурядных (хотя незаурядность зачастую проявляется лишь в качестве выпитого количества), – роман обаятелен. Есть тут и просто очень хорошие куски, например, когда автор описывает институтскую среду, преподавателей, экзаменационную страду, напоминающую спортивные соревнования по бегу в мешках в доме отдыха работников целлюлозной промышленности!

Вообще книга в этой своей части могла бы стать чуть не энциклопедией по способам обмана-обыгрывания педагогов во время студенческой сессии. И, честно говоря, читать об этом чуть не ностальгически приятно: вот, мол, какие ужасы прошли – и ухитрились выйти из стен вуза с дипломом о высшем образовании!

Среди преподавателей, описанных в романе, есть и великолепно написанные патологические типы – к примеру, садистка и шизофреничка (портрет очень узнаваем), ведущая курс литературы на факультете. Или преподаватель физкультуры, заставляющий совершенно «неспортивных» бежать, сдавать какие-то нормы по прыжкам – в ущерб остальным занятиям, перед экзаменами. Либо же – преподаватель по военному делу, заставляющий героя романа бегать стричься к каждому своему занятию, т. е. раз в неделю!

Собственно говоря, все это: ненормальное отношение к занятиям, садизм преподавателей, усталость, злость и тех, и

других – неувидительны. Откуда взяться иному в той жизни, где все, на самом деле, – один сплошной факультет патологии, поскольку сами нормы выглядят недоступной роскошью – чуть не патологией?!

Язык романа А. Невина не совсем походит на общепринятый. Даже порой спрашиваешь себя, не разыгрывает ли автор читателя?

«Приближалась весна, таяла вода, снега бежали и непойманные убегали куда-то, неизвестно куда. Но их никто и не ловил, снега. Да и кто будет, кому это надо, да и кто бы этим занимался, – не хватало еще этого – ловцов снега».

Когда автор пишет: «Она поглядела заалевшими глазками», или же – «единственный минус, которым обладал Никита...» (как это можно – обладать минусом?!) – тебя начинает отчасти коробить. А потом вдруг понимаешь, что это страшно заразительно – так писать или говорить! Поскольку остается ощущение, что автор вообще книгу сначала наговорил на магнитофон, а потом отдал перепечатать.

Но, как ни странно, благодаря этому (впрочем, насчет метода можно и ошибиться) – вещь получилась какой-то ужасно «молодой»! Молодость же, по выражению мудрецов, – недостаток, который с годами проходит. И автор романа «Факультет патологии» А. Невин, при многих допущенных погрешностях – писатель несомненно одаренный умением схватывать характеры, ситуации, обладающий даром обобщений и явно с будущим. (Все это пишется вовсе не для «золочения пилюли».)

Что же до стиля, как сказано в романе героем: «Не всем дано быть *Сартрами*».

К. С.

ЗАГОВОР ИЛИ ЗАГОВОР ПРОТИВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(Об антологии «Дворец культуры или новая
московская поэзия»)

На самом деле, у современной концептуальной поэзии два настоящих предтечи. Первый – капитан Лебядкин, второй же – Льюис Кэррол, ибо его «безумное чаепитие» из «Алисы в стране чудес» как раз и предваряет хэппенинги и перформансы, их фотодокументацию, псевдопротокольную запись небывших событий, которыми так увлекались на Западе в семидесятые годы, и которые, с небольшим опозданием, правда, пришли и в Россию. Особенно увлеклись этим искусством московские художники и поэты, создатели особого движения, которое, под грифом новой московской поэзии, представлено на суд читателя в прекрасно изданной двуязычной антологии, вышедшей недавно в Западной Германии и носящей заголовок «Дворец культуры». Издатели антологии не захотели обнародовать свои настоящие имена – на то, видимо, есть свои причины – и скрылись под псевдонимами Саша Вондерс и Гюнтер Хирт.

Они собирали для своей антологии тексты, магнитофонные записи, фотолетопись перформансов, разумеется, не в официальных издательствах и не в чинных залах творческих союзов. Эти двое западногерманских издателей приходили в мастерские художников, на квартиры, порой и на опушку какого-нибудь леса на границе Москвы, на пустыри этого третьего Рима. И там над их головами растягивался как бы невидимый шатер Дворца другой культуры.

Концептуальное искусство – детище начала семидесятых. Но еще до этого существовал Всеволод Некрасов, поэт, начавший создавать еще в эпоху оттепели первые визуальные стихи. В антологию «Дворец культуры» включена подборка стихов этого представителя старой гвардии. Тут он словно жонглирует гантелями-звуками, производя странный эффект – словно при шаманстве:

Günter Hirt / Sascha Wonders. Kulturpalast Neue Moskauer Poesie / Aktionskunst. S - PRESS (West Germany), 1986.

«Ночь / Нынче ночью ночь / Но / День / Сегодня / День / Сегодня день! /» Поэты этой плеяды верят в магию слова с силою убежденности дикаря-футуриста! В папке, приложенной к антологии, существуют на карточках, типа билетиков на счастье, «Предромантические предположения» поэта Льва Рубинштейна, где можно наугад вытянуть такое предсказание: «Что лучше запомнится, то и интересно» или же: «То, что может показаться, скорей всего неверно».

К категории маститых в антологии можно отнести и поэта Дмитрия Пригова, известность которого уже перешагнула давно за рубежи отечества. Его стихи зачастую радостно цитирует русская богема в эмиграции: «Вот, скажем, наш народ советский / Иль, скажем, русский наш народ / Иль, скажем, наш народ еврейский / Или еще какой народ. / Сказать-то мы, конечно, скажем / Чего уж право не сказать, / Но что мы этим самым скажем / А скажем то, что не понять / Что скажем...» Это уж из арсенала последователей уже упомянутого капитана Лебядкина. Жаль, что в антологии Саши Вондерса и Гюнтера Хирта нет магнитофонной записи этих стихов, рассчитанных прежде всего на эстрадное, голосовое исполнение. Однако туда приложена все же пленка со стихами еще одного очень интересного поэта, представителя новой московской поэзии Андрея Монастырского. Запись плохая, сделана, видимо, в сложных условиях и на плохом магнитофоне. Ведь, как уже говорилось, собирать такую поэзию в Москве – дело трудное.

Вместе со Львом Рубинштейном Андрей Монастырский основал вот уже лет двенадцать тому назад группу «Коллективное действие», представленную в сборнике также поэтами Анатолием Жигаловым, Натальей Абалаковой, Николаем Пантиковым, Никитой Алексеевым. Их поэзия – не просто кирпичики из строчек. На строительство Дворца культуры пошли рисунки и фотографии, графические листы, исполненные на пишущей машинке, рапсодии на документальных бланках, собственного изобретения протоколы. Все вместе на языке этих поэтов называется элементарной или же визуальной поэзией.

Сюда вошли несколько групп, правда, более или менее объединенных одним и тем же отношением к искусству. Это группа «Арт-Арт», группа «Мухоморы» и опять-таки «Коллективное действие». Программа, закодированная загадочными словами, такими, как «демифологизация через абсурд»,

«выявление иных реалий», «привилегия сдвига», – все это «ученая игра, с четкими правилами прыжков на расчерченном квадратики асфальте». Инфантильность участников, их внешне детские занятия – это, на самом деле, пародия на казенный мир, и слово «реалии» тут было бы уместно, быть может, заменить словом типа «баналии».

За это-то затаенное высмеивание казенщины окружающей их жизни, наполненной бессмысленными запретами, московским поэтам-концептуалистам здорово доставалось от властей в последние годы. С начала восьмидесятых милиция являлась на квартирные выставки, еще до того разгонялись хэппенинги на пленерах. Многие из этих поэтов отправились в эмиграцию, сейчас живут в Нью-Йорке, Париже, Тель-Авиве. И там также продолжается тот же процесс самопознания сквозь остраненность, сквозь новотворчество. Только тут уже не приходится состоять в заговоре против действительности. Или, если хотите, в заговоре...

Антология, составленная в Западной Германии, является, по словам издателей, «макетом иного знания в советской метрополии. Нет в этом здании пышных колонн с капителями и завитками лепнины совбарокко. Он, дворец Культуры, воздвигнутый в граде Москве, сем Третьем Риме, сей град новотворчества, жив созданием нового художественного наречия».

И, добавим от себя к этой чуть выпренной цитате: это новое художественное наречие – впрочем, наречие относительно новое, ибо поэтам этой авангардной группы в среднем под и за сорок, – стало быть, это художественное наречие представляет собой удивительно изысканный и хрупкий словесно-образный материал. Интонация этой новой поэзии подвижна и воздушна, а звук словно исходит из сложного поющего кристалла.

Характерно то, что те поэтические группировки движения, «коллективного действия» и возникали как раз в атмосфере брежневской неподвижности. А что будет сейчас, когда в метрополии власть так заигрывает с творческой независимой интеллигенцией, чуть не концептуально раскручивая горбачевский пресловутый маховик? В какую сторону от консенсуса противостояния власти пойдет поколение нынешних новаторов? Ведь эшелон шестидесятых-семидесятых – он-то уже ушел?

И пока что антология новой московской поэзии, изданная составителями с нарочитыми именами Вондерс и Хирт, выглядит не только Дворцом концептуальной культуры – но и памятником ей же.

Раиса Шишкова

ОБЛИК «ГРУСТНОГО БЕБИ»

Первое впечатление от этой книги: ее писал человек азартный и страстный – не мямля. Таков Аксенов-писатель, и таким он вырастает из всех своих книг. «В поисках грустного беби» – это роман об Америке, в которой он живет уже почти семь лет. Роман, по аксеновским меркам, большой – 340 страниц – и жанрово отличающийся от других его произведений, являет собой полотно, порой чрезмерно широко развернутое, однако почти нигде не утомляющее читателя. Это роман-репортаж, размышление, историко-социологическое исследование, путевые заметки, политический анализ – одним словом, весьма созвучное времени жанрово-синтетическое произведение, парадоксальное, уже начиная с заглавия.

«Приходи ко мне, мой грустный беби» – это слова из американского фильма 50-х годов, памятные автору по его «казанскому сиротству» и вызывавшие в ту пору острый ностальгический приступ по иному, по американскому, миру. Как нам кажется, «грустный беби» и есть сама Америка, которую автор искал, и, вроде бы, обрел, и вот теперь показывает читателю. Да, мощнейшая капиталистическая держава для Аксенова где-то еще младенец, к тому же еще печальный. Но ведь младенцем был и Пантагрюэль, который ударом локтя разбивал свою колыбель.

Аксенов уже писал об Америке, еще в качестве советского писателя, когда в 1975 году побывал в Калифорнии. Его очерки назывались «Круглые сутки нон-стоп» и не содержали никакой критики американской жизни – может, от нежелания

Василий Аксенов. В поисках грустного беби. Нью-Йорк, Liberty Publishing House, 1987.

чужака замечать чужие изъяны. Теперь эти изъяны стали «своими», потому что стала своей сама страна. Рисуя американские очарования и разочарования, писатель стремится быть объективным. Он стремится дать портрет уникального общества с его многообразием, этнической пестротой, благодатным неравенством и стихийным отвращением к революции. Судя по всему, это автору удалось.

Желающий понять – поймет. Надо только уметь смотреть непредубежденными глазами и с радостной дерзостью плыть по новым волнам. Аксенов оказался в американском мире своим, выносливым, активным, жадно принимающим новое, умеющим сутками работать и ненавидеть нытье. Так писатель и страна поняли и полюбили друг друга. А ведь она оказалась вовсе не такой, какой виделась с очарованных высот юности. С этих высот она шлепнулась на запущенные мостовые Нью-Йорка и унылые проулки провинциальной Америки. Понадобились настоящее мужество и особенная прозорливость, чтобы увидеть лицо не накрашенным и оценить его красоту.

Если уж говорить о лице, то в Америке писателя поражает отсутствие общего лица – она многолика, идейно и эстетически разобщена, склонна к крайностям и на редкость провинциальна. И уж совершенно не понятно, на чем держится этот огромный конгломерат при столь малой степени ограничений, при «таком попустительстве человеческим страстям и страстишкам». Поражает также феномен американской скуки. Но поражает и приводит в восторг феномен американской политической демократии.

Верный парадоксальному видению вещей, Аксенов заявляет: «Пока я... пылких эмоций в отношении американской политической структуры не испытываю за исключением одной, – чтобы она держалась». Это основа основ и мерило всех ценностей. Само существование этого прекрасного цветка в окружении «свиногого марксизма» планеты вызывает торжественное удивление автора. И, наконец, важнейший вывод: Америка опровергает тезис о закате Запада.

Чтобы прийти к такому фундаментальному выводу, нужно не только эмоционально воспринять увиденное, но и стать в какой-то мере ученым-социологом, умеющим анализировать историко-экономическую и социологическую структуру общества. С этой точки зрения, роман порой похож на специальное исследование, выраженное, правда, специфически-

язвительным, задорным и метафорическим аксеновским языком. Самое общее определение вещей – это, во-первых, что равенство быстро приводит к снижению уровня и что в неравенстве залог прогресса, и что, во-вторых, при жажде развития в промышленности происходит усвершенствование открытий и удешевление их массового изготовления. Не надо делать богача беднее, надо сделать бедняка богаче – вот главный экономический принцип.

В любом случае, заключает автор, «американский капитализм с его идеей благотворного неравенства на гребне технологической революции вкатывается в... новый либеральный век... Американское общество было создано колоссальным трудом народа, энергией и предприимчивостью дельцов, пафосом строительства принципиально нового в истории цивилизации сильного, но либерального общества».

Хочет писатель или нет, но в обрисовке облика *такой* Америки он постоянно вольно или невольно проводит параллель свободного американского общества с полярным ему тоталитарно-советским. И не мудрено: он прожил в нем сорок восемь лет своей жизни и досконально знает ее суть и подоплеку. Над американским образом жизни можно посмеяться, что Аксенов зачастую и делает, однако в целом это общество можно и нужно уважать. Над тоталитарным можно только горько посмеяться.

В главах «Штрихи к роману „Грустный беби“» не случайно происходит постоянное возвращение вспять, к годам пятидесятым, в затхлую атмосферу того, что автор называет «кровавым и тоскливым бытом сталинщины». Всенародный день скорби, день смерти владыки рисуется с памфлетной хлесткостью и беспощадностью. Он сам и его друзья, эти «дети сталинской карточной системы и брежневского коррумпированного худосочия», торчат жалкими скрюченными фигурками на фоне американской массовой роскоши и всеобщего благоденствия.

Сопоставление годов шестидесятых посложней: это были годы, когда происходили процессы пробуждения в обоих обществах, только «сон» у них был разным. Америка, бунтуя, пробуждалась от своего провинциализма, сметала изоляционистские рогатки, чтобы стать не только экономическим лидером Запада, но и духовным. Советский «сон» в определении Аксенова не сон, а кошмар – «кошмар ночных звуков и

теней, застойная инерция страха». И точно, и страстно сказано. Советское пробуждение насильственно пресекли в 68-м, но в своем процессе оно породило то, что автор называет чудом. Чудо – это пробуждение российской интеллигенции, не предусмотренное кровавой и злобной системой.

Оставаясь русским писателем, Аксенов, тем не менее, активно вырастает в литературу западную. В этом качестве он становится как бы носителем двух миссий: первая – показать американцам их мир глазами нового человека, как бы показать его со стороны, и, вторая, – открыть этим людям неведомый советский мир, ибо, судя по авторскому впечатлению, Советский Союз для большинства американцев – это терра инкогнита. Достаточно сказать, что аксеновские студенты в американском университете сочли Хрущева одним из героев романа «Ожог». Вот почему писатель показывает, что Россия не только некое абстрактное тоталитарное болото, «дикое пугало всей земли», но и поле духовной борьбы, сопротивления человеческого достоинства «тоталитарному нахрапу».

«Грустный беби» – роман кинематографичный. Схваченная телеобъективом писательского глаза, Америка движется от кадра к кадру, поворачиваясь к читателю то пейзажем, то мощными линиями автотрасс, то диковинной нью-йоркской толпой, то похожими на мудрых телят обитателями студенческих кампусов. Вырванные из общей мешанины мелькнут калифорнийские рыболовы, «увядающие с удочками в руках», или оставшиеся как нацменьшинство русские из старой эмиграции, не тронутые «неуловимой советской порчей», или чудом сохранившиеся на экзотических островах «заповедные хиппи 60-х годов».

Единственным развернутым портретом оказался в книге портрет ныне покойного основателя издательства «Ардис» Карла Проффера, близкого друга Аксенова, которому автор не мог не отдать дани глубокой любви, уважения и признательности. В обрисовке этого человека, как всегда по-аксеновски, схвачено главное, уловлена суть натуры, характер деятельности и ее результаты. Создавая бескорыстно, лишь из любви к русской литературе, свое уникальное альтернативное издательство, Карл Проффер не только осуществлял миссию артистической солидарности, но и был «редким в наше время хлопотливой и бессмысленной суеты человеком позитивного действия».

Общей стиль романа – очерковый. Америка увидена из окна мчащейся машины, в прогулках по любимому городу Вашингтону, где обосновалась семья Аксеновых, в разговорах с друзьями, на многочисленных университетских семинарах. Это не картина маслом, а нервный угольный штрих, гротескно заостренный, весь в бурунах и водоворотах. Движущий нерв аксеновского языка – юмор, то незлобивый и теплый, а то пронизывающе язвительный. Он вскормлен на хохмаческом языке современной советской интеллигенции, полном иносказаний, парадоксов и перевертышей, на языке, который породил современный политический анекдот.

Ирония по природе своей метафорична, поэтому так метафоричен, емок и многообразен язык романа. Одного слова бывает достаточно для выражения целого явления. Вот примеры: «Подмосковный писательский кибуц Переделкино», «Санкт-Петербург, переименованный в город Ленина с тем же правом, с каким сочинения Льва Толстого могли бы быть переименованы в сочинения Шолохова», «Пик разрядки. Теплые капли разрядки шлепаются на плечи государственных деятелей» и т. д.

Рисуя облик «грустного беби», Аксенов задается целью не только и не столько дать объективный его облик, но до последней капли крови защищать от любых посягательств. Отсюда резкая полемичность и наступательный дух произведения. Он знает, что «...разлетевшись на Америку, вечно на ней расплющивались... разные нахрапистые трутни с казарменными идеями „самых передовых обществ“». И он верит, что так будет и впредь.

Майя Муравник

ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО

В издательстве «Третья волна» вышла книга русского эмигрантского писателя, живущего в Париже, Вадима Нечаева. Книга, озаглавленная «Одиноким сдается угол», включает два романа – «Двойной портрет» и «Свет войны», – две небольшие повести и рассказ.

Вадим Нечаев. Одиноким сдается угол. – «Третья волна», 1987.

Пожалуй, центральное место в этой книге занимает «Двойной портрет» – роман о жизни в Советском Союзе в шестидесятые годы в среде людей искусства, главный герой книги – композитор. Но это и история любви, проблемы творчества и любви взаимосвязаны в этой книге, тем более, что речь идет о любви главного героя к молодой женщине Ирине. Роман в основном написан от первого лица, от имени композитора Алексея, но часть романа написана от имени Ирины – и это придает книге большую многогранность, дает «двойной портрет» героя.

Темы любви и творчества связаны в книге не только своей сюжетной нитью, но также потому, что любовь и творчество – две загадочные сферы, где много непредсказуемого и иррационального.

«Я не очень верю людям, которые говорят, что понимают душу женщины, она парадоксальна и не поддается жестким формулировкам», – так говорит герой романа.

«Гений – это черный ящик. Мы знаем входные данные, знаем результат, но не можем постичь его процесса», – объясняет другой персонаж романа.

Нельзя сказать, что все герои этого романа такого высокого мнения о творчестве и о людях творчества.

«Что вы думаете о Филонове?» – невинно спросили одного маститого художника, второстепенного героя романа по фамилии Валерьянкин.

Ответ последовал немедленно: «Невыявленный шизоид».

«Я был потрясен силой ненависти к тому, что казалось ему чуждым», – замечает главный герой романа, композитор.

История любви и творчества проходит в этом романе на фоне довольно типичной богемной жизни в Ленинграде. Встречаются люди, пьют, разговаривают – и все эти сцены напоминают кадры кинофильма, настолько они стремительны, настолько они увлекают читателя в водоворот житейских событий, богемных приключений, где всем этим людям, как выражается один из персонажей, место не в Союзе советских писателей, а на картинах Босха.

Мир художников в романе показан наиболее полно, недаром все время в романе мелькают имена великих живописцев: от Босха до Филонова.

На фоне этой милой и в общем безобидной богемщины (с трудом верится, что персонажам романа место на картинах

Босха) развиваются отношения между Ириной и Алексеем, которые никак не могут быть в гармонии друг с другом, вечно ссорятся, и то счастливы, то непомерно страдают. Встречаются в книге и философские нотки, например: «И счастье, и страдание – никак не цель, а путь, который проходит человек».

Но если это не цель, то что же тогда цель, вправе спросить читатель. Но вопрос только поставлен, ответа нет... но любопытно, что в книге, которая фактически повествует о борьбе за человеческое счастье, делается все-таки намек на то, что цель жизни человека лежит, видимо, совсем в иной сфере, чем страдание-счастье, – и эта сфера, по существу, должна быть весьма возвышенна, ибо все житейское в конце концов упирается в этот замкнутый круг страдания и счастья.

Во второй части романа Ирина рассказывает о своей жизни, о любви к Алексею, о их женитьбе (впоследствии герои расстались), о первых днях их совместной жизни...

Оказывается, что не только Алексей и быт – несовместимы, но и... «он любит весь мир, не выделяя меня из него». Однако героиня фиксирует: «Я не хочу любви безмерной. Поэтому что он заслонил собой все остальное, что есть в жизни».

Противоречия, комплексы, страхи, дуализм между жизнью и смертью, между всеобщей любовью и любовью для себя – встречаются здесь в романе на каждом шагу. Это обычная человеческая жизнь, в которой все противоречия детерминированы человеческой психикой, человеческим восприятием мира и лимитом этого восприятия.

Ирина пишет в своем дневнике: «Завтра на судебной медицине мне придется вскрывать труп человека, умершего скоропостижной и насильственной смертью. По-настоящему начинаешь понимать и бояться смерти в морге, когда видишь покойника, такого отчужденного на цинковом столе, и родственников его, которые еще толком не осознают, что произошло».

Замечательно это «что произошло»! Но знает ли сама Ирина, несмотря на свое блестящее медицинское образование, «что произошло» (или что происходит) – в том случае, когда человек умер? Если бы она действительно это знала, то, наверное, не только изменилась бы ее жизнь, но и все ее сознание было бы совершенно иным. Но, увы, она не адепт тибетской «Книги мертвых».

Заканчивается сборник рассказом «Летний отпуск художника». Это рассказ об отчаянии, о попытке самоубийства. Спасает героя от рокового конца простой рабочий человек, железнодорожник, который советует герою покопаться в памяти и найти там людей, которых он любил или любит до сих пор, чтобы набраться таким образом сил для дальнейшей жизни.

Еще более любопытен, на мой взгляд, другой совет этого человека: «Весь секрет в том, чтобы этот поезд не замечать и не принимать в расчет». Речь идет о символе: поезд в этом рассказе воплощает то неумолимое и грозное, чему подчинена жизнь человека, нечто близкое року и неотвратимости смерти.

Сборник «Одиноким сдается угол» – несомненная удача автора.

Юрий Мамлеев

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Владимир Войнович,
Виктор Кондырев, Леонид Цыпкин**

Поэзия:

Владимир Уфлянд, Владислав Лён

Публицистика:

**Василий Аксенов, Валерий Сендеров,
Лев Лосев, Дмитрий Хмельницкий,
Кастусь Акула**

Коротко о книгах

Б. ПРЯНИШНИКОВ

НОВОПОКОЛЕНЦЫ

Силвер Спринг, Мэриленд, США, 1986

Борис Прянишников принадлежит к тем «эмигрантским сыновьям», которых В. С. Варшавский когда-то назвал «незамеченным поколением». В книгу Варшавского, так и озаглавленную (Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1956), стоит заглядывать, дабы несколько корректировать – или, скорее, дополнять – то, что описано в «Новопокоренцах». Сам автор говорит, что его книга – и «не история Национально-Трудового Союза в буквальном смысле слова», и не чистые мемуары: «Правильнее сказать, это мои воспоминания, но на фоне исторических событий той поры, когда эмиграция надеялась на скорое свержение коммунистической власти в России. В тридцатые и сороковые годы у меня были моя собственная судьба, мой собственный путь, мои собственные наблюдения и переживания. Много, изложенное в книге, естественно, носит личный характер. Но там, где была малейшая возможность использовать документы и свидетельства, мои личные мнения как раз и находят подтверждение в этих документах и свидетельствах».

Разумеется, книга Прянишникова и более детальна, и более широко документирована, чем не целая глава у Варшавского; тем не менее, стоит отметить, что, дочитывая то и другое, читатель оказывается перед вопросом об эволюции и судьбах НТС. Вопрос Варшавского можно сформулировать так: действительно ли (не на красивых словах, а глубинно, сущностно) довоенный НТСНП, объединение, в котором преобладали люди чистые и самоотверженные, но парадоксальным образом сочетавшие идею свободы с увлечением национал-социалистической и фашистской идеологией и практикой, после войны перешел на демократические рельсы? Вопрос Прянишникова иной: как случилось, что Союз (не «партия» – он неоднократно подчеркивает «антипартийный» дух, свойственный новопокоренцам 30-х годов), действительно порой уклонявшийся в увлечение нацизмом и фашизмом (этот уклон, по мнению Прянишникова, был оправдан приоритетной насущной целью – борьбой с коммунизмом), но в пер-

вую очередь одушевленный идеей свободы (а посему вышеназванный уклон в книге выглядит не таким страшным, не определяющим, преходящим), – как случилось, что после войны он превратился в чисто тоталитарную «партию нового типа»? Сама завершающая часть этого вопроса представляет один из возможных (вероятно, наиболее правдоподобный) ответов на сомнения Варшавского. Однако, отвечая на «как случилось», Прянишников – так он это видит – пожалуй, упрощает дело, все объясняя лишь притоком новых, тоталитарно – и карьеристски – настроенных лидеров из рядов Второй эмиграции и слабостью нескольких, поддавшихся им прежних руководителей НТС.

Вероятно – и это видно из самого материала книги Прянишникова, – кроме «личной» слабости, еще до войны и во время войны развилась, так сказать, «идейно-организационная слабость», позволившая новым лидерам естественно врать в руководство НТС и скорее выявить, выдвинуть на первый план подспудно свойственный ему характер «партии нового типа», нежели навязать ему этот характер. Такие, как Прянишников, оказались в меньшинстве – так же, как они (и автор в том числе) попали в меньшинство предостерегавших об опасности и бесплодности сотрудничества с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны (другое дело, что Прянишников с энтузиазмом встретил явление генерала Власова и власовского движения и особенно Пражский манифест КОНР, видя в этом подлинную «третью силу»).

Став окончательно «партией нового типа», НТС оказался, как никогда, подвержен проникновению советских агентов – Прянишников показывает это на примере ряда разоблаченных агентов, о которых сегодня НТС предпочитает не вспоминать. Довоенный НТСНП, в отличие от большинства эмигрантских организаций, предстает в книге Прянишникова достаточно защищенным от такого проникновения, хотя попытки его велись усиленно (описание этих попыток частично и сжато повторяет материал предыдущей книги автора «Внутренняя линия», но уже только в применении к НТСНП).

Стоит еще сказать несколько слов о самой личности автора. Книга действительно носит очень личный характер – это и вправду «собственная судьба, собственный путь, собственные наблюдения и переживания». И человек, с которым мы знакомимся на ее страницах, вызывает глубочайшую симпатию и уважение: с ним можно в чем-то соглашаться, а в чем-то не соглашаться, но нет никакого сомнения в его полнейшей искренности, в том, что он пишет, что думает и как думает, не то что даже не позволяя себе – а попросту ему и в голову не приходит – что-то перевернуть и о чем-то умолчать ради подтверждения

своей концепции. Именно поэтому мы можем найти иной ответ на вопрос, поставленный нам книгой, нежели тот, что дает сам автор. Но и вопрос, и ответ мы находим не где-то вовне, а в самом ее материале.

Н. Г.

ТОНЧО КАРАБУЛКОВ

ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ. (ВОЖДЬ)

*Tontcho Karaboulkov. Camarade Secrétaire Général. (Le Vojd).
Paris, «Le Monde de Demain», 1987.*

Действие политического памфлета болгарского эмигранта, писателя и публициста Тончо Карабулкова развертывается в стране Балкании. В деталях мы, конечно, легко угадываем Болгарию – например, история с переименованием имен: «Администрация приготовила новые удостоверения личности с чисто балканскими именами. Так, Ганс становился Иваном, Хасан становился Иваном, Жан становился Иваном» (намек на насильственную болгаризацию турок). Однако Балкания – не просто «псевдоним» Болгарии: рамки и значение памфлета существенно шире, чем история одного, отдельно взятого генерального секретаря в одной, отдельно взятой стране-сателлите.

В авторском предисловии к книге говорится: «Балкания, в конечном счете, – всего лишь совершенно воображаемая страна. Балкания не существует, однако жизнь, которая в ней разворачивается, реальна, правдоподобна. Балкания могла бы называться по-разному: Чехословакия, Куба, Болгария, Польша, Албания, Северная Корея, Венгрия... – короче говоря, любая страна, которая в наши дни обладает бесконечным счастьем жить под властью одной Партии по образцу нашей с Вождем во главе. (...) В своей апокалипсической книге «1984-й» Джордж Орвелл описал, каким образом станет воплощаться в жизнь будущее общество. В «Товарище генеральном секретаре» автор поставил себе скромную задачу показать, каким образом оно воплощено в жизнь. Томас Мор и Кампанелла [цитаты из них, радужные в представлении авторов, мрачные для нас, Тончо Карабулков поставил эпиграфами к книге. – Рец.] всего лишь воображали тот мир, который наступит. Наша задача куда легче и проще: нам оставалось только описать то, что уже наступило. И в заключение: да здравствует товарищ генеральный секретарь! Многая лета нашему Вождю!»

Этот иронический в устах автора лозунг появляется в конце книги (много раз фигурировав перед тем по отношению к главному герою), но тут «наш Вождь» – уже не тот «наш Вождь», который сорок лет верой и правдой возглавлял партию и государство, а новый «наш Вождь», пришедший на этот пост в результате заговора с участием армии, госбезопасности и т. п. Сюжет, милый сердцу некоторых западных утопистов и их эмигрантских информантов (см., например, рецензию на книгу Роберта Мосса в №52 «Континента» – да и самое книгу Мосса, которая тем временем уже переведена на русский язык и вышла в издательстве «Оверсиз»): патриотические круги в военной верхушке спасают Россию и отменяют в ней коммунизм. Почему бы такому не произойти в Балкании?

Это сюжет о «белых» («светлых», «антикоммунистически-демократических») полковниках в Красной Армии. Но, увы, трудно рассчитывать даже на диктатуру «черных полковников» (которая была бы огромным шагом вперед от тоталитаризма – и по сути, и, кстати, тем, что сочувствие «прогрессивного человечества» борцам против этой диктатуры было бы гарантировано). Но все полковники, а тем более, генералы при этом строе – давно уже только красные. И поэтому логика книги Карабулкова представляется нам куда более верной, чем у авторов вышеотмеченного типа:

«По всей стране бригады спешно расклеивали портрет нашего нового Вождя: молодой и отважный, верный сын народа – товарищ Иван Иванов Иванов.

Король умер, да здравствует король!

До меня уже доносился своего рода шумок, словно морской вал воздымался из самой глуби страны. Мой народ строился в шеренги, он нес знамена и громадные, безбрежные плакаты, на которых было написано:

– Да здравствует товарищ Иван Иванов Иванов! Да здравствует Вождь!

Скоро позабудут снабжать имя Вождя фамилией Иванов. Скоро будут писать попросту: Вождь. И новый Вождь сотрет след того, чей труп сейчас здесь лежит. Наша жизнь по-настоящему начнется только с нашим новым Вождем, настоящим, единственным. И история Балкании, настоящая, единственная, начнется только с нашим новым Вождем.

Ретушеры уже принялись за работу. Все наше недавнее прошлое будет пересмотрено, исправлено, растушевано. Историю Балкании перепишут, поскольку истина меняется от Вождя к Вождю.

– Да здравствует Вождь! Вечная слава Вождю Балкании!»

Н. Г.

КОПЕРНИК, ДВА ШАГА ВПЕРЕД

Изд-во «Корвет», Нью-Йорк, 1987

Тема армии сделалась в последние годы в зарубежной русской словесности едва ли не самой преобладающей. Достаточно назвать книги Довлатова, Лемхина, Рыбакова, Гальперина, Кондырева и других, ставшие предметом пристального внимания нашей эмигрантской критики.

Казалось бы, открыть что-то новое в этой всесторонне разработанной теме отныне уже невозможно, но, как говорил поэт, талант — единственная новость, которая всегда нова: сборник армейских новелл Василия Агафонова «Коперник, два шага вперед», обозначенный как «Житие гарнизона», сделался таким открытием.

Когда, примерно год тому назад, редакция «Континента» получила довольно объемистую рукопись под тем же названием, мало кто в редакции счел ее сколько-нибудь перспективной. Слишком уж настораживала успевшая всем набить оскомину тема. Но, постепенно вчитываясь в текст, мы почувствовали, что на этот раз имеем дело с подлинной литературой, свободной от досужего описательства и подражательности. Это был пусть еще не устоявшийся, но свежий, без манерной фальши голос. И мы не раскаиваемся, что предоставили этому голосу наши журнальные подмостки.

Книга Василия Агафонова, как я уже отметил выше, представляет собою сборник отдельных новелл из быта современной советской армии, но объединенный присутствием в них, во всяком случае в большинстве, одного героя и единого сюжета, чем автор значительно раздвигает пределы первоначально заданного жанра.

Каждая такая новелла в книге — сгусток целой судьбы, выраженной почти аскетически скупыми, но тем не менее предельно выразительными средствами.

Вот, к примеру, образчик такого письма из новеллы «Батарея Колбаснера»:

«— Шабров, тащи буссоль к первому номеру, мишени привезли. (Это, конечно, Краузе.)

Женя поднялся. Сержант Краузе насмешливо глядел, как Шабров поспешно схватил буссоль и потащил на позицию. Он был местный, из Уфы. Чувствовалась в нем крепость и подобранность природного хищника. Железный кулак его раз и навсегда пресекал робкие порывы к независимости. Женя старался с ним ладить, долгими вечерами рас-

сказывал всякие музыкальные истории и в конце концов добился иронического покровительства. Начались стрельбы. Безоткатки ревели невыносимо. Никакой шлем не мог погасить этого адского воя. Разрывало уши. Глаза вылезали из орбит. Струи пламени со свистом отрывались от тыльной части орудий. У Фаермана из ушей пошла кровь. Его положили в окоп. Он лежал там, маленький, скрюченный, обхватив голову руками.

– Огонь! – крипел Колбаснер, резко приседая и отмахивая правой рукой.

– Огонь! – ревел Краузе, также отмахивая рукой. И оглохшие, ослепшие, безумные номера кружились вокруг сверкающих молний, как соблазненные бабочки у смертного огня».

Таким образом можно было бы процитировать всю книгу, почти ни разу не споткнувшись на фальши или безвкусице.

К сожалению, большинство авторов, пишущих на эту тему, обращаясь к другому, не связанному с их армейским прошлым, материалу, словно бы сразу теряют дыхание. Перо их становится вдруг непослушным, а воображение начинает, как говорится, желать много лучшего. Видно, служба в армии, как лагерь, война или эмиграция, оборачиваются для многих людей той экстремальной ситуацией, в которой для них высвобождается весь их потенциал, в том числе и творческий. Исчерпав запас этого материала, такие люди практически исчерпывают самих себя. Случится ли это с Василием Агафоновым, трудно сказать, но подобная опасность может подстеречь и его. Хочется все же надеяться, что опасность эта обойдет его стороной и он порадует читателя книгами не меньшей силы и накала, чем эта.

В. М.

По страницам журналов

THE JOURNAL OF DECORATIVE AND PROPAGANDA ARTS

*Miami (Florida, USA), [Nr.] 5, Summer 1987.
Russian/Soviet Theme Issue.*

Недавно созданный американский «Журнал декоративного и пропагандного искусства» посвятил свой 5-й выпуск (лето 1987) русской и советской тематике.

Журнал есть журнал – не монография, даже не тематический сборник статей, поэтому от него не приходится ожидать исчерпывающего охвата проблематики или хотя бы равновесия в ее освещении. Сразу можно сказать, что искусство на службе пропаганды затронуто в этом выпуске журнала значительно меньше, чем декоративное, почти мимолетно: прямо – лишь в статье Бориса Бродского «Психология городского дизайна в 1920-30-х годах», косвенно – в статье Николетты Мислер о карикатурах и афишах Владимира Лебедева и в двух статьях, посвященных швейному и текстильному дизайну 20-30-х гг. (Наталии Адаскиной и Татьяны Стриженовой). Поскольку, кроме Николетты Мислер, все авторы работают в СССР и статьи их представлены ВААПом, трудно ожидать в них реальной оценки того пропагандистского заряда, который художники (с энтузиазмом или без него) вкладывали в «оформление советского быта».

Глядя на модель элегантной дамской шубки (Наталия Макарова, 1930!), начинаешь думать, что слова «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» могли быть с равным успехом произнесены и в 1929, и в 1949 годах: нагрузка их равно, как и в 1939-м, не имела ничего общего с реальностью, и так же не обращали внимания на реальность «внепропагандистские» дизайнеры. Счастливые толпы в ЦПК и О им. Горького и тамошние скульптуры Шадра (статья Б. Бродского) вынуты из действительности тех и позднейших лет и помещены в вакуум. Между тем, они уже находятся не просто «вне» – здесь оформлялась «псевдореальность», «иллюзорная реальность».

Наиболее забавный образец умолчаний – статья, посвященная, казалось бы, чисто декоративным делам: «Лампы и архитектура 1930-50-х годов» Абрама Дамского – проектировщика светильников для ряда станций московского метро (как до-, так и послевоенных) и

для пресловутых высотных зданий. По осторожному высказыванию составителя номера Джона Э. Боулта, «Дамский, ведущий проектировщик (в русском переводе вступительной статьи слово planner переведено калькой «планировщик». – *Рец.*) и дизайнер сталинской эпохи, передает собственный уникальный взгляд на строительную индустрию 1930-50-х годов, рассказывая о своих разработках одного из наиболее интригующих компонентов сталинских «свадебных пирогов» (высотных зданий), а именно осветительной арматуры». Но «уникальность взгляда» автора статьи состоит лишь в том, что он жалуется на конкретных архитекторов, требовавших от него не желанной для него функциональности, а того, что в эпоху хрущевских разоблачений получило название «архитектурных излишеств». Откуда взялся их («уникальный»?) вкус к «излишества», автор статьи, естественно, не пытается анализировать – загадочным вопросительным знаком отделяется и (видимо, не желающий обидеть – ради будущего сотрудничества – ВААП) составитель, который, кстати, в отличие от советских коллег, несомненно, знает более точное, чем «свадебный пирог», определение высотных зданий: Варлам Шаламов сравнил их с лагерными вышками.

Существенно более ценны помещенные в журнале работы о дореволюционном русском декоративном искусстве – особенно статья Уильяма Брумфилда о декоративном искусстве в русской архитектуре 1900 – 1907 гг. и сообщение Уэнди Солмонд о кустарной мастерской в деревне Соломенко.

Н. Г.

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С УИЛЬЯМОМ СТАЙРОНОМ

Вопрос: Сколько раз вы посещали Россию, каковы ваши впечатления, что вы о ней думаете?

Ответ: Первый раз я был приглашен Союзом Советских Писателей в 1969 году на встречу в Ташкенте. В основном –



писателей Третьего мира, из Африки, Азии, – я не совсем понял, почему пригласили меня, но меня пригласили. Я был единственный американский писатель, а точнее – я был единственный представитель всего Западного полушария.

Вопрос: Вероятно, благодаря теме романа «Признание Ната Тёрнера».

Ответ: Я думаю, вы правы. После короткой остановки в Москве, мы с женой поехали в Ташкент, где к нам присоединился Евтушенко, которого я встречал до этого. Потом мы были в Самарканде, вернулись в Москву и несколько дней провели в Ленинграде. Десять дней – моя первая поездка. Следующий раз был в 1977 году, когда я приехал в Москву на встречу советских и американских писателей. В этот раз я провёл время только в Москве, опять увиделся с Евтушенко...

Вопрос: Везде и всегда – Евтушенко?

Ответ: Это точно, везде и всегда. Я хорошо помню посещение могилы Пастернака, в 3 часа ночи, перед рассветом, в Переделкино. С Евтушенко мы взяли пару бутылок румынского вина, сели у могилы, много пили, провозглашая тосты в честь Пастернака. Я помню почти магическое чувство: летняя ночь, ни души на кладбище, всё пусто кругом, только двое нас... Это был мой последний день в Москве, утром я улетел в Лондон.

Вопрос: Кто переводит «Выбор Софии», ваш известный роман, на русский язык?

Ответ: Мне не так легко выговорить некоторые русские фамилии...

Вопрос: Кудрявцева?

Ответ: Да, да. Мы встретились с ней несколько лет назад здесь, в холле отеля, чтобы обсудить мою книгу. Она попросила меня разрешить ей убрать некоторые отрывки из романа, которые были слишком с и л ь н ы для той страны, где будет издаваться книга.

Вопрос: Интересно, как же она это объяснила?

Ответ: Она очень мило и вежливо сказала, что она боится, что э т и пассажи будут «незаконны». Но в то же самое время она сказала, что постарается их «модифицировать», а не выбрасывать целиком. Я согласился... Недавно я получил от нее письмо, что в скором будущем книга будет опубликована, чему я очень рад. Русские читатели – это большая аудитория.

Вопрос: Перенесемся в ваше детство.

Ответ: Я родился в 1925 году в Вирджинии, мой отец был портовым инженером, мама происходила из Пенсильвании (встретились Юг и Север, я был результатом этой встречи, единственным). Мама не работала, всё мое детство, сколько я помню, она была больна раком и умерла, когда мне было 13 лет. Позже я поступил в Дюкский университет на факультет английского языка и литературы. Одновременно я проходил службу в морской пехоте (шла война), собирался стать офицером, и морской флот оплачивал мое обучение в университете. Нужны были развитые офицеры. В 45-м война окончилась, и я решил продолжить обучение. Получив звание бакалавра, я подался на Север, где получил первую работу в издательстве и на короткое время осел в Бруклине. Это было лето 49-го года. Сейчас там всё изменилось... Вскоре переехав оттуда, я поселился на Гудзоне и начал писать свой первый роман.

Вопрос: Помните ли вы свои чувства после опубликования п е р в о й книги?

Ответ: Да, конечно. Я вложил много страсти и энергии в нее, и для первого раза она была очень успешна...

Вопрос: 1951 год, «Залечь в темноте»?

Ответ: Да, правильно, книга была опубликована издательством, которое не существует больше. Я был, естественно, возбужден, тем более, что, в отличие от «первых романов», книга не исчезла бесследно, а попала в список бестселле-

ров, дошла до седьмого места, что в те времена считалось триумфом, получила очень хорошие рецензии, получила также и плохие рецензии, но в целом воспринята была выше всяких ожиданий. Это было необычное чувство: в 26 лет опубликовать первую книгу, да еще и получить признание.

Вопрос: Как изменилась ваша жизнь после этого?

Ответ: Я остался в Нью-Йорке и стал независимым человеком. Книга не принесла мне состояния, но для одинокого человека – я получил достаточно денег, чтобы прожить безбедно 2-3 года. Я даже стал немного известным в литературном кругу. Следующие годы я также писал рассказы и статьи, что давало возможность жить и даже купить дом в Коннектикуте, в котором я прожил всю свою жизнь, где и родились мои четверо детей.

Вопрос: Оказал ли на вас влияние Фолкнер, или Вулф, или кто-нибудь еще?

Ответ: О, да, конечно, и Фолкнер, и Вулф, на меня оказали влияние все мои предшественники. Особенно южная школа, писатели которой были под немалым влиянием Фолкнера, что, естественно, распространилось и на меня.

Вопрос: Вы думаете он был л у ч ш и м американским писателем XX века?

Ответ: Я безусловно ценю его очень высоко, он был очень сильным американским писателем. Некоторыми писателями в нашей литературе был задан т о н – например, Скотт Фитцджералд, он также очень сильно повлиял на меня. И не только на меня, но и на целое поколение американских писателей. Вулф был чудесным писателем. Но, к сожалению, он мало знаком американскому читателю и больше известен в Европе. Вы упоминали, что русские его знают и любят. Драйзер не оказал лично на меня большого влияния, но безусловно произвел впечатление романами «Сестра Керри» и «Американская трагедия».

Вопрос: Ваши любимые иностранные писатели?

Ответ: Я прочитал всего Достоевского, очень люблю Тургенева, Толстого – эти трое безусловно оказали на меня влияние как на писателя. Чехов в какой-то степени, но не настолько, как предыдущие. Поэзию вашу я, к сожалению, пропустил: так как никогда особенно не мог читать поэтические п е р е в о д ы, в них теряется суть оригинала. Например, Пушкин, я читал его поэзию по-английски, но... Я думаю,

поэзия вообще непереводаима, и очень редко оказывается, что это не так, и происходит исключение из п р а в и л а. Я слышал, что Пастернак был великолепный переводчик.

Для всех романистов Флобер безусловно представляется краеугольным камнем в литературе, у англичан – Диккенс.

Вопрос: В 1967 году вы опубликовали книгу «Признания Ната Тёрнера», за которую впоследствии получили Пулитцеровскую Премию. Был ли это пик вашей писательской карьеры?

Ответ: Я не знаю. Писатель после восхождения достигает определенного п л а т о и старается остаться на нем, двигаясь вперед.

Вопрос: У вас ушло пять лет на писание и десять лет прежде, чем вы приблизились к теме романа «Выбор Софии». Многие не верили, что вы когда-нибудь закончите роман?

Ответ: Я и сам иногда не верил, это была очень трудная, изматывающая тема. Помню, что закончил последнюю страницу не в субботу к вечеру, как предполагал (чем был очень огорчен), а в воскресенье, встав рано утром. После чего был праздничный обед с моей семьей и с шампанским.

Вопрос: Будучи южанином, вы с достаточной симпатией относитесь к людям другого цвета кожи. Заметим, что это большая редкость, чтобы белый автор сделал своего героя негром и вёл повествование от первого лица. Что вы думаете о неграх сегодня, когда большинство преступлений, скажем в Нью-Йорке, таких, как убийство, изнасилование, кража, наркотики, надругательство, совершается в основном неграми?

Ответ: Ответ на это простой. Мы имеем дело с рабовладельческим наследием. С этого всё началось. Наследие, которое после уничтожения рабовладения перешло в другое качество – произвольное. Негры были технически свободны, но на деле находились в своего рода рабстве. Сейчас ситуация улучшилась во много раз. Но их нищета, взять к примеру Гарлем, поразительная и шокирующая. И это, в действительности, продолжение рабовладельческого наследия. Негры не прогрессировали настолько, насколько всем бы хотелось, особенно им самим. Мы живем в обществе, где контраст между богатыми и бедными очень разительный и распределение всяческих благ – неравно. Не сбалансировано. И, естественно, это порождает преступность. Если бы я вырос в Гарлеме,

смотря по телевизору рекламу всевозможных автомобилей, которые я м о г у купить, мне 20 лет, а в кармане всего 10 долларов, – у меня бы тоже возникла склонность к совершению преступлений...

Вопрос: Но когда вам было 20 лет и у вас было в кармане 10 долларов – вы не совершали преступлений?

Ответ: Нет, но я знал, что у меня есть будущее, и у меня не было того чувства безнадежности, которое охватывает негров.

Вопрос: Но сейчас для них открыты университеты, есть специальные программы, всевозможные стипендии, мы видим среди них докторов, адвокатов, певцов, музыкантов, кинозвезд, – они прилично зарабатывают и развлекаются так же, как и все остальные.

Ответ: Вы говорите об очень счастливых неграх. Большинство же из них этого не имеет. Попробуйте проехать, к примеру, по Гарлему...

Вопрос: Я проезжал. Но кто создал Гарлем?

Ответ: Американская система. Существует «низший класс» у нас, и они к нему принадлежат. И шансов из него вырваться у них очень мало. Если только радикально не изменится отношение к ним: начиная с элементарного образования, кончая всевозможными денежными субсидиями, которых никогда не будет достаточно.

Вопрос: Но разве правильно винить в этом с т р а н у и белых?

Ответ: Нет, я думаю часть вины распространяется на них, а часть вины – это история. Историю не изменишь, а рабство – было трагедией.

Вопрос: Что, вы думаете, произойдет между белыми и неграми в Америке 20, 50 или 100 лет спустя?

Ответ: Я очень пессимистичен, думаю, что негры так и останутся «под-классом».

Вопрос: Вы думаете, будет «гражданская» война?

Ответ: Нет, у негров нет реальной силы. Если б их было большинство, как в Южной Африке... Но их всего 36-40 миллионов, примерно 18%.

Вопрос: В 1979 году вы опубликовали «Выбор Софии». Книга, которая была продана миллионными тиражами, переведена на все главные языки, включая русский. Как вы пришли к этой теме и почему? 30 с лишним лет спустя.

Ответ: Наверно, потому, что я действительно встретил девушку, которая выжила в Освенциме, ее звали София. В 1949 году в Бруклине. Она была прекрасна, но недосыгаема, так как была старше меня. Я был очень стеснителен, к тому же существовал языковой барьер: она почти не говорила по-английски, а только по-французски и по-польски. Кажется, еще по-русски и по-немецки, но эти языки были недоступны для меня. Так что это было проблемой.

Вопрос: Такой джентльмен, как Натан, действительно существовал?

Ответ: Нет, это персонаж, полностью созданный мной. Потом я переехал из Бруклина, и она исчезла из виду. Примерно в это же время я прочитал книгу, наверно, первую книгу, опубликованную об Освенциме одним из чудом уцелевших, называлась она «Пять дымовых труб». Написала ее врач-румынка, книга была переведена на французский, а потом с французского на английский. У меня шевелились волосы, когда я читал эту книгу. Вначале она описывает, как она потеряла своих детей в результате о т б о р а. Нет ничего более драматичного, чем выбор, подобную ситуацию я и использовал в своей книге. Она сделала неправильный выбор, и врач-нацист отправил детей в газовую камеру. И она описывает это с потрясающей силой. Язык сам по себе очень неуклюжий, но факты потрясают. И эта книга застряла у меня в голове и, видимо, все эти годы сидела в запаснике моего сознания. До середины 70-х, когда я вернулся к этой теме: я пытался писать что-то другое, ничего не получалось. Тогда я вспомнил об этой девушке из Бруклина, о которой я с тех пор больше никогда не слышал. Не знал ее судьбы. И неожиданно я взялся за эту тему, сел и начал писать. Это была очень долгая работа, в начале которой я, по приглашению польского Союза писателей, посетил Восточную Европу, побывав, помимо Польши, в Венгрии и Чехословакии. Одним из основных пунктов моей книги был показ того, что во время гитлеровского геноцида («Холокоста») гибли не только одни евреи, как это было принято традиционно читать, но и люди других национальностей (хотя безусловно, что Гитлер в первую очередь стремился уничтожить евреев), как, например, русские, поляки и другие. В Освенциме наравне с 2,5 миллионами евреев был также уничтожен миллион славян и других людей. Я не хотел, чтобы мир об этом забывал. Я ожидал заметной

критики со стороны еврейских кругов, но ее, к моему удивлению, не последовало.

Вопрос: Сколько продано книг до сегодняшнего дня?

Ответ: В твердой обложке – 250 000, в мягкой только в США – 5 миллионов книг, в Англии – свыше миллиона.

Вопрос: С кем вели переговоры советские представители?

Ответ: С моим агентом в Лондоне. Я почти ничего об этом не знаю. Ни о контракте, ни о гонораре.

Вопрос: Это правда, что, когда вы были молодым редактором в одном из нью-йоркских издательств, вы «зарубили» книгу Тура Хейердала?

Ответ: Э-э... да... Я об этом написал в «Выборе Софии». Это была его первая книга, называлась она «Кон-Тики». И хотя решение зависело не только от меня, я дал заключение против ее публикации.

Вопрос: Кого бы вы рекомендовали в числе первых пяти американских писателей для чтения?

Ответ: Я никогда не говорю о моих современниках. Об ушедших – я думаю, Фитцджералд, Фолкнер, очень люблю книги Уиллы Кэтер, потом незаслуженно раскритикованный и полузабытый Томас Вулф, мой друг Джеймс Джонс, написавший классную книгу «Отсюда – в вечность», а также Джеймс Фэррелл, он был очень известен в 30-х, очень ценный писатель.

Вопрос: Сколько правды в слухах, что Томас Вулф сидел и лишь писал, писал, писал, а его знаменитый редактор, друг и покровитель разбивал это на главы, «сжимал», сбивал эту «летопись» в форму романа, книги. Речь идет об его великом романе «Взгляни на дом свой, ангел»?

Ответ: В этом вопросе очень много противоречий. Я уверен, что его последние работы были «сбиты» редакторами, поскольку он умер, оставив большое количество рукописей. И их нужно было с о с т а в л я т ь. По поводу его первого романа – естественно, что он получил достаточно редакторского в н и м а н и я, но это абсолютная неправда, что он был сделан редактором. Роман для этого обладает слишком сильной формой и связностью. Я считаю, что и по с ю п о р у это самое сильное произведение Вулфа; слова принадлежат самому писателю, никто другой их не написал, так что не имеет никакого значения, что говорят...

Вопрос: Просто я очень удивлен, что существует такой антагонизм американских критиков по отношению к одаренному писателю?

Ответ: Не многие расположены к нему, это правда. Я думаю, что американские критики, которые стали достаточно эрудированы, в претенциозном смысле слова, считали, его слишком бесформенным, не обладающим европейской утонченностью, его тип «поточной» прозы – не литературным, – по этим причинам он и не в фаворе у критики. Хотя я считаю, что он великолепный писатель и его произведения будут жить. Он не очень известен, скажем, среди молодых людей...

Вопрос: Я бы сказал, он попросту неизвестен...

Ответ: И это очень плохо, в Европе он более известен. Но главное – что ему и его произведениям предстоит жить.

Вопрос: Ваше мнение по поводу Хемингуэя, – в общем-то среднего писателя с его «средней» темой для среднего человека, – и его необычайного успеха?

Ответ: Он был невероятно новаторским и очень влиятельным писателем, очень одаренным, но я лично не являюсь его поклонником.

Вопрос: В России он был феноменом 60-х годов, кумиром и героем Аксёнова, Вознесенского, многих других. И в результате – ожидаешь чего-то более глубокого, усложненного, философического... В общем, это не Фолкнер и не...

Ответ: Это определенное отсутствие сложности и наличие примитивизма, но, несмотря на это или благодаря этому, он был очень влиятельным писателем и фигурой мирового масштаба. Он был первым, кто привнес журналистский стиль «газетчика» в искусство, в момент, когда возникла реакция на изысканную или «технократическую» прозу. И люди решили, если этот бравый солдат может оценить писательское искусство и быть писателем, то можем и мы. И, конечно, простота его произведений была доступна каждому. Отсюда его большая популярность и влияние.

Вопрос: Ваше мнение о русской литературе? Наш век, прошлый век...

Ответ: Как я уже сказал, я много читал произведений XIX века: Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов. Я думаю, они абсолютная вершина достижений мировой литературы. В XX веке я ограничен переводами: Шолохов, сильный писа-

тель, я читал Аксёнова, частично Солженицына, – это то, что попадалось.

Вопрос: Ваши любимые авторы в других зарубежных литературах?

Ответ: Очень нравится Гюнтер Грасс, безусловно Джойс, как и для всех, большая фигура, он повлиял сильно на мои работы, Чезаре Павезе, Моравиа, австриец Питер Хэндке, их столько много... Остановлюсь на Камю, его «Посторонний» оказал на меня большое воздействие, сам герой, отсюда и сходство в манере повествования или исповеди Ната Тёрнера, который тоже находится в тюрьме в ожидании приговора.

Вопрос: Что бы вы хотели сказать русским читателям, зная, что «Континент» обязательно будут читать в Москве и «прилегающих» городах?

Ответ: Я думаю, что сейчас мы свидетели одного из редких вдохновляющих моментов в советско-американских отношениях, и я наполнен оптимизмом, наблюдая, как «завеса» поднимается, поднята, в культурных отношениях между нашими странами. Я очень вдохновлен и сердечно тронут всем этим развитием н о в о г о, и надеюсь, что это реальность подлинная и необратимая.

Вопрос: Когда перевод «Выбора Софии» будет закончен на русский язык?

Ответ: Перевод моей книги закончен полностью. Единственное, что я слышал от моей переводчицы, что у нее достаточно надежд на очень скорый выход книги в свет. Возможно, в этом году.

Вопрос: Надеюсь, они не будут преследовать вас и наказывать за интервью «Континенту»?

Ответ (смех): Нет, я не думаю!

Вопрос: Собираетесь ли вы посетить СССР в связи с выходом вашей книги?

Ответ: Я был в Калифорнии, когда я получил приглашение поехать в Советский Союз в апреле. Я был приглашен Григорием Баклановым на встречу участников Второй мировой войны. Возможно, я поеду.

Вопрос: Вопрос, который вы хотели бы задать себе?

Ответ: В настоящий момент у меня нет к себе вопросов! (смех)

Вопрос: Какие-то заключения, итоги о вашей жизни как писателя? Удовлетворены ли вы?

Ответ: Я надеюсь продолжать «сражение» и создать еще несколько работ. Я нахожу, что с возрастом работать становится труднее, а не легче. Почему, я не знаю, но это не должно помешать мне в будущем в создании лучшего, на что я способен, – литературы ценностей. Мне кажется, я достиг определенного момента з р е л о с т и и эта зрелость дает возможность лучше взглянуть на жизнь, более ясно, чем, скажем, двадцать лет назад, а также послужит двигателем, дающим силы создать несколько романов.

Удовлетворен ли я? Я не думаю, что кто-нибудь может быть п о л н о с т ь ю удовлетворен. Как можно быть полностью удовлетворенным тем, что т ы делаешь. Я не говорю, что я не доволен тем, что я сделал, я бы хотел сделать больше, но так как я этого не сделал, то – ничего не делаешь, остается надеяться, что я буду продолжать делать больше – для удовлетворения.

Вопрос: Над чем вы работаете сейчас?

Ответ: У меня есть несколько проектов, роман... о котором не хочу пока говорить. Можно назвать это одной из форм суеверности.

Вопрос: Два политических вопроса, которые я приберег под конец. Так как некоторые люди очень раздражаются, огорчаются или злятся, когда дело касается политических взглядов... Что вы думаете о политической системе в СССР и в США?

Ответ: Я большой сторонник демократии, и по этой причине должен сказать, что наша система (со всеми ее дефектами) – лучшая в мире. Я не думаю, однако, что американский п у т ь лучше, чем другие демократические пути. Мы имеем склонность к абсолюту, считая, что американская демократия – единственная в мире, хотя в реальности это не так, есть французская форма, английская, западногерманская, есть социалистические формы демократии, которые существуют в Греции, Скандинавии. Всё это ведет к тому, что демократия – это лучшая система, которую создали люди для существования друг с другом. По этой причине я предпочитаю жить в Соединенных Штатах, а не в Советском Союзе. Я в большой степени восхищаюсь марксизмом, но теорией, многими аспектами его, но, я думаю, на практике это учение было неправильно применено в Советском Союзе. Иногда в ужасных формах.

Вопрос: Промежуточный вопрос: что, вы думаете, произойдет в будущем между двумя «сверхдержавами»?

Ответ: Я оптимист и надеюсь на лучшее. Единственное, с чем я не согласен, это то, что американские интеллектуалы, часто работающие как советники Рейгана, рисуют СССР этой демонической страной. Я думаю, что ни советский народ, ни советские руководители не хотят войны.

Вопрос: Но что вы думаете о военной экспансии в Афганистане, Центральной Америке, Африке, когда кажется, что всё вокруг становится к р а с н ы м?

Ответ: Я думаю, что они делают то же, что и мы делаем. Например, в Никарагуа. Обе нации стремятся к экспансии. Вспомним Вьетнам... Другое дело, мы более внимательны и осторожны, даже в Никарагуа, стараемся не превышать наших ограниченных полномочий. Разница также в том, что несмотря на «контра» в Никарагуа, сильное общественное мнение в Америке против этого. В Советском Союзе, возможно, существуют «частные» чувства по поводу Афганистана и неправильной войны в нем, но дело в том, что частные чувства в Советском Союзе не имеют никакого эффекта. И вряд ли высказываются вслух.

Так что наши нации обе стремятся к экспансии, что делают одни, то делают и другие, мы не верим друг другу. Но сейчас, с новым периодом «оттепели», появляется надежда, что этот «барьер» между нациями будет сломлен. Похоже, что обе страны ищут «мягкие» точки в мире, где они могут противопоставить себя друг другу, как, например, во Вьетнаме.

Вопрос: Думаете ли вы, что коммунизм – угроза человечеству?

Ответ: Я не думаю. Налицо – различные виды коммунизма в мире. Мне не нравится советский тип коммунизма. Это мертвая форма тоталитаризма. Китайский коммунизм, например, более подвижен, чем коммунизм в странах Восточной Европы.

Вопрос: Если вы думаете, что коммунизм не угрожает человечеству, то почему же тогда коммунистические правительства умудряются создать худшие условия для жизни человека в Польше, Советском Союзе, Чехословакии и повсюду, где они стоят у власти? Коммунистические режимы никогда не достигли ничего хорошего: там, где они существуют, нет ни работающего сельского хозяйства, ни хорошей экономики,

ни достаточно еды, ни свободы – открытых границ, свободы поездок, свободы мысли и слова, там отсутствуют права человека.

Ответ: Вы правы, я согласен с вами, в принципе. Но я не думаю, что это у г р о з а. К настоящему времени границы определены, силы, чтобы сохранить *равновесие*, существуют. Я не думаю, что есть хотя бы шанс советской экспансии в Европу. Разве что война, но тогда это другое дело. В Италии, например, коммунисты всегда были значительной силой, но этот тип коммунизма ни в коем случае нельзя назвать угрозой. Вообще нельзя относиться к слову «угроза» так, как это было в прошлые времена. Коммунизм означает очень плохие известия с Кубы, но они не настолько плохи в Польше. Так что существуют вариации: скажем, в Никарагуа, где существует марксизм и даже ленинизм, – на мой взгляд, отсутствует «полновесный» коммунизм.

Вопрос: Симпатизируете ли вы «левым», коммунистам или им подобным?

Ответ: У меня нет никаких симпатий к домашнему или иностранному коммунизму, но я считаю себя принадлежащим к «левым», американским «левым». Я ненавижу ярлыки, но без них нельзя, так вот, если давать определения, то я – либеральный демократ, в том смысле, как некоторые члены Конгресса или некоторые сенаторы типа, скажем, Теда Кеннеди. Я тепло относился к Джону Кеннеди.

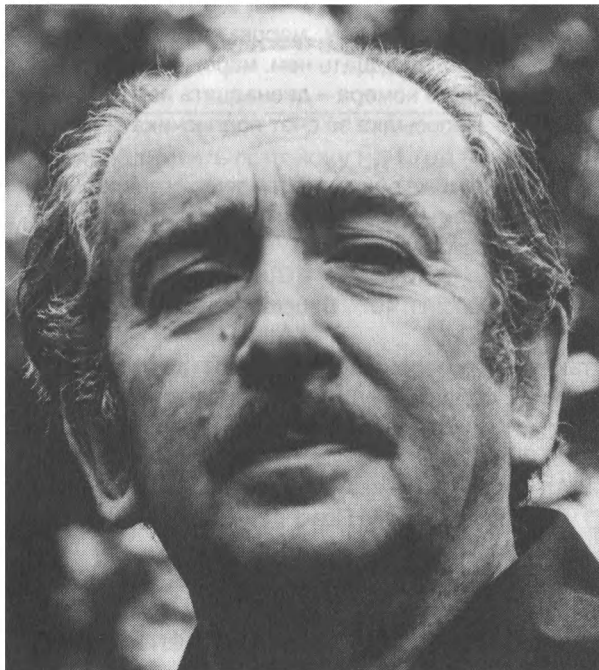
Вопрос: Какую политическую систему вы считаете наиболее идеальной сегодня?

Ответ: Западный тип демократии.

Март 1987, Нью-Йорк.

Интервью взял
А. Мирчев

Исполнилось 10 лет со дня смерти Александра Галича



15 декабря исполняется 10 лет со дня трагической смерти Александра Галича, барда, поэта, гражданина. Он помог вырасти, выстоять и сохранить нравственные ценности многим своим современникам.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





* * *

И. Б.

Там, где пушкинская осень над тосканскими
холмами,
там, где лавровая прозелень сквозь позолоту
клена,
теплый ветер октября, легкий парус корабля,
удивлённа и доверчива перед ангелом Мадонна.

Там, где стоптаны стопами изгнанничьими камни,
там, за гулом автострады, оправдание светает,
облака плывут на юг, в синем небе склянки бьют,
зорю бьют, опять из рук ветхий Данте выпадает.

Наталья Горбаневская

Рим, 22 октября – Флоренция,
Сан-Марко – Париж, ноябрь

ТОРЖЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ

«Я думаю, что это... от Бога», — запнувшись, видимо, от неловкости таких слов в судебном заседании и в то же время вынужденный это произнести (ибо это так и есть, ибо это правда; что же можно сказать другого?), ответил юный, рыжий, неполных тогда 24-х лет Иосиф Бродский на навязчивые вопросы судьи Савельевой о том, как же он смел считать себя поэтом, не числясь в поэтах официально, не обучаясь тому, чему положен обучиться всякий, кто становится «пээтом», став членом секции поэзии Союза писателей. С тех пор прошло еще 23 с лишним года, и теперь ленинградская судья (небось, уже на пенсии) может с полным правом гордиться, что попала в историю, увековеченная не только в записи суда, но и в стихах лауреата Нобелевской премии («И в проеме бэды / видит лицо судьи / Савельевой и тайком / в лоб стучит молотком»).

Дорогой, нежно любимый нами Иосиф! «Это» — действительно от Бога. Для убежденности в этом нам не требовалось твоей Нобелевской премии, но радость, охватившая нас при вести о решении Нобелевского комитета Шведской Королевской Академии, — не просто удовольствие друзей и почитателей, дружеские чувства и вкус которых приятным образом сошлись с мнением Нобелевского комитета. В Нобелевской премии по литературе 1987 года сквозит какая-то высшая справедливость, в конце концов прокладывающая себе путь сквозь блуждания слабого, но ищущего истины человеческого ума. Твоя «Нобелевка» — ответ всем Сальери, требующим равного распределения даров и талантов, а засим и прочего, что по таланту причитается. Все-таки, иногда, изредка — «есть правда на земле».

«Это» — назовем его даром, талантом или умением слушать язык и быть, как ты говоришь, его инструментом — действительно от Бога. Еще же надо было не зарыть свой талант в землю, не пойти по пути легкого процветания. Чернорабочий, автор раннего самиздата, политссылный, изгнанник — не самая торная тропа. Но именно на ней ты, «ничей ученик» (по выражению Глеба Струве), сосредоточил в своих стихах все чудо русской поэзии — прошлой и нынешней. И если не прямо, в поэтике, то — косвеннее и шире — в этике русского поэта, в этике его обращения с ниспосланным даром находим мы прямую линию наследования: Пушкин — Ахматова — Бродский. И сегодня в присуждении тебе Нобелевской премии мы видим увенчание, торжество русской поэзии.

С любовью

«КОНТИНЕНТ»